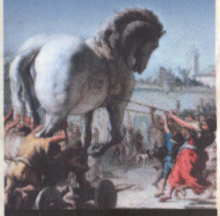


Карина  
Кокрэлл



■ Карина Кокрэлл ■

# ЛЕГЕНДЫ МИРОВОЙ ИСТОРИИ

МЕСОПОТАМИЯ

ЕГИПЕТ

ГРЕЦИЯ

РИМСКАЯ БРИТАНИЯ

ИМПЕРИЯ ФРАНКОВ

СКАНДИНАВИЯ

РУСЬ

ВЕНЕЦИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ИСПАНИЯ



ЛЕГЕНДЫ  
МИРОВОЙ  
ИСТОРИИ

ИСТОРИЧЕСКАЯ  
БИБЛИОТЕКА



■ Карина Кокрэлл ■

# ЛЕГЕНДЫ МИРОВОЙ ИСТОРИИ

МЕСОПОТАМИЯ

ЕГИПЕТ

ГРЕЦИЯ

РИМСКАЯ БРИТАНИЯ

ИМПЕРИЯ ФРАНКОВ

СКАНДИНАВИЯ

РУСЬ

ВЕНЕЦИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ИСПАНИЯ

  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
МОСКВА  
«Астрель-СПб»  
Санкт-Петербург

УДК 94(100)  
ББК 63.3(0)  
К59



Дизайн обложки: *Юлия Межова*  
Рисунки: *Юлия Сомина*

**Кокрэлл, К.**

К59      Легенды мировой истории / Карина Кокрэлл.— М.: АСТ;  
СПб.: Астрель-СПб, 2010.— 573, [1] с.

ISBN 978-5-17-066149-7 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-5-9725-1716-9 (ООО «Астрель-СПб»)

С.: Историческая библиотека

Дизайн обложки *М. Акининой*

ISBN 978-5-17-066150-3 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978-5-9725-1766-4 (ООО «Астрель-СПб»)

Дизайн обложки *Ю. Межовой*

Хотите отправиться в путешествие во времени? Следуйте за автором этой книги, и вас ждет масса эмоций: вы переживете незабываемые приключения, примите участие в опаснейших путешествиях и испытаете роковые страсти.

Самые значимые исторические события описаны таким увлекательным языком, что возникает полный эффект присутствия. Серьезная фактическая информация перемешивается с элементами исторического романа, и этот взрывоопасный микс приправлен сбалансированным соусом из куража и иронии.

Эта книга о глупцах и мудрецах, о взлетах и сокрушительных падениях, о катастрофах и роковых совпадениях, о любви, предательстве, зависти и злобе, о силе и слабости человеческой, и, конечно, о нас, сегодняшних.

УДК 94(100)  
ББК 63.3(0)

Подписано в печать 04.03.10. Формат 84x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Усл. печ. л. 30,24.  
(С.: Ист. библ.). Тираж 2500 экз. Заказ № 10710.  
Тираж 2500 экз. Заказ № 10710.

Общероссийский классификатор продукции  
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

Санитарно-эпидемиологическое заключение  
№ 77.99.60.953.Д.012280.10.09 от 20.10.2009 г.

© Карина Кокрэлл, 2009  
© ООО «Астрель-СПб», 2010

Время эти понятия не стерло,  
Нужно только поднять верхний пласт —  
И дымящейся кровью из горла  
Чувства вечные хлынут на нас.

*В. Высоцкий. Баллада о Времени*

И история становится книгой живых, как труба громогласная, та, которая вздымает из гроба лежавших во прахе многие веки. Для этого нужно только время.

*Умберто Эко. Баудолино*



## От автора

**И**стория, вообще-то, — учительница бездарная. Класс ее совершенно не слушает, а она, Клио, стоит в своем хитоне, покусывает стило, делает в классном журнале какие-то записи и словно не обращает внимания на ужасную дисциплину в классе. Знает, конечно, что будут потом нерадивые ученики обливаться холодным потом на экзаменах, но все равно выглядит безразличной, словно ее заявление об уходе уже лежит у директора. Установлено: народы ее уроки игнорируют и экзамены заваливают. И ведь объясняет она доходчиво, и многочисленными примерами все иллюстрирует, ан нет!

А что же отдельные личности? Способны ли индивидуумы усваивать ее уроки? И какова она, Клио, в качестве «приватного» репетитора, может ли научить чему-нибудь тет-а-тет?

Многие уже поняли: жизнь человечества изменяется только внешне, только в смысле технологий — каменный топор, локомотив, фотография, аэроплан, плазменный телевизор... А психологически, внутренне, мы — какими были тысяч десять лет назад, такими и остались, и только слегка поскреби ноготком — проступит все то же, что было и у испанцев шестнадцатого века, и у викингов, руси-

чей, и у древних римлян, и у гомеровских греков. Или у совсем уж древних месопотамцев и египтян.

И как не согласиться с таким знатоком человеческой природы, имевшим возможность наблюдать ее на протяжении очень долгого времени, как мессир Воланд (отдавая себе полный отчет в вымышленности этого персонажа!), который однажды так выразился по одному небезызвестному поводу: «Ну что же... Они — люди как люди. Любят деньги, но ведь это было всегда. <...> Ну легкомысленны... ну что ж... и милосердие иногда стучится в их сердца... обыкновенные люди... в общем, напоминают прежних» <sup>1</sup>.

И как созвучны оказываются эти слова князя Тьмы с теми, что приведены в совершенно уж противоположном источнике: «...что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: „смотри. Вот это новое“; но это было уже в веках, бывших прежде нас...» <sup>2</sup>

Уже вижу скептически прищуренные глаза современников и поджатые губы, выражающие, мягко говоря, недоверие к такому утверждению. Действительно: а как же прогресс, гуманизм, нравы, смягченные цивилизацией?

*O tempora, o mores* — «О времена, о нравы!» Так восклицал в отчаянии еще римлянин Цицерон по поводу современного ему общества, и нам кажется, мы понимаем, что он имел в виду <sup>3</sup>. А раз так, то, может быть, понятны станут нам и муки совести единственного в древнем Шумере человека, которого решили пощадить боги, как сказано в самой древней легенде о потопе, — понятны, хоть и слу-

---

<sup>1</sup> Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита.

<sup>2</sup> Екклесиаст, 1:9—10.

<sup>3</sup> Кстати сказать, не всем известно, что повод к этому восклицанию был далеко не абстрактный — оратор требовал у Сената казни своего политического противника, а сенаторы не соглашались. Красноречие Цицерона, как видим, тоже не всегда убеждало.



чилося все это еще до «начала времен»? И окажется понятен страх Божественной царицы Нефертити перед неутомимой и неотвратимой старостью? И, возможно, не покажутся нам непостижимыми кошмары Менелая, мужа Елены Прекрасной, во время долгой, кровавой Троянской войны, и мы тогда поймем и простим виноватую перед всеми Елену? И, быть может, станет нам ясно, почему слабый монах Константин на далекой парижской улице девятого века нашел-таки в себе мужество встать в полный рост перед лицом варварской силы? И так ли уж непонятно будет нам, почему целый город травил чужачку, как это случилось в истории венецианца Марко Поло? И мы поймем позднюю любовь конунга Рюрика, с которого для нас и началась историческая Русь? И будут



Та самая Клио

странно узнаваемы нами испанские ревнители веры с их убежденностью в том, что их понимание Бога — единственно истинное, и что жестокость и жертвы во имя достижения высшей цели, получается, оправданны?

Как нам, сегодняшним, ответить на эти вопросы? Не будем спешить, все далеко не просто.

В наших легендах мировой истории вымысел может показаться реальностью, а реальные факты — вымыслом, и высокая драма окажется рядом со скоморошьям фарсом. В общем — так, как оно обычно и бывает в жизни, в реальности, в истории...

А впрочем — судите сами!

**ОДНАЖДЫ МЕЖДУ ТИГРОМ  
И ЕВФРАТОМ,**

**или О первых цивилизациях в шутку и всерьез**



На заре истории человечество кочевало. Кончался подножный корм, уходили, помахивая хвостами, к новым пастбищам дикие стада — тянулись за ними и люди. Однажды утром просто-напросто затаптывали костры, собирали немудреный скарб, сажали в повозки орущих, невыспавшихся детей, и — вперед к новым пастбищам, новым землям, которые наверняка окажутся лучше и обильнее оставленных. Почему-то людям всегда казалось, что там, за краем земли, и трава сочнее, и стада тучнее. В общем, неугомонными оптимистами были. А как иначе?! Конечно, в дороге цивилизации не создашь. Они, однако, ни о какой цивилизации пока не задумывались и потому не очень из-за этого переживали. Вот так и кочевали народы с места на место совершенно независимо друг от друга — по Индии, по Китаю, по Северной и Южной Америкам, по Ближнему Востоку, естественно, не догадываясь, как все это потом будет называться.

Но примерно в четвертом тысячелетии до нашей эры людей, кочевавших по тем местам, которые сейчас называются Ираном, Северной Сирией и Южной Турцией, стало томить какое-то странное, смутное желание — тоска, что ли... И не проходила она у некоторых склонных к

рефлексии индивидуумов даже после сытного обеда: «Так ли живем? То ли делаем? Сколько можно скитаться?» Тем временем пришли они на берега двух рек. Одна была быстрая, другая — потише, поспокойнее. Остановились, огляделись вокруг. Земля между двух рек. Месопотамия. Что и значит «междуречье»<sup>1</sup>.

Хорошо! Зелено. Пища разнообразная в воде плещется, произрастает, летает и бегаёт. Распрямили мужчины усталые плечи. И решили, что хватит им дорог, везде уже были. Думается почему-то, что подбили их на такое решение женщины. И, скорее всего, беременные. Надоело ведь им таскаться со скарбом, детьми да повозками в поисках новой пищи — ни тебе помыться, ни детей толком обустроить. А каково рожать *в дороге*, когда повозку на ухабах трясёт? А рожать *у дороги*, когда дело затягивается и есть опасность отстать от родного племени? Не знаем, как он выглядел, тот важнейший момент, и какие при этом говорились слова, на каком немислимо древнем языке, но, наверное, сказано было древней женщиной своему спутнику жизни что-то вроде: «Всё, приехали! Дальше никуда не пойдём. Рек рядом — аж две, воды вдоволь. Камней и глины вокруг для строительства — полно. Начинаем-ка, милый, строить какое ни на есть постоянное жилище во-он под тем раскидистым деревом, на котором побольше плодов и откуда вид покрасивее! А колосья можно и самим из земли растить, а не ходить за ними на край света. Вот я уж и зернышки припасла. Попробуем, а вдруг и получится?» Почесал милый в затылке и подумал, что в этом предложении подруги и вправду есть... рациональное зерно.

---

<sup>1</sup> *Месопотамия* — название, конечно, греческое, и намного более позднее. Как называли эту землю самые первые поселенцы, можно строить догадки, но с точностью узнать невозможно. Поэтому продолжим называть, как привыкли.

Не все, конечно, сразу решились на такой шаг. Не обошлось без консерваторов: «Не нами заведено, не нами и кончится. Деда-прадеды кочевали... Да где это видано, чтоб еду самим из земли растить! Как такое и в голову-то могло закатиться?!» Ну и как всегда: о разрушении вековых устоев, забвении традиций, неизбежной деградации... Возможно, и конфликты происходили на этой почве, и даже немалые. А возможно, сторонники традиционно кочевого образа жизни просто махнули рукой на этих безумных «экспериментаторов», бывших соплеменников, и пошли со своими повозками дальше.

А оставшиеся между тем бросили зерна в землю, огородили поля, скотину дикую приручили. И хижины построили, да не кое-как, а покрепче, собираясь жить в них подольше. Деревни получились. Хотя деревни — это все-таки тоже еще не цивилизация.

Но, в общем, главные предпосылки для цивилизации в Месопотамии появились: люди уgomонились и обосновались на земле. Потом обнесли деревни свои стенами из камней, спокойнее стало спать по ночам, увереннее себя почувствовали. И о высоких сферах не забывали: посреди деревень устроили святилища — просить, чтобы боги послали приплода и им самим и стаду и здоровья крепкого да полных тяжелых колосьев побольше... Да мало ли чего нужно было у своих богов попросить и земледельцу, и скотоводу, дело-то — новое, рискованное. А через сотню-другую лет деревни эти разрослись, разбогатели и превратились в города.

И помогали древним месопотамцам боги Эллил, и Мардук, и Эа. И остальные небожители. И реки Тигр с Евфратом помогали — разливались ежегодно, оставляя в пойменных долинах ил, а он, может, и выглядел не слишком

красиво, но ценность имел величайшую, ибо был наиплодороднейшим: воткни хоть палку — вырастет что-нибудь вкусное и полезное. И, понятно, результат: месопотамцы уже вскоре собирали столько зерна, сколько сейчас родит самое лучшее канадское поле, да еще и с использованием современных удобрений<sup>1</sup>. Вот какой был тогда ил Междуречья. Да что зерно, тут и орехи, капуста, чеснок, бобы, да мало ли... И рыбы в реках — видимо-невидимо, а еще и птица сама на поля слеталась — поклевать, тут ее, не теряясь, ловили и одомашнивали. В общем, как-то раз осенью все с изумленной радостью увидели, что образовался особенно большой *излишек продуктов питания*.

Вот с него-то все и началось! Ведь если что нашел или наловил, то и съел, и опять голодный, и при этом понятия не имеешь, найдешь ли что или наловишь, допустим, завтра на обед — какая же это цивилизация? Для нее нужна, во-первых, предсказуемость «пищевого потока», а во-вторых, как мы уже сказали, — излишки...

А раз получились во всем излишки — «на самотек» их оставлять никак нельзя. Хранить где-то надо, да еще и в соответствующей таре. Оберегать от любителей поживиться за чужой счет. Учитывать. Распределять. И так вот появилась целая армия людей, как-то незаметно подобранных к излишкам поближе — кладовщиков, стражников, изготовителей тары и замков и — бюрократов-счетоводов. Конечно же, тут как тут — и правитель. Он, думается, с самого начала обещал все распределять по справедливости, но потом как-то забыл и об обещании, и о том, что излишек-то — не его личная собственность, однако напомнить ему постеснялись, да и небезопасно было — уж больно многозначительно лежали тяжелые ла-

---

<sup>1</sup> Roberts, J. M., Ancient History, Duncan Baird Publishers, London, 2002, p. 83.

дони накачанных стражников на рукоятях мечей (оружейники тоже появились).

Кстати, с излишком продуктов и творческая интеллигенция тут как тут. Пахать, сеять, пропалывать, выполнять другие сельскохозяйственные работы — их не дозовешься, а садятся они вместо этого в теньке, возводят глаза к небесам, мусолят стилó или там, тростинку и, высунув от усердия язык, царапают что-то по глиняной табличке. Создают литературные произведения. Но, с другой стороны, пахарю, когда собран урожай, тоже хочется немного отвлечься и развлечься какой-нибудь историей, и нужно, чтобы историю эту кто-нибудь рассказал. Потому смотрели месопотамские крестьяне на интеллигентские чудачества сквозь пальцы: пусть себе царапают, в поле от них толку все равно никакого. А вот правители, хоть и не сразу, но должным образом оценили потенциал творческих работников для прославления своих великих дел.



Барельеф с крылатым быком



И царапать на табличках мастера — «стилисты» стали уже целенаправленнее.

В общем, то там, то здесь стали возникать в Междуречье города, и, хотя дни были наполнены трудом, земля и скотина расслабляться не давали, но жить становилось и веселее, и сытнее. И почти каждый день что-нибудь можно было отмечать и праздновать: богов имелось много, да и частных праздников — новоселий, дней рождения, вообще поводов для шумного веселья случалось все больше. Но именно потому и надвинулись на Месопотамию события катастрофические.

Однажды встал и явился в совет богов злой, небритый и совершенно измученный недосыпанием главный бог Эллил. И блеснули над Евфратом молнии, загрохотала словно в медный таз гроза: «Больше так продолжаться не может! Людей расплодилось столько, что шум снизу, словно ревут тысячи быков! Всё, насылаю на них болезни — чуму, проказу, тошноту и головные боли! Может, хоть это их успокоит».

Здесь надо заметить, что именно Эллил и создал некогда первых людей из красной глины. В общем, коль породил, то право имел и наказывать. В таком духе и высказался. А остальные боги — молчат. Согласны, что где-то он и прав, но понимают также, что, если не станет людей — никто не будет приносить им, богам, жертвы, благовония воскуривать, святилища строить. И тогда — как? Но авторитарный Эллил, любитель тишины, ничего и слышать не хотел. Наслал он болезни и уничтожил огромную часть человечества. Стало потише. Но лет через шестьсот все повторилось: опять слишком много стало людей на земле, и снова нарушили они божественный сон. Тогда Эллил опять взялся за свою «мальгузианскую»<sup>1</sup> деятельность и

---

<sup>1</sup> Томас Мальтус (1766—1834) — английский ученый, считавший, что рост населения следует ограничивать.

наслал на людей голод. Страшный это был голод: люди почти вернулись в животное состояние, начался каннибализм, в живых осталось лишь несколько семей. Жертвы богам, естественно, никто не приносил, и святилища пришли в запустение, не поднимался дым от курильниц. А Эллилу хоть бы что — он теперь несколько веков высыпался. Но люди — они такие живучие, ничто до конца уничтожить их не может, впервые это оказалось замечено еще тогда. Размножились они и опять разбудили бога. Тут уж решил он действовать наверняка. Собрал совет богов «среднего звена» и сообщил им, что, хотя и нелегко это ему как руководителю, но должен он признать, что принял однажды неверное решение. И заключил публично: создание человека было его ошибкой, лучше бы из всей той глины сделал он еще парочку необитаемых, но приятных на вид, а главное, спокойных и тихих планет. А вот теперь ситуация явно вышла из-под контроля, и настало время радикальных мер: потоп, потоп, и только потоп!

Наверное, остальные боги, снова привыкшие к обильным жертвоприношениям, обменялись между собой многозначительными взглядами: мол, совсем из ума выжил, старый, что говорит-то, а! Потоп — это ведь самая радикальная мера. Тут уж даже живучему и изобретательному человечеству не выкрутиться. И решил тогда один из богов, Эа, действовать самостоятельно. И выбрал он в городе Шурупаке для выполнения своей миссии человека по имени Атрахасис (как мы скоро увидим, законченного эгоиста). Тот только что с работ вернулся и у очага присел, усталый. Жена на кухне разными кухонными предметами гремит, обед сооружает, а тут — сам бог Эа является им посреди хижины. В солнечном луче.

И говорит прямо-таки несусветное: чтобы сейчас же начал Атрахасис разбирать свое жилище и строить из не-

го корабль. Причем сообщает бог человеку поразительно точные размеры будущего судна, а также дает рекомендации, обнаруживающие недюжинные познания божества в кораблестроении. И предписывает Эа разместить на корабле всю семью Атрахасиса, а также животных на выбор по паре. Атрахасис, конечно, на колени: «Не умею я корабли строить, да и материалов такую уйму где взять?!» Тогда бог ему объясняет, что дело, конечно, его, но земля вот-вот начнет покрываться такой толщей воды, что под ней скроются и города, и даже самые высокие горы. И люди погибнут все, так что только тот, у кого окажется корабль, построенный в соответствии с приведенными техническими характеристиками, получит шанс на спасение.

Делать было нечего. Да и говорящий солнечный луч не мог не произвести на Атрахасиса должного впечатления. Почему именно на него пал выбор бога Эа — не совсем ясно. Уклончиво сообщается, что был Атрахасис мудрым, но доказательств и примеров тому никаких не приводится.

*Библейский Ной хотя бы вел праведную жизнь, когда окружающие погрязли в разврате и удовольствиях, что хоть как-то обосновывало уничтожение человечества. В Коране говорится, что Нух (тот же Ной) после сообщения Бога о планируемом потопе вообще из сил выбивался, предупреждая людей и вместе, и поодиночке — о том, чтобы перестали грешить и становились на путь истинный, а они вместо того, чтобы слушать, «затыкали пальцами уши». Ну, тогда Нуху ничего другого просто не оставалось. Однако, заметьте, история Атрахасиса имела место так задолго до написания первых священных книг, что не только книг еще не существовало, но и папирусных свитков, а были только таблички из красной глины.*

Что же сделал Атрахасис? Этот избранник богов поступил вот как: он сказал друзьям и соседям, что собирается уезжать. На поиски лучшей доли. Соврал, что, дескать, боги ему что-то здесь не благоволят последнее время (наверное, и глаза его при этом стали такие грустные-грустные, потому что врать убедительно он должен был уметь — может, за то Эа его и выбрал). Но нужна ему, Атрахасису, помощь друзей и соседей в разборке дома и постройке большого корабля, на котором он и уплывет. Особой любовью окружающих Атрахасис, похоже, не пользовался, ибо охотников помочь ему убраться подальше нашлось предостаточно. А может, просто соседи хорошие были? За помощь Атрахасис обещал им прекрасный пир, как только корабль будет построен.

Ознакомившись с размерами предполагаемого корабля, соседи-умельцы, думается, присвистнули. И пояснили, что ни в одной из рек — ни в Тигре, ни в Евфрате — не достанет глубины для плавания такого судна. Громадину эту и с места постройке до реки будет не дотащить. И вопросительно на Атрахасиса посмотрели.

Но Атрахасиса это совершенно не волновало. Мудрец-то знал, что с чем с чем, а с глубиной у корабля проблем не будет... И соседи возражать ему не стали. А может быть, задавать лишние вопросы считалось невосместимым с месопотамскими правилами хорошего тона? Неизвестно.

И вот смотрит этот Атрахасис, как пожилой сосед тащит для строительства вязанку тростника, как соседский малыш с ямочками на толстых щечках, улыбаясь ему беззубым своим ртом, несет какие-то щепочки, помогая взрослым... и сам — *ничего никому не говорит*. Молчит, зная, что и малыш этот, и все, кого он видит сейчас, — *обречены...*

...Пир «избранник богов» все-таки для помощников устроил, как и обещал. Прямо над бывшим его двором на-

тянули парусину, поскольку в воздухе уже попахивало грозой. Никто не заметил, что хозяин нервничает, да и что живности в округе тоже поубавилось. Но особого значения этому придавать не стали: может, животные дождь почуяли и попрятались — вон тучи какие лиловые надвигаются. В какое-то оправдание нашего героя надо сказать, что клинописные таблички упоминают-таки муки совести Атрахасиса:

И не находил он места себе во время пира,  
И разрывалось сердце его так, что рвало его желчью.<sup>1</sup>

Но только ли от мук совести? Впереди ждали неизвестность и одиночество. И — перспектива общаться в обозримом и необозримом будущем только со своей семьей и ни с кем больше. Да еще и размножаться всем в таких условиях!

И теперь всю жизнь (а жить он будет вечно) станут преследовать его страшные сцены подступающей к горлу человечества воды: океана, захлестывающего города, а в ушах навсегда останутся отчаянные вопли обезумевших от ужаса людей, облепивших верхние площадки зиккуратов, мимо которых медленно и равнодушно проплывет его огромный ковчег.

Но это — потом, а пока шумел веселый пир. И тут люди удивились: Атрахасис и его семья, не дожидаясь конца пира, стали загонять по сходням на палубу судна всю свою скотину. Потом попрощались со всеми, поднялись на корабль. А тот так и стоял на берегу. И тут пирующие, не прекращая изумляться, услышали изнутри глухие уда-

---

<sup>1</sup> Myth from Mesopotamia: Creation, The Flood, Gilgamesh, and others, Editor — Stephanie Daley, Oxford University Press, 2000, p. 31 (пер. с англ. — авт.).

ры молотка: Атрахасис конопатил дверь. Ему бы тут открыть ее и крикнуть им, внизу, чтоб спасались! Может, еще успели бы что-нибудь... Не крикнул.

А в месопотамскую красную пыль свинцово упали первые крупные капли дождя...

Вода, естественно, потом сошла, и потомство Атрахасиса заселило всю землю. И все опять стало как прежде. Расследование Эллила по поводу утечки информации так ни к чему и не привело, «предательство» Эа не обнаружилось. И сдался верховный бог, ибо понял, что ничего даже ему теперь с человечеством не поделаться. А может быть, просто нашел более надежный способ затыкать уши? Неизвестно. Но никаких мер по полному уничтожению человечества более не предпринимал. И опять внизу, на земле, воскурились благовония во славу богов, заревели у жертвенников украшенные цветами жирные быки, снова стало стремительно увеличиваться население. И продолжали строить в Междуречье великолепные города в то время, когда нигде в других землях их еще не знали.

Всем последующим цивилизациям развитие давалось уже несколько легче: можно было перенимать опыт. А вот первым всегда нелегко, всё — самим, всё — непроторенным путем, всё — методом проб и ошибок.

*Слово «цивилизация» произошло, как известно, от латинского civitas — «город». Получается, раз появились города, появилась и цивилизация. Ну не чудесное ли, необъяснимое совпадение: тысячи лет — и ничего, а тут — на тебе, города! И где? В Месопотамии, в глуши... А потом пошло: почти каждое тысячелетие — по цивилизации, а то и по две. Египет (3100 г. до н. э.), Минийская цивилизация Крита (около 2000 г. до н. э.), потом, чуть попозже — Индия, Китай. Потом — Центральная Америка (около 1500 г. до н. э.). И, что еще любопытнее, все эти первые земные цивилизации зародились на*

## ОДНАЖДЫ МЕЖДУ ТИГРОМ И ЕВФРАТОМ

*территориях, располагающихся примерно на 30 градусах северной широты. И большинство из них возникло на берегах великих рек — Тигра, Евфрата, Нила, Желтой реки и Инда.*

*В Междуречье сменяли друг друга представители разных народов — одни приходили, видели, побеждали, другие бежали от несчастий, прибывали на заработки или же просто навещали знакомых и решали остаться. Семиты, хамиты, шумеры, вавилоняне, касситы, хетты, ассирийцы, потом персы, греки, парфяне, турки... «Иных уж нет, а те далече». А вообще, Месопотамия всегда была настолько густонаселенным и многонациональным регионом, что подробная демографическая опись находится далеко за рамками данного рассказа,*



Великий потоп (с гравюры Альбрехта Дюрера)

тем более что выглядели эти народы более-менее сходно: в меру загорелые, не лишённые привлекательности, хотя и не очень высокие, с рельефными орлиными носами, темными волосами и глазами (правда, шумеры несколько отличались — мужчины предпочитали брить головы наголо и, судя по изображениям, были чуть более предрасположены к полноте). Так что для краткости будем всех их называть просто древними месопотамцами. Тем более что вышеперечисленные народы многое перенимали друг у друга в культуре и языках, да и обмен генофондом осуществляли охотно и постоянно.

Почему одни народы называют цивилизованными, а другие — не так чтобы очень? Похоже, это — как любовь. Все знают, что, а объяснить не могут. Одни говорят: раз есть организованная религия и обучение юношества, значит, есть и цивилизация. Другие: что цивилизация — это только города, а там, где сплошная деревенщина, — цивилизации быть не может. Третьи: цивилизация — это письменность и запись исторических событий, четвертые — что это соблюдение правил личной гигиены и наличие чистых общественных туалетов, пятые — что это строгий учет всего и неукоснительно исполняемые законы, шестые — что цивилизация — это... В общем, все глубокоуважаемые мыслители напоминают мудрецов из старой суфийской легенды, которые разглядывали отдельные части слона и делали по ним выводы о том, что же такое слон, упуская из виду самого слона. Что же такое цивилизация, мы тоже, как и подавляющее своим незнанием большинство, со всей определенностью заключить не можем. Но, возможно, из всех наших легенд и историй этот вывод сделать сможет сам читатель...

До изобретения письменности вся история была — словно рот, забитый песком. Письменность — Вели-



чайшее Изобретение человечества — тоже, кстати, появилась именно в Месопотамии. И как, вы думаете, она появилась? Кто ее изобрел? Мудрецы? Жрецы? Правители?

Ничего подобного.

Вот как было дело.

В одном месопотамском городе подумали: чем каждому гончару иметь свою печь для обжига и постоянно с нею возиться, не лучше ли сложиться, построить одну для всех и приставить к ней особого человека, который и будет день и ночь ею профессионально заниматься?

Построили.

Приставили.

И каждый гончар стал привозить горшки и ставить в сторонке, стараясь, по возможности, не путать с другими. Ну, вы уже предвидите, что получилось: «Безобразия! Я тебе сколько оставлял горшков? Десять! А ты мне выдаешь — восемь. Где еще два горшка?! Ты что же, такой-растакой, не смотришь, тебя зачем сюда поставили?!» Ну и другие приличествующие ситуации неклинописные слова. А в ответ: «Я что тебе — жрец, прорицатель? Откуда я знаю, какие чьи! Мое дело — за обжигом следить, а уж с изделиями своими сами разбирайтесь. Я один, а ваших... этих... изделий... вон, гляди!» И «обжигатель» (или как там называлась его профессия) простирает руки к своему складу, а там — сотни одинаковых горшков.

Приходит гончар домой несолоно хлебавши, начинает опять в сердцах крутить свое колесо, думая о несправедливости и несовершенстве мира... И приходит ему в голову идея. Какая, вы уже догадались. В общем, на сыром еще горшке рисует он тростниковой палочкой, каких вокруг полно валяется, свое изображение. «Вот пусть попробуют теперь утянуть!..»

Те же действующие лица — через пару дней. Обжигатель: «Ну вот, совсем другое дело. Молодец! Теперь-то уж никто на твои изделия не позарится. Хотя рисунок на тебя и не похож: у тебя нос длиннее и борода лохматее. Гончар ты, может, и хороший, а вот художник...» — «Молчал бы! Тебя сюда приставили не художественной критикой заниматься, а за горшками смотреть, чтоб не утянули. Так что с другими недоделками мои замечательные горшки — не путать!»

Так, попутно, родилась, возможно, и художественная критика.

Тут и другие гончары стали ставить клейма на свою продукцию, кто — себя изображал, кто — звездочки там или барашков, что кому глянулось. Горшков нужно было много, в них готовили, переносили, перевозили, хранили — в общем, использовали, как сегодня мы — ящики или чемоданы. А времени выводить картинку, когда горшков надо было изготавливать очень много, потом уже не было, потому картинки превратились в скорописные символы — клинопись. И «обжигатель» на бракованном сыром горшке тоже начал царапать — столько-то поступило от такого-то мастера, столько-то обработано и т. д.

Так что одновременно с письменностью родились в Месопотамии и математика, и бухгалтерский учет. Но на бракованных горшках писать было не слишком удобно, вот и стали делать специальные плоские глиняные таблички для письма. Но они стоили дороже, так что беднота и деревенщина по-прежнему царапала свои заметки на бракованных горшках.

Писать на глиняных табличках удобно: написал, потом смочил глину, стер написанное и опять наноси клинышки. Однако, если записывали что-то особенно важное, что требовалось сохранить для потомков, глину обжигали в печи.

Однако были и неудобства: таблички при падении бились, да и тяжелыми были, много не унести. Поэтому уже позднее египтяне разработали их «портативную версию» — папирус. Тогда и почту стало можно развивать, послания передавать из города в город.

Портативность — это, конечно, хорошо, однако противопожарные меры вследствие воспламеняемости папируса следовало соблюдать неукоснительно. А как тут уберечься, когда лампы масляные везде, факелы, да и военные действия в непосредственной близости от библиотек — вещь довольно обычная. А глиняные таблички, хотя и требовали особенно мускулистых почтальонов, от огня только крепче становились.

Благодаря им о жизни древней Месопотамии известно больше, чем о намного позднее живших кельтах или славянах — те, во-первых, не имели под рукой таких вечных материалов для письма, а во-вторых — обладали наверняка лучшей памятью, чем месопотамское население, так что записи делать не было им совершенно никакой необходимости. Проблема, где и как будущие археологи станут находить материал для диссертаций, их тоже не волновала: ищите, копайте, выдумывайте, сочиняйте.

Веселое было время — самое начало первой на земле цивилизации: года, поди, не проходило в Месопотамии, чтоб не изобретали чего-нибудь нового. Оно и понятно: что ни сделай — этого еще не было. В том числе — и бюро патентов и изобретений. Поэтому авторы тех замечательных открытий неизвестны, и гонораров их потомки не потребуют.

**Н**о всё рано или поздно заканчивается.

Плодородные земли Междуречья за тысячелетия эксплуатации были полностью истощены, и, если бы взгля-

нуть с высоты птичьего полета, зеленый цвет везде сменился желто-коричневым. А потом сухие пески погребли под собою и поля, и замечательные первые города древней Месопотамии.

**Т**ак что оставим теперь первую цивилизацию. Лиха беда — начало! Все самое интересное — впереди!

**ЕГИПЕТ:  
ЦАРСТВО  
БЛАГОСЛОВЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ**



Четыре с половиной тысячи лет египтяне были самыми счастливыми людьми на земле. Четыре с половиной тысячи лет порядок вещей был вечным и неизменным, стабильность — абсолютной. Три времени года — Разлив, Посев, Урожай. Божественный фараон, правящий Верхним и Нижним Египтом, а также Небом. Был он родственником главному богу Осирису и остальным богам, а, как известно, родственников не обижают. В большинстве своем были фараоны людьми для своего народа терпимыми, без садистских склонностей или явного сумасбродства. Авторитарные правители, но не законченные тираны. Время от времени, правда, любили потаскать за вихры дикие племена на юге, чтобы показать, кто хозяин, на львов поохотиться в пустыне или с тростниковых лодок гиппопотамов копьями побить. Ну еще имели обыкновение жениться на дочерях и сестрах, что, конечно, вносило полную путаницу в родственные связи — гадали, наверное, отпрыски, как называть отца: папой или все-таки дядей? Но, с другой стороны, жена главного бога Осириса была также его сестрой, а это святое, да и драгоценную царскую кровь разбавлять — бог солнца Амон-Ра разгневется, потом проблем не оберешься.

## ЕГИПЕТ: ЦАРСТВО БЛАГОСЛОВЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

Города в Египте сильно отличались от месопотамских. В тех — шум, гам, торг, глашатаи, срываая глотки, читают царские указы... А вот у египтян в городах все было тихо и чинно, потому как в городской черте — только дворцы и храмы, и населяли их поэтому, в основном, правители и «служители культа», а народ жил поодаль, на природе, в небольших деревнях у реки. И даже знать предпочитала селиться в поместьях с видом на Нил. В города приходили на праздники или по какой-нибудь религиозной необходимости. Религия у египтян тоже была спокойная, практичная, домашняя, без пламенных пророков единственно истинного Бога, без фанатиков, без религиозной вражды. Да и как тут выбирать, когда богов — больше двух тысяч?

В нильскую воду стремительно, как торпеды, врезаются крокодилы, фыркают и нежатся огромные бегемоты, в прибрежных плавнях гнездится множество гусей, цапель и цесарок, на водопой приходят маленькие газели с глазами обиженных девочек, на полях колосятся злаки, в садах наливаются спелостью гранаты и виноград... Такое многообразие вокруг — как же с этим всем одному только богу управиться? Так, наверное, думал древний египтянин.

В общем, жизнь была довольно разнообразная. Да и страдания рабов, строителей пирамид, мы, скорее всего, сильно преувеличиваем, во всяком случае в египетских записях нет никаких сведений о том, что рабы возмущались, бастовали <sup>1</sup>, однако есть подробные списки, сколько пива подвозили им ежедневно, сколько вяленой рыбы и другой провизии, а также сколько тысяч женщин нанято было для стирки, готовки и оказания строителям пирамид других услуг. Правда, сохранилась одна древняя запись, что

---

<sup>1</sup> Хотя не исключено, что это предпочитали просто не афишировать в интересах поддержания имиджа стабильного государства.

как-то раз мужественные строители возмутились: им не подвезли сурьмы для глаз, нечем стало «стрелки» рисовать. Археологи предполагают, что такой макияж, возможно, заменял солнечные очки, отражая яркое египетское солнце, но, возможно, строителям хотелось даже на работе хорошо выглядеть.

Чистоту не просто очень любили — боготворили. Постоянные омовения, постоянное мытье посуды и стирка одежды... Ради гигиены первыми в мире решили обрезать мальчикам крайнюю плоть, ибо, по мнению написавшего об этом Геродота, «предпочитали чистоту красоте». По причине любви к гигиене также не ели свинины, потому как свинью считали самым нечистым животным. Лечиться обожали. Врачей самых различных профилей в Египте было великое множество, и все они рекомендовали раз в месяц полное очищение всей пищеварительной системы.

К иностранцам египтяне относились подозрительно: эллинов считали варварами и всё, что соприкасалось с ними, нечистым, на что и посетовал тот же Геродот. И добавил еще, что «эллинские обычаи египтяне избегают заимствовать. Вообще говоря, они не желают перенимать никаких обычаев ни от какого народа».

Даже ветер в Египте, говорят, в те времена стабильно и постоянно дул только в одном направлении, только с севера на юг. Поэтому, если египтянин плыл вниз по течению, то и грести ему нужно было только слегка, а на обратном пути он ставил парус и обозревал живописные окрестности, что способствовало созерцательности и формированию философского отношения к реальности.

Правда, было все же за две тысячи лет египетской цивилизации (с 3000 по 1075 г. до н. э.) два периода разброда, вражеских вторжений и гражданских войн.

Но во время таких смут в дело вмешивались в итоге влиятельные жрецы — устраняли слабоватого фараона,



## ЕГИПЕТ: ЦАРСТВО БЛАГОСЛОВЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

подыскивали «сильную руку» и стабилизировали ситуацию. Очередной подходящий фараон с хорошо развитыми мышцами и четкой идеей нормализации обстановки неизменно появлялся. Сначала палкой в этой самой сильной руке он наводил порядок внутренний, а потом, с той же палкой, но уже на колеснице,— внешний. А рассказы о тех далеких страшных временах передавали потом египтяне из уст в уста в назидание юношеству. Дабы знали потомки, что будет с теми, кто отступит от древних традиций: начнется страшное Время Перемен <sup>1</sup>.

**И** оба эти периода вместе взятые длились где-то около двухсот пятидесяти лет, что в процентном отношении — совсем неплохой показатель стабильности по сравнению с бурной историей некоторых других стран мира. Остальные тысячу шестьсот лет в стране царили тишь да гладь.

И праздники в Египте любили. Вот, например, в священном городе Абджу (Абидосе) раз в год устраивали веселую и занимательную мистерию — по легенде об убийстве богом тьмы и зла Сетом брата своего Осириса с последующим воскрешением Осириса из мертвых. Так и видится: плывут по Нилу на лодках музыканты, певцы, слышится быстрый гортанный говор толпы на берегу, звучат аплодисменты, перестук кастаньет <sup>2</sup>, звон браслетов,

---

<sup>1</sup> Как раз во время второго периода и случилась цепь очень неприятных для египтян событий, произошедших в результате дискуссий Моисея и упрямого фараона, отказывавшего израильскому народу в праве свободного передвижения. События, как известно, помимо прочих, включали: превращение воды Нила в кровь, нашествие жаб и целого ряда отвратительных насекомых и, наконец, смерть всех египетских первенцев.

<sup>2</sup> В египетских гробницах обнаружены деревянные кастаньеты, так что это — изобретение египтян.

смех. Медленно движется украшенная ладя с тронном под роскошным балдахинном, и восседает на нем божественно красивая женщина в очень узком красном платье — богиня Исида... В мистериях таких принимали участие и аристократы, и крестьяне — кто на стороне Осириса, кто на стороне Сета, на реке устраивалось потешное сражение и, наконец, усталые, довольные и мокрые египтяне расходились вечером по домам.

Древнеегипетские крестьяне были смуглыми и веселыми. Во время разлива Нила свободного времени у них была масса, и одни празднества сменялись другими. Селян окружала прекрасная природа, постоянно подпитывавшая воображение, так удивительно ли, что именно здесь такого уровня достигли прикладные искусства! Когда разливался Нил, казалось, что залит весь мир — словно острова в океане возвышались над водой города и деревни (все они строились на насыпных холмах). И делать народу было нечего — только сидеть и ждать, пока сойдет вода, и смотреть на небесный свод. Так попутно развивалась и наука астрономия.

А когда приходила пора сеять, даже за плугом и бороной ходить им было не нужно: просто разбрасывали по влажному илу семена пшеницы, ячменя, а потом прогоняли через поле стадо свиней, чтобы те втоптали семена в черный, жирный, теплый ил. Сами — только шли за стадом с хвостинкой, перебрасываясь шуточками.

Случались, правда, порой неурожаи, когда река приносила мало ила, но такое происходило редко.

И даже собственную смерть египтяне умудрялись праздновать. Для знатной семьи не было большего развлечения, чем пойти в выходной — посмотреть, как идет строительство семейной гробницы. Пока отец деловито

инструктировал строителей и художников, а дети мутузили друг друга, ссорясь, кому достанется более расписной саркофаг, мать, глядя на их возню, только счастливо улыбалась: загробное будущее обещало быть замечательным. И после смерти египтяне собирались попасть в места, которые напоминали бы родные города и деревни, только уже у Реки Мертвых. Их загробный мир был залит солнцем, по воде там тоже сновали суденышки с богами и приплывали в гости родные с подарками. Идиллия...

Хотя Геродот сообщает об одном будоражащем факте, который наводит на мысль, что идилическое египетское существование все-таки не обходилось без некоторых извращений: красивых умерших женщин, например, передавали бальзамировщикам только через несколько дней, когда тела были уже хорошо тронуты тлением — в целях предотвращения имевших место отдельных случаев... совокупления «представителей обрядового сервиса» с особо привлекательными покойницами. Но Геродот был чужестранцем, к тому же эллином, информацию эту (сам признавался) получил от каких-то жрецов, имен которых не привел. А может, жрецы эти были не всем в Египте довольны, тайно диссидентствовали, а грек и рад был очернить Египет? Неспроста ведь недолго любили в Египте чужаков...

Египтяне достигли своего идеала и менять ничего не хотели. От шумеров и вавилонян они знали, что на лошади или верблюде можно передвигаться верхом, но сами громоздиться им на спины не решались. Ни на фресках, ни среди росписей гробниц — ни одного египтянина на лошади. На осликах иногда ездили, когда очень уж уставали, но чтобы верхом на коня?! Помилуй, Амон-Ра, ни за что! Самое большее, на что их хватило, это запрячь лошадь в колесницу, да и то — только в стратегических целях. «Пращуры жили без этих глупостей, и мы проживем!»

Разливался Нил, оставляя в пойме плодородный ил и сочную зелень, приносили в храмах жертвы жрецы, перевозили по реке на крепких баржах статуи фараонов; в Фивах и Мемфисе скрипели стилем в храмовых школах ученики писцов; в укромных местечках собиралась ночью на планерки «организованная преступность» — расхитители гробниц, бич всех фараонов и знати; маршировали на плацу рослые нубийские гвардейцы в форменных набедренных повязках. И работала в пирамидах и мастабах<sup>1</sup> знатных египтян, к будущему услаждению не только заказчиков, но и преступных сердец презренных расхитителей гробниц, многочисленная армия художников и скульпторов. Они или стучали молотками по бронзовым зубилам, или тихо рисовали яркими красками двухмерные, спокойные, чуждые мирских страстей образы. Художники следовали раз и навсегда установленным канонам: никакой перспективы, никакой трехмерности, все изображенные смотрят только в одну сторону и шагают в одном направлении. И — чтобы никакого реализма и никаких резких движений, и во всех красивых миндалевидных глазах — только покой и удовлетворенность. Менять что-либо в канонах было опасно, да никто об этом и не помышлял.

Именно в этой неизменности и крылся секрет египетского счастья. И оно тоже было неизменным. Пока не появился фараон-еретик Ахенатон (Эхнатон), попытавшийся расшатать устои. Само ненавистное имя его потом проклинали, и от него отказались даже родные дети. Однако именно в его правление небывало расцвело египетское искусство. А новая столица фараона, город Ахетатон («Горизонт Атона», современная Амарна), была до самого

---

<sup>1</sup> *Мастаба* — ступенчатая египетская гробница.

разрушения ее возмущенным народом прекраснейшим из городов, какие когда-либо видел мир.

Женой Ахенатона была царица Нефертити — Совершенная Женщина. И мы знаем ее благодаря художнику — скульптору Тутмесу...

### **«Счастливейшая и божественная царица»**

Тутмес был силен. Он ударил сына неожиданно, тот не посмел остановить его руки. Сын выпрямился с горящей щекой и поглядел на отца с ненавистью. И Тутмес сразу пожалел о том, что сделал.

В углу мастерской валялась искусно сделанная статуэтка — колесница. Колесницей правила обезьяна — в короне Верхнего и Нижнего Царств. И рядом стояла другая обезьянка, поменьше, с женской грудью.

Тутмес немного успокоился. И сказал примирительно:

— То что ты изваял — оскорбление фараона и преступление; твоё счастье, что её нашел я. Сработано хорошо, обезьяны твои — как живые, но не трать талант попусту...

В стране Кемет<sup>1</sup> больше не казнили с пролитием крови, вместо этого преступников опускали на деревянных платформах в каменные колодцы, которые закрывали крышкой, и преступники умирали там от тишины, одиночества, истощения и безумия. Потом платформу поднимали, убирали останки, окатывали нильской водой пропитанные мочой, экскрементами и смертью доски и сажали на них следующего несчастного.

---

<sup>1</sup> Одно из названий Древнего Египта. Дословно — «Черная», что происходит от цвета плодородного ила.

Сын молчал. Щека пылала. На полу в известняковой пыли валялись рассыпанные финики из опрокинутой тарелки. Тутмес понял, что сейчас обрел врага.

— Это то, что я вижу,— тихо произнес сын.— Ты сам говорил, что художник должен изображать вещи такими, какими их видит. Вот я и вижу их обезьянами.

— Мир держится на почитании фараона. Нефертити и Ахенатон дали нам все, что мы имеем.

— Вот оно что... Я-то думал, что ты просто слепец и не замечаешь ничего, кроме своих скульптур... А ты — продался. Я решил уйти от тебя, уйти из дома.

Тутмес молчал в глубокой задумчивости, а сын запальчиво продолжал:

— Как ты можешь?! Ты что, забыл? Племена хабри напали на наши земли с востока, и все знают, что наши военачальники молили о подкреплении, а что ответил он? Он послал им молитву богу Атону о том, что проливать кровь — противно человеческой природе! И войско было уничтожено. Наше войско! Только неожиданная смерть предводителя хабри спасла страну от полного завоевания. Племена из страны Асур<sup>1</sup> могут снова напасть в любой момент. И мы не можем даже защитить себя.

— Не нам судить фараонов и военачальников. Они делают свое дело, а наше дело — работать зубилом.

— Я уйду из твоего дома, отец. Я не хочу делать скульптуры для *них*. После смерти матери меня ничто здесь не держит, и я не хочу здесь оставаться, когда в твоей мастерской на меня смотрят *ее* глаза.— Он гневно метнул взгляд в угол. Там стояла на подставке каменная раскрашенная женская голова. И ее губы чуть улыбались. Царственный изгиб шеи, синий головной убор главной

---

<sup>1</sup> Совр. Сирия.

## ЕГИПЕТ: ЦАРСТВО БЛАГОСЛОВЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

жены фараона... Казалось, она прекрасно слышит их разговор и именно потому улыбается.

— Да, я говорю о тебе, проклятая обезьяна! — крикнул он каменной голове. — О тебе и твоём Ахенатоне, «Духе Атона», изменившем даже собственное имя, данное ему матерью!

Подросток уже кричал камню. Он был зол. Он ожидал, что отец будет просить его остаться. И его ранило, что Тутмес не стал этого делать.

Тутмесу захотелось еще раз хлестнуть его по щеке, чтобы остановить эту истерику. Но он сдержался.



Знаменитый бюст Нефертити скульптора Тутмеса

— Сын, прошу тебя, замолчи,— сказал он тихо.— Откуда у тебя все это? Тебя покарает Атон...

Подросток зло расхохотался:

— Как может покарать меня тот, кого нет?! Ты видел хоть одну его статую? Ах, изображать бога запрещено! Значит, ошибались все наши почитаемые предки. Ты хоть раз сам возносил молитву этому неведомому Атону, был хоть раз в его храме? Нет, обращаться к Атону может только семья фараона! А остальные египтяне должны молиться только самой этой семье. Больше нет храмов, кроме храмов Атона. И по улице нельзя пройти, не наткнувшись на бывших жрецов бога Амона-Ра — они просят подаяния, а священные жертвенные быки умирают от старости, потому что в храмах запрещено любое пролитие крови, в жертву — только дары земли! Я не боюсь гнева бога, который удовлетворяется горсткой гниющих на жертвенике гранатов и фиников! И теперь, из-за этой обезьяны, моя мать никогда не попадет в Поля Иару <sup>1</sup>, потому что сохранять тело теперь тоже запрещено! На улицах рядом со жрецами просят подаяния уважаемые бальзамировщики из Города Мертвых. Разве ты не видишь, что творится вокруг? Все мы после смерти превратимся в гнилые финики!

Тутмес молчал, и это еще больше распалило сына.

— Любой мальчишка в школе писцов знает: если не бьешь ты, то бьют тебя! А ты... Ты никогда не любил мать. Она умирала, а ты вял *эту*, день и ночь. Даже не был у постели матери, когда ее Ка <sup>2</sup> вернулась в нее, а проводил все ночи здесь, с *этой*!

Отцу нечего было ответить.

---

<sup>1</sup> Поля Иару — рай у древних египтян.

<sup>2</sup> Ка — вечная душа египтянина, покидает тело в момент рождения и возвращается в момент смерти.



— Ты — быстро забыл мать. Тебе вообще никто не нужен. Никто!

Сын замолчал.

Мгновение Тутмес боролся с желанием обнять его — в сущности, совсем мальчишку — взъерошенного, с горячей щекой, попросить у него прощения. Он тогда и вправду, словно одержимый приказом царицы Нефертити, совсем забывал о больной жене. Иногда, откладывая молоток, он слышал ее доносившийся до мастерской надрывной кашель, но она болела давно, и он привык к нему, как привыкают к скрипу двери.

— Я ухожу от тебя, — повторил сын.

— Куда же ты пойдешь, глупый?

— В *Нут-Амон*<sup>1</sup>, настоящую столицу. К Хабрамону, он звал меня в свой последний приезд к нам. Ахетатон — проклятый город. Хабрамон прав. Отсюда надо бежать.

Еще в начале тирад сына Тутмес понял, откуда ветер дует. Его брат Хабрамон был в Нут-Амоне жрецом храма Осириса, и теперь храм закрыли и осквернили, превратив в хранилище зерна и плодов. Хабрамон приезжал в новую столицу Ахетатон, чтобы найти источник дохода, достойный своего прежнего статуса. Хабрамон знал, что Тутмес получает от семьи фараона много заказов, процветает. Бывший жрец имел преувеличенное представление о влиянии брата при дворе фараона и надеялся на его содействие. С Хабрамоном приезжала его прелестная дочь Тэя. Но Тутмес мог предложить брату только место помощника в своей мастерской — готовить камни, точить зубила. Расстались они враждебно. Хабрамон уехал возмущенный, даже не попрощавшись.

Приезд брата пришелся как раз на время, когда Тутмес был весь поглощен выполнением заказа Нефертити. Даже

---

<sup>1</sup> *Нут-Амон* — древнеегипетское название Фив.

ел в мастерской. Теперь он понимал, что в словах сына есть доля истины. Действительно, жизнь в стране стала другой, непривычной. И люди не понимали, зачем нужно что-то менять, зачем нужен этот «единый истинный» Атон, когда был же Амон-Ра, прежний бог солнца. Старым богам продолжали молиться тайно, приносили жертвы — так, чтобы никто не знал, и просили у них прощения за то, что происходит в стране. Но так сильна была покорность фараону, вера в необходимость повиноваться ему, что люди старались притвориться верующими в странный диск — Атона, который был раньше только одной из сущностей бога солнца Ра.

Порой Тутмес вспоминал, как, еще подмастерьем, он проводил целые дни, рисуя тысячи и тысячи совершенно одинаковых воинов армии фараона, застывших в одной и той же позе — когда впервые ему пришлось ваять Амонхотепа III, отца Ахенатона, и Тэю, его «мудрую и божественную» мать, он сначала обрадовался, а потом понял, что радовался преждевременно. В этих изображениях все было рассчитано до мелочей: ему принесли специальное руководство, перечисляющие размеры изображений — их ушей, рук, ног, величины голов «высочайших статуй». Тутмес чувствовал себя ремесленником. Не художником, а чем-то вроде гончара — горшки большие, средние, маленькие, высокие, низкие... Лицо фараона не должно было походить на его настоящее лицо, требовалось обобщенное изображение, вселяющее в подданных сознание собственного ничтожества. Взгляд фараона должен быть обращен в вечность, и поза его — всегда одна и та же, — выражать только покой и ничего более.

При Ахенатоне все изменилось. Людей стало можно изображать такими, какими они были на самом деле. Новому фараону нравились работы Тутмеса именно за то, что статуи у него получались словно живые. Многие

## ЕГИПЕТ: ЦАРСТВО БЛАГОСЛОВЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

скульпторы и художники теперь старались работать в этой же манере, но лучшим все равно оставался Тутмес.

Во время приезда Хабрамона сын много времени проводил с ним и его дочерью. А после их отъезда озлобился, ошетинился, стал дерзок, невыносим. Тутмес даже почувствовал теперь облегчение — от того, что не надо будет больше жить с ним под одной крышей. Мысль, что сын чувствует себя ближе к Хабрамону, чем к нему, отцу, больно резанула, но быстро ушла, оставив саднящий порез. Погруженный в воспоминания, скульптор не заметил, как сын плюнул в каменную пыль на полу и вышел из мастерской.

А еще Тутмес подумал, что сын вскипел бы еще больше, узнав, что голову царицы отец давно закончил и отдал во дворец, а в мастерской стоит копия, сделанная им *для себя*. Слишком прекрасной и живой была эта каменная женщина, чтобы отпустить ее навсегда. Именно ее и ваял он, когда умирала жена.

Тутмес подошел к каменной Нефертити, провел рукой по ее лицу, приблизил к нему свое. Глаза царицы, полуприкрытые, словно в момент страсти, манили как живые. И Тутмес прижался вдруг губами к каменным, чуть припухлым, таким живым губам своего творения. Он понял, что сумел создать Женщину и Божество в одном образе. И понял, что сошел с ума.

Он вышел на воздух. В большом саду уже становилось темно, цикады смолкли.

Вдруг послышались тихие голоса.

Разговаривали его сын и служанка, молодая разбитная миттанейка Аихеппа. У нее была огромная грудь, как у многих женщин ее племени; считалось, что нет лучших кормилиц. Этот народ погнало с севера воинственное племя хабри. Раньше фараон защищал своих союзников, но теперь все изменилось.

Сын со служанкой сидели, обнявшись, на траве у воды, за кустами вербены. Время от времени в их голоса врывался крик далекой ночной птицы.

— Скажи, ты спала с моим отцом?

— Может, и спала, тебе-то что? Я не рабыня, я сама себе хозяйка.

— Ну ладно, какая разница... Я навсегда уезжаю в Нут-Амон. У меня там друзья, которым тоже не нравится то, что эти обезьяны сделали с нашей страной. Нас поддерживают жрецы Амона-Ра. Ведь, когда закрыли его храмы, они потеряли всё. Ты придешь в мою постель в последний раз?

— Чего я там не видала! А как же твоя прелестная сестренка, от которой ты без ума?

— Сравниваешь ее, воплощение Исиды, с такой сисястой миттанийской шлюшкой, как ты сама?

Аихеппа фыркнула, потом спросила:

— А что говорит о твоих задумках отец?

— Я ненавижу его так же, как фараона, а может, еще сильнее. Пусть хоть убьет меня. Он совсем сошел с ума. Как будто я не знаю, что он сделал вторую голову той шлюхи для себя!

Аихеппа засмеялась:

— Все-то у тебя шлюхи! Но я вот что тебе скажу: скоро только статуя от этой красавицы и останется. У меня подружка есть во дворце, тоже миттанийка, в услужении у Тадухеппы, одной из младших жен фараона, так вот она рассказала...

— Развелось вас, миттанийцев, что водяных крыс! И что она тебе рассказала?..

— Страна ваша — богатая, от вас не убудет. Ну так вот, кончилась у Ахенатона с первой царицей любовь. Сам знаешь: сколько лет, а она все одних дочерей рождает. Уже шесть. С червоточинкой красавица-то. А в опочивальне

## ЕГИПЕТ: ЦАРСТВО БЛАГОСЛОВЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

теперь в царицах другая его жена — Тадухеппа, тоже наша кровь, митганийская. И уже — беременная. Уж эта ему точно сына родит.

— Так придешь ко мне?

— Нет, не приду. На Реке <sup>1</sup> сегодня ночью весело будет.— Она понизила голос: — За городом в одной укромной излучине жрецы будут тайно праздновать воскрешение Осириса. Прямо под носом у жрецов нового бога! Разлив ведь скоро. Смотри, Звезда Собаки уже взошла <sup>2</sup>. Все боятся, что Река опять не принесет ила и не будет урожая, тогда — опять хлеба будет мало. И парни придут на праздник — не тебе чета. Повеселюсь.

Тутмес вдруг почувствовал озноб. Он вернулся в дом и попросил служанку принести вина.

\* \* \*

...Нефертити еще не проснулась, но уже поняла, что этот проклятый сон — вещий.

Ей снилось, что она родила наконец сына. И все кричат: «Мальчик! Царица родила мальчика!» Она с замиранием спрашивает: «Правда? У меня... сын?» — «Сын! Сын, божественная царица!» И запеленатого ребенка уже подают Ахенатону. Она смотрит на лицо фараона, ожидая восторга. Но в его глазах — растерянность и ужас! Она сама берет на руки ребенка и... из свертка на нее смотрит уродливая, кривляющаяся обезьянья мордочка. Точно такая, какую она видела однажды, когда группу бродячих чернокожих шутов с верховьев Реки привели во дворец развлекать их семью. Вдруг обезьяна выпрастывает кро-

---

<sup>1</sup> Египтяне называли Нил просто Рекой или Великой Рекой.

<sup>2</sup> Сириус. Его восход предвещал разлив и праздновался как начало нового года.

шечную черную ручку с острыми когтями и, отвратительно вереща, начинает царапать ей лицо. Но она не чувствует боли, а на лице остаются не царапины, а морщины. Она смотрит на окружающих, и те вдруг начинают отдаляться. А Ахенатон смотрит на нее с невыразимым отвращением. И вдруг она видит свое отражение в большом серебряном зеркале на стене. И не сразу понимает, что это — она. Что это — ее отражение: подобное высохшей мумии, черное, само похожее чем-то на обезьяну. Это — она, земная богиня Нефертити...

Нефертити села на постели, отбросив покров из тончайшего льна, теперь смятый и потный (последнее время она совершенно не переносила жары и сильно потела), и увидела, что солнце — уже высоко. За много лет она ни



Фараон Ахенатон и царица Нефертити с дочерьми.  
Древнеегипетское изображение

## ЕГИПЕТ: ЦАРСТВО БЛАГОСЛОВЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

разу еще не проспала восход солнца, священное время для вознесения молитвы Атону. И муж не прислал за ней. Еще один дурной знак. Значит, Нефертити больше — не Божественная Жена <sup>1</sup>... Встав с постели, она подошла к огромному серебряному зеркалу на стене. Оно жестоко отразило раздавшиеся бедра, слегка отвислый после шести родов живот, ляжки, как у откормленной цесарки. И лицо. Отяжелевшее, «поплывшее», с очертаниями, потерявшими четкость, выразительность — припухлости старости в углах рта, мешки под глазами... Даже шея стала короче. В последнее время она нанимала лучших умелиц, чтобы смешивали ей самые дорогие мази и притирания — из толченой скорлупы крокодильих яиц, масла кокосовых орехов и плаценты редчайших антилоп из верховьев Реки в Черной Африке. Но не помогало ничего. Боги умирают, не покрываясь морщинами. Значит, всё — обман. Она никогда не была богиней. Может быть, это потому, что она никогда не верила по-настоящему в Атона — Бога Единственного, Праведного и Лучезарного?

Из окна спальни, как на ладони, виден был священный и прекрасный город Ахетатон. Еще двадцать лет назад здесь была пустошь, а сейчас поднялись дворцы, облицованные белоснежным полированным известняком, храмы теплого, желтоватого цвета со стенами, покрытыми прекрасными росписями. Высились вековые пальмы, перенесенные сюда из оазисов, — некогда было ждать, пока вырастут посаженные вновь. Ахенатон хотел создать город-рай во славу Атона незамедлительно, теперь же. И он создал его.

Нефертити родила фараону шесть дочерей. И с рождением каждой дочери она видела, как мрачнее и мрачнее становится муж. Кто будет воплощением Атона после него?

---

<sup>1</sup> *Божественная Жена* — официальный титул супруги фараона.

С этим фараон смириться не мог. Он посвятил свою жизнь Атону. Бог был для него более важен, чем его семья, чем вся страна, чем даже его жизнь.

Еще дед его Тутмос заронил первые зерна этой странной сумасшедшей идеи — о мире, в котором не будет крови, войн, насилия и зла, в котором племена перестанут ненавидеть друг друга и примут друг друга как братьев, молясь единому богу, дающему жизнь всему живущему — богу нового мира, в котором будут жить мудрые и добрые люди. И кто теперь как не он, владыка Верхнего и Нижнего Царств, правитель самого древнего и могущественного народа, может претворить эту великую идею в жизнь? Для этого нужно только, чтобы люди прониклись новой идеей, перестали поклоняться каменным и нарисованным идолам рек, урожая, небес, а стали бы поклоняться ему и его Божественной Жене, которую он избрал, а они-то вдвоем уж сделают все, чтобы Атон осенял их владения своим благословением всегда. Для этого нужны начала мужское и женское. Но мужское Божественное Начало более важно, ибо без него женское начало останется пустым и продолжение всего живого станет невозможно.

Последние годы Нефертити все явственнее понимала, что почитание единого бога сделало фараона одержимым. Если бы она знала слово «фанатик», она употребила бы его, но этого слова не было в ее языке, так как не было еще в нем и устоявшегося понятия единственно истинного бога, без которого не бывает и фанатиков.

Везде теперь красовался солнечный диск, протягивающий лучи-руки к изображению семьи Ахенатона. Изображения прежних богов уничтожались. Ахенатон приказал уничтожить изображения даже Амона-Ра, Осириса и Исида, сколоть со всех надписей часть священного име-



## ЕГИПЕТ: ЦАРСТВО БЛАГОСЛОВЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

ни даже собственного отца, фараона Амонхотепа, чтобы и упоминания Амона не осталось нигде. Ему было уже неважно, что этим он обрекает отца на жалкое прозябание в загробном мире, ибо имя — свяшенно, и, если хотя бы часть его нарушена, душу будет вечно жевать огромными желтыми зубами страшный Пожиратель — полулев-полугиппопотам. Все дни фараон проводил в храме своего бога — в святая святых, куда не мог быть допущен никто, кроме него, Нефертити и их дочерей.

Не стало прежних привычных праздников. Разрушались заброшенные храмы. Толпами пробирались везде оставшиеся не у дел жрецы развенчанных богов — Ахенатон резонно счел, что жрецы сосредоточили в своих руках слишком большую власть и богатства, и без колебаний отнял у них и то и другое.

А Нефертити теперь ненавидела свое тело, с каждым днем все больше терявшее признаки божественности. Не иначе, лежит на ней проклятие за недостаток веры в Атона: столько лет не родить мужу сына! И проклятие — не только на ней, оно лежит и на ее дочерях: Ахенатон, отчаявшись, сам взял в жены их дочь Меритатон и попытался зачать наследника с собственной дочерью, но тщетно. Нефертити знала, что так нужно, что это необходимо, но в такие ночи приказывала воскуривать дым сжигаемых семян Черного цветка, который растет только в истоках Реки, — этот дым сводит людей с ума, если вдыхать его слишком много. Если же немного — он просто прекращает всякие мысли. И хорошие, и тяжкие...

Словно в насмешку, у дочери тоже родилась девочка. Честолюбивая Меритатон страстно хотела стать Божественной Женой вместо матери, но после рождения девочки Ахенатон просто перестал считать ее супругой, и она опять стала только его дочерью. А Меритатон с тех пор почему-то винила во всем Нефертити и как-то раз бросила

матери в лицо страшные слова ненависти, которые были словно прорвавшийся гноем нарыв.

Нефертити видела и другие сны — в них прекрасная столица Ахетатон лежала в руинах. И просыпалась она одна — на одинокой теперь постели во дворце Мару-Атон. Этот дворец фараон построил для нее, когда-то Божественной Жены, а теперь — брошенной стареющей женщины. Теперь с ее мужем спит молодая ширококостная миттанийка с упругим телом, которая, говорят, уже понесла. Новая наложница в постели мужа — это много раз бывало и раньше, но все его египетские наложницы рожали одних только девочек. И ни одна из них не была для Нефертити угрозой — пока все молитвы в храме Атона она и муж совершали вместе.

Ужас от того, что все кончено, она пережила не тогда, когда муж не пришел к ней ночью, оставшись с миттанийкой. Настоящий ужас облил ее жаром именно в то утро, когда Ахенатон впервые не прислал за ней жрецов на ежедневную совместную молитву Восходу солнца. Не прислал он их и на следующий день и не прислал больше никогда. Она пришла к нему сама. Нефертити смотрела на ласковое, нежное лицо мужа, на чувственные губы, ямочку на подбородке — все такое знакомое, родное. Он подошел к ней, обнял, она рванулась к нему всем своим существом, а он поцеловал сочувственным, дружеским поцелуем и почтительно отстранил. А когда она недоуменно спросила, что происходит, он ласково попросил ее уйти и отныне молиться Атону в своих покоях.

Теперь ей казалось, что даже рабыни относятся к ней с почтительным злорадством. Со стороны все выглядело как всегда, но она знала, что все — изменилось. Дочери ее не посещали. Да особенной близости с ними у нее никогда и не было. Они стали вечным напоминанием, что даже последняя крестьянка или рабыня, способ-

## ЕГИПЕТ: ЦАРСТВО БЛАГОСЛОВЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

ная рожать сыновей, состоятельнее Божественной Нефертити.

Из всех своих дочерей она сразу полюбила только одну, Макетатон. Дочь умерла одной страшной ночью, не дожив даже до восьмого в своей жизни разлива Реки. Ее тело покрыли нарывы, она металась в жару и молила мать о помощи. Тогда Нефертити, просидев у ее постели без сна несколько ночей, впервые почувствовала бессилие и усомнилась в своей божественной природе и в милостивом боге Атоне.

Как скорбел тогда вместе с нею муж, какими родными и близкими стали они во время этой скорби! Однако Ахенатон отказывался удовлетворить ее самую слезную просьбу — забальзамировать дочь. Он просто посадил тогда жену перед собой, взял за руки и сказал: «Из Полей Иару не возвращался еще никто. Потому что никто там и не был. Это — глупые, отжившие предрассудки. Нам не нужно набивать тело соломой, а потом покрывать смолой дерева *бакк*, чтобы в тело вернулась душа. И Атон позаботится о душе того, кто никогда не сомневался в нем. Поверь мне».

А она больше ему не верила. Но молчала. И плакала, и жадно вдыхала черный дурманящий дым курений. Она писала на стенах своих покоев имя Макетатон и прикрывала написанное занавесями, чтобы не видел никто. Ибо имя произнесенное или написанное имеет огромную силу и будет услышано богами — так учили ее в детстве. Но ведь ее тело тоже истлеет, Ахенатон никогда не позволит себе отступить от принципов. Значит, не остается никакой надежды на встречу с дочерью в загробном мире. Нефертити перестала тогда есть и выходить из своих покоев. И обеспокоенный фараон все-таки приказал забальзамировать тело дочери. Боль в душе немного утихла. Но каким же образом ей самой остаться в вечности и встретиться с

дочерью в Полях Иару. Как? Это мучило ее. И вдруг однажды осенило: вечность ей может дать ее изображение, как можно более близкое к реальности. А лучший ее портрет создал скульптор... Как его имя?

Она заглянула за колонну из слоновой кости, на которой стоял ее бюст. На камне было нацарапано: «Нефертити». И ниже, очень мелко — «Тутмес». Да. Теперь он должен изваять ее целиком.

Тутмес получил приказ явиться во дворец Мару-Атон.

\* \* \*

... Знаком царица отпустила служанок:

— Подойди ко мне.

Он подошел. Ее веки были тяжелы от малахитовой туши.

— Скажи мне, веришь ли ты в Единого Истинного Бога Атона, мастер? — почему-то спросила она.

Тутмес молчал.

— Ты должен отвечать прямо и честно то, что думаешь, а не то, что хочется слышать Нам...

В полупоклоне, опустив, как предписывалось по этикету, взгляд к инкрустированному золотыми дисками белому мраморному полу, он заговорил:

— О Божественная, я верю в то, что мир не ограничен городами и деревнями по берегам Реки. Есть другие племена и другая жизнь. Среди нас теперь живут критяне, миттанийцы, о которых раньше никто и не слыхал. Меняются обычаи, меняется мир. Если мы будем меняться вместе с ним, Египет тоже будет продолжаться. Атон — бог нового, будущего мира. Я верю, что приход этого мира не сможет остановить никто.

— Ты думаешь, в новом мире не будет крови?

— Возможно ли без крови и боли даже рождение ребенка?

## ЕГИПЕТ: ЦАРСТВО БЛАГОСЛОВЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

— Ты умеешь мыслить. Но ты не веришь в Единственного и Истинного Бога.

— Я...

— Молчи. Нам обоим известен ответ, не укутывай его в лишние слова. Веришь ли ты в Нашу божественную природу?

— Я боготворю Твою Божественную природу, царица.

— Подними глаза!

Он повиновался.

Она поднялась из массивного мраморного кресла и застыла, прямая, как копьё. Встала так, что окно оказалось позади нее. Неуловимым движением расстегнула золотые застёжки белого платья, и оно упало на пол. Совершенно обнаженная, царица стояла перед Тутмесом, чуть приподняв подбородок.

Она ожидала его реакции. Если взгляд этого умного и талантливого человека наполнится восторгом и благоговением, значит, она Божественна несмотря ни на что. Если же нет...

Она смотрела в его глаза и ждала. Наконец сказала:

— Подойди! Я хочу, чтобы ты запомнил меня и изваял такой, какой видишь.

Тутмес подошел. Она стояла неподвижно, только напруглась ее маленькая грудь.

Это продолжалось всего несколько мгновений, но Нефертити показалось, что она прочитала в глазах скульптора ответ на свой вопрос. Хотя уверена все равно не была.

— Теперь — уходи.

Не отрывая глаз от женщины, пятясь, Тутмес приближался к выходу.

Последнее, что он услышал уже за порогом, это то, как Нефертити хлопнула в ладоши, зовя служанок.

Придя домой, он не нашел сына. Тот был уже на пути в Нут-Амон.

Аихеппа томно готовила трапезу. Тутмес смотрел, как она наклоняется, ставя кушанья на низкий столик, как натягивается синяя туника на сосках ее необъятных грудей.

Он набросился на нее как голодный зверь. Столик с кушаньями перевернулся, бронзовые блюда загремели на каменном полу. Аихеппа была удивлена неожиданной страстью хозяина — обычно он редко ее замечал.

\* \* \*

Река уже вышла из берегов и стала опадать, а Тутмес не оставлял своей мастерской. Несколько раз он разбивал почти готовую статую и начинал снова. Ничего не полу-

чалось. Божественное и человеческое отказывались сливаться в едином образе.

Тогда, во дворце, он не увидел в обнажившейся перед ним царице Божества, которое видел в ней раньше. Он увидел стареющее, хотя и все еще красивое тело много рожавшей женщины. И ее покрытое толстым слоем пудры лицо выдавало страх перед неизбежным увяданием.

Теперь он страдал. Он старался изваять Божество, ведь этого ожидала *царица*, а руки его, словно не повинуюсь воле разума, высекали *женщину*.



Статуя Нефертити  
скульптора Тутмеса

И, от отчаяния уже почти обезумев, Тутмес всем сердцем своим понял, что всегда любил ее. Любил и любит — и еще сильнее! — такой вот стареющей и оттого ставшей вдруг земной и понятной. Он закончил работу. И, взглянув на статую, вдруг испугался дня, когда царица придет за нею и ей откроется страшная для нее правда.

Измученный своими терзаниями, Тутмес лег спать. И умир. Спокойно. Во сне.

А на следующий день миттанийка Тадухеппа родила Ахенатону долгожданного мальчика.

Нефертити смотрела сверху на ликование столицы. К вечеру ей доложили, что доставлен ее заказ от скульптора. И когда ее двойника освободили из льняных пелен, Нефертити увидела, что получила от мертвого уже мастера ответ на свой главный вопрос. На мгновение она замерла. Попросила удостовериться, что на камне высечено действительно ее имя. Это немедленно подтвердили. Тогда царица приказала убрать из своих покоев все зеркала и удалилась. Больше она никуда не выходила, и яства, что приносили ей, оставались нетронутыми. А потом, по ее просьбе, еду перестали приносить вообще.

...Дни шли, и ей стало очень хорошо: есть не хотелось, боль ушла. Ее тело словно стало легче пуха, она чувствовала себя божественно бесплотной. И у нее не было больше никаких желаний. Кроме одного — увидеть Макетатон.

И однажды утром она увидела: дочь весело вбегает в ее залитые светом покои!

Нефертити почувствовала прилив сил и села на кровати: ведь она всегда знала, знала, что увидит ее опять! И обе они рассмеялись от счастья.

Служанки застыли в ужасе, услышав из покоев Нефертити одинокий, призрачный, нечеловеческий смех.

Маленькая умница Макетатон легко взяла ее своей ручонкой за пальцы, помогла подняться и потянула за собой — туда, в пространство, залитое солнечными лучами. И Нефертити радостно пошла за ней — действительно чувствуя себя Божественной и Счастливейшей.

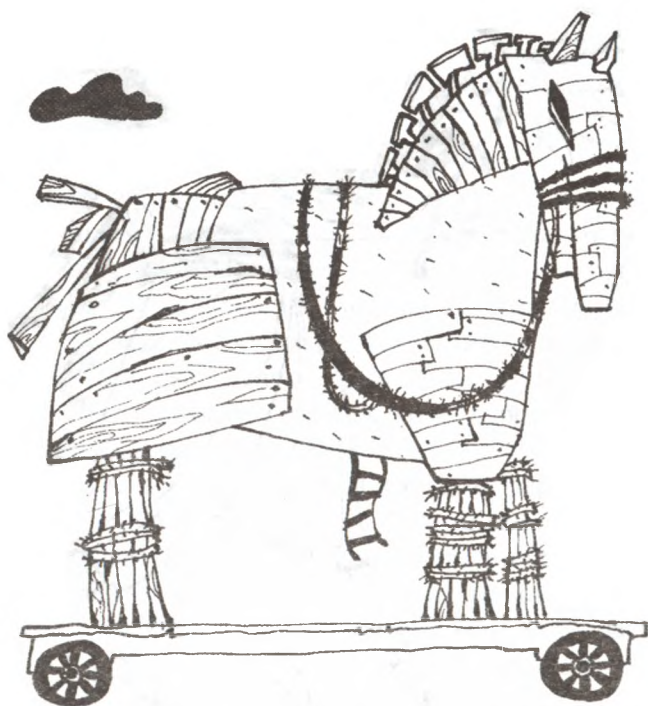
*Всего через несколько лет фараона Ахенатона найдут в его дворце мертвым, и смерть эта очень многим покажется странной. Но доискиваться истины не станут. Фараона забальзамируют и похоронят с большими почестями и тщательным соблюдением всех старых обычаев.*

*С ним умрет и культ странного Единого и Истинного Бога Солнечных Лучей с его запретом на пролитие крови и провозглашением всеобщего братства мудрых и добрых людей. Родившийся от миттанйи мальчик изменит имя Тутанхатон, данное ему отцом, на Тутанхамон — во славу старого бога Амона, восстановит храмы Осириса, Тота, Птаха, Исиды, Амона-Ра, вернет и всех остальных близких египтянам богов и прикажет уничтожить все надписи с именем отца. Этот приказ с удовольствием исполнят. В Фивах, Абидосе и других городах продолжатся праздники Осириса, жертвоприношения «чистых», украшенных цветами быков. Вечность и неизменность, казалось, вновь, вернуться на берега Реки.*

*Но начнется-таки Время Перемен — начало заката старой, жившей своей замкнутой и счастливой жизнью страны Кемет. Вторжения кочевников, бунты рабов, наводнения, неурожай. Великолепные столицы занесет неумолимый песок, и останутся только огромные разрушающиеся пирамиды в выжженной желтой пустыне и истлевшие в погребениях мумии. И — живое, прекрасное изображение женщины с чуть прикрытыми, словно в страсти, глазами. Творение безумного Тутмеса, подарившего смертной — бессмертие.*



**ТРОЯ:  
ВЕЛИКАЯ И СТРАННАЯ ВОЙНА**





*Мы, оглядываясь, видим лишь руины.  
Взгляд, конечно, варварский, но верный.  
И. Бродский*

«...Мудрым является тот, кто не заботится о похищенных женщинах. Ясно ведь, что женщин не похитили бы, если бы те сами того не захотели. По словам персов, жители Азии вовсе не обращают внимания на похищение женщин, эллины же, напротив, ради женщины из Лакедемона собрали огромное войско, затем переправились в Азию и сокрушили державу Приама» <sup>1</sup>.

Так, вполне ясно, высказался когда-то Первый историк. И мыслил он весьма резонно. Ведь поведи себя эллины подобно персам, плюнь они на похищенную жену Менелая — и не было бы той странной, кровавой, глупой и прекрасной Троянской войны, не было бы гомеровских «Илиады» и «Одиссеи», тысячелетиями цитируемых, изучаемых, представляемых, пародируемых, так что, странное дело, но и сегодня живет троянская легенда и обрастает все новыми подробностями.

Да. То, что предприняли тогда эллины, не перестает изумлять даже самую воинственно настроенную публику

---

<sup>1</sup> Геродот, «История». Книга первая «Клио».

и сегодня. Из-за похищенной — правда, весьма привлекательной — жены спартанского правителя собирается вдруг многотысячное войско, несколько лет строится и оснащается тысяча огромных боевых галер, и эллины (они же ахейцы, они же данайцы) осаждают «крепкостенную Трои». И длится эта осада не месяц, не два, а десять долгих лет. В военные действия вовлекается вся Эллада, народы Малой Азии, а полагают, что и Финикии, и Месопотамии. Так «непропорциональная военная реакция» (по выражению современной прессы) переросла, по сути, в... *самую первую* мировую войну. Что же это за безумие накатило вдруг на гармоничных душой и телом греков из-за красавицы по имени Елена?

Долгое время думали, что все это — сказки, что слепой Гомер сочинял и пел по тавернам для заработка и развлечения тех слушателей, которые не могли позволить себе ходить по театрам. А потом нашелся энтузиаст, Генрих Шлиман (одни считают его удачливейшим археологом, другие — мошенником и авантюристом, третьи — всем вместе), и копал-копал, да и раскопал-таки на берегу Геллеспонта <sup>1</sup> развалины крепостных стен большого и богатого города, разрушенного страшной войной и пожаром. И, словно из рассыпанных кусочков мозики, сложилась вдруг картинка: ну точь-в-точь все, как описал Гомер. Все удивительно сходилось и тогда, когда Трои начали раскапывать уже по-настоящему, профессионально. Так и узнали, что величайшее произведение европейской литературы, диктантами из которого учителя

---

<sup>1</sup> Древнегреческое название Дарданелльского пролива. *Геллеспонт* — «Море Геллы». По преданию, царская дочь Гелла упала в это море, летя в Колхиду на необычном летательном средстве — волшебном золоторунном баране. Она и ее брат спасались от злой мачехи, а у Геллы над проливом, скорее всего, закружилась голова.

мучили еще Александра Македонского и Юлия Цезаря, было не досужей выдумкой слепого певца, а создавалось на основе событий реальных. Хотя какая разница? Раз читаем и верим, значит — было!

А ведь произведение это — более чем неподходящее для включения в список литературы, предназначенной юношеству. Сами посудите: человеческие жертвоприношения, пагубные страсти, воровство, предательство, сумасшедшая одержимость, культ силы и пропаганда весьма откровенно описанного насилия, в том числе и над женщинами. Особенно потрясает то, что творится по ходу повествования на божественном Олимпе: бабские, простите, склоки между богинями, угрозы расправы, жестокость и отрицание авторитета самого верховного бога Зевса. Интересно, а как чувствовали себя древние греки, зная, что в руках таких вот, извините, капризных и распущенных небожителей находятся их судьбы? Возможно, этим и объясняется их фатализм...

**Ах**, Троянская война! Неотразимо привлекательные доспехи, шлемы с конскими хвостами, стройные мужские ноги из-под боевых кожаных мини-юбок, «Гнев богиня воспой Ахиллеса, Пелеева сына»...

И вот уже тысячелетия не утихают споры: кем же она все-таки была — первопричина этой войны, Елена, женщина, из-за страсти к которой погибло столько людей и был разрушен могучий, богатый город.

Бездушной авантюристкой, погнавшей за красивым любовником и богатствами Трои и бросившей всё, даже малолетнюю дочь? Или было ей хоть какое-то оправдание?

Представьте, что садимся мы на теплых камнях троянских развалин на турецком теперь берегу.

Солнце только что село. Цикады верещат. Покой разлит в воздухе.

Готовы? Тогда я, певец, ударяю по струнам воображаемой кифары.

## **Яблоко раздора**

Троянской царице Гекубе, будущей матери Париса, во время беременности приснился однажды сон, что рождает она факел, который сожжет их город. Мальчик появился на свет хорошеньким и здоровым, но их полоумная старшенькая — Кассандра — задрожала, забилась вся и стала лопотать, что младенец погубит и всех их, и Троию. И это еще больше укрепило Гекубу в суеверных опасениях.

Кассандра была когда-то нормальной девицей, целомудренной и весьма красивой. Настолько красивой, что понравилась самому Аполлону. И настолько целомудренной, что на все попытки бога познакомиться с ней в более интимной обстановке отвечала вежливым, но решительным отказом. Распаленный ее сопротивлением Аполлон понял тогда, что ничего не получится, и от оскорбленного мужского самолюбия придумал довольно жестокую «божественную» месть. Он наделил Кассандру даром предвидения, но наказал ее при этом всеобщим недоверием ко всем ее пророчествам. И вот ходила Кассандра, отягощенная невыносимой тяжестью знания Будущего, потихоньку сходила от этого с ума и умоляла всех прислушаться. Но все — только отмахивались. Интересно, однако, что отец и мать ей насчет Париса поверили и, скрепя сердце, приказали рабам унести новорожденного на гору Иду и там оставить.

Тут-то все и начинается.

Мальчика находит пастух, жена которого как раз родила мертвого ребенка. У нее полно молока, и она вскармливает Париса. Хорошенький мальчик подрастает, усердно пасет коз, носится с собаками. И не подозревает, чей он на самом деле сын и какая уготована ему участь.

И вдруг в один жаркий полдень видит он под тенистой оливой трех высоких дам — в красивых тонких белых одеждах и явно не из здешних мест <sup>1</sup>.

И подзывают они его знаками. Ну, поначалу он струхнул, однако послушаться не посмел, ибо одна из них имела внушительные бицепсы и опиралась на копье. И протягивает ему та из них, что постарше, золотое яблоко, на котором какие-то непонятные знаки нацарапаны <sup>2</sup>, и просят они его ни с того ни с сего отдать это яблоко той, которая, с его точки зрения, самая из них привлекательная.

Надо отметить, что этот вопрос они уже задавали Зевсу, но даже главный бог Олимпа уклонился от прямого ответа, а яблока этого ужасного и касаться не стал! И то сказать, вопрос-то — опасный. Определять, кто же самая что ни на есть красавица — жена или одна из дочерей, даже Зевсу показалось делом слишком рискованным, потому Громовержец от этого чреватого крупными неприятностями суждения благоразумно уклонился. Может быть, сказав при этом что-нибудь вроде: «Да все вы красавицы, будет глупостями-то маяться, делом бы занялись!»

Тогда подкараулили они юного Париса, ничего пока не ведавшего об опасных противоречиях женской психики. И теперь за ответ на этот вопрос в ее пользу одна дама (та

---

<sup>1</sup> Это были три богини — Гера, жена Зевса, и его дочери Афина и Афродита.

<sup>2</sup> Слово на яблоке, что Парис не мог по неграмотности прочесть, было: *Καλλιστη* — «Прекраснейшей» (греч.).

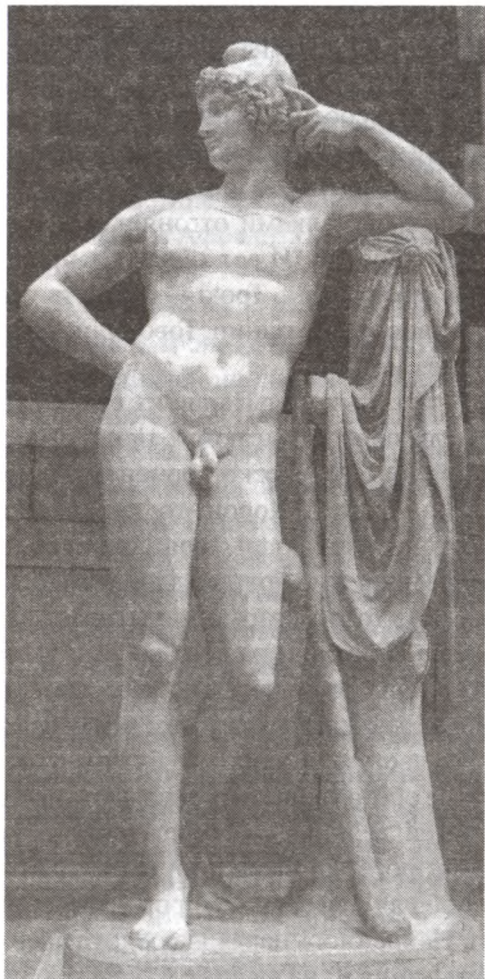
самая, серьезного вида, с копьем в руке) обещает ему мудрость и военную славу, другая (самая старшая, но все равно еще красивая) — власть над всем миром, а третья (и самая ничего себе, в тугом на округлой груди пеплосе) — сулит красивейшую на земле девчонку в жены и глазом подмигивает. И как же он им объяснит, что конкурс этот красоты — нечестный у них получается: ведь не самую красивую из них ему выбирать придется, а самое привлекательное из предложений!

Дамы впились в него глазами. А он давно уже понял, не маленький, что не простые это смертные. И не хочется ему ни одну из них обидеть, да и страшно — не знает, чего от них ожидать, особенно от той серьезной, с копьем. Но потом он решает: власть над миром и военная слава — и то и другое ему, пастуху, вроде как-то без надобности. Мудрость — скучно. А вот от девчонки он бы не отказался! Сжал он в руке золотое яблоко, аж ладонь вспотела. Парису — шестнадцать, и настоящей девчонки у него пока еще не было. Вот возьми он и протяни яблоко той симпатичной, что девчонку пообещала, да еще и самую красивую. Афродита, довольная, захохотала, а остальные дамы с вытянувшимися сразу лицами растворились в воздухе.

Можете представить себе состояние Геры и Афины! Какой-то глупый троянский мальчишка совершенно разрушил их уверенность в собственной внешности и поселил комплексы! А для дам любого возраста неуверенность в собственной привлекательности — это, простите, очень и очень серьезно. В общем, у этих двух оскорбленных богинь Олимпа складывается в головах такой силлогизм: Парис — обидел, Парис — троянец, следовательно, троянцам — не жить! Афродита же (сама, между прочим, тоже давно не ребенок, кое-какие едва заметные морщинки у глаз уже наметились!) нога на ногу пьет на Олимпе нектар и самодовольно вокруг поглядывает. И нарочито



громко смеется и отчаянно с мускулистыми богами кокетничает. А те и рады! Каково же Гере и Афине на эти ее выкрутасы смотреть?



Парис  
(Музей Метрополитен, Нью-Йорк)

Прошло несколько месяцев. Парис об этом случае в лесу уж и забыл давно, хотя девчонка кое-какая обнаружилась: потерял он невинность с юной лесной нимфой по имени Энона. Однако красавицей ее Парис никак бы не назвал, да и к тому же ее постоянный хохот по поводу и без повода вскоре стал его раздражать. Однако, коль обещали ему самую красивую на земле женщину, так он и ждет, а между тем особенно на эти мысли не отвлекается, занимается своими обычными делами (иначе от отца влетит) пастушеского сына: за стадом бегаёт, как и бегал, волков камнями да палками отгоняет, а в том процессе развивается физически. И вот однажды приходит он из своей горной деревушки в Трою — принять участие в каком-то спортивном состязании. Говорили, сам царь будет это состязание смотреть.

Сначала — бег. Выходит Парис на старт, занимает позицию. Зрители переглядываются, причем не только нетрадиционной древнегреческой ориентации, но и вполне традиционной — тоже: «Хорош-то как пастушок!» Посмотрели друг на друга и царь Трои Приам со царицей Гекубой: «Уж не наш ли, больно для пастушеского сына пригож?» — «Да что ты, старый,— вытирает наверху слезу мать Гекуба,— нашего-то сыночка уж давно волки съели, ведь ночи не сплю, все думаю: а ну как ошиблась Кассандрочка?» Но потом подзывают они юношу и его отца-пастуха, а старик — бух им в ноги, и выясняется, что все обстоятельства совпадают: найден голеньким, в хорошей пеленке, на горе Иде и тэдэ и тэпэ — «Прости, царь, рогатый Фавн попутал!».

Тут — всеобщая радость, о пророчестве никто и не вспоминает. Найденного царевича родители сразу отправляют принять ванну и, на свою беду, берут во дворец. Брат Гектор сразу начинает учить его вешам, необходимым для юноши благородного,— владению мечом, верховой езде,

стрельбе из лука. Ну, стрельба из лука — куда ни шло, он еще пастухом себе лук смастерил, чтобы волков отгонять, а вот к фехтованию у него — никакой склонности, да и доспехи нежные места натирают, жарко в них, неудобно. Конечно, Парис рад несказанно, что оказался царским сыном: во дворце хорошеньких девчонок-рабынь — видимо-невидимо. И все же ни одна из них не поражает до глубины души его требовательного воображения. Напротив, чем больше он с ними развлекается, тем больше не хватает ему высокой и светлой любви с поистине прекрасной партнершей. И досаждает он, что не спешит Афродита выполнять обещанное...

Могущественная Троя, где и развернулись дальнейшие события, находилась на самом западе современной Турции, на азиатском, естественно, берегу, а как раз напротив ее, в Элладе, был город Аргос. И правил там могущественный царь Агамемнон. Мужчина средних лет, сложен как бык — рослый, широкогрудый, голос громовой, затылок выразительный. И, как водится, привык он к беспрекословному повиновению окружающих, неважно, боги они там, герои или еще кто. Представления его о мире тоже были просты, как скобленный стол. Он просто хотел им править, и если уж не всем, то, на худой конец, хотя бы Элладой. Останавливаться, не достигнув желаемого, он не привык. И являлся этот грозный царь Агамемнон не кем иным, как мужем Клитемнестры (имена эпические, длинные и звучные!). Не иначе, в будничном, домашнем обиходе супруги адресовались друг к другу, используя некие укороченные версии имен — не повторять же их по нескольку раз в день полностью!

К счастью уж или наоборот, виделась Клитемнестра со своим Агамемноном отнюдь не часто: сколачивание империи требовало от мужа отлучек частых и долгих.

У брата его, Менелая, глобальное мышление было развито в гораздо меньшей степени, но оба они прославились как отличные бойцы, и связываться с ними мало кто в Элладе рисковал — себе дороже. Тем более что к Агамемнону слетались всякие искатели приключений и легкой наживы, из которых он сколотил себе немалое войско. Так что Агамемнон уже несколько лет только тем и занимался, что учил повиновению мелких окрестных царьков, и не без успеха. А к правителям посильнее применял более дипломатичные методы, привлекая их в союзники. В любви был прям, как древко копья, то есть понравилась хорошенькая пленная девица — разговор у него с нею короткий: умастилась чем боги послали, и в койку. При этом он полагал, что его труднопроизносимая жена Клитемнестра ни о чем не догадывалась. Закончится все это для него в итоге очень плохо. Но он об этом не думал.

А теперь представьте его реакцию, когда он узнает, что у брата похитил жену какой-то троянский недоделок. Так Аид<sup>1</sup> бы с ней, с братовой бабой, но тут вопрос, извините, агамемноновско-атридской<sup>2</sup> чести: «Сдается, он хотел нас обидеть!» Оставлять такое безнаказанным — не в характере грозного Агамемнона! У него глаза застилает красный туман, ноздри раздуваются, он взрывает копытом песок почище Минотавра и грозно мычит.

Как там все получилось с похищением Елены — не знает никто и никогда не узнает. Говорят, не обошлось без

---

<sup>1</sup> *Аид* — в древнегреческой мифологии одновременно и подземный мир мертвых, и его бог.

<sup>2</sup> *Атрид* — отец Агамемнона и Менелая, поэтому братьев называли Атриды. Так что полное имя грозного царя было бы примерно таким: «Агамемнон Атридович Аргосский» (так как резиденция его основная находилась в городе Аргосе). *Мемнон* значит «упорный», *Агамемнон* — «очень упорный», так что имя было у царя самое что ни на есть подходящее.

содействия богини любви Афродиты. Она, мол, поскольку обещала Парису, то и толкнула Елену в его объятия. И та, охваченная страстью к прелестному экзотическому принцу, начала совершать необдуманные поступки...

А началось все так.

Отправил троянский царь Приам своих сыновей Гектора и Париса для установления дипломатических отношений со спартанским царем Менелаем, братом могущественного Агамемнона. Менелай принял их радушно. Попировали, заключили ряд взаимовыгодных соглашений о сотрудничестве. А посреди пира Менелай получает вдруг известие, что на Крите скончался его горячо любимый дедушка Катрей, и потому отплыть надо срочно. Спартанский царь извиняется перед гостями, делает все необходимые распоряжения, чтобы проводили их достойно, снабдили достаточным количеством амфор со всякой снедью и питьевой водой, а затем сердечно прощается и отплывает сам.

И что же наши троянские «дипломаты»? Они тоже отплывают через пару дней. Но — захватив при этом прелестную жену гостеприимного царя. Автоматически разрывая тем самым все достигнутые со Спартой дипломатические отношения и договоры.

Кто-то говорит, что Елену обманули и действительно похитили самым коварным образом, и что она отбивалась и плакала, но они были сильнее. Однако лишь немногие этому верят: уж слишком хорош был влюбленный Парис, чтобы всерьез от такого отбиваться. В общем, версии самые разные. А один поэт, Стесихор, вообще договорился до того, что никто Елену не похищал, а перенесла ее Афродита в Египет, где Елена на протяжении всей Троянской войны честно дожидалась мужа, а в Трою та же богиня от-

правила с Парисом *призрак* Елены. Ну, такую совсем уж неправдоподобную версию мы принимать не будем. Потому что с этим Стесихором, говорят, вот как получилось: опубликовал он о Елене какую-то очередную бульварную гнусность и — вдруг ослеп. То есть еще утром все было хорошо, а к вечеру — натывается на углы и голосит от ужаса. А ночью является к нему во сне сама Елена и, укоризненно качая величественной прической, грустно так ему говорит: «Что ж ты, борзописец и подлец эдакий, пишешь обо мне всякие гадости? Неужели недостаточно меня в грязи вываливали, один Еврипид чего стоит, „Троянок“ настроил — клевета одна, а тут теперь и ты? Нехорошо. А я, между прочим, единственная дочка Зевса Громовержца <sup>1</sup>». Повинился Стесихор: «Прости, богиня, дурака старого! Не буду, не буду, никогда не буду!» — «Ну то-то же!» — якобы сказала ему Елена, и наутро он прозрел и написал приведенное выше опровержение. Ну, теория стесихоровская ни в какие троянские ворота не лезет уже потому, что Парис за десять лет жизни с Еленой как-нибудь, наверное, разобрался бы, с призраком он спит или нет.

Хотя и говорят, что именно вследствие Троянской войны французы и сложили поговорку «шерше ля фам» — «ищите женщину» (как первопричину любого конфликта), нам представляется это отражением галльского, излишне романтического представления о действительности. Надо отметить, что ходили упорные слухи: мол, Парис похитил не только Елену, но и большое количест-

---

<sup>1</sup> По преданию, матерью Елены была прекрасная Леда, которую в облике лебедя соблазнил сам Зевс (у Зевса от всех остальных его захватывающих романов с земными женщинами рождались только мальчики). По другой версии, Леда вообще снесла яйцо, из которого и вылупилась Елена. Но нам кажется, что тут греческое мифотворчество со своей птичьей метафорой зашло слишком далеко.

во принадлежавшего Менелаю имущества из спартанской казны. Об этом так прямо у Гомера и говорится, без всяких экивоков, хотя списка похищенных предметов наряду со списком кораблей слепой аэд не приводит, а жаль.

Интересно, что «дипломаты» троянские сразу домой не поплыли, а завернули сначала на остров Краная (где, как говорит легенда, Парис наконец-то добился своего от Елены), а потом отправились в финикийский Сидон и даже в Египет. Погоню, видать, со следа сбивали.

Как только дело это получило всеэлладскую огласку, в Трою отправляется делегация. Во главе с Менелаем и «хитроумным» Одиссеем — с призывом к троянской царствующей фамилии вернуть все украденное законному владельцу, который уже едва себя сдерживает. Неужели



Менелай

Менелай действительно надеялся, что Парис ему Елену и имущество отдаст? Точно знал ведь, что нет. Так зачем же ездил, унижался? А мы думаем, вот зачем: решение осадить Троию все равно давно уже было принято, и Агамемнон собирал в Авлиде флот, а целью визита был визуальный сбор стратегической информации — о высоте стен, численности гарнизона, количестве катапульта и так далее.

А Троя, надо сказать, была городом богатейшим, ибо стояла она на перекрестке важнейших морских торговых путей, и оседали тут ценности огромные — одно гомеровское описание мраморного дворца Приама чего стоит! Даже если сделать скидку на эпическую гиперболу — пятьдесят комнат, не считая залов тронного, оружейного, а еще подсобных помещений, кухни, наконец. Внушительно, что и говорить! Ведь большинство царей Эллады только назывались громко — «цари», а жилища их и стиль жизни в описываемые времена были не слишком притязательны. Ну разве что мебель получше качеством, чем у большинства подданных, осветительных треножников побольше, портьеры поинтереснее вышиты и беспризорные козлята по дому не скачут.

Красота Елены была известна всем, поскольку большинство участников будущего вооруженного конфликта когда-то уже приходили к ее отцу сватать девицу. Но многих привело также и любопытство. Дело в том, что по Элладе ходил упорный слух, будто Елена — дочь вовсе не Тиндарея, царя ничем не примечательного, а действительно самого Зевса, причем дочь — единственная. Что Зевс соблазнил мать Елены Леду, приняв облик лебедя. Относительно физиологических деталей отношений женщины и пернатого соблазнителя споры, надо думать, велись. Касательно же моральной стороны дела мужская половина склонялась к тому мнению, что для женщины гораздо целомудреннее отдаться Зевсу в образе птицы,



нежели Зевсу в образе мужика. В общем, у Елены и до ее похищения Парисом уже была несколько скандальная известность.

Говорили также, что девицу еще до этого ненадолго похитил герой Тезей, победитель Минотавра, но братья выкрали ее обратно. Одни болтали, что Тезей ее обрюхатил, а ребенка отдали на воспитание ее замужней сестре, другие уверяли, будто им достоверно известно, что вернулась она домой, как и была, нетронутой. В общем, у женихов, приезжавших ее сватать, уже имелась масса противоречивой информации. В толпе соискателей оказался, между прочим, и сам «хитроумный» Одиссей (единственный, кстати, кто не привез Тиндарею никакого подарка), одна-



Елена

ко ни Гектора, ни Париса среди них не было. И вот, когда кандидаты в женихи увидели реальную Елену, вышедшую к ним по зову Тиндарея, то все, враз забыв слухи и сплетни, так и застыли с открытыми ртами. *Такую женщину* они действительно еще никогда в жизни своей не видели! А Елена, неожиданно для многих, выбрала тогда Менелая — аргосца, человека крепко сбитого, обстоятельного, серьезного, хотя ничем особенным не выдающегося, разве что надежного в дружбе и бойца знатного. Однако эту историю мы еще расскажем, а теперь вернемся к Троянской войне.

Сначала никто из призванных Агамемноном союзников плыть в какую-то там Трою и сражаться за похищенную Елену не хотел, приводя, очень возможно, тот «персидский аргумент», с которого мы начали рассказ.

И неудивительно. У всех мало-мальски известных героев, воинов и царей были относительно этой грядущей кампании очень плохие предчувствия. Некоторым боги прямо так и сообщили, словно врачи — раковый диагноз: надоедать внукам ветеранскими рассказами, шамкая беззубыми ртами, вам не придется, не увидите вы своих сопливых внуков, ибо троянские стены будут последним, что отразится на сетчатке ваших глаз, перед тем как вы их навсегда закроете! Ну, может, и не в таких именно выражениях, но смысл — таков.

В общем, Троянская война стала возможной только благодаря бычьему упорству Агамемнона.

Но у него — не уклонишься! Например, когда прибыл он за Одиссеем, «многоумный» царь Итаки притворился умалишенным, надел какой-то шутовской колпак и стал пахать пашню на волах, горланя какие-то идиотские древнегреческие частушки. Ни первое, ни второе, ни третье совершенно не было в его характере. Агамемнон же, словно предвидя подобное поведение, по пути на по-

ле захватил новорожденного сына Одиссея и положил его в борозду — как раз там, где должен был пройти плуг. Волы дернулись, а Одиссей тут же бросился вперед, схватил ярмо, остановил волов и, надо думать, проорал Агамемнону выразительные древнегреческие слова по поводу его обращения с чужими младенцами и наследниками (не донесенные до нас из-за цензуры последующих тысячелетий). На что Агамемнон повернулся к сопровождающим его лицам: «Ну, что я говорил? Теперь видите? Симулянт, и даже не убедительный!» Ничего не оставалось Одиссею под таким напором, как сдаться.

Потом уже и самого Одиссея командировали за основным действующим лицом, и более того, героем будущей кампании — Ахиллом, сыном некоего Пелея и когда-то прелестной наяды Фетиды.

Здесь происходила история еще более странная. Мать Ахилла получила по олимпийским каналам достовернейшую информацию, что если сын ее примет участие в развязанной Агамемноном троянской кампании, то его ждет неминуемая гибель, однако при этом — великая, практически вечная посмертная слава. Последнее обстоятельство Фетида пропустила мимо ушей, малодушно предпочитая живого сына его же памятникам на центральных площадях Древней Эллады. Она к тому же припомнила, что, когда старалась обеспечить милому сыночку бессмертие, опуская его в воды Стикса<sup>1</sup>, розовая его пятючка, как крупная фасолина, оставалась над поверхностью. А вторичное опускание младенца уже не допускалось. Пустячок, конечно, но зачем рисковать? И вот Фетида прячет своего, надо полагать, физически хорошо развитого и мужественного сына (Ахилла, одним словом!) в фесса-

---

<sup>1</sup> *Стикс* — река, в греческой мифологии отделяющая мир живых от мира мертвых.

лийской Фтии, во дворце, среди писклявой, ткуше-вышивающей женской челяди. И будущий герой проводит дни с завитыми волосами, натянув на полтораметровые плечи розовый дамский пеплос.

Если вспомнить гомеровское описание громового клича Ахилла у стен Трои, когда он вызывал на бой Гектора, то (даже учитывая усилительный эффект, обеспеченный богиней Афиной!) можно не сомневаться: подражание женскому голосу вряд ли давалось Ахиллу легко или было убедительно.

И вот приезжает за Ахиллом в этот самый город Фтия многоумный Одиссей. Ему говорят, что Ахилл куда-то отлучился, а куда — никому не сказал. Фетида, превратившаяся к тому времени из легкомысленной полуодетой наяды в уважаемую, вполне одетую мамашу средних лет, только разводит руками, но Одиссей замечает, что глаза-то у нее — бегают. К тому же его тоже теперь на мякине не проведешь: сам пытался уклониться от агамемноновского «призыва». К тому же бицепсы, что угадываются под складками розовой гиматии <sup>1</sup> одной высоченной молчаливой девахи из прелестного фтийского девичьего цветника, вызывают у Одиссея ох и сильное подозрение!

Но никому он о своем подозрении не говорит, чтобы не обидеть недоверием бывшую наяду, а притворно и громко сокрушается (так, чтобы девицы, прыгающие через скакалочку на пыльном дворцовом дворике, хорошо слышали):

— Вот ведь незадача! Привез Ахиллу отличные доспехи — легкие, крепкие, одно удовольствие в таких сражаться, а его нет...

— Да ты, Одиссей, доспехи-то оставь, я ему передам, — говорит Фетида.

---

<sup>1</sup> Плащ-накидка.

— Ну разве что так. Да и передай, что войско Эллады ждет Ахилла в Авлиде с его мирмидонцами. Передашь? А доспехи — вот кладу их сюда, на ступеньку,— говорит Одиссей. А сам смотрит зорко, не взглянул ли кто из девиц на доспехи. Никто... «Ну ладно,— думает Одиссей,— я тебя, хитреца, все равно на чистую воду выведу!» И идет к воротам, будто бы уходит.

Фетида улыбается:

— Все передам, не сомневайся! Он как узнает — сразу же на корабль, и к вам, в Авлиду. Ну, я пошла ему сухари сушить в дорогу да запасные сандалии укладывать.

Одиссей медленно так идет к воротам и затевает там намеренно стычку со стражником из-за чего-то крайне незначительного. Шум, гам, переполох, девицы завизжали, скакалки в пыль побросали. А Одиссей, за грудки таская стражника, зорко за девицами наблюдает. И видит он, как одна девица подобрала гофрированное платье, под которым оказались вполне мужские коленки, в два прыжка оказалась у оставленных Одиссеем доспехов, схватила меч с такой сноровкой и встала в такую безукоризненную бойцовскую стойку, что кто угодно мог подумать: девица эта хотя бы раз уже совершала подобный маневр. Всё...

Вот так Одиссей «вычислил» Ахилла, старавшегося, под влиянием любящей матери, уклониться от выполнения воинского долга перед Элладой. Конечно, Одиссей мог сразу его разоблачить, но, может быть, не хотел уязвлять самолюбие будущего троянского героя. Ахейцам же Ахилл нужен был гораздо больше, чем они — Ахиллу, боги ведь предсказали, что без участия Ахилла шансы эллинов уменьшатся катастрофически. Потому о проявленной героем слабости быстро забыли, и Ахиллес прибыл в Авлиду со щитом и мечом и тестостероном, поднявшимся до уровня переносицы, во главе своих неистовых мирмидонцев. И никто никогда о фтийском эпизоде ему не напоминал.

И вот собралось в Авлиде видимо-невидимо отлично оснащенных триер, ибо у каждого царя раздробленной Эллады имелась более-менее приличная военно-торговая флотилия, у кого до десяти кораблей, у кого — даже больше ста. Без моря греки не мыслили себе ни пейзажа, ни приличного обеда (рыба и морепродукты), ни войны <sup>1</sup>.

Ну, собраться-то флот собрался: амфоры и мешки с провиантом погружены, а также амуниция, лошади, осадные машины в разобранном виде. Размещены и пассажиры — вечно голодные певцы будущих подвигов — и слепые, и зрячие. Но двинуть на Трою — никак: Агамемнона дернуло за язык сказать что-то слишком самонадеянное по поводу собственных охотничьих талантов — что, мол, он в глаз лани попадет там, где и Артемида промахнется. А Артемида услышала — и наслала встречный штормовой ветер: только отойдет корабль от берега, а его, как ни надрываются гребцы, обратно прибывает. И так — целый месяц, а то и дольше. Ахейские гоплиты <sup>2</sup> от вынужденного безделья в кости на перевернутых щитах режутся, пьянствуют, за авлидскими пастушками гоняются. А что им еще остается? Но боевую форму — теряют. И уже начинается ропот, призывы никуда и вовсе не плыть, раз уж боги против, и не лучше ли — по домам? Пассионарный Агамемнон от этих разговоров краснеет апоплексически и притворно ласково обещает содрать кожу живьем с каждого, кто еще раз о подобном заикнется. Ахейские воины и их предводители помалкивают, но за его широкой спиной крутят у виска пальцем: мол, совсем триера накренилась...

---

<sup>1</sup> Недаром образно выразился один великий древнегреческий мыслитель: «Мы, греки, расселись вокруг Средиземного моря как лягушки вокруг пруда».

<sup>2</sup> *Гоплиты* — воины тяжеловооруженной древнегреческой пехоты.

И вот собирает Агамемнон как-то утром всех на Авлидской центральной агоре <sup>1</sup> и сообщает, что его осенила отличная идея: он пошлет в Аргос, за дочкой своей Ифигенией, и все дружно соберутся, устроят Артемиде отличное жертвоприношение, и тогда уж богиня точно прекратит мешать экспедиции. «А за дочкой-то зачем посылать?» — недоумевают собравшиеся. «Так ее и будем приносить в жертву! И как такая простая идея мне раньше в голову не приходила?» — счастливо и как-то почти мечтательно улыбается бородатый Агамемнон. У собравшихся легкий мороз ползет по спинам и ниже, невзирая на жаркое аттическое утро. Им уже по-настоящему жутко, ибо теперь все поняли, насколько серьезны намерения аргосского царя и что отвертеться от этого похода не получится ни при каких обстоятельствах. Целеустремленный он человек, если не сказать больше.

Через некоторое время Клитемнестра получает от мужа доставленное запыленным гонцом устное сообщение: царь приглашает жену и дочь в Авлиду, ибо нашел он для Ифигении прекрасного жениха — самого Ахилла! Ну кто ж не знает Ахилла, такой душа! Естественно, в Аргосе — радостный переполох, сборы. Вскоре обе прибывают сушей в Авлиду. Дочь сразу же отгаскивают от матери и приносят в жертву — так быстро, что девица и понять ничего не успевает. Так что Ифигения стала первой невинной жертвой этой войны.

Клитемнестру тут же без церемоний отправляют обратно в Аргос, куда, учитывая древнегреческие скорости, две-три недели пути, причем на безрессорной пассажирской колеснице, чтобы не сказать на телеге с навесом. Она все это потом муженьку ох как припомнит! Правда, одна легенда говорит, что жертвоприношение все-таки не

---

<sup>1</sup> *Агора* — площадь для собраний населения города, на которой обычно был и рынок.

состоялось: богиня Артемида сама не ожидала, что имеет дело с маньяком, вмешалась в последний момент и спасла Ифигению, перенеся девуцу подальше от такого папашаши в крымскую Тавриду, где сделала ее жрицей одного из своих храмов. Однако как бы то ни было, а после всех этих событий ветер и впрямь сразу прекратился, и на рассвете греческий флот в тысячу кораблей взрезал веслами оливково-масляную гладь Эгейского моря...

**И** вот, словно неотвратимая беда, приближаются к «крепкостенной» Трое «черные», как пишет Гомер (не иначе, хорошо просмоленные), корабли несметного ахейского флота.

В Трое между тем военачальник Антенор с царем Приамом организывают оборону, Гектор выступает с призывно-патриотическими речами, стараясь представить умыкание Елены и требование Менелая вернуть жену как посягательство ахейского агрессора на троянские национальные интересы. Конечно, это непросто и требует сверхъестественной силы убеждения, но ему, в общем, почти удается. Однако тут взбирается на возвышение агоры его растрепанная сестрица Кассандра с размазанной по щекам глазной тушью и кричит дурным голосом, что Троя обречена, что видит она стены в огне и гибель всех присутствующих. Никто ей не верит, однако подъему боевого духа троянцев это никак не способствует, потому девуцу быстро уводят под белые руки и без церемоний сажают в каменный мешок с отличной звукоизоляцией. Париса же троянцы видят нечасто, потому что большую часть времени он эгоистично проводит с Еленой в спальне и предоставляет организацию обороны Гектору.

Ахейцы-данайцы между тем уже вытаскивают свои корабли на берег и устраивают из них как бы мини-город.



Хоть они и не предполагали, что застрянут на широком троянском пляже на десять лет, Агамемнон справедливо рассудил: осада скорой не бывает, поэтому приказал расположиться перед троянскими стенами по-хозяйски. Войско роет вокруг своего огромного лагеря траншею, отводят поближе к лагерю воду ближайших речек Скамандра и Ксанфа, лекари Махаон и Подамир оперативно разворачивают полевой хирургический госпиталь. Агамемнон же деловито договаривается с лоснящимися веселыми фракийцами и лемносцами о поставках продовольствия и фуража с оплатой в счет захваченной в Трое добычи. Оплаты поставщикам ждать придется долго, но обязательства свои они все равно выполняют, ибо вся Эллада знает: в Трое всех ждет пожива знатная, поскольку город контролирует всю торговлю через Геллеспонт.

Казалось, все устраивается как нельзя лучше, но в лагере ахейцев (они же эллины, они же данайцы) вдруг происходит столкновение предводителя с главным героем. Агамемнон и Ахилл не поделили пленную троянскую девицу Брисеиду — ее по праву старшего умыкнул к себе на флагманскую галеру Агамемнон, оставив Ахилла ни с чем, кроме смертельной обиды и понятной неудовлетворенности. Обстоятельства ее пленения, равно как и ее личные предпочтения, навсегда останутся покрытыми тысячелетним мраком неизвестности. Что касается Ахилла, то в Брисеиде он видел не просто средство для заслуженного солдатского отдыха, а стал вдруг испытывать к ней большое и светлое чувство. И задрожали у героя от обиды на авторитарного главнокомандующего мужественные губы, и пнул он борт флагманской галеры Агамемнона, и закричал при всех, что плевать он хотел на него и его войну, и на Трои, и на эту Елену. И вообще: раз с ним так — он уходит.

Сказал — и сделал. И уводит Ахилл своих храбрых мirmидонцев с театра военных действий. Но обратно в Фесса-

лию свою не отбывает, а почему-то остается и наблюдает за ходом событий со своей поодаль размещенной галеры, проводя время в пирах, беседах с другом Патроком и, за неимением прелестной Брисеиды, в развлечениях с оставшимися у него пленницами средней привлекательности.

На Олимпе же между тем Афина и Гера активно формируют коалицию против троянцев, тогда как Афродита и Аполлон — не то чтобы объединяют усилия, но решают противодействовать по мере сил разгневанным богиням, если увидят, что дела троянцев плохи. Силы — примерно равны. Симпатии Зевса — скорее на стороне троянцев, но он официально заявляет о том, что напрямую вмешиваться не намерен и другим богам не советует.

И вот, увязая в песке, стройные ряды ахейцев в бронзовых шлемах, поножах и латах, ошетилившись длинными пиками, идут к Трое. Под стенами их уже ждут такие же стройные ряды троянцев в таких же начищенных до блеска доспехах. И начинается битва, о которой нам во всех графических подробностях повествует Гомер — не обходя вниманием ни стекающие по древкам копий мозги, ни окровавленные глазные яблоки, вышибленные из глазниц и падающие в песок, не забывая красочно и медицински достоверно описать артериальные кровотечения, выпущенные внутренние органы и тэдэ. В общем, становится ясно: поэт хорошо знал предмет, о котором пел.

А во время битвы один человек постоянно оглядывается вокруг. Это Менелай. Он ищет своего заклятого врага. Жажда мести переполняет спартанского царя как ванну, над которой забыли выключить горячий кран. Он — страшен. Троянцы падают вокруг него как молодая поросль от топора лесоруба-маньяка. Его огромного размера сандалии совсем увязли в песке.

Наконец видит он Париса и с диким ревом начинает его преследовать. Бойцы слышат его боевой клич, пони-

мают, *что* это означает, и на минуту из любопытства приостанавливают сечу. И что же они видят? Парис на глазах всех троянцев и ахейцев... драпает от Менелая по направлению к городским воротам — бросив шлем, смешно выпучив глаза и выбрасывая коленки. Раздается смех. Потом — сильнее. Забрызганные кровью бойцы хохочут — сначала ахейцы и троянцы, потом — уже только ахейцы.

На Скейских воротах, как на трибуне, за битвой наблюдают царь Приам, вся многочисленная царская семья, и троянские старейшины, и Елена. Старейшины, кстати, не столько интересуются битвой, сколько тарашатся на Елену и, судя по всему, обсуждают достоинства ее интеллекта, одобрительно кивая при этом головами. Но Елена ничего не замечает, ее глаза прикованы к Парису. Стыдно ли ей за любовника при виде того, как он зайцем удирает от Менелая? Понимает ли она, что совершила роковую ошибку? Неизвестно. Ей слова не дают.

Зато на братца обрушивается Гектор. Храбрый и техничный боец, гордость родителей, он останавливает драпающего любовника Елены у самых Скейских ворот. С самого начала Гектор был против этой авантюры брата с женой Менелая. Но если как мужчина, учитывая привлекательность Елены, он мог еще как-то Париса понять, то публичная трусость брата приводит его, профессионального воина, в настоящую ярость. И, нагнав прелестного братца у самой стены, Гектор хлещет его справедливыми и горькими словами.

Парис слышит за спиной гогот, немного приходит в себя и, отдышавшись, решает следующее: чтобы спасти свое достоинство, он вызовет Менелая на честный поединок — один на один. Победителю достанется Елена. К тому же в случае победы Менелая спартанцу возвращается все его похищенное имущество. Скорее всего, решение о поединке принял не сам Парис, его просто припер к стене Гектор

и настоятельно «посоветовал» спасти таким образом и собственную, и троянскую честь. Вот поэтому, наверное, о вызове Париса и проорал ахейцам не Парис, а Гектор.

И Менелай прокричал в ответ: «Идёт! Мне давно не терпится отсечь твоему братцу...» Мы не будем дословно восстанавливать то, что орал в ответ Менелай,— все это легко представить себе и при минимуме воображения. А пока троянцы и ахейцы объявляют перемирие, враждующие армии совместно приносят жертвы богам — забивается большое количество крупного рогатого скота<sup>1</sup>. Лучшие куски, как велит обычай, посвящают богам, а остальное жареное мясо подают к ужину, и религиозный обряд жертвоприношения, как обычно, плавно переходит в ахейско-троянские шашлыки на морском берегу с хорошим фракийским вином.

...**К**остры бросают отсветы на бородатые лица, высоко на бархате неба — серебряная звездная пыль Млечного Пути, звучат нетрезвые голоса и смех, бряцают тамбурины и звенят бубенчики сразу появившихся танцовщиц. Хотя троянцы и не были эллинами, а происходили из этрусков, греческим они, находясь в непосредственном контакте с Элладой, владели прекрасно, и даже имели по два имени, одно — свое, другое — греческое. И богам тоже поклонялись греческим. Так что культурная общность была налицо, и у пирующих, надо думать, быстро нашлись общие темы, интересы и даже общие знакомые. Не исключено, что в ту ночь Троянская война многим определенно начала нравиться! А наутро армиям еще предсто-

---

<sup>1</sup> Такое жертвоприношение называлось *гекатомба*, что и означает «сто быков», но потом так стали называть любое жертвоприношение, даже когда забивали далеко не сотню.

яло развлечение — смотреть бой Париса и Менелая. Сначала кое-кто предлагал делать ставки, но потом это дело бросили, так как на Париса не ставил практически никто. А многие семейные ахейцы даже пошли укладывать вещи, предвкушая скорое возвращение домой.

Одному Парису в ту ночь было явно не весело. Красавица Елена тихо спит рядом, а он, как посмотрит теперь на нее — сразу вспоминает разъяренного буйвола Менелая, и кровь стынет в жилах. Так и проворочался до рассвета, а тут и Гектор пришел — показать братцу кое-какие боевые приемы перед завтрашним поединком.

**И** вот — утро. Оба соперника выходят и идут навстречу друг другу. Невыспавшийся Парис оглядывается назад и видит угрожающий взгляд брата, а впереди... Нет, лучше и не думать о том, что впереди. А на Скейских воротах опять стоит Елена и там же — вся троянская знать. Для них это, надо полагать, уже стало многосерийным зрелищем!

Теперь Парис уж конечно зол на богиню любви и красоты, ведь про бой с этим ужасным Менелаем Афродита, когда обещала ему самую красивую женщину, ничего не говорила! Так его провести! Но вызов был брошен на глазах у всех. Так что бой принимать придется, несмотря на то что неимоверно претит Парису весь этот мачо-нонсенс... Ах, ну почему нельзя просто и безответственно и безнаказанно любить прелестную женщину, безо всяких этих доспехо-кровавых последствий?!

...Противники сходятся.

Парис ступает осторожно, словно по трясине идет. Менелай спокойно ждет его, надежно расставив ноги. Парис приближается неуверенно. Всем видно, что никакой стратегии боя он не продумал, а советы Гектора — уже от ужаса забыл. Вдруг Менелай молниеносно бросает копье, прибли-

вает насквозь щит незадачливого любовника и ранит ему пах, что говорит о том, куда именно Менелай метил... Потом, подскочив к упавшему сопернику, он хватает его за шлем, словно собирается голыми руками оторвать голову, и, возможно, действительно так оно и есть. Шлем соскальзывает с головы Париса, и кожаный ремешок начинает душить его, как петля. Менелай тащит обидчика за шлем в расположение своего войска, оставляя на песке широкую борозду. Парис задыхается. Конец троянца неминуем.

Но Афродита, благодарная Парису за присуждение ей первого места на том конкурсе красоты, перерезает душащий ремешок, нагоняет Менелаю в глаза туман и уносит Париса в этом тумане, невидимого, в Трою — прямо в спальню к Елене. Гера и Афина, такой прыти от Афродиты не ожидавшие, в бессильной ярости бьют на Олимпе посуду. Сам Зевс разводит руками, не понимая, откуда у жены и дочери такая ненависть к Парису и троянцам. Про тот вопрос, который однажды задали они ему десять лет назад — кто из них самая красивая, а он не ответил, Зевс, конечно же, совершенно забыл как об абсолютно незначительном эпизоде. По всему видно, что даже главные богини, даже Афина, богиня мудрости, все-таки приоритет отдавали внешнему виду, а не внутреннему содержанию.

Полузадушенный же Менелаем Парис приходит в себя очень быстро — наверняка не без божественного вмешательства — и даже говорит Елене, до чего же хотелось бы ему прямо сейчас заняться любовью. А Елена как раз тклет великолепный тапес<sup>1</sup>, на котором очень искусно изображает сцены благословенного мира и кровавой войны. И рабыни слышат, в каких нелюбезных выражениях

---

<sup>1</sup> *Tanec* — род гобелена (греч.). От этого слова произошли английское *tapestry* и французское *tapisserie*.

говорит бывшая спартанская царица своему новому муженьку <sup>1</sup> все, что она теперь уже о нем думает.

Но Парис не слушал, к тому же Афродита так на Елену прикрикнула, приказав утешить своего протеже, что той ничего другого не оставалось, как уступить поверженному, но не слишком расстроенному поражением Парису.

Итак, победил Менелай, и все ожидают, что теперь, как и было договорено, войне — конец. Так что ахейцы сидят, опять играют в кости на перевернутых щитах и ждут, когда Менелаю выведут его Елену и вынесут остальное похищенное имущество и всем им можно будет отплывать по домам.

Однако вместо этого Гера вероломно убеждает одного из троянцев выстрелить со стены. Стрела ранила Менелая. Рана неопасная, стрела только рассекла кожу, но крови много. Ахейцы взревели. Агамемнон, увидев окровавленного брата, пришел в полную ярость. Братание на пляже и вчерашние шашлыки забыты, перемирию — конец. Опять троянцы показали свое вероломство. И опять начинается жуткая битва.

В лагере данайцев на войну смотрят уже как на рутинное дело: с наступлением ночи воюющие стороны забирают с поля боя своих убитых, а кто остался в тот день в живых, решают поплавать, помыться, потом возжигают поодаль погребальные костры, потом приносят жертвоприношения, переходящие в обильный ужин. Затем ахейцы идут на корабли спать, а утром все начинается снова. И так — год за годом. Но мы не будем передавать все события десятилетней войны, а сосредоточим внимание на любовниках и на тех, кто к ним непосредственно близок.

---

<sup>1</sup> Парис становится новым мужем Елены, хотя ни словом не упомянуто о ее разводе с Менелаем, что свидетельствует: процедура развода у древних греков была предельно упрощена.

Парис у папаши Приама наверняка ходил в любимчиках, потому что у него, единственного из сыновей, в Трое — отдельный дворец, остальные вместе с семьями жили во дворце Приама. Не исключено, однако, что просто никто из женщин семьи не захотел общаться с «презренной» Еленой, потому им с Парисом и была выделена отдельная жилплощадь. И вот, когда бы ни описывал Гомер прекрасную Елену, она все сидит и ткет, сидит и ткет тапесы, только изредка, когда зовет ее Приам, поднимается на Скейские ворота. Потом — опять ткет. Или уступает желаниям Париса. И — снова за ткацкий станок. Да, то что начиналось как захватывающее любовное приключение, не могло не превратиться за десять лет в монотонную супружескую обязанность. Тем более что из Трои — никуда: десятилетняя осада. Однако на то, чтобы покончить с собой, дабы устранить себя как причину войны, у Елены не хватает то ли решимости, то ли отчаяния.

Хотя надо отдать Елене должное: у нее хватает ума на то, чтобы выглядеть виноватой. Действительно, ее окружает семья, которой она ежедневно приносит одни страдания. Взять хотя бы Андромаху, супругу Гектора — добродетельную жену и мать, уважаемую во всей Трое. Каким может быть ее отношение к этой смазливой беглянке, из-за которой разгорелся весь этот сыр-бор? Скрепя сердце она вынуждена снаряжать, провожать на битву и на очень возможную смерть обожаемого мужа Гектора. И смотрит Елена на то, как обнимает Андромаха Гектора в последний, может быть, раз, как плачет его малыш Астианакс, пугаясь плюмажа на отцовском шлеме, как грустно улыбаются мать и отец, как Гектор снимает шлем, чтобы не пугать малыша, и целует в последний раз сына. И как идет к воротам, чтобы вступить в битву. И все — и Андромаха, и Елена, и сам Гектор — предчувствуют, что он — погибнет. Из-за Елены и своего непутевого братца.



## ТРОЯ: ВЕЛИКАЯ И СТРАННАЯ ВОЙНА

Но это — потом, а пока Гектор — самое страшное троянское оружие. Одним своим видом он повергает ахейцев в ужас. Даже Менелай старается держаться от него подальше.

Песок троянского пляжа стал уже совершенно бурым от крови. Но бойцы продолжали разжигать друг друга оскорблениями и вошли уже в такую стадию остервенения, когда им становится безразличным всё, когда из их



Менелай и Патрокл  
(Лоджия Деи Ланци, Флоренция, ок. 230 г. до н. э.)

мира уходят звуки, мысли и чувства, когда только их руки продолжают одержимо рубить, рубить и рубить...

Перевес сил — явно на стороне троянцев, они все больше оттесняют ахейцев назад, к их кораблям. Потому Ахилл, который все еще обижен на Агамемнона, все-таки посылает своего друга Патрокла, тоже знатного бойца, помочь ахейцам и одалживает ему свои доспехи, которые включают шлем, полностью закрывающий лицо. Ахилл с Патроклом примерно одного роста и комплекции. Гектор думает, что это вернулся сам Ахилл, и радуется возможности вывести из строя лучшего вражеского бойца. И убивает Патрокла. Он вскоре обнаруживает ошибку, но чувство досады быстро улетучивается — оттого что в руках его оказывается ценнейший трофей — великолепные доспехи Ахилла.

Вот тогда Ахилл уже по-настоящему свирепеет от гнева, скорби и в чем-то — от чувства вины: ведь это он послал Патрокла на битву! Его уже не радует даже то, что Агамемнон, видя, что дела ахейцев без него, Ахилла, плохи, возвращает ему Брисеиду, поклявшись, что и пальцем ее не трогал. Ахейцы молчаливо смотрят, как «Пелеев сын» крушит все вокруг, и понимают, что Гектор — уже покойник. Мать же Ахилла, Фетида, узнав, что сын лишился доспехов, заказывает божественному кузнецу Гефесту другие, еще лучше прежних. Что тот и исполняет с бесподобным искусством.

Ахилл рвется в битву, но мудрый Одиссей успокаивает его, он говорит, что гоплитам нужно за ночь отдохнуть, потом утром позавтракать — на пустой желудок много не навоюешь, а там уж ни Гектор, ни другие троянцы от него не уйдут. Ахилл неожиданно и вправду успокаивается и дает Одиссею себя увести.

Наутро даже в Трое — вдалеке от берега, за толстыми стенами — услышали, как ревет штормовое море. Водяные валы, почти такие же высокие, как мачты вытасненных на берег ахейских триер, обрушивались на корабли и людей.

Ахилл подходит к стенам Трои.

И начинает страшно кричать, вызывая Гектора на бой. Афина, говорят, усилила его голос, сделав его громopodobным. Он перекрикивает даже рев моря. Елена зажимает уши. Истерически визжит и ребенок Гектора, и Андромаха пытается его успокоить на Скейской стене.

И под всю эту какофонию медленно, увязая сандалиями в песке, выходит Гектор навстречу Ахиллу. Оба они знают, что один из них не выйдет из этого боя живым, но ни один пока не знает, кто именно.

Вот быстроногий Ахилл, набирая скорость, бежит навстречу противнику — с ног до головы в Гефестовых латах, как средних размеров танк. Гектор смотрит на него, приближающегося, и вдруг понимает, что живым из этого боя не выйдет именно он. И поворачивается, и бежит от Ахилла. И так двое взрослых, атлетически сложенных мужчин в старательно начищенных доспехах носятся друг за другом вокруг городских стен, как во время олимпийских состязаний. Но, в отличие от тех, здесь забег — не за олимпийский венок. Горячий песок, страшная жара, доспехи тяжести неимоверной, которые к тому же раскаляются под солнцем. Взгляды всех — и на стенах Трои, и в войске ахейцев — следят с разным выражением, напряженно и молча, за этими двумя бегущими людьми. И все понимают, что десятилетняя драма приближается к развязке. Немая сцена, только чайки заходятся криком, и в воздухе — тяжело, как перед грозой...

Гектор увидел, и взял его страх; оставаться на месте  
больше не мог он...

Словно сокол в горах,  
из пернатых быстрейшая птица  
вдруг с быстротой несказанной за робкой несется голубкой...

Сильный бежал впереди, но преследовал много сильнейший...

Так троекратно они пред великою Тройей кружились,  
быстро носящесь...

Гектора ж в бегстве преследуя, гнал Ахиллес непрестанно...<sup>1</sup>

Гектор пошел на следующий круг. Они бегут и бегут. Страх смерти подгоняет Гектора, жажда мести — Ахилла. Усталости не выказывает пока ни один. А на все это смотрят обе армии. И боги. И не знают уже, что думать. Наконец, богам, наверное, надоело, и Афина принимает облик брата Гектора Деифоба. Мнимый Деифоб выходит из ворот якобы Гектору на подмогу и говорит, чтобы брат смело принимал бой: теперь их — двое! Гектор останавливается. И тут его настигает Ахилл, а «Деифоб» растворяется в воздухе. «Не... чест... но», — только и успевает прохрипеть Гектор, прошитый насквозь Ахилловым копьем.

Ахилл снял шлем (его красивое лицо портила в тот момент жестокая гримаса), привязал труп Гектора за ноги к своей колеснице и начал гонять колесницу вокруг троянских стен, уродуя труп о камни, прямо на глазах стоявшего на Скейских воротах Приама. Приам не выдержал такого страшного зрелища. Ночью он пробрался в лагерь врага и бросился Ахиллу в ноги, моля отдать тело сына. Ахилл неожиданно принял троянского царя как дорогого гостя, выразил сочувствие и выполнил его просьбу...

**Н**о и после гибели Гектора взять Троию ахейцы не могли, как ни пытались. Даже священную статуэтку Афины Паллады из города похитили специально посланные да-найские лазутчики, думая, что именно благодаря ее маги-

---

<sup>1</sup> «Илиада» в пер. Н. Гнедича.

ческим свойствам и держится Троя. Но ничто не помогло. Между тем троянцы узнали ахейскую военную тайну — про Ахиллово слабое место, пятку. Говорят, это сообщила им какая-то из бывших наложниц героя, которой он после любовных утех рассказал забавы ради историю с погружением в Стикс, не придав рассказу особенного значения. Теперь троянцы знали: попав в пятку, Ахилла можно убить. Что Парис, выбрав нужный момент, в итоге и сделал, причем — отравленной стрелой, чтоб уж наверняка. Для близкого боя троянский любовник совершенно никуда не годился, а из лука у него получалось гораздо лучше. Долго, наверное, сидел он на городской стене и выжидал...

Вот не стало и Ахилла, и мать Фетида долго оплакивала его с нядями, а потом забрала прах сына к месту вечного упокоения — на далекий остров Люцея<sup>1</sup>.

А Троя все стояла неприступная, и ахейцы совсем теряли надежду на победу и начинали роптать все сильнее. Одиссею пришлось даже взять в руки палку и применить к бунтовщикам методы физического внушения. Он теперь, Одиссей, по непонятной причине после десяти лет бесплодной осады больше всех стоял за войну до победного конца, убеждая даже начавшего сомневаться Агамемнона, что до взятия города — совсем недолго.

А потом пришел черед Париса. Уже в конце войны он был смертельно ранен в одном из ежедневных сражений. Такая досада: его боевое искусство от постоянной практики постепенно улучшалось, он стал меньше паниковать, и даже Гектор, пока был жив, начал обсуждать с ним военные дела как с равным, даже более того — как с товарищем по оружию. Но с Менелаем Парису ни в одном бою встретиться почему-то так и не пришлось.

---

<sup>1</sup> Совр. остров Змеиный в Черном море.

...Парис не видел, откуда прилетела роковая стрела. С поля боя его принесли домой, к Елене. Вот тут-то он наконец осознал, что это — конец, и преисполнился ужасом. Задыхаясь и дрожа, протягивал он ко всем руки, умоляя, чтобы послали за его давней подружкой, лесной нимфой Эноной. Она могла бы вылечить его: нимфы знали чудодейственные целебные травы. Но Энона отказалась лечить бросившего ее ради Елены Париса. Он умер, а Елена стояла столбом, словно смотрела на что-то никому не видимое, и почему-то не голосила, не царапала себе лицо и грудь, как полагалось бы добропорядочной троянской вдове. Свекровь Гекуба и золовка Андромаха оттолкнули ее. И со стенаниями, вырывая у себя волосы, начали перечислять достоинства усопшего. Потом к ним присоединились и все другие женщины. Все, кроме Елены...

Троя, может быть, и никогда бы не пала, если бы Афина не надоумила данайцев на фокус с деревянным конем. Правда, Одиссей потом стал всем говорить, что это с самого начала была его собственная идея.

В общем, залатали осаждающие свои избитые непогодой и использованием в качестве наземных жилищ триеры и, инсценировав отплытие, оставили на пляже огромного деревянного коня, на котором написали: «Дар Афине от благодарных данайцев» или что-то вроде этого. А сами между тем отлично укрылись за островом Тенедос, находившимся неподалеку, но на таком расстоянии, что со стен Трои даже мачт их кораблей видно не было.

И вот просыпаются однажды утром троянцы, потягиваются, смотрят со стены на пляж, ожидая увидеть ставшие уже неотъемлемой частью пейзажа корабли данайцев-ахейцев, и... начинают яростно тереть себе глаза: что за дела?! Кораблей-то — нет! Данайцы... уплыли? Сняли осаду? Даже своим глазам поверить боятся: столько лет

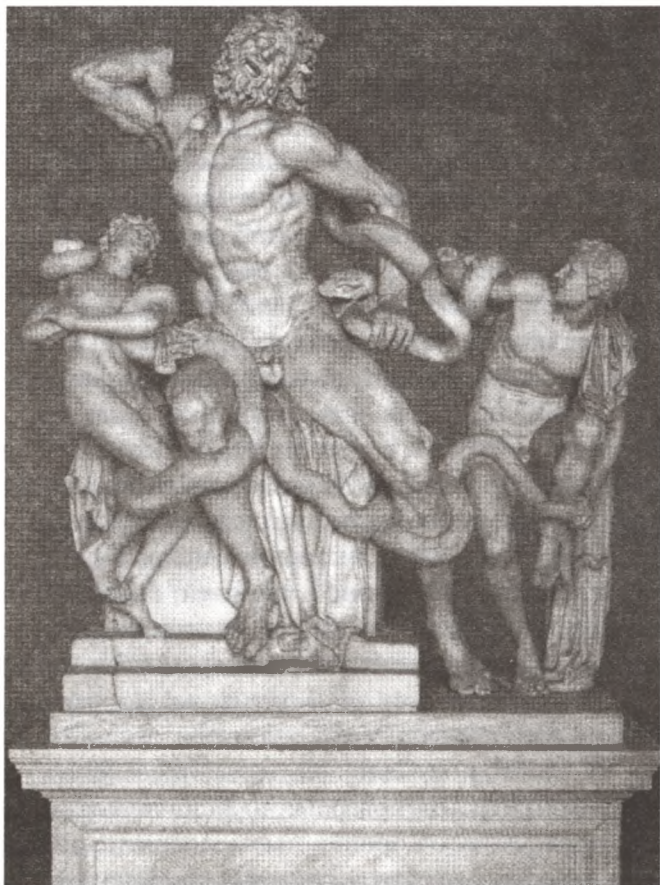
торчали на берегу эти треклятые триеры, уже подросло целое поколение троянских мальчишек, ни разу не подходивших к морю. За десять лет троянцы забыли и вкус свежей рыбы.

А тут... Неужели — конец осаде?!

В полдень уже совсем стало ясно, что ахейско-данайское войско убралось восвояси. На пляже — пепелища от костров, какие-то зловонные тряпки, выброшенная обувь, черепки, всякий другой мусор от многолетнего военного лагеря. И стоит непонятная деревянная громадина странной формы, напоминающая коня. Дерево свежее, еще смола сочится. И многие начинают понимать, почему так вяло шла последние несколько недель война и почему так явно поредели отряды ее участников с ахейской стороны: остальные-то, видно, валили лес на склонах Иды для постройки вот этого чудовища! Экстрасенс троянский Лаокоон вскинулся: «Бойтесь данайцев с их дарами!» И закричал, чтобы не трогали коня и близко не подходили, а лучше всего — сжечь его прямо здесь, на пляже. Засомневался Приам. Но тут выползли из моря две огромные змеи и задушили Лаокоона и двоих его оказавшихся поблизости сыновей. Змей наслала, естественно, Афина.

Змеи задушили Лаокоона и сыновей, спасти их никто не попытался, а троянцы невозмутимо принесли катки, канаты и... покатали коня в город, чертыхаясь, какой он, зараза, тяжелый! И — ни тени сомнения! И люка в брюхе у коня ну абсолютно никто не заметил. А насчет Лаокоона — ну, может, подумали, что для экстрасенсов и их сыновей такая смерть — совершенно нормальное явление? И не терпелось всем хорошо отметить снятие осады, открытие первого за десять лет пляжного сезона и нажарить наконец-то тут же кем-то наловленной рыбы. Хотя, к слову сказать, остается лишь удивляться, что осажденные за столько-то лет не испытывали никакого недостатка в

продуктах питания. Полагают, что каким-то образом в город постоянно проникали подкрепления из Месопотамии. Значит, связь у троянцев с внешним миром все же была налажена. Возможно, прорыли подземный ход. За десять-то лет можно было прорыть!



Жрец бога Аполлона Лаокоон, нарушивший волю богов  
(работа родосских ваятелей Агесандра, Полидора и Афинодора,  
Ватикан, музей Пия-Климента)



**В** общем, радость троянцев была неопиcуемой. Приам открыл для всего города винные погреба, и виночерпии опрокидывали амфоры прямо в мраморный бассейн на центральной площади. Каждую следующую амфору народ встречал радостным ревом: пей, троянцы, гуляй до утра! До похмелья дожили далеко не все...

Все свершилось точно так, как и предсказывала Кассандра.

Истомившиеся от долгого сидения в деревянном коне ахейцы (среди которых был и Менелай) открыли люк, попрыгали, стараясь не шуметь, из деревянного коня на буквально устланную пьяными троянцами площадь, справили у основания городской стены нужду (сутки почти в деревянном брюхе просидеть — не шутка!), потом поднялись на стену.

И подали сигнал ахейскому флоту, чтобы шел к берегу. И — начали резать защитников Трои. Хмельных от вина, заснувших, даже не выставив часовых, счастливых от того, что пережили эту войну...

Старик Приам был заколот в своей спальне. И — вот уж совсем бесчеловечно: со стены, прямо на каменный выступ фундамента, ахейцы сбросили сынишку Гектора, младенца Астианакса, который к тому времени только научился самостоятельно ходить. Говорят, это сделал какой-то рыжеволосый парень, обезумевший в пылу кровопролития, как это бывает с неопытными солдатами. Видели, что вокруг него на широкой стене кипел бой, а он — вдруг остановился, странно на всех посмотрел, словно только теперь осознав, *что* сотворил, замер, а потом ступил со стены вниз и сам через несколько мгновений превратился в мешок с изломанными костями.

Менелай наконец отыскал свою вероломную Елену. В доме Деифоба, брата Париса, — к тому она перешла как

эстафетная палочка. К каким уж уловкам прибегла Елена, чтобы оправдаться, — неизвестно, но головы он ей, ко всеобщему удивлению, не снес, и многие были справедливо разочарованы, особенно если учесть, какое количество жизненных нитей перерезали из-за нее своими бронзовыми ножницами неумолимые мойры<sup>1</sup>.

Кровопролитие в городе продолжалось три дня. В боевом угаре ахейцы осквернили грабежом даже местные храмы почти всех олимпийских богов и богинь. А боги уже ни во что не вмешивались, просто ошалело смотрели с высоты на людей, и, кто знает, что думали они в тот момент о смертных...

\* \* \*

Человек сидел у костра на берегу и смотрел на предрасветное небо, словно чего-то ждал. Рядом с ним стоял глиняный кувшин. Время от времени он отхлебывал из него вино, и взгляд его становился все тяжелее. От запаха гари трудно было дышать. Стены Трои походили теперь на челюсти с выбитыми зубами. Город еще горел. Ахейские корабли готовы были к оплытию домой, теперь уже — без обмана.

К человеку у костра подошел другой — широкоплечий, тяжелый. Молча сел рядом.

— Ну, вот и всё, — сказал тот, что ждал рассвета, и протянул подошедшему свой кувшин. Тот принял кувшин и сделал большой глоток.

— Так и не ложился, Одиссей?

— В море выплусь, Агамемнон. Я раньше хорошо спал в море.

---

<sup>1</sup> *Мойры* — в греческой мифологии богини судьбы, бродящие с приоткрытыми ножницами по жилищу, опутанному многочисленными нитями человеческих жизней. Зачастую случайно, из-за слабого зрения, мойры перерезают эти нити, сами того не замечая.

— То было раньше, Одиссей! До войны.— Агамемнон помолчал.— Ты знаешь, я дал уйти троянцу Энею.

Во взгляде Одиссея отразился вопрос:

— Энею?

— Тот троянец, что дрался не хуже Гектора.

— Помню.

— Мы пили с ним вместе тогда, во время перемирия, перед боем Менелая и Париса. Он так странно меня спросил: в чем более славы — разрушить великий город или заложить его?

— И что ты ему ответил?

— Тогда я ответил, что, конечно, разрушить. Потому что неизвестно, станет ли великим город, который ты заложил.— Агамемнон чуть помолчал. И продолжил: — Эней выносил на плечах безногого отца. С ним были и другие. Все они бежали к своим кораблям, я мог с легкостью догнать их и перебить, но не стал. Он, видимо, хороший сын, этот Эней <sup>1</sup>. Пусть живет. Я не стал его убивать.

— На тебя не похоже! — усмехнулся Одиссей. И сказал вдруг без всякой связи: — А я просидел всю ночь и пытался вспомнить свою жизнь до войны. Вот даже сына своего совсем не помню. Зовут его Телемах. Это помню, а больше ничего не вспоминается. Плохо...

Агамемнон промолчал. Потом тяжело вздохнул:

— А я помню свою дочь, Одиссей. Хорошо помню. Молю богов, чтоб дали забыть. Не слышат...

Он снова отхлебнул из кувшина. Оба надолго замолчали. Потом Одиссей потер лоб и тихо, словно самому себе, сказал:

— Нет, ничего не вспоминается. Словно и не было ничего до этого в жизни. А может, и вправду не было?

---

<sup>1</sup> Эней с беглецами из Трои доберется до Тибра и станет основателем Рима.

Агамемнон ничего не ответил.

Они сидели спиной к еще горячей Трое, и им обоим совсем не хотелось оборачиваться, чтоб хотя бы взглянуть на поверженный город.

— А ты знаешь, он ужасно боялся смерти,— снова заговорил Одиссей.

— Кто?

— Ахилл.

— Не больше, чем каждый из нас.

— Больше. Он ведь признался мне, когда я пришел уговаривать его вступить в битву... Помнишь, когда троянцы совсем оттеснили нас к кораблям? — Агамемнон кивнул.— Ахилл посмотрел тогда на меня и сказал: «Разница между тобой и мной в том, что ты не знаешь, как умрешь и когда, а я — точно знаю». Он сказал, что ему невыносима мысль о темноте Аида. Ты заметил, на его триере всегда горели треножники, даже до утра? А Брисеида, сказал он мне, была лишь поводом выйти из битвы и хоть немного продлить свои дни.

— Вот как? Герой Ахилл!..

— Этот страх смерти отпустил его только после гибели Патрокла, он сменился виной, скорбью и жаждой мести. Помнишь, он хотел пойти на троянцев и отомстить Гектору сразу же, как только получил свои новые доспехи? А я сказал, что гоплитам нужно сначала отдохнуть, и увел его к себе...

— Не помню, но раз ты говоришь...

— А я помню. Так вот, он всю ночь говорил о Патрокле, только чтобы распалить свой гнев и отогнать страх смерти, который словно стоял и ждал в темноте, готовый подступить в любой миг и сомкнуть руки у него на горле. И чем больше Ахилл боялся, тем больше распаллял себя. Это ужасно, что герои знают, каким будет их конец. Как мудро, что мы, просто люди, этого не знаем!

— Великий герой Ахилл — боялся? Даже если ты и не врешь, Одиссей, а я вижу, что сейчас ты не врешь, этому никто никогда не поверит. Сукин сын добыл себе бессмертную славу.

— А мы, Агамемнон? Что добыли себе мы? Что всё это, вообще, было?

— О чем ты?

— Да всё это, эта... *наша* Троя...

Агамемнон опять не ответил и передал Одиссею кувшин с вином. Тот, судорожно двигая кадыком, влил в себя его остаток. Встал и с неожиданной злостью забросил пустой кувшин в море. Тяжело поднялся и Агамемнон.

— Рассветает,— сказал он.— Пора возвращаться на корабли. Ты теперь — к себе, на Итаку?

Одиссей лишь неопределенно пожал плечами.

— А я — домой, в Аргос. Как вернусь — выгоню Клитемнестру. Десять лет прошло. Она, видать, совсем уже старуха. Я взял себе в Трое новую жену.

— Знаю. Кассандру. Непростая девица.

— Да, жаль — непростая, но хороша! — Агамемнон мечтательно улыбнулся, но сразу нахмурился: — Вот только не по нраву мне, что лопочет все что-то о неминуемой смерти. Как будто кто-то может ее миновать! Пришлось поучить немного, только тогда успокоилась.

— Будь осторожен. Говорят, она предрекла гибель Трои.

— Да много чего говорят, не всему же верить!

— Не нравится мне море сегодня, Агамемнон. Шторм будет, и сильный — смотри, как наливается красным небо. Может, повременить с отплытием?

— Нет, я отплываю сейчас. А ты — как знаешь, дело твое. Ну, прощай, Одиссей. Может, когда и свидимся.

— Может, и свидимся...

Совсем рассвело. Небо на горизонте и впрямь покраснело, как воспалившаяся рана. Они постояли друг перед другом, не решаясь ни обняться, ни пожать друг другу руки. Потом повернулись и, увязая в прохладном песке, пошли — каждый к своим кораблям.

*Агамемнон и Одиссей были всего лишь людьми и потому не знали, что сразу же по возвращении Агамемнона его жена Клитемнестра, так и не простившая аргосскому царю убийства дочери, много раз вонзит в него небольшой острый клинок. Потом этим же клинком расправится она и с Кассандрой. Та будет долго убежать по гулким длинным коридорам, и крики ее будет разносить эхо.*

*А возвращение Одиссея с Троянской войны продлится долгие годы, словно эта война не будет его отпускать... Но однажды, через двадцать бесконечных лет, возвращение все-таки состоится: на Итаке увидят оборванного бродягу и с трудом признают в нем царя Одиссея.*

Победители отплывали. Вопили чайки. Били барабаны, задавая ритм гребцам. На кораблях царило молчание. Оно всегда приходит к воинам, это молчание, когда утихают последние ликующие победные клики и проходит восторг от ощущения того, что удалось выжить в этой войне. У войн всегда — грустный финал, это знают даже победители.

Никто на кораблях, словно сговорившись, даже не оглядывался на руины Трои. От ахейского войска за десять лет войны осталось меньше трети, и воинам хотелось как можно скорее оставить позади этот пропитавшийся кровью песок берега. Но они чувствовали, что, оглядываясь или нет, этот берег не отпустит их уже никогда...

## Бухта Звучащих Раковин, или История Елены Троянской

Елена стояла на палубе и думала о том, что плывет к своему последнему пристанищу. Все идет по кругу, вот и ее круг близится к завершению.

Показался берег. Гребцы налегли на весла. Родос.

Она, как животное, потянула носом воздух. К солоному запаху Эгейского моря начал тонко примешиваться пряный запах рододендронов, они всегда росли здесь в изобилии. Родос — «Розовый остров».

Еще совсем девчонкой она бывала здесь с отцом Тиндареем в гостях у царя Линдоса. Это было уже очень давно, словно в другой жизни, еще до похищения ее стариком Тезеем. Она до сих пор не забыла свое униженное бессилие, когда уже пятидесятилетний победитель Минотавра, не обращая внимания на ее детские протесты, сделал ее, двенадцатилетнюю, женщиной. Но никто не знает будущего, только боги. И даже боги ничего не могут изменить в том, что уже предназначено.

Не знала ничего и она, когда здесь, на Родосе, со смешливой сверстницей Поликсой, дочерью Линдоса, ярким утром они плавали наперегонки в бухте Звучащих Раковин, притворяясь наядами, и ныряли за этими самыми раковинами, которых было на песчаном дне великое множество. Девчонки доставали их, сушили на берегу, прикладывали к уху и слушали, как в их непостижимой, живой, перламутровой глубине шумело море.

В бухту заплывали дельфины, ставшие уже почти ручными, и весело стрекотали, вызывая на игру. А рабыни сидели в тени скал, разложив на солнце белые полотна, чтобы подать вытираться царским дочерям, когда тем на-

доест купаться, пили принесенную в красных кувшинах воду и лениво сплетничали.

Белые полотна, черные скалы, красные кувшины на песке. И жаркое, готовое расплавиться, стечь прямо в море пронзительно синее небо.

— Ты — как Афродита,— говорила ей Поликса, хохоча и беззастенчиво рассматривая ее, когда они голые валялись на горячем июньском песке укромной бухты. От смеха у Поликсы смешно морщился веснушчатый нос.— Если бы я была Аполлоном, я бы в тебя точно влюбилась. Я тебе завидую, ты такая красивая, и у тебя должна быть необыкновенная жизнь. А вот меня, скорее всего, ничего интересного не ждет: я выйду замуж за того, кого мне подберет отец, буду рожать и ткать. И так — каждый день.

— Ты всегда можешь ткать узоры, какие не придумал еще никто. И каждый день — разные. И я буду так делать, когда выйду замуж. И тогда мои дни будут разными, и мне не будет скучно.

— А правду говорят, что ты — дочь Зевса? — понизив вдруг голос, спросила Поликса.

— А ты как думала?! Побежали наперегонки?

— Сейчас, сандалии надену.

— А босиком? Давай до той черной скалы и обратно!

Они хохотали, бежали, падали, ноги их увязали в горячем песке.

— Как жаль, что тебе — скоро уезжать. Попроси отца остаться подольше!

Елене тоже совсем не хотелось тогда возвращаться домой. С молчаливой, серьезной сестрой Клитемнестрой ей никогда не бывало так весело.

И теперь, через много лет, она понимала, что это боги давали ей там, на Розовом острове, последние дни счастья...



### Тезей

Детство ее кончилось внезапно. По дороге домой с рабынями из храма Афродиты, во время праздника Элефсинии <sup>1</sup>, она услышала топот копыт позади, совсем близко, и еще до того, как успела повернуться, чьи-то руки грубо подхватили ее и перекинули, как мешок с поклажей, через спину коня. Дико завизжали рабыни. Зубы Елены клацнули, она больно прикусила язык, и он сразу распух. Елена что-то кричала, лупила лошадь кулаками. Она была уверена, что похитил ее страшный Аид, как когда-то Кору, и теперь ей никогда больше не увидеть света. Она тихо заплакала от бессилия, а после, наверное, потеряла сознание, потому что уже ничего не помнила.

В спартанском порту Гитиум дул сильный ветер, поднимал до небес сухую пыль: в Спарте все лето не было дождей. Корабли укрылись в гавани, за скалами, но даже в такой шторм галера, на которой увозили ее, вышла в море. Всю дорогу она страшно мучилась от морской болезни, но старик-похититель не обращал на это никакого внимания, и после каждого опорожнения ее желудка он, воняя неразбавленным вином, вламывался в нее и начинал свои бессмысленные ритмичные движения, заканчивавшиеся хриплыми блаженными стонами. Сначала ей было больно, а потом все внизу онемело. Онемело, как и она сама. Надо было только потерпеть, и этой пытке всегда рано или поздно приходил конец, а на *те* моменты она просто как бы отделялась от своего тела, и ее сознание жило отдельно.

Тезей слюняво бормотал ей в ухо, что от него, прославленного Тезея, она, дочь Зевса, родит такого героя, какого

---

<sup>1</sup> Праздник Элефсинии отмечался осенью. Связан с мифом о похищении Кору, дочери богини Деметры, богом Аидом.

еще не видывала Эллада. Она не слушала его и только чувствовала, что превратилась в тряпичную куклу — такую, которая была у нее в Спарте, с глупыми, нарисованными на кипарисовом дереве глазами. Ей никогда не нравилась та кукла. Она иногда дралась ею с сестрой, забрасывала ее в угол, роняла в воду. И кукла покорно все это принимала — свесив набок голову и неподвижно улыбаясь ничего не выражавшим деревянным лицом. И вот теперь она стала такой куклой сама, полностью оказалась в чужой власти. Наверное, чем-то она заслужила все, что с нею теперь происходило.

Елена никого не видела, на палубу ее не выпускали, Тезей сам приносил ей воду, светильник, вино и еду. У нее были только постель и маленький столик, прикрученный к полу, и деревянные стены, раскачивавшиеся с жалобным скрипом. Она не знала, куда они плывут. Но самым страшным была темнота. Она казалась живой, населенной ужасными существами Аида, которые прикасались к ней мертвыми пальцами, стояли за спиной, словно ждали момента, чтобы напасть. Но почему-то не нападали... Она никогда не разговаривала с похитителем, только попросила однажды оставить ей огня. Убедившись в ее «благоразумии», Тезей, уходя, стал оставлять ей зажженную терракотовую лампу, и она больше не оставалась в темноте.

Она не знала, какое это было время суток, и давно потеряла счет дням, но однажды она проснулась и услышала за бортом знакомый стрекот дельфинов. Это были наверняка они, ее с Поликсой друзья, приплывавшие к ним на Родос. Они узнали, что она здесь, они приплыли, чтобы спасти ее и вернуть домой! «Я здесь, я здесь!» — закричала Елена и стала стучать в деревянный борт кулаками и кричать. И они отвечали ей своим стрекотом. Наконец-то ее отец, Громовержец, приказал Посейдону выволить ее! Она ждала чуда. Ждала долго. Стрекот дельфинов начал

отдаляться и наконец прекратился. Она опять осталась одна.

Сразу после ее тогдашнего возвращения с Родоса ее странная мать Леда, которая всегда, сколько Елена помнила, жила в своем, закрытом для всех остальных мире и словно не замечала собственных четверых детей, вдруг ласково взяла ее за руку, позвала к себе в спальню и рассказала ей нечто, удивившее ее и обрадовавшее.

Так узнала Елена, что она и впрямь вовсе и не дочь Тиндарея, а, страшно сказать, — самого Зевса... Мать совершенно беззастенчиво рассказала дочери о своей плотской любви с Громовержцем, принявшим облик лебедя, и как это было прекрасно, каким мягким был пух на его груди, какими нежнейшими были его крылья. Леда счастливо улыбалась, не понимая, почему счастье может быть постыдным. Елене сразу стало ясно, о какой похотливой птице рассказывали однажды на кухне рабы — размахивая руками, словно крыльями, хохоча и неприлично двигая бедрами. Многие, в том числе и отец Тиндарей, считали, что боги отняли у ее матери разум. А Елена матери поверила. Слишком уж сильно отличалась Леда от всех живших во дворце женщин. Эгейское солнце было бессильно перед ее белоснежными лицом и телом, они словно светились изнутри.

После разговора с матерью Елена, взглянув на свое отражение в отполированном бронзовом диске, служившем ей зеркалом, увидела вдруг, что и ее лицо на минуту словно озарилось изнутри. Впрочем, ей могло просто показаться. Но так было замечательно сознавать, что вовсе не морщинистый Тиндарей, вечно ведущий учет своему долгу и всегда монотонно отчитывающий ойкономоса<sup>1</sup> за то, что слишком много уходит в хозяйстве меда и козьего

---

<sup>1</sup> *Ойкономос* — управляющий, мажордом (греч.).

сыра, а сам Зевс — Зевс страшный, но великий и мудрый! — и есть ее настоящий отец. И она молила этого отца о помощи все время, пока сидела в деревянном мешке на триере Тезея. Но отец оставался глух к ее мольбам. Или он был занят? Или наказывал ее за что-то так страшно? Или... ему было стыдно за такую дочь? А может быть, мать Леда и впрямь была сумасшедшей и все придумала?

В городе Афидне, куда ее привезли — Елена, конечно, и понятия не имела, что это было за место, — Тезей препоручил ее своей матери и, к счастью, вскоре уехал, избавив ее от своего невыносимо тяжелого тела. Старая гарпия<sup>1</sup> с отвислым подбородком и седыми космами сторожила ее неусыпно. Комната Елены была на верхнем этаже. Когда отлучалась старуха, с пленницей постоянно находились здоровенные безмолвные фракийские рабыни — они, словно на посту, стояли у единственного окна. Елену одели в красивые туники, поднесли золотые украшения. Серьги, браслеты и ожерелья были очень красивыми, и ей понравилось менять их каждый день. Ей умасляли волосы душистым маслом, ее вкусно кормили, разрешали оставлять на ночь огонь. Попытка бежать представлялась пока бессмысленной: она знала, что в этом городке, которого она толком и не видела, так как везли ее с корабля ночью, ее найдут и все равно вернут. Но она все время думала о побеге.

Ей дали очень хорошую ткацкую раму и разноцветной пряжи. Она всегда любила ткать большие розовые цветы и дельфинов. Однажды старуха вошла к ней, долго молча смотрела на ее работу, ни с того ни с сего глубоко вздохнула, погладила ее по голове и быстро вышла. От неожиданной ласки у Елены перехватило горло. Она подумала,

---

<sup>1</sup> *Гарпии* — в греческой мифологии уродливые, агрессивные женщины-птицы.

что, может быть, эта старуха не такая уж и гарпия. Вот если бы только никогда не вернулся Тезей! Елена сама направляла челнок, сама двигала ткацкую раму, она сама решала, с каким узором выйдет ткань. И от этого уже чуть меньше чувствовала себя деревянной куклой.

Так прошло очень много дней.

Но однажды внизу на улице начался какой-то переполох. Рабынь кто-то громко позвал, и они убежали, плотно заставив окно деревянной решеткой на засовах, отчего в комнате сразу стало темно. И в ту же минуту Елена услышала под окном тихий переливчатый свист. Этот свист был ей очень знаком: так ее брат Полидевк обычно подзывал свою лошадь. Она подошла к решетке и увидела в ее просветах своих братьев — Кастора и Полидевка. Они подавали ей какие-то знаки. Но Елена сразу отпрянула от окна, потому что из-за вышитого полога, служившего дверью, внезапно вошла мать Тезея.

Ночью братья, переодевшись рабынями, выкрали Елену из-под самого носа ее сторожей. Они также захватили из конюшен Тезея двух прекрасных кобылиц с крутыми крупами, которыми герой дорожил больше всего на свете. Братья-спасители были немногословны, да и времени на разговоры у них не было — в укромной бухте ждала под парусами спартанская биера, они только напрямую, без экивоков поинтересовались у сестры, не обрюхатил ли ее Тезей. А она стояла и молчала, только теребила край пеплоса. Тогда Кастор махнул рукой и сказал брату: «Да не так-то это просто теперь старому хрычу, не тот он, что раньше!»

В пути Елена машинально жевала обычную еду моряков — пресные сухари, сушеный виноград и вяленую козлятину, пила разбавленное вино. И не произнесла ни с кем ни слова. За время плена она как-то отвыкла от разговоров. Морская болезнь в этот раз не мучила, да и море

было спокойнее — братьям всегда благоволил Посейдон. Весь обратный путь в Спарту Кастор и Полидевк пиروвали на качающейся палубе с друзьями, помогавшими им в их предприятии, хохотали и вспоминали все подробности приключения, представляя в лицах, как Тезей обнаружил пропажу.

Порой налетал ветер, и тогда горизонт вздымался перед носом корабля, а потом проваливался куда-то вниз, и в такие мгновения казалось, что они плывут прямо в небо. Гребцы монотонно выкрикивали свое «И-хо!», и этот монотонный, повторяющийся звук доводил Елену до истерики — он напоминал ей прежнее ее «путешествие» и «любовь» Тезея. Мужчины, услышав громкие рыдания Елены из-под навеса в углу палубы, замолкали, но уже через минуту продолжали свои разговоры и смех, лишь многозначительно переглянувшись: «Эх, бабы, поди пойми их! Увезли от старого козла, а она рыдает! Ну ничего, дома сядет за родную прялку и успокоится!» «А может, ты остаться хотела, сестрица? Может, тебе старые козлы больше по душе?» — гоготали хмельные братья и их лихие друзья.

Бесконечное «И-хо!» гребцов, скрип деревянной палубы и весел, плеск моря, нервное ржание похищенных кобылиц Тезея, запах свежего конского навоза. И злость, постепенно и мощно растущая внутри, вытесняющая жалость к себе, бессилие и прежнее желание умереть. «Проклинаю тебя, старый бородатый похотливый чурбан на Олимпе! Слышишь?! Это мне стыдно за тебя!» — громко прокричала девчонка неожиданно сильным, без всяких слез, голосом.

Она вдруг почувствовала легкость в мочке левого уха. «Потеряла серьгу. Наверное, обронила у борта». Резко встав, Елена пошла к борту. Разговоры и смех сразу оборвались. Братья бросились к ней — в страхе, что она намерена прыгнуть в море, но Елена повернула к ним лицо, на

котором уже совершенно высохли слезы, и они остановились от ее властного взгляда. «Не бойтесь. Не выпрыгну. Всех кобылиц вы домой довезете в сохранности!»

Мужчины напряженно замолчали. И — молчали до самого вечера, и никак не могли сосредоточиться: у всех перед мысленным взором так и стояла растрепанная девчонка с одной длинной сережкой в ухе и в мятом синем пеплосе. Они вдруг поняли старого Тезея. В этой красивой девчонке, во всех ее движениях волнами перекатывалась странная, необыкновенная порочность, не виданная ими ранее ни в одной другой, даже самой падшей женщине, каких столько было во всех портах. Порочность Елены обещала редкое, первобытное наслаждение, о каком с ранней юности томительно и напрасно мечтает каждый мужчина. И самое притягательное было то, что девчонка выглядела при этом абсолютно невинно, явно не подозревая об этом своем ужасном свойстве. И те, у кого были семьи, мысленно возблагодарили богов за то, что ни жених, ни дочерей не постигла такая беда.

### Женихи

Прошло несколько лет, и каждый год был похож на предыдущий, как ее неразлучные братья-близнецы Диоскуры, которые странствовали теперь где-то по Аттике. Елена прекрасно поняла, зачем однажды утром, как раз после праздников Анфестерий<sup>1</sup>, Тиндарей позвал ее и знаком предложил сесть на низкую скамью у жарко горящего очага. На подворье было шумно: во дворце стояло много гостей. Она прекрасно знала, кем были эти гости и зачем они прибыли.

---

<sup>1</sup> Праздновался зимой.

Тиндарей в присутствии красавицы дочери всегда чувствовал себя неуютно, словно его посадили на пилон со змеями.

— Елена, решено, что ты должна выйти замуж за Менелая, сына Атрия. Хоть ты и потеряла себя, но тронутый солнцем виноград для иных — слаще свежего, потому и налетели к тебе эти женихи, как мухи на виноградную яму. И чем скорее ты выйдешь замуж, тем всем нам будет спокойнее. Ты и представить себе не можешь, во сколько обходится мне каждый день, который они проживают во дворце, — корми их самих, их слуг, рабов, лошадей. Да и дрова для очагов заготавливай — скоро оливы рубить придется. И так — каждый день. Скоро эти женишки, будь они неладны, опустошат все кладовые, мышам нечем будет полакомиться.

— Но ведь они все привезли тебе подарки. Коней теперь — в конюшне места нет, а вин, сыров, говорят, слугам уже девать некуда. И мне пряжи привезли — с золотой нитью!

— Пряжи ей привезли, она и рада. Одиссей, например, тот вообще с пустыми руками явился с Итаки, корми его с архаровцами! Говорю тебе, сожрут скоро весь дворец, если жениха скорее не назвать и свадьбу не назначить. Всю Элладу вот уж, считай, без малого месяц содержу! Ты — что Сирена беззвучная, всех влечешь. Да только беда-то вот в чем: как остальным скажешь, что я одного из них уже выбрал, — обид будет, ссор! Горячие головы еще войной пойдут! А мне не до войны уже, покоя, и одного лишь покоя хочу на старости лет. И ведь только двое, Агамемнон и Менелай, имеют в Элладе вес, это — тунцы, а остальные — так, кефаль серебристая. Ну, Агамемнон — уже муж Клитемнестры, сестры твоей, и, значит, серьезный претендент остается всего один — брат его Менелай. Однако, кого ни назови — остальные же набросятся на



него, точно свора собак! Беда и раздор придут в Элладу! Вот возьми хоть Одиссея! Кто его знает, зачем его ветры принесли с Итаки, неужели поближе девицы не нашлось? Еще один женишок — Тлеполем. Тот вообще оставил жену и дочь, и, зачем он здесь, неизвестно. Нет, Елена. За муж! Замуж, да поскорее.

— Тлеполем — это муж Поликсы, дочери царя Линдоса?!

— Он самый и есть.

— Так это что... Это значит, он оставил... Поликсу?..

— Ну оставил. Видно, надоела. Надеется тебя привезти на Родос, а той — объявить, чтобы либо искала себе нового мужа, либо уходила... Как водится. А ей так и надо, лучшего она не заслужила.

— погоди, отец, что это значит — «лучшего не заслужила»... Что с ней случилось?

— С Поликсой? Наказали ее боги.

— Как?! За что?

— Тлеполем, говорят, еще юношей случайно убил на охоте дядю своего, Гераклида. Ну и все семейство Гераклидов на него ополчилось и изгнало его. Мотался он по морю, мотался, и принесла его нелегкая на Родос. Линдос сначала принял его приветливо. А Поликса влюбилась, дура, и поразило ее безумие.

— Так она безумна!

— Да нет, слушай! Линдос с Тлеполемом однажды устроили пирушку, напились и затеяли пьяную драку. Тлеполем — моложе, ловчее, ну поставил, подлец, старику Линдосу синяк под глазом. А Поликса была уже от наглеца брюхата. Сказала она отцу об этом или нет — не знаю, только всё одно: после драки с Тлеполемом нашел Линдос Поликсе жениха, и никаких ее слез слушать не захотел. Нечего дуре потакать, не ложилась бы под наглеца.

— Несчастливая! И чем же все это кончилось, отец?

— Плохим, вот чем! Опоила она Линдоса и ночью зарезала. А Глеподем на ней женился и стал на Родосе царем. А вот теперь — тебя сватать приехал. Каков наглец! Но речь не о нем, ну их всех! А слушай вот что: Атриды — мои союзники и друзья. Это сильнейшие и толковейшие в Элладе цари и преданы мне. Спарта за ними — как за каменной стеной. Потому пойдешь за Менелая и ни за кого более.

— Что ж... отец, твоя воля. Пойду, за кого скажешь. Но не за того, кто сюда от живой жены прибыл.

Ночью Елена, которой никогда во время полной луны не спалось, бродила по темным коридорам дворца. И вдруг услышала в соседней комнате голоса. Один, густой, властный и слегка хмельной, поучал:

— Пора тем, кто мнят себя твоими соперниками, убираться восвояси. Тебе Тиндарей Елену отдаст, тебе, сыну Атрия. Но знай: распустишь ее — беда. В кулак ее зажми, как я свою Клитемнестру, — и пикнуть она у меня не смеет. Верные люди мои при ней денно и ночью, все доносят — мышь к ней не прошмыгнет. А Клитемнестра хоть и недурна, да с ней хлопот не столько, сколько с этой может случиться. Хороша Елена, стерва спартанская, ох хороша! Хотя Тезей ее уже — как червяк яблоко прогрыз! Тяжело тебе будет, брат, если сразу ее в кулаке не зажмешь. Бесчестье — хуже смерти. Мертвому — один погребальный костер, рогатому — сотни костров каждый день: насмешки, намеки, шуточки. И сколько ни сруби голов, все равно останется их достаточно, чтобы вдоволь позлословить у тебя за спиной.

— Тебя послушать, брат, так нет ничего лучше, чем на кривой и хромой старухе жениться, — никто уж не позарится, — отозвался другой голос. — А Тезей Елену силой же взял, ребенком еще, все знают. Вины ее в том не было.

— Ребенком! Эх, не знаешь ты бабьего коварства, Менелай. Ни одну не украдут, если сама того не захочет.

Она заторопилась прочь, страшась услышать, что ответит на это Менелай.

Через несколько дней, во время шумной ночной пирушки с Тиндареем, по совету многоумного Одиссея все женихи — и Тлеподем с Родоса, и сам он, и Патрокл, друг Ахилла, и Аякс, и Диомед, и другие — согласились, что выбор мужа нужно предложить самой Елене. А те, кому не повезет, должны погрузиться на свои корабли и уплыть восвояси, однако поклявшись не таить на избранника зла, никаких препятствий ему не чинить, а наоборот, содействовать ему во всем, если он призовет. Каждый охотно принес клятву, втайне считая, что именно он имеет все шансы оказаться избранником. А наутро Тиндарей объявил, что Елена выбрала Менелая.

**Н**а следующий день из Гитиума отплывало множество галер.

Под огромным голым платаном, на тонком снегу надрывно мычали и мотали головами предназначенные для гекатомбы тяжелые быки. Из ноздрей их вырвались клубы пара. Быки казались грозными и огнедышашими, хотя на самом деле им самим было очень страшно. Они наклоняли головы, словно готовясь боднуть подползающую невесту откуда смерть, — они ясно ее чувствовали, но никак не могли себе представить. Чтобы работа жрецов была полегче, быкам дали настоя омелы в больших, украшенных ветвями елей горшках, и вот они уже счастливыми, безразличными тушами падали грузно один за другим от молниеносных взмахов узких жертвенных клинков, успев увидеть лишь нечеткие, расплывчатые, словно дымом очерченные, контуры своей смерти. Голые по пояс забойщики были мускулисты,

веселы и спокойны — они отлично знали свое дело. Вскоре они были так забрызганы бычьей кровью, что на холоде от них, как и от кровавой земли, поднимался пар, и казалось, что с них самих содрали кожу. Чуть припорошенная снегом, подтаявшая земля жадно впитывала густую кровь, и это сочли хорошим предзнаменованием: боги принимали жертву.

### **Менелай**

**В**скоре после свадьбы Менелай стал царем Спарты. Перед самой свадьбой мать Елены Леда, блаженно улыбаясь, сняла с себя и отдала дочери свои прекрасные украшения из невиданных желтоватых, словно капельки меда, камней. Эти камни стоили очень дорого, и привозили их высокие купцы из стран, где, как говорили жрецы, живут люди, покрытые волосами, как звери, где не растет лоза и где море не синее, а серое, точно ствол оливы, и где зима никогда не кончается. Но Менелай попросил ее никогда не надевать ни эти, ни какие другие украшения, он сказал ей, что честной жене это ни к чему. Она хотела спросить, нельзя ли хотя бы оставить их ей, чтобы она могла пусть изредка трогать их и любоваться ими в своей спальне, но почему-то не стала об этом просить — может быть, из гордости. Украшения заперли в подвале. И пеплосы ей разрешалось теперь носить только с такими широкими плащами-гиматиями, что совершенно скрывали фигуру. Мужская прислуга тоже как-то совершенно исчезла из ее окружения. Но это она заметила в самую последнюю очередь: с самого своего возвращения в Спарту, падшей и опозоренной, Елена все принимала с каким-то коровьим безразличием.

Старый Тиндарей с удовольствием и облегчением человека, с плеч которого упала огромная ноша, удалился

вместе с тихой безумной Ледой на покой в добротный дом в горах, до которого от столицы было полдня пути на хорошо отдохнувшем коне. Дом окружали поляны с вечно-зелеными пряными кустарниками. Лекарь из Египта, тонкие темные губы которого были словно навсегда искривлены снисходительной усмешкой (он считал ахейцев дикарями и варварами), приготавлиал из ягод этих кустарников старому Тиндарею снадобья для лечения большого желудка. Они помогали, и старик был счастлив. Лекаря Тиндарею подарил Агамемнон. Египтянин и Леде каждый вечер давал какое-то питье, от чего она постоянно находилась в полусонном блаженном состоянии, из которого однажды, так ничего и не заметив, ушла в небытие. Последнее время мать совершенно никого не узнавала, но, когда она умерла, Елене все равно показалось, что теперь-то она точно осталась совершенно одна. Братьев к тому времени тоже не стало. Их убили в Аркадии при попытке украсть чужой скот и чужих невест.

А с Менелаем у Елены все было непросто. Однажды, проснувшись, она увидела, что он, опершись на огромную мускулистую руку, пристально смотрит на нее, спящую. Ей стало не по себе: во взгляде его не было любви — только беспокойство и страх. После Тезея Елена испытывала отвращение ко всему, что касалось физической близости. Как только до нее дотрагивались требовательные мужские руки, в ней словно что-то умирало — она не шевелилась, не издавала звуков, почти не дышала. Даже сердце ее почти останавливалось. Это началось еще на галере Тезея. А Менелаю это нравилось, он принимал это за проявление ее целомудрия. Все во дворце, включая и Елену, знали, что для более энергичных утех царь держит критянскую рабыню, акробатку с мускулистыми, почти мужскими ляжками, умеющую делать сальто на спинах быков, — эту чуждую спартанцам,

но модную теперь повсюду забаву привезли когда-то беженцы с Крита <sup>1</sup>.

Иногда Елена сталкивалась с критянской во дворце нос к носу. Акробатка, проданная в Спарту из поселения беженцев в Лидии <sup>2</sup>, расхаживала по дворцу полуголой, нарумяненной, увешанной бренчащими безвкусными браслетами и с сильным акцентом жаловалась на постоянный холод и ужасную пищу. Елена не удостаивала ее разговорами. Критянка презрительно фыркала и зло бормотала что-то на своем наречии. Простая, животная неприязнь этой самки была осязаема и плотна, как ломоть овечьего сыра. Акробатка уже родила Менелаю двоих сыновей. Как-то раз, проходя по дворцу, Елена услышала звук, словно кто-то хлопнул в ладоши, и сразу — раздраженный голос Менелая: «Не забывай, кто она и кто ты!» И тотчас вслед за этим критянка выскочила в галерею — с визгливыми рыданиями и горящей смуглой щекой. Елена спряталась за колонну и, к счастью, осталась незамеченной.

Как-то так получилось, что челядь, которую привез с собой в Спарту Менелай, занимала одну половину дворца, а слуги и рабы старого Тиндарея, служившие теперь Елене, — другую. И одна половина другую недолюбливала. Рабы Елены — втайне, конечно, — терпеть не могли ни Менелая, ни его наложницы критянки, в пику пришлым аргосцам бахвалились на кухнях и в конюшнях полубожественным происхождением Елены, их госпожи. На это челядь Менелая издевательски улыбалась. Но злословить не смела.

---

<sup>1</sup> По многим гипотезам, Минойская цивилизация на Крите и часть самого острова были разрушены извержением вулкана на острове Санторин и гигантской волной. Беженцы с Крита после этого расселялись по всей Элладе и Малой Азии.

<sup>2</sup> Совр. Турция.

Весной Елена почувствовала, что беременна. Сначала, на ранних сроках, она была к этому совершенно равнодушна, а потом это состояние начало беспокоить ее все больше.

Физическая близость уже давно превратилась из муки в тягостную неизбежную обязанность, и она к ней привыкла. Но то, что происходило с ее набухающим телом сейчас, пугало и даже злило ее. Раньше ее тело не принадлежало ей только в моменты мужской любви. Теперь ей казалось, что Менелай владеет им постоянно. И ей было страшно — от того, что какое-то существо шевелилось внутри, питалось ее соками. И высасывало то последнее, что еще принадлежало ей.

Перед самыми родами — Менелай был в отлучке, у брата в Аргосе, — ей приснился ужасный сон. Ей приснилось, что она кормит младенца, но не чувствует ни его ручек, ни ножек. Она разворачивает пеленку и видит существо с лицом ребенка и черным чешуйчатым телом короткой толстой змеи. В тот же момент лицо младенца тоже исчезло, и эта все увеличивающаяся змея впилась в ее сосок, и она никак не может ее оторвать.

Елена страшно закричала во сне. На крик прибежали рабыни. И тут же начались роды.

В полдень она уже держала завернутую в белоснежное полотно крепкую девочку. Вернувшийся Менелай был немного разочарован тем, что Елена не родила ему сына, но дочь оказалась так похожа на него и так забавна, что он смягчился и назвал младенца Гермией.

Иногда Елена с тревогой ощупывала спеленатое тельце дочки, а та энергично сучила сильными ножками и ручками, стараясь распеленаться. Тогда Елена успокаивалась. Муж настоял, чтобы Елена кормила ребенка сама — никаких кормилиц! Он любил смотреть на кормя-

щую Елену. В эти минуты жена наконец-то действительно казалась ему воплощением целомудрия и чистоты. А Елена кусала губы и боролась с наворачивающимися слезами, стараясь не выдавать боли: соски у нее оказались плохие, они быстро потрескались и от каждого прикосновения детского рта начинали кровоточить. А дочь была горластой, требовательной и всегда голодной.

Менелай часто отлучался — к деду на Крит, к брату в Аргос. У братьев были большие военные планы. И тогда верная служанка тайком проводила во дворец красивую, ладную молодую кормилицу. Елена смотрела, с какими удовольствиями и легкостью кормила эта крестьянка ее дочь, и думала, что вот даже быть хорошей матерью не дано ей богами, как не дано было стать любящей женой. «Дочь Зевса!» — грустно и горько, вспоминая свою безумную мать, улыбалась Елена.

Ей часто казалось, что само ее появление на свет было какой-то досадной ошибкой. Зачем и кому нужна она — бесполезная и ничего не стоящая? Не для того же она родилась, чтобы ткать гобелены-тапесы, — ими были теперь увешаны все стены ее спальни. Но эта работа превратилась в потребность, в одержимость. За ткацкой рамой наступал покой, которого она больше нигде не могла обрести. Вот только изображения повторялись — розовые и красные рододендроны далекого острова, и раковины, и дельфины, и терракотовые крутобокие кувшины, и белые полотна на песке, и теплое море... Тот счастливый день, оставшийся только на ее ярких тапесах. Она думала о несчастной Поликсе, подруге детства, ставшей теперь отцеубийцей. За что они обе наказаны? И все чаще приходила мысль, что хорошо бы сойти с ума — так же тихо, достойно и прекрасно, как мать. Но даже этого у нее не получалось.



## Парис

Праздники в честь Диониса<sup>1</sup> начались в Спарте так. Ночью страшный порыв ветра ударил ставни спальни о стену, словно дал дворцу пощечину. Погасли едва теплившиеся факелы. С крыш брызнули осколки черепицы. По дворцу забегали слуги, что-то падало, кто-то кричал. Испуганно и тонко завыла собака — или это был ветер? Упала терракотовая лампа и разбилась вдребезги. Менелай крикнул, чтобы принесли огня, и неловко попытался в темноте оттащить колыбель с проснувшейся Гермионой подальше от окна. Низкая колыбель перевернулась, Елена едва успела подхватить ребенка. Разбуженная дочка испуганно заревела. Менелай вдруг резко выругался — он поранил в темноте руку. Наконец вбежали с факелами рабы.

Всю ночь ветер зло обламывал протянутые с мольбой в небо, покрытые цветами и завязями ветви. Потом он улегся, и небо оглушительно и сухо прорвал первый раскат грома. Первая после зимы гроза. Хлынувший ливень был женственным, сострадательным, он словно промывал нанесенные ураганом раны. Утром все успокоилось, и сквозь рваные тучи даже выглянуло, чуть виновато, солнце. Люди чинили крыши, ставни, убирали грязь, которую принес на улицы ливень, и говорили о ночном урагане и гневe богов.

На мощенной известняком площади уже готовили гекатомбу, чтобы умиловить Громовержца и начать празднования в честь Диониса. Надрывно мычали быки, и уже разгорались снесенные на площадь обломанные ветром ветки оливковых и миндальных деревьев. Они,

---

<sup>1</sup> Праздновались весной.

еще живые, корчились в пламени, истекая пахучим весенним соком. Елена вдыхала ароматный дым и прислушивалась к густому голосу Менелая. Тот отдавал какие-то распоряжения. Гермiona сладко посапывала после тревожной ночи. И как раз в этот час в спартанский порт Гитиум вошли две чужеземные триеры, по виду — троянские. Они были здорово потрепаны ночным штормом.

Во дворце Менелая шумел пир в честь нового союзника Спарты — могучей Трои. Царь Приам прислал-таки сыновей Гектора и Париса скрепить военный союз с братьями Атридами. Это было отличной новостью: решение богатой Трои, контролирующей торговлю с городами на берегах Геллеспонта и Понта Эвксинского<sup>1</sup>, заключить военный союз с Атридами стало результатом усилий Агамемнона и Менелая. Братья понимали, что давление на Трои неразумно: при относительном равенстве сил война могла быть затяжной и изнуряющей. Гораздо лучше было иметь этот город на своей стороне. Однако царь Приам был известен непредсказуемостью своих решений, и братья, предложив ему союз, не знали, что решит в итоге этот своенравный старик. Но вот — свершилось! Теперь в Элладе не было никого, способного противостоять объединенным силам Приама, Менелая и Агамемнона.

Муж не любил, когда Елена выходила к гостям. Поэтому в тот теплый вечер, пахнувший зажаренным жертвенным мясом и пряным ветром с гор, она гуляла по верхней галерее дворца с Гермией на руках.

---

<sup>1</sup> Черного моря. *Понтос Эвксинос* — «Гостеприимное море», или *Понтос Аксейнос* — «Негостеприимное море», так называли его греки смотря по погоде.

Незнакомец вырос перед ней словно из-под земли — белый, как храмовая стена. В следующий момент он перегнулся через балкон, его тяжелое наплечье ударило о камень балюстрады, и его вырвало на кусты жимолости.

— Помоги мне,— пробормотал он со странным акцентом.— Принеси воды, плохо...

Она это и так видела и поняла, что он с пьяных глаз и из-за простоты ее одежд, отсутствия всяких украшений принял ее за служанку. Или, может, за кормилицу. Парень был одет богато — так иногда любил наряжаться чудаковатый египетский лекарь отца: лиловая туника, красивый, очень широкий чеканный пояс с бирюзой, на груди — тяжелое бронзовое наплечье с разноцветными прозрачными камнями. И — широченные золотые браслеты.

Кто это? Как он сюда попал?

Она передала ребенка бесшумно подошедшей служанке и приказала принести воды. Вода и полотенце были тут же принесены.

Парень был смущен, он понял свою ошибку:

— Ты — Елена?..

— Знаешь мое имя?

Он пил жадно. Утерся полотенцем. Расстегнул и снял наплечье, положил рядом, морщась, потер грудь:

— Твое имя многие знают в Элладе.

Она поняла его по-своему и опустила взгляд.

— Прости, что пришлось так некрасиво тебе представиться, царица. Брат и остальные пьют как жертвенные быки, а меня после нескольких чаш уже выворачивает. Я специально с пира ускользнул, чтобы они не видели моего позора и не потешались надо мной. А вот еще хуже опозорился — перед тобой.

Из пиршественного зала снизу донеслись громовые раскаты смеха, словно в ответ на его слова.

— Это не позор. Позор — совсем другое.

— Правильно. Я знаю, что такое позор... — Он понизил голос: — Вот брат мой Гектор — тот настоящий воин, бесстрашный. Гордость родителей. А я... даже пить не умею. И еще честно признаюсь: я ничего не понимаю в их политических союзах и интригах, только притворяюсь, что понимаю. Мне наплевать, будет ли вся Эллада лежать у ног Трои или нет. Я — чужой в собственной семье. Всё, чего бы мне хотелось, это вернуться к приемному отцу на гору Иду и продолжать пасти стада. Я не герой, не правитель и никогда им не буду. Я был счастливее раньше...



Елена Прекрасная и Парис (Жак Луи Давид, 1788)

Парень сел на пол, прислонившись к стене. Он был явно всерьез расстроен. И уже не выглядел пьяным.

— А я — очень плохая жена и никудышная мать,— вдруг с отчаянной безрассудностью сказала Елена.

Он внимательно посмотрел на нее:

— Прости, Елена, мне нужно идти. Прости меня и, пожалуйста, забудь про это всё...— Он указал на кувшин, на смятое полотенце.

Она налила ему в чашу еще холодной воды, подала, он с благодарностью принял. Она стояла рядом, со странным удовольствием глядя, как жадно он пьет. И неожиданно почувствовала близость к нему — совсем незнакомому, тоже измученному несуразностью его жизни.

В трапезной дворца продолжал шуметь пир. А здесь, на галерее... Вскоре не было ближе людей на земле, чем Парис, сын Приама, царя крепкостенной Трои, и Елены, царицы Спарты, жены грозного воина Менелая, в чьей власти была теперь почти вся Эллада.

Лежа в то утро рядом с хмельным, громко храпящим мужем (пир кончился только под утро), она улыбалась. И, глядя в открытое окно, представляла себе звезды мальчишками, ныряющими в утреннее небо, словно в море, прячась от сияющей колесницы Гелиоса, чтобы снова вынырнуть с темнотой, и понимала, что жить, как она жила прежде, уже не получится. Никогда. Вытканые ею тапесы на каменных стенах спальни шевелил утренний ветер, и дельфины на них тоже, как и она, наконец оживали...

Праздник продолжался и на следующий день. А к ночи во дворце раздались тяжелые и тревожные шаги. Это были бородатые мужчины в доспехах, покрытых кристаллами морской соли. Они прибыли с Крита, чтобы сообщить: умер Катрей, дед Атридов, и в порту уже стоит триера. Нужно было незамедлительно отплывать.

Эти похороны должны были теперь показать всей Элладе крепость нового военного союза, поэтому и похороны родича, и жертвоприношения должны были выглядеть подобающе новым повелителям Эллады. Агамемнону об этом сообщили раньше, и он был уже в пути на Крит.

На ходу одеваясь, Менелай спустился к прибывшим. Прощаясь, он нежно провел ладонью по горячему лицу Елены, поцеловал, обдав винным запахом, спящую дочь. Елена слышала, как седлали коней, как дружески прощался внизу муж с вышедшим на шум из гостевых покоев Гектором.

Корабли троянцев были бы тоже готовы последовать на Крит за Менелаем, но плотники не сразу взялись за ремонт из-за торжеств, и ойкономос сказал царю, что мастерам нужен еще только один день, чтобы подготовить троянские триеры к выходу в море. Гектор отдавал распоряжения, начались сборы к отплытию. С гор дул утренний холодный ветер.

И тут Елена увидела Париса. Обнаженный по пояс, он выходил на подворье, сложив руки на груди и зябко подергивая широкими плечами. Под его кожей перекачивались крепкие мускулы, но тело его еще не стало матерым телом воина и было по-мальчишески тонко.

Сердце ее замерло. Первый раз в жизни, глядя на мужское тело, она не испытала ни страха, ни неприязни. Первый раз в жизни ей захотелось дотронуться до мужчины. Чувство было новым. Парис бросил быстрый взгляд на окно ее спальни и продолжал разговор с Гектором. И тут ею овладел ужас. Она прекрасно помнила разговор мужа с управляющим: на закате корабли троянцев будут готовы к отплытию. Значит, от вчерашнего вечера останется лишь память. А дальше — дни, когда она опять будет ждать безумия как избавления. Только теперь, после этой встречи, после новых, никогда прежде не испытанных чувств жить

будет еще труднее. Говорят, в горах есть небольшие желтые змейки, укусы которых безболезненны и яд действует моментально... Но именно теперь она, давно безразличная ко всему и отвыкшая от сильных желаний, с удивлением почувствовала, что больше всего на свете ей хочется жить.

Парис зевнул и взглянул вверх, на окно ее спальни. И тут она, неожиданно для самой себя, подала ему знак — подняться к ней.

Быстрым, каким-то птичьим движением он оглянулся по сторонам. Все были заняты своими делами, и никто, кажется, ничего не заметил.

Во внутреннем дворике, разделяющем женскую и мужскую половины, она, оглянувшись по сторонам, схватила его за руку:

— Не оставляй меня здесь... Возьми с собой.

— И ты потом не будешь проклинать меня всю жизнь за эту минуту? И себя — за эти слова?

— Мы не знаем нашего *потом*, только — *сейчас*. А мое *сейчас* таково, что я прошу тебя, человека, которого едва знаю, спрятать меня с дочерью на твоём корабле и увезти отсюда! Если боишься или не хочешь — прости. Забудь мои слова и никогда никому не говори о них, я безумна...

Цоканье языка заставило их вздрогнуть. Из-за колонны, ухмыляясь, вышла критянка Тера:

— Так-так-так! Ну и спешка, ну и приспичило! Менелай еще и отплыть не успел на похороны деда, а его добрая жена уже собралась бежать. Муж-то думает, что она чиста, как снег на Олимпе, а она на самом деле такая же сучка, что и мы, грешные циркачки...— Тера подступала все ближе к Елене.— Вот сейчас подниму шум да позову стражу — пусть полюбуются на свою полубожественную госпожу, умоляющую смазливую мальчишку увести ее от живого мужа! А тебе, троянец, видно, свое хозяйство между ног носить надоело. Ты подумал, что илоты нашего

царя сделают с тобой прямо здесь, на месте? Менелай ведь наверняка распоряжения им оставил на такой вот случай! Так-то троянцы платят за гостеприимство! — И она опять издевательски зацокала языком. — А тебя, сучка, запрут до прибытия мужа, и многое бы я дала, чтобы послушать ваш с ним «разговор», да только и в самых дальних уголках дворца мы твой вой будем слышать, еще и уши затыкать придется!

Елена и Парис в ужасе смотрели на кривляющуюся Тера. А та наслаждалась своей властью над ними. Ей было весело, и она смеялась — переливчато, по-птичьи.

Елена представила, как сжимает пальцы на ее горле, как темная кожа циркачки становится багровой, как чернеют губы, выкатываются из орбит и наливаются кровью глаза, как судорожно начинает она хватать руками воздух, словно пытаюсь схватить за хвост свою ускользящую жизнь, но та не уходит, и Тера сдается, руки ее опускаются, тело напрягается в предсмертной агонии, жизнь юркой змейкой ускользает меж камней, и критянка обмякает тяжелой бесформенной массой. И тогда — никаких препятствий.

Но...

— Не бойтесь, — совершенно изменившимся тоном сказала, прекратив вдруг кривляния, Тера. — Не буду я звать стражу и никому не скажу. Еще вчера я все слышала и видела на галерее, как вы плакали друг у друга на груди. Один — сын царя Приама, другая — жена самого Менелая! Вам, несчастненьким, все было дано с самого рождения, и пальцем шевелить не нужно — дворцы, рабы, почет, а детям — наследственные троны. Это нам, акробаткам пришлым, нужно все добывать своими руками. Ну да ничего, руки у нас сильные. Ну, что окаменели?.. А бежать тебе, Елена, я сама помогу. Каждому — своё. Тебе нужен этот не умеющий пить мальчишка, а мне — Менелай. Пусть



тогда он сам решает, кто ему настоящая жена. Ну, что скажете?

— Помоги! — неожиданно для себя хрипло выдохнула Елена. Она готова была упасть перед критянской на колени, но...

Парис ее удержал:

— Не унижайся перед ней! Пусть зовет стражу. Во дворце — мой брат и достаточно троянцев, чтобы тебя отбить.

— А на себя ты, смазливенький, видать, не надеешься! — ядовито ухмыльнулась Тера. — Ладно, время терять нечего. Но — одно условие: Гермiona остается здесь. Ходить за ней стану лучше матери, моим сыновьям сестрой будет! Менелай любит дочь, и это еще больше его ко мне привяжет. Из тебя, Елена, — какая мать? Ты даже кормить свое дитя не можешь. А из этого чуда троянского — какой отец? Посмотрите вы на себя!..

*Только очень много лет спустя Елена узнает, что одна из ее рабынь, подслушав этот разговор с злосчастной критянской, донесла о нем вернувшемуся Менелая. И Менелай, со спокойным и даже деловитым выражением лица так сжал горло циркачки, что не просто задушил ее, а сломал ей шейные позвонки, и голова ее запрокинулась, как у тряпичной куклы. Ослепший от гнева, он не заметил двоих затаившихся в дверном проеме мальчишек — не мигая, те наблюдали эту сцену. Инстинкт самосохранения могуче приказал им молчать, только глазенки их по-волчьи отразили бесноватое пламя масляных светильников.*

Море было спокойным, солнце село, небо потухало, меняло цвет, наступала темнота. Триера Гектора вышла из порта первой и взяла курс на Крит, корабль Париса шел следом. Через несколько часов Парис просигналил брату

огнями, что делает остановку на острове Кранае, с которого все еще видны на горизонте чернильно-синие спартанские горы. Гектор недоумевал, а еще через несколько мгновений увидел на галере Париса тревожно забившийся, словно пойманная птица, яркий сигнальный огонь, который мог означать только отчаянную просьбу о помощи. Обеспокоенный Гектор направил галеру к острову, чтобы узнать, что случилось у брата.

...Елена знала, что сделала правильный выбор. Что боги благоволят ей. Что все прошлые страдания были посланы и пережиты ею вот за это: за эти волны блаженства, которые беспрестанно прокатывались по ее телу, извивающемуся под телом Париса в полном самозабвении. Две части ее существа, до того мучительно и насильственно разделенные, наконец встретились, слились, соединились окончательно в этом первом ее экстазе, за которым, ей казалось, должно начаться безумие или наступить смерть, потому что после этого к реальности вернуться — *невозможно*. Она теперь понимала, почему сошла с ума мать. Это ее, Елены, отец, добрый и мудрый Зевс, лишил Леду разума, чтобы в памяти ее навсегда осталось блаженство соития с ним. Теперь, закрыв глаза, Елена возносила тысячи благодарностей своему божественному отцу и просила у него прощения. На ней было украшение матери — то самое, из солнечных северных камней. Она успела взять его из сокровищницы мужа — только его. Елена продолжала возносить беззвучные молитвы и потом, когда они с Парисом, той чудной ночью на Кранае, едва одевшись, слушали возмущенного Гектора и... ничего не слышали. Гектор кричал что-то о политике, союзниках, о Менелае, войне, опять о Менелае, Агамемноне, и опять о войне, о том, что надо немедленно возвратиться в Гитиум и вернуть Елену. А она думала только о словах Париса: потрясенный своей любовницей как ни одной до этого

женщиной, а их было много, он решил воздвигнуть на этом острове храм Афродиты и сказал об этом Елене. Она уже видела этот храм в своем воображении и знала, что он должен стоять прямо на берегу моря, на отвесной скале, и служить маяком, чтобы свет в нем видели проплывающие корабли... Она была спокойна. Потому что знала: ее не вернут обратно в Спарту — ее Отец этого не допустит. Она уже выдержала все испытания, посланные ей, она — заслужила...

Елена и не подозревала, что совсем неправильно поняла волю своего божественного отца. Что посланное ей блаженство — не награда за прежние несчастья, а дано ей — авансом за будущие. И что платить ей еще предстоит, и платить очень дорого.

### Расплата

Ее обиталищем стала Троя. Домом она ей так и не стала никогда, ибо только два человека в этом городе почему-то не испытывали к ней ненависти: Гектор и старый Приам. Она проводила дни взаперти, в своей роскошной спальне, опять за неизменной ткацкой рамой. Куда бы она ни пошла, ненавидящие взгляды встречали ее и тянулись следом, как дохлые змеи, которых тянут по песку мальчишки.

Потом, во время каждого штурма ахейцами городских стен, она слышала лязг металла, крики умирающих, тупые удары стенобитных орудий. И вечерами смотрела, как медленно оседает в воздухе копоть от погребальных костров, и старалась постичь замысел богов, догадаться, чего *теперь* требует от нее Отец. От ее былой осанки не осталось и следа, теперь она постоянно втягивала голову в плечи, точно ожидая удара.

Она помнила, как Ахилл страшным криком, отдававшимся у всех в ушах, словно раскаты грома, вызвал Гектора и как с лязгом захлопнулись за ним ворота Трои. Тогда сильная, высокая Андромаха ударила ее наконец по лицу, и она испытала настоящее облегчение. Андромаха хлестала, повторяя: «Тварь, низкая тварь!» — пока Елена не почувствовала во рту привкус крови и пока свекровь Гекуба не оттащила Андромаху, словно предчувствовавшую свое вдовство и страшную гибель сына. Гнев Андромахи для Елены не был самым страшным.

Без особенного ужаса пережила она то, что Парис бежал с поля боя во время поединка с Менелаем. Она знала, что иного и быть не могло. И, единственная, не считала это его позором, ибо, странная женщина, любила его не за силу, а за слабость. Ее не удивило, что Парис отважился на такой самоубийственный поступок — вызвать на битву Менелая. Она знала, что Парис не трус, просто его поступки неожиданны, в этом он очень походил на своего отца, Приама. Каждому дана своя природа, которую не может изменить ничто.

За десять лет она привыкла к ненависти троянцев и к унижениям, как горбунья привыкает к своему горбу: что бы она ни делала, она всегда находит такое положение, при котором горб не так мешает.

Но самое действительно страшное случилось с нею в тот день, когда зажгли погребальный костер Гектора. Его тело было уже полуистлевшим, обезображенным, ведь обезумевший от потери Патрокла Ахилл изо дня в день одержимо таскал труп его убийцы вокруг стен Трои за своей колесницей по раскаленному песку. Когда горел погребальный костер, и она стояла под направленными на нее стрелами и копьями ненавидящих взглядов, Парис вдруг лучезарно посмотрел на нее и почему-то спросил: «Ты иногда думаешь о своей дочке... забыл, как ее зовут?»

Интересно, на кого она становится больше похожа, на тебя или на Менелая?» Сказал беззлобно, без всякого умысла. Ему действительно было просто прелюбопытнейше любопытно. Вот у погребального костра Гектора и случилось с Еленой самое страшное: любовь ее к Парису кончилась. И теперь — словно оседала на головы и лиловые покрывала плакальщиц серыми хлопьями гари и пепла.

Все, что случилось потом — смерть Приама, смерть Париса, ее жестокое, публичное изнасилование братом его, Деифобом, под улюлюканье троянцев накануне падения города, — все это было уже не так страшно, как тот момент во время сожжения тела Гектора. С той минуты с ней опять случилось то отделение души от тела, которое впервые произошло на корабле Тезея. А может, это так помогал ей отец ее, Зевс?

Когда ахейцы ворвались в город, она не бросилась со стены и не покончила с собой. Она ужасно устала, ее словно гранитной плитой накрыло безразличие, ставшее еще сильнее, чем когда-то в Спарте. Ей было все равно, что произойдет. Детей у нее не было, Парис — мертв. Садист Деифоб, брат Париса, бесцеремонно взявший ее в наложницы, бил и терзал ее каждую ночь до самого падения города, мстил ей за павших родичей и товарищей, как врагу.

Она видела, как через ворота вкатили странное деревянное чудовище, как ликовали люди оттого, что ушли корабли ахейцев, как праздновали все их уход. А потом в городе началось побоище.

...Когда Менелай с мечом ворвался в ее спальню, Елена никак не могла понять, почему он медлит. Она подошла к нему без страха и остановилась как раз на расстоянии его вытянутой с мечом руки. Не слишком далеко, ибо

она не стремилась избежать возмездия, и не слишком близко, чтобы не показалось, что она пытается соблазнить (ей, теперешней, трудно было бы это сделать!), — ровно настолько, чтобы встретить свою смерть в лицо и побыстрее... Подойдя к мужу, она увидела, как сильно постарел Менелай за эти десять лет, сколько седины появилось в его густых волосах и бороде, как он отяжелел. Елена посмотрела ему в глаза, потом перевела взгляд на белый мраморный пол комнаты, отстраненно вдруг представив свою покатившуюся в угол голову, кровавый след за ней. Интересно, в какой угол она покатится — в тот или в этот, под скамью или закатится под кровать? А может, Менелай сначала нанесет ей рану, но не смертельную — так, чтобы она могла его слышать? И начнет свою обличительную речь, которую наверняка сочинил за десять лет? И прикончит ее только после того, как выговорится?

Да, в последние десять лет не было дня, чтобы Менелай не представлял себе эту встречу с Еленой. И молил богов, чтобы они дали ему и ей дожить до этого момента.

Сначала он представлял себе, какие скажет ей слова перед тем, как снесет ей голову. Нет, снести голову — это слишком для нее легко. Он готовил ей страшные казни, каждый день — разные. Ведь она опозорила его перед всем миром, сделала его посмешищем на всю Элладу.

Так он думал десять лет назад, но последние несколько лет его совершенно перестали волновать мысли о себе других. И люди эти, и мысли их оказались больше не важны. Десять лет он только и делал, что убивал. И все вокруг делали то же самое. Но ночами к нему все чаще стали являться убитые им, и становились у его ложа, и молчали. Их было много, но каждый раз с ними была смуглая критянка Тера со свесившейся набок головой, и ее кривая улыбка мучила его больше всего. Чем больше убивал он троянцев, тем больше приходило их в его сны, тем ближе их ряды придви-

гали к его кровати Теру. Он страшился той ночи, когда она может оказаться совсем рядом... И только кувшин крепкого критского вина, который рабы всегда приносили ему теперь перед сном, помогал забыться. Стремясь убежать от кошмаров и раз и навсегда найти Елене замену, он приводил в свою постель много красивых и очень красивых женщин. Но наложницы или тихо исчезали (их пугало, как страшно кричал он во сне), или он прогонял их сам. С ним снова оставался лишь кувшин вина. И — какая-то неприкаянность. Она была бы совсем невыносима, если бы не война. Иногда ему казалось, что и другие ведут эту войну и не уходят от троянских стен только потому, что за делами войны ни им самим, ни другим не так заметна их собственная неприкаянность, которая связывает их теперь как круговая порука. Что и к остальным в ночи, наверное, приходят их собственные призраки. А винят все в этой войне — его Елену, потому что надо же кого-то винить... Но Елена тут — ни при чем. Просто эта война давно переросла и людей, и героев, и Элладу, и даже богов. Она набухла гневом, проникла всюду, заполнила собою всё. Тогда и пришли кошмары.

Менелай сжимал рукоятку меча и тяжело дышал. Только что он убил отчаянно сопротивлявшегося Деифоба. И вот его неверная Елена стояла перед ним среди троянского пожара, всеми силами стараясь хоть перед смертью высоко поднять голову. И Менелай ужаснулся, увидев, как истерзана она душевно и физически, как мало осталось от ее красоты — птичьими костями выперли ключицы, глаза превратились в два черных колодца, и — синяки на шее и руках, искусанные губы, сетки морщин вокруг глаз... Но, странно, все это ничуть не уменьшило ее притягательности, наоборот, усилило ее, словно, истаяв, ее внешнее существо обнаружило истинную, такую хрупкую, сущность.

У него защемило сердце. Он увидел ее совершенно очевидное безразличие и к заготовленным им обличительным речам, и к его казням. Она — смертельно устала. И он так хорошо понимал ее теперь! Он тоже страшно устал за эти годы и сейчас точно с таким же спокойствием стоял бы перед человеком, ворвавшимся к нему с мечом. А она вдруг почувствовала, что больше не втягивает голову в плечи — ее прежняя осанка перед смертью вернулась к ней. В его горле заклокотало, словно закипела чечевица, но он с ужасом понял, что не может сказать этой женщине ни слова. Как наивно пытался он когда-то сделать все, чтобы оградить ее от искушений и сохранить свою честь! Боги, словно насмехаясь, наказали его тем самым позором, которого он когда-то боялся! Глупец, разве это было самое страшное... Теперь боги отняли у него даже гнев, оставив только невыразимую усталость. Оглушительно загрохотал о мрамор пола отброшенный в сторону меч — Менелай бросил его, то ли боясь, что все-таки может ее убить, то ли в отчаянии от своего бессилия. Но она даже не вздрогнула, словно глухая.

Он схватил ее и прижал к себе — как исхудавшего ребенка, и вдохнул запах гари, исходивший от ее волос, и не то заревел, не то завыл. От собственной слабости и скорби. И — от счастья...

Таким стал конец Троянской войны для Елены и Менелая. Оставив за собой рухнувшие стены некогда великого города, горы трупов, обугленные остовы кораблей, могилы героев, нескончаемые гекзаметры будущих аэдов, оставив витающую над развалинами Трои тысячелетнюю славу, Менелай и Елена вернулись домой, в Спарту. Летними вечерами выходили они в яблочно-прохладный сад, во время Элевсиний приносили жертвы богам в благодарность за



щедрую лозу, зимой сидели у жаркого очага и говорили о том, что нужно бы весной починить крышу, найти хорошего жениха для Гермiony, приказать сапожнику пошить новые сандалии для мальчиков, сыновей покойной Теры, и купить, наконец, в Фивах нового повара, так как теперешний совсем состарился и у него все время подгорает мясо.

Менелай и Елена были счастливы. Счастливы удручающе неэпически! Сколько так прошло лет, они не считали и не испытывали к этому своему маленькому счастью ни малейшей неприязни, словно именно для того и шла десять лет великая война, словно теперь им открылась та правда, которую не успели или не захотели познать рухнувшие на троянский песок герои... Они — просто жили. И кошмары вот уже несколько лет не нарушали их сон.

Елена даже предположить не могла, что вынуждена будет отсюда бежать.

### Последнее возвращение

Теперь она подплывала к Родосу...

Однажды утром она проснулась на своем широком супружеском ложе из дерева старой оливы, откинула, стараясь не разбудить Менелая, покров. Потом села перед большим красивым кипарисовым сундуком — расчесывать совершенно побелевшие уже волосы. И вдруг подумала, что никогда и надеяться не могла на такое странное и полное счастье. Она потянулась к медному зеркалу с костяной ручкой.

Наверное, она о чем-то задумалась и сделала неловкое движение, потому что зеркало выскочило из ее руки и упало. Ручка ударилась о мраморный пол и раскололась надвое. Она тревожно взглянула на мужа. Тот спокойно глядел куда-то вверх, и она не сразу поняла: Менелай ви-

дит уже не резные цветы на потолке, теперь он видит то непостижимое, что простирается за бескрайностью утреннего летнего неба.

Она зарыдала и обняла неестественно вытянувшееся тело мужа — человека, которого успела узнать и так полюбить за последние годы. Теперь у нее оставались только дети.

Зачем им эта старуха-царица? Сыновья Теры всегда помнили, что их мать была убита именно из-за Елены. И как-то раз старший, полулежа вечером на высоком обеденном ложе Менелая в трапезной зале, предложил брату отправить Елену следом за отцом. Чего проще? Оступилась, упала с лестницы — много ли ей, старой, надо? Но младший уже давно был тайно влюблен в Гермину и сказал, что она все-таки Гермине — мать, и потом, тогда придется похоронить ее вместе с отцом, поэтому, может, с лестницы — не стоит, а лучше выдать ее замуж за какого-нибудь старика и отправить их обоих в полуразвалившийся дом в горах, где умер когда-то Тиндарей, пусть там и доживает.

Только тут братья заметили, что ширококостная, некрасивая Гермине стоит у двери и слушает их разговор. Лицом она была копией отца. Всеми чертами, кроме глаз. Глаза у нее были материнские.

Братья разом смолкли, а она подошла к ложу старшего близко-близко, присела перед ним, положила ему на плечи свои сильные, с короткими пальцами руки и, наклонив голову, глядя на него прекрасными Елениными глазами, сказала, что придет к нему ночью, и будет приходить столько раз, сколько он пожелает, если... Если он действительно убьет эту старую тварь. Гермине так и не простила Елене своего одинокого детства и юности в вечно холодном дворце. Брошенная на безразличных к ней слуг и рабов, неприкаянно слоняясь по приходящим в запу-

стение коридорам дворца, она научилась ненавидеть, и теперь ей казалось, что за все десять лет, что шла война, ни разу не наступало лето. Она тихо ненавидела мать. Менелая она ни в чем не винила.

...**К** Елене вошла древняя рабыня — еще из тех, что служили покойному Тиндарею, когда царица была девочкой. Рабыня сказала, что нужно бежать.

Неожиданно спокойно, лишь горько усмехаясь, Елена выслушала рассказ о разговоре ее дочери и приемных сыновей:

— Куда я побегу? И зачем?

— Нам ли с тобой не знать, как тяжела пролитая кровь, госпожа...

— Это ведь ты, Нура, рассказала Менелая о том, что Тера помогла мне... тогда?

— Я, госпожа.

— Некуда мне бежать, Нура. Я остаюсь. Они правы. Я плохая мать и заслужила всё это.

— А разве заслужили они тяжесть твоей крови, Елена? Ведь им, неразумным, с нею потом жить и терпеть муки от черных эриний<sup>1</sup>. Нам ли не знать, Елена, какие страшные это муки, нам ли не знать? Не искушай. Беги...

**И** вот она снова в море. Монотонное «И-хо!» гребцов теперь звучало почти успокаивающе и нагоняло дремоту. Юный сидонский раб с глазами, подведенными по финикийскому обычаю зеленой сурьмой, принес ей неизмен-

---

<sup>1</sup> *Эринии* — в греческой мифологии уродливые старухи с волосами из змей, одетые в черное, преследующие виновных муками совести и доводящие их до сумасшествия и самоубийства.

ную вяленую козлятину и вино. Она уже привыкла, что на нее, сорокалетнюю, мужчины смотрят с вожделением все реже. Она знала, что старость делает женщин словно бы прозрачными, невидимыми. И в этом была, наконец, защита — как в трехслойном щите Ахилла. Она потянулась за полоской мяса на блюде. И вдруг заметила, что чаша ее переполнилась, а вино, изливаясь из кувшина, тёмно и кроваво растекается по синему полотну скатерти. Елена подняла недоуменный взгляд на сидонца и вдруг увидела, что он, забыв о кувшине, не может оторвать глаз от ее приоткрывшейся груди.

— Я пролил вино, прости меня, прости, госпожа!..  
Вскоре триера уже входила в гавань Родоса.

С самого начала Елена не знала, зачем плывет на Родос. Она думала только о том, что именно здесь была когда-то действительно счастлива — самым чистым и совершенным счастьем. И потому только здесь можно было, наконец, умереть.

Тлеподем, из-за которого Поликса убила собственного отца, пал у Трои во время войны, которая началась и десять лет шла из-за нее, Елены. Так считалось и будет считаться. Но ее любовь к Менелаю началась именно с того, что он — заставил ее усомниться в своей вине. Он сказал ей, что тогда, у стен Трои, каждый из них вел свою войну. Кто — чтобы покрыть себя славой или создать невиданное царство, кто — ради богатства, женщин, кто — стремясь убежать от тусклых будней, надоевших жен, бедности, долгов, кто — чтобы доказать что-то себе или другим. А кто-то бился под троянскими стенами потому, что война хорошо помогает забыть о своей бесприютности и неприкаянности. Может быть, говоря все это, Менелай кривил душой, потому что слишком любил ее, Елену, а

может быть, действительно говорил правду, но после тех слов жизнь снова показалась для нее возможной...

— Зачем ты здесь? — спросила ее постаревшая, отяжелевшая Поликса. Спросила строго и спокойно. Она стояла вся в черном, и тонкие ткани одежд обтекали ее, как вода — беременную дельфиниху.

— Мне больше некуда плыть. Возьми мой корабль и гребцов. Сделай меня своей рабыней...

— Мой муж полюбил тебя, он сватался за тебя в Спарте, а потом отплыл в Трою, на ту, твою войну. И погиб. А я убила за него своего отца. Я целый год боялась заснуть. Потому что, как только засыпала, он приходил и смотрел. Но — совсем без укоризны. Слышишь, Елена, он не укорял меня, преступную дрянь, за свою смерть! Ты знаешь, как ночью эринии...

— Знаю. Я хорошо знаю эриний, и они очень хорошо знают меня.— Поликса взглянула на Елену пристально и гневно и увидела, что та говорит правду.— Но только муж твой Глеподем не знал меня и любить тоже не мог, его влекло любопытство, которое подогревали слухи обо мне. И сватался он не за меня, а за царство Тиндарея. И в Трою он отплыл не из-за меня, и ты тоже знаешь это. Он был честолюбив, сородич Геракла, он знал, что богатую добычу и славу приносит только большая война.

— Я могу приказать своим рабам убить тебя — ты принесла столько горя людям,— произнесла Поликса, но произнесла как-то неуверенно.

— Ты правильно сделаешь,— неожиданно твердо сказала Елена.— Но только перед этим дай мне выспаться. И обещай: утром мы пойдем в бухту Звучащих Раковин. А потом, там — убивай. Меня столько уже раз должны были убить, что удивительно, как это я до сих пор еще дышу.

— Бухта Звучащих Раковин? О чем ты? На Родосе нет такой бухты.

Елена приблизилась к Поликсе и положила руку на ее плечо. Та не сбросила ее руки.

— Неужели ты не помнишь? Есть... Она здесь, и больше — нигде!

...Утром в гавань Родоса медленно вошла еще одна черная спартанская галера. У ее мачты стояли двое знатных юношей в богатых доспехах и небольшого роста молодая женщина — некрасивая, но с прекрасными глазами. Увидев в той же бухте корабль Елены, они обменялись многозначительными взглядами.

А в это время две немолодые женщины во вдовьих одеждах продирались, тяжело дыша, сквозь заросли ежевики. Они исцарапались и растрепались, потеряли свои покрывала, но наконец им открылась та давно забытая всеми бухта.

Горячий песок приятно грел, не обжигал. Елена и Поликса сбросили сандалии и погрузили в него ноги. Вдруг тишину нарушил стрекот дельфинов. Женщины переглянулись, пошли к воде, сели у самой кромки. Меловое дно разголубило бухту до удивительно чистого тона. Все в мире изменилось, но только не этот песок, не эта вода. Не было больше рабынь с белыми полотнами, не было красных кувшинов. Но бухта осталась прежней. Долгие годы она возвращалась в память как Счастье и наконец — вернулась наяву.

Ушли все муки, старость и боль. Остались где-то за зарослями ежевики десятилетняя война, уродливые эринии, вся злая память прожитых лет. В мире для Елены и Поликсы снова были только нагретый песок и стрекот дельфинов. И — большие пустые раковины, в непостижимом чреве которых продолжало рокотать *немолчношумящее море*.

**БРИТАНИЯ:  
ЖЕНЩИНА НА КОЛЕСНИЦЕ**



### «Veni, vidi...»

**В** конце лета 698 года от основания Вечного города <sup>1</sup> римляне впервые увидели еще не известный цивилизованному миру остров. Пришли они на него, по своему обыкновению, легионом. Точнее, двумя. У их предводителя уже наметилась ранняя лысина, у него были тонкие пальцы и развитые бицепсы. И его отличал пронзительный взгляд серых глаз.. Звали предводителя Юлий Цезарь, и отнюдь не праздное любопытство привело его сюда...

**В** наскоро разбитом лагере жгли костры, жарили мясо. Палатки легионеров и шатры легатов <sup>2</sup> светились в сгустившейся непроглядной тьме.

В шатре Цезаря пахло разогретым оливковым маслом светильников, снаружи доносились зловещие крики потревоженных чаек. Над ухом гудел комар. Полководец хлопнул себя по мощной загорелой шее, по груди. За вечер его шерстяная туника вся покрылась кровавыми пятнами. Цезарь продолжил диктовку. Он говорил быстро,

---

<sup>1</sup> 55 г. до н. э.

<sup>2</sup> *Легат* — командир легиона.



словно и не диктовал вовсе, но опытный писец, тшедушный черноволосый грек, с невероятной скоростью покрывал гладкий египетский папирус буквами. За годы войны Цезарь уже продиктовал четыре главы о Галлии. Эта, пятая, будет о новой, только что обнаруженной им земле на краю света.

Цезарь прекратил диктовать и погрузился в свои мысли.

Губы писца зашевелились, он перечитывал вслух только что написанное:

— ...cum haec perexiguo intermisso loci spatio inter se constitissent, novo genere pugnae perterritis nostris per medios audacissime percurrerunt seque inde incolumes receperunt. <sup>1</sup>

Цезарь об этом и думал. Он уже давно считал, что уж чем-чем, а тактикой боя его никто не сможет удивить. «Veni, vidi, vici...» <sup>2</sup> Но туземцы этого острова показали сегодня нечто крайне любопытное. И неприятное...

Настроение легионеров было подавленным. Из освещенной палатки лекарей доносились стоны — после вчерашнего боя было много раненых. Неподалеку, прямо на гальке, рядами лежали с медяками на глазах те, кому не суждено уже было увидеть родное небо. Зорко вглядывались во враждебную темноту часовые. И перекликались, словно охрипшие птицы: «Vigil! Vigil!» <sup>3</sup>

До этого он месяц преследовал по Галлии мятежное племя белгов и, наконец, совершенно оттеснил их к се-

---

<sup>1</sup> «...но так как невиданные боевые приемы врага привели наших в полное замешательство, то неприятели с чрезвычайной отвагой прорвались сквозь них и отступили без потерь» (лат.).

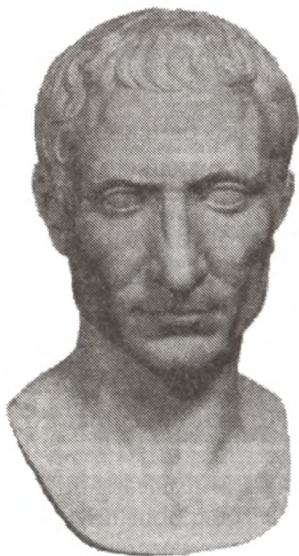
<sup>2</sup> «Пришел, увидел, победил...» (лат.) — выражение, приписываемое Цезарю.

<sup>3</sup> Vigil! Vigil! — «Дозор! Дозор!» (лат.).

верному побережью. Дальше начиналось неведомое море, которое карты называли Oceanus Britannicus и за которым, как говорили, находился конец мира. Поэтому Цезарь был уверен, что теперь-то белги у него в руках — деваться им некуда. И спешить не стал — дал своему войску отдохнуть, чтобы назавтра, с новыми силами, покончить с мятежниками...

Однако поутру там, где, по всем расчетам, должны были находиться белги, оказались только догорающие костры и остатки пожитков. Варвары как сквозь землю провалились.

А вскоре, тоже притиснутое к этому побережью, так же таинственно исчезло другое мятежное галльское племя — паризиев.



Гай Юлий Цезарь

Цезарь чувствовал раздражение, странно смешанное с любопытством: не друиды <sup>1</sup> же их заколдовали!

Не друиды. Вскоре стало ясно, что все они бежали, явно не без чьей-то помощи, через море — в ту землю, что лежит на север от Галлии. Карты называли эту землю — Britannia <sup>2</sup>. Никто ничего толком об этой земле не знал. Лояльные римлянам галльские вожди говорили, что это большой остров и что населен он не людьми, а дьяволами — с красными глазами и синей кожей, что прямо там начинается ледяное царство бога мертвых, «вроде вашего Плутона». Цезарь же сильно подозревал, что все это говорится неспроста, и этот «Плутон», судя по всему, занимается активным содействием галльскому сопротивлению.

И вот, когда в морском тумане необъяснимо исчезли два враждебных римлянам племени, чтобы, возможно, зализать раны и со свежими силами вернуться на театр его «de bello Gallico» <sup>3</sup>, Цезарь решил не слушать больше всякую противоречивую информацию и сказки о Плуtone, а лучше один раз — увидеть.

...Бледные после жесточайшего ночного шторма легионеры смотрели, как с каждым погружением весел их бирем <sup>4</sup> на горизонте медленно вырастают белые, словно покрытые снегом, утесы. Подойдя ближе, они увидели, что их — встречают, да еще как! Цезарь сразу понял, что высадка будет трудной: у туземцев было преимущество высоты. И — численности войска: их было раз в десять больше, чем римлян. Даже бывалые центурионы смотрели

---

<sup>1</sup> Друиды — жрецы или волхвы у древних кельтов.

<sup>2</sup> Уже потом римляне назовут Британию «Альбион» (от *albico*, «белый») — по цвету ее белоснежных меловых обрывов.

<sup>3</sup> Галльской войны (*лат.*). «Галльская война» — также название мемуаров Цезаря, изданных на русском языке как «Записки о Галльской войне».

<sup>4</sup> Галера с двумя рядами весел по каждому борту.

тревожно и орали команды на палубах громче обычного, явно стараясь заглушить беспокойство, чтобы не сказать — страх. Все понимали, что занесла их нелегкая туда, куда ни одного римлянина еще не заносила. Здесь действительно был конец света. Многих до сих пор мутило от штормового перехода, и то один, то другой легионер, поскользываясь на заблеванной палубе, богохульственно поминал известные органы Юноны,

В своей экспедиции к берегам Британии Цезарь не учел многого. Не снарядил достаточно транспортных кораблей с провизией и фуражом, да и отплытие назначил на конец августа, к тому же на полнолуние — время, когда здесь особенно сильны штормы и высоки приливы. Римляне вообще мало знали о северных приливах, каких в Средиземноморье не бывает. Римляне были великолепными пехотинцами, средними конниками и, за пределами своего *mare nostra*<sup>1</sup>, весьма посредственными моряками.

Совершенно синие туземцы без всяких лат и шлемов, голые по пояс, лихо гарцевали по берегу на небольших лошадях, демонстрировали виртуозное владение своими необыкновенно маневренными колесницами, которые чудом могли останавливать на всем скаку. Их было множество, этих колесниц. «Пехота» кельтов угрожающе размахивала мечами и копьями. Даже издали было видно, как высоки эти варвары по сравнению с римлянами. Дикари завывали, визжали, улюлюкали, трубили в необычно низкого звука рога. Этот звук вызывал чувство безотчетной тревоги, у галлов на материке таких боевых рогов не было.

Первой высадку должна была начать когорта батавийцев. Эти здоровенные германские наемники специализи-

---

<sup>1</sup> *Mare nostra* — «наше море» (лат.). Имеется в виду Средиземное море.

ровались в римской армии на переправах верхом и в полном вооружении через водные преграды. И они были единственным уцелевшим отрядом кавалерии: свирепый ночной шторм в Океане Британникус так изломал галеры с основной конницей, что им с полпути пришлось вернуться обратно в Порт Итиус.

А коней батавийской когорты испугала какофония на берегу — они нервно ржали, сбившись на середине палубы, и боялись приближаться к борту. Пешими идти вперед батавийцы суеверно отказывались. Легионеры Седьмого и даже Десятого легиона — легиона самого Цезаря, тоже малодушно медлили с высадкой.

И тогда — кто бы мог подумать! — новобранец из Лигурии, *aquilifer*<sup>1</sup> Десятого, с отчаянным мальчишеским криком первым прыгнул с борта в воду. В его руке был «орел». Реакция солдат оказалась автоматической: штандарт ни в коем случае не должен оказаться у врага, это священное правило центурионы прочно вбили в легионерские головы, и сейчас оно оказалось сильнее инстинкта самосохранения. Легионеры ринулись в воду. Только тогда за ними последовали и пешие батавийцы. В улюлюканье кельтов ворвался и рос, все больше набирая силу, рев: «*Roma Victrix!*» — «Рим Победитель!».

Белесая вода краснела на глазах. Синие голые черти топтали конями неповоротливых пеших римлян, а те, стоя в воде, отчаянно старались сохранить строй и противостоять непредсказуемым маневрам. Ржание коней, лязг железа, улюлюканье туземцев, вопли боли...

Синиль<sup>2</sup> кельтов постепенно смывалась соленой водой, и римляне увидели, что никакие они не порождения Царства мертвых, а обыкновенные белокожие дикари, та-

---

<sup>1</sup> *Aquilifer* — «знаменосец» (лат.).

<sup>2</sup> Синий краситель, изготавливаемый из растения вайды.

кие же, что и галлы. Воодушевившись открытием, легионеры усилили натиск и вытеснили кельтов на берег. Спасение было в том, чтобы как можно скорее сомкнуть щиты и построиться в знаменитые «черепахи» — неприступные мобильные крепости. Но кельты, словно разгадав это намерение, никак не давали им этого сделать, навязывали свою тактику хаотичного боя — сражаясь небольшими группами, отвлекая легионеров все дальше друг от друга.

Внезапно какофонию боя разрезал пронзительный визг — словно вопль агонии какой-то гигантской самки. На подмогу своим неслась еще одна конная волна «синих».

На палубе флагманской триремы легат Квинт Титурий Сабин, не веря своим глазам, повернулся к Цезарю: «Что это?»

Римляне на миг замерли: на берег вылетели жуткие синие... гарпии. Это действительно были женщины! Волосы — завязаны на затылке, груди — туго перетянуты широкими кожаными лентами. Они ловко направляли коней и точными ударами широких мечей сносили одну оторопевшую солдатскую голову за другой. Каждая из воительниц была гораздо выше любого из римлян и выше иных батавийцев. Они визжали, в раздираемых криком ртах — зубы острые, словно специально заточенные.

Их атака казалась беспорядочной, но Цезарь вскоре начал понимать, что этот хаос хорошо скоординирован: женщины сражаются парами, у каждой в бою — своя роль. Одна прыгала с лошади на спину легионера и делала его совершенно беспомощным — он не мог освободиться от мускулистой амазонки, а другая тем временем наносила смертельный удар. Они продолжали драться даже будучи ранеными и словно не чувствовали боли. Цезарь видел, как одна из воительниц обломила попавшую

ей в предлечье стрелу и ринулась в бой как ни в чем не бывало. Он понял, что эти туземцы, как и галлы, пьют перед боем ритуальный напиток друидов из омелы, который действует совсем иначе, чем вино, — не дурманит голову, а делает человека нечувствительным к боли. Вот только ни один проклятый друид, даже под пытками, так и не открыл секрет этого «стратегического» зелья.

Цезарь решил отступить и, учтя все ошибки и неожиданности первой попытки, возобновить атаку. Только перед наступлением темноты римлянам удалось наконец отбить берег под меловыми утесами.



Два друида (барельеф, найденный в г. Отун, Франция)

...В лагере, разбитом с профессиональной быстротой, легионеры устроили тризну по павшим товарищам. Деревя для погребального костра взять было негде, потому павших просто зарывали поглубже в эту чужую холодную землю, засыпая галькой и песком. Огромный легионер, грубо расталкивая всех вокруг и не скрывая слез, по-матерински бережно нес тело мальчишки «орлоносца» — его голова безжизненно моталась, на шее темнела безобразная рана. Это могли быть только следы зубов...

Так цивилизованный мир впервые встретился с Британией. А Британия — с цивилизованным миром.

*Еще от греческих навигаторов, которые куда только ни заплывали, пошло название этого острова *Pretannia*, а его жителей — *pretani*, то есть крашенные, а еще *keltoi* — «странные люди», как греки называли вообще все малоизвестные им*

*народы. Оттуда и пошло «кельты» — название всех народов, населявших тогда земли от Дуная до Иберии. Такое общее название было удобно: диких племен много, кто их разберет, а так «кельты» — и все<sup>1</sup>. Римляне, познакомившиеся с этими народами поближе, стали различать их чуть получше, но с имперским высокомерием тоже особенно не затрудняли себя запоминанием всех их многочисленных названий.*

«Визит» Цезаря в Британию был недолгим. Римляне проникли вглубь страны не более чем на восемьдесят миль и достигли широкой реки, которую местное племя — кантии — называло что-то вроде «Тамес». Реку сегодня зовут Темза, землю кантиев — графством Кент.

Столкновения с «местными» случались часто, особенно когда легионеры пытались раздобыть провизии для обратной дороги, но все-таки настоящим вторжением это назвать было нельзя. И узнали об этой земле римляне тоже, в общем, немного. Правда, водяные часы, чудо древнеримской инженерии, которые Цезарь всюду возил с собой, показали, что в этой странной земле световой день — существенно длиннее, чем в Галлии.

Таким образом, применительно к Британии, Цезарю удалось «прийти» и «увидеть», но пока не «победить».

Год спустя Цезарь мобилизовал для завоевательной экспедиции уже более серьезные силы: более 800 галер, а

---

<sup>1</sup> Практика, распространенная во все времена. Так в Европе всех выходцев из бывшего СССР независимо от национальности нередко называют русскими, а в России всех британцев — англичанами, хотя ирландцы, шотландцы, корнуэльцы и валлийцы, в отличие от пришедших позднее германских племен англов, саксов и ютов, являются потомками коренных британцев — кельтов.



на них — пять легионов численностью 25 тысяч человек, да наемных кавалерийских когорт паннонийцев и батавийцев — еще несколько тысяч.

На этот раз гигантское войско встречал совершенно пустынный, словно вымерший берег. Воины воспрянули духом, решив, что варвары, увидев силы римлян, благоразумно решили отдать им землю без боя, но Цезарь ни минуты не разделял этого заблуждения. Он понимал, что их заманивают в западню.

Так оно и вышло. Бритты поджидали римлян в кангийских дубравах. Их атаки были молниеносны и слаженны. Они появлялись неожиданно и так же неожиданно исчезали в лесу, словно призраки.

Дело осложнялось еще и тем, что раздобыть хлеба и фуража для войска римлянам было невозможно, бритты позаботились об этом! Легионеры шли по черным, еще дымившимся полям. Деревни были пусты. Армия начала голодать. И тут из дуврского лагеря на берегу к Цезарю прискакал гонец с плохой вестью: необыкновенно высокий прилив сорвал корабли с якорей, и многие из них затонули, протаранив друг друга, а на остальных — совершенно поломаны снасти. Опять не учли римляне силы северных приливов, поставив корабли на якорную стоянку слишком близко один от другого... В голодном войске назревал бунт. И Цезарь, взвесив все обстоятельства, решил немедленно возвращаться на уцелевших галерах в Галлию.

Официально Цезарь Британию не завоевал. Он не оставил на острове ни единого римского солдата, не потребовал от Сената триумфа — шоу, с помощью которого народу Рима объявляли о новом колониальном приобретении. А потом началось и в самом Риме такое, что, как

мы знаем, стало Цезарю совсем не до Британии. Вероятно, полагая, что его новый титул — *dictator perpetuo*<sup>1</sup> — делает его неуязвимым, Цезарь презрел предсказание авгура-прорицателя: «Бойся мартовских ид». И вот уже — удары кинжалов, и слабый хрип «Et tu Brutus», и кровавые пятна на белом мраморном полу курии... К тому времени галлы, казалось, окончательно убедились, что сопротивляться «Первому миру» — бессмысленно и даже глупо. И сложили оружие. А Риму только этого и нужно было. Когда римляне завоевывали новую колонию, какой бы далекой она ни была, они сразу же заселяли ее и обустроивали по образу и подобию метрополии. При этом они никогда не требовали от завоеванных народов полного отказа от местных традиций или богов: да продолжайте вы жить, как и раньше, вот только чтоб дань платили исправно, без проволочек, и мертвых хоронили на специально отведенных для этого кладбищах, да нужду справляли в специальных отхожих местах, откуда все водой вымывается, чтоб зараза не распространялась. Пожалуй, и все. И галлы, особенно на юге (совр. Лазурный Берег Франции), совершенно успокоились, и большинство даже очень втянулось в римский образ жизни: бани, тоги, гладиаторские бои, жареные мышцы-полевки в медовом соусе, да и вообще... А вот в Британии еще почти сто лет все шло по-старому...

Теперь галлы, посещавшие родственников и друзей в Британии, наверное, уже начали задирать перед ними носы, звать за глаза деревенщиной, от пива и медовухи отказывались, от бобрятины воротились, кутались в белые то-

---

<sup>1</sup> *Dictator perpetuo* — пожизненный, или «вечный», диктатор (лат.).

ги и за столом требовали непременно импортных вин да новомодных капусты и моркови, о которых в Британии и не слыхивали. Растительность на лице совершенно у галлов из моды вышла, как и кожаные штаны, а модными стали чисто выбритые подбородки, короткие стрижки, горбатые носы и грамотность.

И завоеватели-римляне тоже вроде бы успокоились. Вот только к отчаянно сопротивлявшимся жрецам-друидам они оставались непримиримы. Большое количество друидов бежало из Галлии на запад Британии, в священные дубравы острова Мона. Оттуда жрецы вели упорную, словно тлевшую под пеплом отгоревшего костра вторжения, борьбу с римлянами — как с завоевателями и идеологическими противниками.

А о Британии в Риме забыли, казалось, совершенно. Однако бритты вскоре сами напомнили о себе Риму.

### «Разделяй и властвуй»

Случилось так, что поругались в племени атребатов предводители — отец и сын. Это племя всегда считало себя цивилизованнее других британских племен, восхищалось римским образом жизни в Галлии и, наконец, заключило, что никакого не будет вреда иметь цивилизованных порабощителей, которые принесут наконец прогресс в эту черт знает какую отсталость. И, может, даже построят, наконец, хорошие дороги, а то ведь грязь в дожди — по колена! Этому потом и впрямь суждено было сбыться. Но сейчас речь — о ссоре этих отца и сына по какому-то не слишком глобальному, однако чувствительному для обоих поводу.

Оба были горячи. Слово за слово — и отец лишает сыночка всех надежд на, хоть и не бог весть какой, но пре-

стол. Тогда сынок, юный Амминий (так он назван в римских источниках), в сердцах отплывает за море — искать поддержки в самом Риме. Чтоб показали как следует самодуру родителю, а на трон — посадили его.

**В** это время в Риме правил император по имени Гай Юлий Цезарь Август Германик. Вот только этим именем его сегодня мало кто называет. А известен он как Калигула. И вот почему. Его отец, боевой генерал Германик, часто брал юного Гая Юлия на театр боевых действий и маневры, и мальчонке даже сшили легионерский костюмчик и стачали армейские сапожки детского размера, которые страшно развлекали взрослых легионеров. Ну вот, как прозвали его *Caligula*, то есть «Сапожок», так и пошло. А потом он порос и стал императором.

Психиатрические проблемы Сапожка со временем стали очевидными даже людям, бесконечно далеким от медицины, а именно — преторианским гвардейцам императорской охраны. Работой преторианцев было, естественно, императоров охранять, но в особых случаях они проявляли инициативу и решали уже по ситуации — охранять или же совсем наоборот. А Калигула явно становился таким «особым случаем». Преторианцы невозможно устали от его непредсказуемых жестоких выходок и пребывали в постоянном беспокойстве за себя и свои семьи. Плутон там с ним, что спит он с собственными сестрами и одной из них живот вскрыл, чтобы она вознеслась на небеса и стала богиней, — дело семейное, но закрыть хлебные закрома и устроить в Риме голод — просто так, потому что скучно?!

Вот в его правление и прибывает в Рим некий Амминий из Британии. И в Риме вдруг вспоминают о далеком острове, который до сих пор все еще, оказывается, не является официальной колонией!

Начинает Калигула за здравие. Просит показать на карте, где это такая земля Британия. Ему показывают. Он становится в театральную позу и патетически объявляет, чтоб готовились к походу. Распоряжается о выделении на войну финансов, собирает легионы. И даже сам решает плыть к берегам Британии на флагманском корабле.

До этого момента — никакой особой патологии.

Однако на подходе к острову (то ли ему мозги по пути совсем штормом растрясло, то ли еще какая нашлась причина) император пришел в смятение от высоты дуврских утесов и приказал своим легионерам — лучшим профессиональным военным тогдашней Европы — после изнурительного морского перехода походить по дуврскому пляжу и пособирать красивых ракушек — «трофеи», мол, «войны с Нептуном», но на утесы не подниматься и вглубь острова не идти.

После чего приказал отплывать обратно.

Можно только представить себе многоэтажную, многоколонную и многовесельную латынь, которая оглашала британский берег в процессе сбора легионерами «трофеев Нептуна». Тот факт, что Сапожка не порешили уже там и тогда, говорит о необычайной выдержке и дисциплине древнеримского солдата. Про Амминия никто уже больше не вспомнил.

С Калигулой покончили уже дома, свои же преторианские гвардейцы, старым римским способом — тридцать кинжальных ударов в театре.

Единственным кандидатом на трон оказался Клавдий. Презентабельной наружностью будущий император не отличался: хромой, заика, из носа постоянно течет, к тому же возраст весьма уже зрелый. Во время передрыг с убийством Калигулы он, не сразу поняв, кого убивают и

за что, до того испугался, что преторианцам пришлось буквально отрывать его от портьеры, в которую он от страха пытался завернуться и спрятаться, и чуть ли не насильно объявлять его императором. Однако впоследствии говорили, что свое слабоумие Клавдий просто разыгрывал, чтобы обезопасить себя от собственной «милрой» императорской семейкк, представители которой были весьма изобретательными в способах устранения друг друга. И вот, когда все родственники взаимоустранились, а последнего добила охрана, и бояться Клавдию стало нечего, новый император, сразу перестав притворяться недоумком, проявил себя вполне эффективным правителем. Вовсе к тому же не лишенным честолюбия!

Он был далеко не глуп и начитан. И ему хотелось исправить впечатление от унижительного начала своего правления, от той истерики и как его от портьеры отрывали — в общем, от всего, что не способствует формированию императорского имиджа. Поразворачивал Клавдий свитки в своей библиотеке, «посоветовался» с мудрыми древности. И пришел к выводу, что самый лучший способ утверждения себя в должности — приобретение новой колонии и грандиозный пиар-триумф.

Остановился Клавдий ласковым средиземноморским вечером перед той же картой обитаемого мира, что до него показывали Калигуле. И, наверное, подумал: «Галлия — уже неотъемлемая часть империи. Германия — слишком крепкий орешек... А вот Британия — как раз то, что мне надо. Тем более что сам Цезарь покорить ее не смог».

И вот 22 марта 43 года к британским берегам опять подходит огромная римская флотилия. Генерал Авл Плавтий, рьяный вояка с опытом победоносных кампаний в Африке и на Балканах, вступает на британскую землю: 20 тысяч легионеров, еще 20 тысяч вспомогательного войска, а еще припасы, лошади, катапульты! И — совсем

уж невиданное дело — британскую прибрежную гальку тяжело попирают колоннообразными ногами ревушие живые горы, покрытые панцирями. Римские боевые слоны. Смертоносные бивни — с железными наконечниками. Можно представить себе чувства полуголых кельтов, увидевших все эту надвигавшуюся на них мощь империи... Сопротивление было отчаянным, но обреченным. Колесницы трескали, британские черепа, как жалкие орехи, лопались под ногами римских чудовищ.



Император Клавдий

...И вот Клавдий — в Камулодуне<sup>1</sup>, теперь уже римской «столице Британии». В центре города быстро соорудили возвышение под большим пурпурным навесом, а на нем — трон с золотыми львиными лапами (все — привезено с собой как раз для такого случая!). На травке неподалеку пасутся распряженные слоны, а перед императором, под внимательными взглядами не улыбочивых, вооруженных до зубов преторианцев — одиннадцать бриттских вождей.

Среди них — один гигантского роста, широкоплечий, нестарый еще, но с седыми усами по самую грудь и глубоким шрамом на лбу. Предводитель племени иценов. По имени Прасутаг...

Он стоял, широко расставив ноги, словно, чем больше он занимал пространства, тем больше это придавало ему достоинства. Их взгляды встретились. Британец

<sup>1</sup> Совр. Колчестер.

смотрел на Клавдия спокойно и даже задумчиво, как равный.

Бриттских вождей заставили опуститься на колени и принести клятву верности императору и Риму. Даже на коленях Прасутаг был только немного ниже Клавдия, когда тот стоял в полный рост. Клавдий, чуть прихрамывая, почему-то подошел именно к нему, вождю иценов, решительно отстранив встревоженных преторианцев. И задал ему странный вопрос:

— О чем ты думаешь, бритт?

Молодой, гладко выбритый переводчик из племени атребатов, подобострастный к римлянам, высокомерный к бриттам, перевел вопрос.

Вождь не удивился. Только усмехнулся горько:

— Я думаю, как бы мне сделать так, чтобы сейчас вообще не думать...

Переводчик чуть замялся, но перевел в точности. Все замерли. Император улыбнулся, и все рассмеялись. Клавдия этот ответ убедил в мысли, вычитанной еще у грека Геродота: что самое опасное заблуждение цивилизованного человека — недооценивать тех, кого считаешь варварами.

Прасутаг, в свою очередь, прекрасно понимал, что сопротивление такой силе равносильно самоубийству, а умирать сейчас — совершенно не входило в его планы еще и потому, что дома он на время оставил свою огненноволосую юную новобрачную — Боудикку... Вождь чувствовал, что стареет, и ему хотелось напоследок немного простого счастья.

Несмотря на унижительные для него обстоятельства их встречи, Прасутагу хромой император даже чем-то понравился. Он производил впечатление разумного человека, с которым можно иметь дело. Что вскоре и подтвердилось, потому что обратно домой Прасутаг, а также и остальные



вожди увозили внушительное количество римских монет. Монеты не только подсластили горечь поражения, но и заставили вождей пересмотреть и отложить планы организации «партизанского» сопротивления захватчикам.

**К**лавдий добился того, из-за чего и был затеян британский поход: в сознании римлян он стал теперь победоносным императором Тиберием Клавдием Цезарем Августом Германиком, и никто больше никогда не вспомнит зеленую обмоченную портьеру. Тем более что на монетах с его изображением, отчеканенных в честь победы над Британией, ни хромоты, ни соплей под носом было совершенно не видно.

На завоеванном острове император не задержался, надо было спешить: в Риме уже готовились к грандиозному триумфу. Да и поведение жены, развратницы Мессалины, становилось в отсутствие мужа все более возмутительным.

\* \* \*

**Н**ачался римский период британской истории. Историки умалчивают, куда делись потом боевые слоны. Может быть, простудились, и хитрые легионные повара скормили их под видом говядины ничего не подозревавшим легионерам? В любом случае слоны в Британии как-то не прижились.

Но прижились другие реалии римской цивилизации. На острове усиленными темпами начинают строиться дороги, форты, поселения. На довольствии в римской армии всегда находилась еще одна — армия военных строителей. Километры сначала свитков, позднее — бумаги, еще позднее — киноленты потрачены на императоров, гладиаторов, легионеров, римских проституток и рабов, а

ведь без незаметных героев Рима — архитекторов, строителей и инженеров — никакой грандиозной империи и не было бы никогда.

Очень понравилось римлянам место у широкой реки Тамесис, которое они назвали Лондиниум и сделали своим главным портом. И вскоре исчезли с берегов Тамесиса-Темзы круглые крытые соломой глинобитные хатки местных жителей, а стали спешно строиться причалы, рынки, склады, лабазы, лавки менял. Купцы со всей империи хлынули сюда, на девственно ненасыщенный рынок, который барыши сулил огромные, так как потребительская культура в колонии уже начинала пускать корни. В Лондиниум уже жили и работали купцы и *негоцианты* (так римляне называли оптовиков и маклеров), создавалась товарная биржа. «Свято место» было выбрано римлянами удачно: сейчас как раз здесь — лондонский Сити.

Из всех провинций империи стали приходить в Лондиниум корабли, привозя переселенцев с семьями — строителей, военных инженеров, бюрократов, официальных «служителей культа», неофициальных прорицателей, художников по мозаике, скульпторов и камнерезов, ювелиров, организаторов гладиаторских шоу, греков-учителей, египетских докторов, проституток и сутенеров и профессиональных мошенников да мало ли еще какого люда! В общем, жизнь покатила не по бездорожью, а по добротной кирпичной дороге цивилизации.

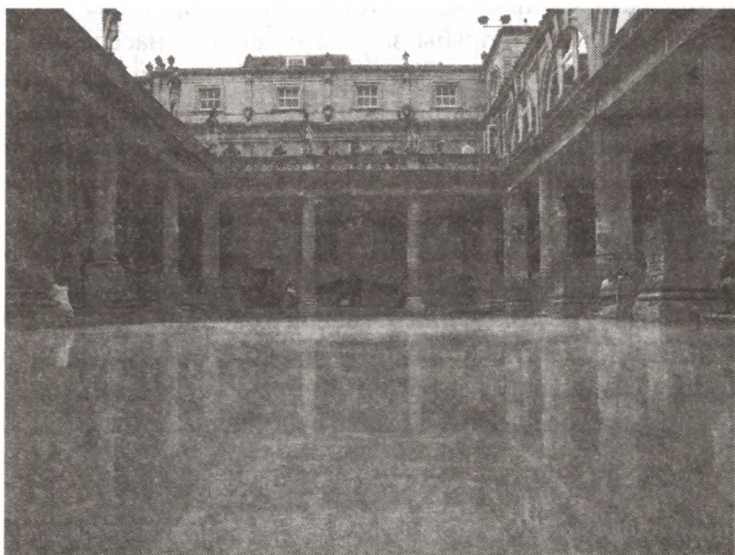
А укреплений никаких в Лондиниум не предусмотрели, гарнизона — тоже. Думали, что эта территория прочно признала римскую власть и защищаться уже не понадобится...

Столицей, однако, оставался Камулодун. И там затеяли строительство роскошного «идеологического центра» — храма Императора Клавдия с массивными колоннами, портиками и гигантскими скульптурами,

показывающими завоеванным кельтам величие империи. А те на все это задирали головы так, что шапки падали, и, надо думать, многие проникались: сопротивление — бесполезно...

Устроена была в Камулодуне и колония для легионеров-ветеранов. Если римский легионер, отслужив 25 лет, доживал до пенсионного возраста, ему обычно вручали свинцовую табличку с текстом о законной демобилизации и проводжали на заслуженный отдых, выделив кусок земли на завоеванной территории. Если он еще чувствовал в чреслах пульс, то в срочном порядке женился на местной красавице или на купленной рабыне и старался в отпущенное природой время обзавестись потомством.

Большие колонии ветеранов были также в Лондини и в Ветуламии (ныне Сент-Олбанс).



Древнеримские термы в британском городе Бат

Но эти колонии как раз и создавали напряженность: для своих поселений ветераны конфисковывали земли местных племен. И земли, естественно, не какие-нибудь, а самые лучшие. Римские власти, правда, иногда представляли конфискацию как «покупку» и давали марионетке вождю чисто символическую сумму, или «аренду», чтобы тот мог тешить себя тем, что сохранил хоть остатки своего достоинства. Некоторые вожди принимали это как неизбежность. Другие — безрезультатно сопротивлялись.

**Н**еприятие римлян никогда не угасало в Британии совершенно. Общество разделилось на романо-бриттов — богатую, образованную элиту, порою уже мало отличимую от римлян, принявшую культуру завоевателей, и тех, кто явно или тайно им противостоял.

Римляне не обольщались насчет симпатий к себе населения завоеванных стран. Но, будучи от природы реалистами, никакой «борьбы за умы и сердца» населения не вели — понимая затруднительность совмещения этой «борьбы» с вооруженным контролем над территорией. Если римлянин убивал мужчину кельта, то даже самая серьезная разъяснительная работа «среди его семьи» вряд ли могла помочь родичам погибшего встать на точку зрения легионеров. Оставалась только неусыпная бдительность. Но и бдительность понемногу притуплялась. Расслаблялись. Высокомерие — бич всех колонизаторов. Вот что, например, писал из Рима великий оратор Цицерон своему служившему в Британии брату: «Из твоих писем касательно британских дел мне ясно, что в Британии нам бояться нечего...» Не понял великий оратор: брат, наверное, просто в Риме маму волновать не хотел.

*Колониальные захваты чужой территории — вещь для коренного населения очень неприятная. И сначала захват-*

*чикам отчаянно сопротивляются, а потом лет сто пятьдесят сочетают партизанскую войну с подпольной борьбой и отдельными масштабными восстаниями. Однако, если ничто не помогает, наконец смиряются. А потом начинают тихо недоумевать: а что мы на рожон-то лезли? Гляди-ка, у нас теперь и канализация, и уличное освещение, и дети в школу ходят, да и дань последнее время берут по-божески. А лет через триста—четыреста исконным жителям уже кажется, что такой порядок вещей был с начала времен, и, когда колонизаторы по ряду причин решают наконец отбыть, за фалды их цепляются и, в слезах, машут с берега вслед кораблям платочками. Но, даже если не цепляются — понимают, что стали теперь, через триста—четыреста лет, во многом сами походить на своих завоевателей, а завоеватели стали чуть похожи на них. И это теперь — навсегда.*

Население в Британии все больше смешивалось, и рождались в новой колонии римляне, которые домом своим считали уже Британию. Жизнь входила в организованное русло. Каждое крупное племенное объединение имело теперь свой «административный центр» — *цивитас* и его «совет» — *куруию*, в которую входили все вожди более мелких племен. Были также: муниципальный суд, отдел по обеспечению в *цивитас* чистоты, отделы, ответственные за водопровод и канализацию, за гражданское строительство и захоронение мертвых. В каждом крупном поселении открывался рынок, а с ним — лавки, брандмейстерские, школы, бани, небольшие деревянные амфитеатры, бордели.

На юго-востоке романизация населения проходила вполне успешно. А вот с племенами силуров и ордовиков на западе, с пиктами на севере — приходилось возиться. Ничего не могли с ними поделаться римляне. В от-

крытый бой, в котором римляне не знали себе равных, те вступали редко, а изматывали захватчиков партизанской войной — засадами и «актами терроризма». От пиктов, чтобы не докучали, просто отгородились внушительным валом. Те вожди (в основном, на юге), что приняли римлян безоговорочно, получили за это виллы с колоннами, мозаичными полами и паровым отоплением, «легитимную власть» над своими подданными, подвалы лучших итальянских вин<sup>1</sup>. Другие хоть и хмурились, и кляли колонизаторов на своем языке, но внешне вроде бы тоже смирились с положением римских «королей-клиентов», или, проще, марионеток. Им, в обмен на хорошее поведение, тоже выделяли финансовые подачки. И думали римляне, что уж теперь-то в Британии все достаточно спокойно...

К тому времени Клавдий умер, и императором стал Нерон, последний представитель династии Юлиев-Клавдиев. Что-то явно не заладилось в генетике этой семейки: что ни император — или убийца, или извращенец, или и то и другое. Клавдий был единственным более-менее нормальным. И вот теперь — Нерон. Эстет-поджигатель. Когда пылал Рим, подоженный по его приказу, он с балкона смотрел на пожарище и пел посредственным голосом, плохо аккомпанируя себе на струнном инструменте. А ведь начал он, как и Калигула до него, тоже без явной патологии. Но мы отвлеклись.

С приходом Нерона для Британии тоже настали другие времена.

---

<sup>1</sup> Пример такой усадьбы — прекрасная вилла Когидубнуса в Фишборне, недалеко от современного Чичестера (графство Гемпшир).

### «Ржа на шлемах»

Новым губернатором Британии Нерон назначил старого рубаку Светония Паулина. Выбор на него пал не случайно. Боевой генерал, к работе в колониях не привыкать: за плечами опыт управления Мавританией, усмирение непокорных в Атласских горах, то есть — богатый опыт военных операций в горных условиях. Что как раз и нужно: в горах за северным валом и в Камбрии<sup>1</sup> всё сидели чирьем на римской шее непокорные пикты и силуры.

Светонию — за пятьдесят, но он высок, худошав, силен. Лицо — темно от загара. Авторитетен. От одного его недовольного взгляда легаты трепещут. Все знали, с каким удовольствием он успехами в Британии поставил бы на место своего давнего соперника — старого лиса Гнея Корбуло. Тот так и сыпал в Рим рапорты о своих победах в Армении, и император непременно находил повод сообщить об этом Светонию — как бы между прочим. Нерону нравилось сталкивать лбами честолюбивых вояк.

Светоний меньше завидовал бы Корбуло и гораздо меньше беспокоился бы, если бы знал, как плохо кончит этот очень популярный в Риме генерал: Нерон, большой ревнивец по части народной любви, просто послал ему записку с приказанием покончить с собой. Что тот и сделал. Но все это пока — в будущем.

Так что начал новый губернатор решительно. Просмотрел финансовые отчеты, посетил гарнизоны. И к выводам пришел неутешительным.

---

<sup>1</sup> Римское название территории, примерно совпадающей с нынешним Уэльсом.

Прибыв в Камулодун, Светоний тотчас же вызвал к себе прокуратора <sup>1</sup> Дециана Цата. Он сразу невзлюбил этого человечка в неопрятной одежде с пятнами и совершенно лысым шишковатым черепом. Светония раздражало, что этот человек всегда находится в движении, постоянно жестикулирует, без всякой необходимости поправляет одежду и никогда не смотрит собеседнику в глаза.

Прокуратор вошел совершенно неслышно. И теперь он, как всегда, не мог стоять спокойно — нервно сучил руками и губы его подрагивали.

Светоний не предложил ему сесть, сам встал напротив, бесцеремонно рассматривая его и ничего не говоря. Тогда и прокуратору ничего не осталось, как поднять на него глаза. Они оказались неожиданно пронзительными и злыми. Светоний с неприятным удивлением первым отвел взгляд. И почему-то почувствовал, что прокураторство Цата будет недолгим. Умный Цат это тоже мгновенно осознал и понял, что меры нужно принимать безотлагательно.

Губернатор начал без всяких экивоков и вопросов о здоровье жены:

— У легионеров Второго легиона Августа <sup>2</sup> — ржа на шлемах...

— В Британии часты дожди, и...

— У римского солдата легиона Цезаря — ржа на шлеме,— повторил Светоний не повышая голоса, но еще тверже.

— Неожиданная смерть от жестокой лихорадки Люция Цереса, легата Второго легиона, возможно, отразилась на порядке... Я слышал, обязанности легата исполняет те-

---

<sup>1</sup> *Прокуратор* — глава гражданской администрации провинции.

<sup>2</sup> Легионы Августа считались образцовыми.



перь префект Поений Постум. Не послать ли за префектом Постумом?..— с преувеличенной озабоченностью спросил Цат. А сам подумал: «Какое мне дело до шлемов твоих безмозглых вояк и до твоих легатов! Моя забота — налоги». И он был прав.

— Не беспокойся, префект Постум уже имел со мной беседу. Поговорим о прокураторских обязанностях. Я слышал, не хватает средств, чтобы закончить ремонт храма императора в Камулодуне? Что же получается: на храм, который должен постоянно напоминать завоеванным о силе и богатстве Рима, нет средств?! Птичье дерьмо на мраморе памятника императору! Облупленные стены императорского храма! Протекающая крыша... Чья это вина? — В голосе Светония прозвучала угроза, тут же сменившаяся едким сарказмом: — Или опять виноваты частые британские дожди?

— Основные средства идут на содержание легионов, а временные трудности с ремонтом храма связаны с невозвратом займов, предоставленных местным вождям еще при императоре Клавдии...

— Займов? И они платят по займам?

— Не совсем. Некоторые думают, что заем был просто подарком императора. Дикий народ, ничего в финансах...

— Мне нужен полный отчет о суммах и сроках их возврата. Мы — платим тем, кого победили, чтобы они хорошо себя вели?! А я-то полагаю, что послушанию должны способствовать легионы. Я ошибался: вместо этого мы платим местным царькам, чтобы они не беспокоили покой местных прокураторов, а у лучших легионеров между тем ржавеют шлемы! У меня — уже несколько донесений о том, что на острове Мона<sup>1</sup> друиды устроили осиное гнездо сопротивления Риму. Они укрывают мятежников

---

<sup>1</sup> Совр. остров Англси.

из разбитого войска Каратака и подбивают племена на мятеж. На западе, в камбрийских лесах, болтают, от нас прячется целая армия и ждет своего часа. Вы знаете местный язык и ничего об этом не слышали?

— Думаю, автор донесения преувеличивает. Бриттов все больше интересуют торговля, земледелие, разведение скота, постройка вилл и портов и все меньше — мятежи. Они...

— Прокуратор Цат, в любой провинции всегда — слышите, *всегда*, в любое время — может начаться мятеж. Запомните. Нет такого понятия — «мирная провинция». Есть *хорошо управляемая провинция*, где население знает, что всякий мятеж будет быстро подавлен, что сопротивление — бесполезно. И я намерен сделать Британию именно такой хорошо управляемой, очень хорошо управляемой провинцией. Друидов необходимо уничтожить и остатки войска Каратака выкурить из лесов Камбрии как барсуков из нор. Это — основные подстрекатели, от них — вся смута. И еще... Кто такой вождь Прасутаг? Мне только что подали его завещание. — Светоний подошел к огромному столу со множеством свитков, безошибочно выбрал нужный и поднес его ближе к глазам. — Покойный «оставляет вождем племени ит... иц... иценов...» Что такое?! «свою вдову Боудикку...» «Имущество же должно быть разделено поровну между...» Что?! «между Императором Нероном Клавдием Цезарем Друзом Германиком и моими двумя дочерьми...». Они что, думают, будто им здесь действительно что-то принадлежит?! Что они — могут что-то «завещать»?! Чтобы завещать, надо *иметь*, а им, как видно, недостаточно хорошо разъяснили, что всё в этой провинции, и они сами со всеми потрохами, принадлежит Риму! Бред какой-то: завещание, бабы... И — грамматические ошибки!

Цат криво усмехнулся:

— Ну, ошибки — это вина кого-то из наших писцов. А Прасутаг — как раз из дружественных нам царьков, вождь племени иценов, оно одним из первых сложило оружие. И этому очень помогла, прошу прощения, финансовая успокоительная примочка. С тех пор ицены не причиняли никаких...

— Тогда с него и начните. То есть — с семьи Прасутага. За послушание платили только ему, а поскольку он не оставил законных наследников мужского пола, племя сейчас осталось без предводителя, поэтому не может представлять никакой опасности. И разошлите по другим племенам требования немедленной выплаты. А этот случай можете сделать показательным. И использовать как пример того, что будет с неплательщиками. А заодно и напомнить, кто в Британии хозяин. Вы поняли? А потом этому племени мы поможем определиться с законным и верным Риму вождем. Что ценного есть у этого племени?

— У них — удобные для портов бухты на востоке. Но... здесь еще такая трудность... Нам с вами, губернатор, это сложно понять... Это, несомненно, варварский обычай, но у диких кельтов вождями племен становятся не только мужчины, но и, хотя это и трудно себе представить... женщины. Поэтому ицены, возможно, считают, что у них уже есть законный вождь, и....

— Ицены будут считать так, как прикажет им Рим. Их бабы будут ткать и рожать детей, а не возглавлять племена и жить своей волей. Время дикарства — кончилось! — отрубил Светоний, и Цат с любопытством отметил, что глаза губернатора без видимой причины налились ледяным гневом. — Список всех вождей, кому были даны займы, — немедленно в канцелярию Агриколе. Свободны!

Дециан Цат закрыл за собой тяжелую дверь. «Новая метла! Еще больший идиот, чем я думал!»

Прокуратор придерживался других взглядов на колонизацию: армия нужна только для самого завоевания и удержания власти первые несколько лет, а потом — пусть живут как хотят и молятся каким угодно своим богам, но исправно платят налоги. А для этого дикари должны быть платежеспособны — иметь хороший скот, обрабатывать поля. И — приобретать вкус к роскоши, что и есть признак цивилизации. Местных «царьков» — без нужды не обижать, не напоминать о положении завоеванных, а наоборот, приближать и раздавать привилегии; драки же и ссоры между вождями за эти привилегии и вообще за что угодно поощрять всемерно — *divide et impera*<sup>1</sup>, — а также давать бесплатное образование сыновьям племенной верхушки в местных римских школах по римской программе — Тривиум-Квадривиум<sup>2</sup>. Глядишь и подрастет новое поколение бриттских племенных вождей — безупречных римских граждан. Они станут опорой империи, сменят имена, станут перебрасывать через локоть тогу в курии как настоящие римляне, даже между собой говорить на латыни, а крашенных «предков» и их варварского наречия — стесняться и стараться все это забыть. А неспособных к наукам да горячих — в легионы, куда-нибудь на задворки *Pax Romana*<sup>3</sup>, где и языка-то их никто понимать не будет. Вот так и получится мирная провинция. И не надо огромных крепостей и многочисленных легионов. Но солдафонам это не по вкусу, им все мерещится, что их задвигают на второй план!

А Светоний стоял и отрешенно смотрел на высокую дверь, которая сейчас закрылась за Децианом Цатом. Ее

---

<sup>1</sup> *Divide et impera* — «разделяй и властвуй» (лат.).

<sup>2</sup> *Тривиум* — грамматика, риторика и диалектика. *Квадривиум* — арифметика, геометрия, астрономия и музыка.

<sup>3</sup> *Pax Romana* — «Римский мир» (лат.). Здесь — Римская империя.

тяжелые створки были украшены резными львиными мордами, но губернатор их не видел. Здесь, в Камулодуне, за несколько улиц отсюда, умирала его дочь. Об этом скоро узнают все, и этот мерзкий Цат — тоже.

Губернатор налил себе из бронзового кувшина вина. Он никого не хотел сейчас видеть.

Дочь, Светонию Паулину, он смутно помнил ребенком — тихим, задумчивым. Она не слишком вертелась под ногами и внешне была похожа на него! Он постоянно находился в отлучках, как и полагается солдату, и семьи своей почти не знал. Семья — необходимая принадлежность жизни уважаемого военного, но у Светония и мысли не было брать жену и дочь с собой в провинции, где он прослужил много лет. Однако теперь жизнь в далеких провинциях с семьями всемерно поощрялась императором, вот он и привез их в Британию. На свою беду! Много лет назад родители устроили его брак с невзрачной девственницей из очень хорошей семьи. И все, на что ее хватило, был один лишь ребенок, и то — девка!

Его душила злоба на дочь: так поступить с отцом, сделать его притчей во языцех для каждого центуриона и его шлюхи! А вскоре все дойдет и до Рима: губернатора Светония, грозного губернатора Светония послушалась собственная дочь! Лучше уж пусть говорят, что он сам убил ее. От одного его взгляда дрожали префекты и трибуны, и он дорожил этой своей репутацией, ибо только трепет подчиненных — гарантия повиновения, а значит, и порядка. «Слышали? Светоний не смог управиться с бабами в собственной семье!» Теперь найдется столько тех, кто будет издеваться и злорадствовать у него за спиной! И он ничего, ничего не сможет с этим поделать! Светоний чуть не застонал от досады и боли при мысли об этом.

Однажды вечером, недели за две до всего этого кошмара, он просматривал в библиотеке донесения из Рима. У него было хорошее настроение после дружеского обеда с Квинтом Сериалием. Этот легат выразил желание стать его зятем, и они уже условились о свадьбе через две недели. Квинт был перспективным военным. К тому же его сестра в Риме недавно стала влиятельной жрицей-весталкой, что означало доступ к императорской семье и большие возможности. Ну не век же в самом деле ему, Светонию, сидеть в этом бриттском болоте! Отличиться здесь — и в Рим!

Он послал тогда за дочерью. Она явилась в библиотеку моментально и испуганно стояла, втянув плечи и словно стараясь уменьшиться в росте. Девушка не знала, куда деть свои длинные бледные вздрагивающие руки. Светоний подумал, что она, наверное, глупа. А может, и нет. Он, в сущности, ничего не знал о ней.

— Ты здорова?

— Да, отец.

— У меня для тебя хорошая новость. Через две недели — готовься к свадьбе с легатом Квинтом Сериалием.

Ее глаза вдруг налились слезами. Ох, терпеть он не мог это бабское слезомойство!

— Отец, прошу тебя, умоляю... Я не знаю Сериалия...

— Завтра узнаешь. Он будет к обеду. И о чем это ты умоляешь?

Дочь смертельно побледнела. Она едва не теряла сознание от страха, и голос ее дрожал:

— Я не могу... замуж... за Сериалия.

Он от неожиданности не нашелся что сказать, и дочь приняла это удивленное молчание за свою маленькую победу:

— Я люблю... другого человека. Префекта Постума.

Он продолжал молчать.

— И Постум — любит меня,— сказала она, воодушевленная его молчанием.

Светоний вспомнил: именно в легионе Постума он видел ржавые шлемы.

— Префект Постум толком не знает даже, кем был его дед,— резко сказал он.— Его семья — какие-то ремесленники в Субуре<sup>1</sup>. Здесь хотя и не Рим, но действуют все его законы! И никто — остается никем.— И тут его осенило: — Отвечай немедленно, ты — девственна?

— Отец, Постум — честный человек...

— Ты — девственница?! — рявкнул он. А про себя спокойно решил, что убьет недоглядевшую за дочерью жену, если окажется, что...

— Да! Да!! — прорыдала Светония, и ее щеки и шея залились густой краской.

И где это она снюхалась с Постумом?! Вот они, проклятые свободные нравы провинции! А впрочем, неважно. Девственность всегда может проверить одна из рабынь. А Квинт Сериалий — тоже не идиот и в любом случае не станет поднимать скандала, они слишком нужны друг другу.

— Тогда свадьба с Квинтом Сериалием — через две недели, как мы с ним и решили. Я дал ему слово. Готовься. И позови теперь мать.— Он отвернулся к полкам со свитками, давая понять, что «разговор» окончен.

— Отец... Но Постум добился всего сам... своим трудом. Не лучше ли...

— Что? Ты еще здесь?! — Он бросил на дочь взгляд, от которого, как говорили в армии, даже у легатов происходило непроизвольное мочеиспускание.

Дочь бросилась перед ним на пол, обхватила его ноги. А он вдруг подумал, что кровь — ничего не значит: у него

---

<sup>1</sup> Район в Риме, населенный простолюдинами.

не было никакого чувства к этой чужой, невзрачной, как и ее мать, девице. Никакого чувства, кроме нарастающего раздражения.

— Отец, умоляю...

Он отстранил ее с брезгливостью. И бросил, как нерадивому подчиненному:

— Свободна!

**Ж**ены римского Камулодуна предвкушали только что объявленные торжества в честь свадьбы губернаторской дочери и легата Квинта Сериалия. Свадьба обещала быть пышной, к тому же почти закончилось строительство городского амфитеатра для гладиаторских боев — правда, деревянного, но для провинции и такой неплох. В далекой колонии подобные развлечения были нечасты, а потому особенно желанны.

Подвенечный наряд Светонии Паулины уже был готов — красное платье с широкой золотой каймой и красная накидка. Цвет жизни.

До свадьбы оставалось два дня.

Страшно рискуя, тайком, в ночном лесу, Светония встретилась с Постумом. Она предложила ему бежать — немедленно, куда угодно, на любой галере! С собой у нее был узелок с коралловой ниткой и несколькими золотыми браслетами. Постум задумчиво смотрел на ее сокровища. Он совершенно не предполагал такого поворота событий. Еще час назад он думал, что женитьба на дочери губернатора упрочит его положение и откроет путь к должности легата, а когда-нибудь и консула... И теперь он что-то заговорил о своей любви, но убеждал Светонию быть благоразумной. Она отрешенно посмотрела на него, словно не понимая языка, на котором он говорил. И пошла прочь. Ее сгорбившаяся вдруг фигура с ненуж-



ным теперь узелком в руке долго белела между темных стволов...

**В** Британии весной дождь идет особенно часто. И одной такой дождливой ночью совершенно потерявшая надежду Светония Паулина решила на то единственное, что должно было освободить ее от разочарования в любимом и от воли отца. В длинной ночной тунике, не замечая холода, она вышла из своей спальни, поднялась на самый верх, на стену, окружающую виллу. И бросилась с нее вниз.

Нашли ее только утром. Худенькое, изломанное, почти детское тело валялось как тряпка, как пустой мешок. Она еще дышала, но голова ее свисала неестественно — скорее всего, была сломана шея. Ее принесли в дом и положили на кушетку в триклинии <sup>1</sup>.

Прибежала полуодетая босая мать, она голосила и обвиняла дочь, пытаясь привести ее в чувство. Вокруг сгрудились рабы, что нашли и принесли девушку.

На крики в триклиний бежали слуги.

В комнату вошел Светоний. Он любил работать по ночам и, судя по тому, что был одет, так и не ложился. Медленно, словно постепенно осознавая произошедшее, подошел к безжизненной дочери, наклонился над ней. И вдруг лицо его покраснело от ярости, он резко стащил тело с кушетки и начал одержимо и безжалостно пинать его «домашними» стоптанными *caligae* <sup>2</sup>. Бросившую ему в ноги жену он отшвырнул к стене — на мозаику пола брызнула кровь из ее рта. Рабы почти не дышали. Вмешиваться не смел никто — римский мужчина,

---

<sup>1</sup> *Триклиний* — большая комната для трапез, где обедали, возлежав на кушетках у низких столиков.

<sup>2</sup> *Caligae* — армейские ботинки (*лат.*).

отец семейства, *paterfamilia*, был полностью в своем праве давать жизнь или отнимать ее, если кто-то смел противиться его воле.

В напряженной тишине слышны были только глухие удары расправы.

И тут по комнате словно прокатилось движение. Это вперед вышла рабыня. Когда-то, еще в год рождения дочери, она была послана Светонием из Мавритании в подарок жене. И с тех пор эта рабыня была бессменной нянькой его дочери. Обычно черная, кожа старухи стала сейчас светло-серой, словно присыпанной пеплом от накатившей бледности.

— Убей уж и меня, господин, нет сил видеть...

Светоний прекратил расправу над дочерью, поднял голову и посмотрел на толстую рабыню с жутким спокойствием.

Все втянули головы, и кое-кто зажмурился, ожидая страшного.

Старуха грузно упала на колени, но не перед губернатором, а перед расprostертой Паулиной. Светоний удивленно смотрел на рабыню, словно никогда не видел ее раньше.

А кормилица вдруг запела. Колыбельную. И звучала она сейчас как поминальная...

Губернатор Британии Светоний Паулин повернулся и вышел из комнаты. Так же медленно, как и вошел.

В тот же день он выступил на усмирение мятежников, засевших в лесах Камбрии, и друидов на острове Мона.

**Н**а западе провинции римляне применяли тактику выжженной земли — уничтожали стада, посева, всходы

на полях, безжалостно жгли лес. Те, кто не пал от римского меча, неминуемо должны были умереть зимой от голода. Горели лесные деревни, и остатки сопротивлявшихся римской власти бежали на остров Мона.

Светоний неотвратимо шел по пятам. Он переправился через пролив Менай и достиг наконец острова друидов. Кельты видели, как к ним через пролив приближалась смерть. Они уже ни на что не надеялись: силы были слишком неравны. Они хотели просто лечь в эту священную землю и слиться со своими, бессильными теперь, богами.

Еще издали римляне увидели на берегу острова огромную пылающую человеческую фигуру. С трудом дыша от нестерпимого смрада горелого мяса, выходявшие на берег легионеры разглядели, что она сделана из веток, и этот «человек из веток», словно клетка, заполнен уже обугленными телами. Рядом огромной кучей лежали одежды друидов. Ритуальное самоубийство...

С факелами в руках римляне стали углубляться в дубраву. И на большой поляне, сжимая мечи, их встретили татуированные воины. Впереди стояли трое старцев-друидов в белых балахонах. Вот они раскинули руки и начали зычными голосами ритмично возглашать древние проклятия своих богов — снова и снова, впадая в транс и вводя в него даже легионеров. Среди римлян возникло замешательство. Подойти к старцам не решался никто.

Вдруг бритты расступились, и на римлян с дикими воплями и горящими факелами выбежали сотни растрепанных, безумных женщин в черных одеждах. Они сами пронзали себя ритуальными ножами и падали, как огромные черные птицы. Солдаты оторопело оглядывались на центурионов.

И тогда Светоний Паулин, с криком «Roma Victrix!» выхватил гладиус <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> *Гладиус* — римский меч.

Головы старцев с длинными волосами покатались по влажной от росы траве — словно обросшие мхом камни, как будто и не были никогда живыми.

Вскоре все было кончено. «Человек из веток» догорел и развалился, тела убитых просто побросали в воду у острова — Светоний не хотел, чтобы солдаты зря расходовали силы, зарывая их: утром армия должна была двинуться в горы Камбрии, где еще оставались мятежники. Главная задача — уничтожение друидов острова Мона — была решена.

...Легионеры рубили деревья священной рощи для костров, развязывали *impedimenta*<sup>1</sup>, ставили палатки. И тревожно оглядывались. Было из-за чего: вокруг лагеря из темноты светились десятки волчьих глаз, слышался нестройный, леденящий душу вой. Это были очень странные волки. Они не боялись огня. Один из них, огромный и матерый, подошел очень близко. В него бросили двухметровое копье *pilum*, и любой, кто это видел, мог поклясться, что копье пронзило волка насквозь. Однако тот продолжал стоять и смотреть на людей, а потом спокойно затрусил в чашу.

Солдаты опасливо озирались и бормотали обереги.

Светоний Паулин приказал выдать еще вина и громким, уверенным голосом прокричал благодарность за доблесть в уничтожении логова диких фанатиков-жрецов — мятежников и врагов Рима. Родная латынь прозвучала для солдат в этом страшном, наверняка проклятом месте успокаивающе. «Рим принес в эту дикую землю свет!» — убежденно закончил Светоний. И добавил привычную формулу: «*Roma nostra est lux mundi!*»<sup>2</sup> Легионеры одоб-

---

<sup>1</sup> *Impedimenta* (лат.) — 20-килограммовая «выкладка» римского легионера, содержавшая шерстяной плащ, смену белья, бритвенные принадлежности, бронзовые флягу с водой, миску и сухой паек.

<sup>2</sup> «Наш Рим — свет миру!» (Лат.)

нительно загудели. Несмотря на суровость Светония, в армии его любили. Он был храбр, никогда не рисковал людьми понапрасну и всегда знал, какими словами можно вдохновить войско. Вскоре в лагере уже звучали разговоры и смех.

Светоний тоже был возбужден, он шутил и смеялся у костра с легатом, трибуном и префектами, вспоминал истории из своей службы в Мавритании и женщин:

— Один мой раб, ученый грек, говорил, что все женщины одержимы демонами. Все они, несмотря на кроткий вид, — горгоны, гарпии и сирены. Я с этим вполне согласен.

— А кельты, должно быть, безумны, ведь своих женщин они обучают искусству боя, как мужчин? — спросил слегка подвыпивший трибун Агрикола <sup>1</sup>, которого Светоний взял к себе из Второго легиона Августа за доблесть и сообразительность.

— Вот потому они и варвары, — по-крестьянски степенно ответил легат Веспасиан <sup>2</sup> — крупный, с мощной, очень короткой шеей.

— А правда, что мавританки — самые покорные женщины, никогда не прекословящие мужчинам? — не унимался Агрикола. — Если это так, то нашим римлянкам у них бы поучиться!

Светоний выстрелил в него взглядом: на что-то намекает? Да нет, просто пьян. А может, все-таки издевается? Да нет, слишком умен, не посмел бы. Просто бивуачный треп, ведь он же сам завел разговор о Мавритании.

---

<sup>1</sup> Агрикола станет впоследствии одним из самых прославленных губернаторов Британии. Жизнь Агриколы (и восстание Боудикки, по его воспоминаниям) опишет знаменитый римский историк Корнелий Тацит (56—117).

<sup>2</sup> Тит Флавий Веспасиан (9—79) станет впоследствии римским императором, в его правление начнется строительство Колизея.

— Нет, тебе наврали, Агрикола,— изменившимся тоном произнес он.— Римлянки гораздо более покорны.

Настроение, однако, было испорчено. Он посмотрел в темноту, и ему показалось, что оттуда на него внимательно, не мигая, смотрят желтые волчьи глаза. Светоний ничего еще не знал о том, что произошло уже по его приказу в земле племени иценов с вдовой вождя.

\* \* \*

Когда Светоний объявил, что выступает на Камбрию и остров Мона, Дециан Цат не мог поверить своей удаче: солдафон явно рвется в бой и не ведает, что происходит вокруг! На Цата работала целая сеть информаторов, те доносили ему о настроениях бриттов и вообще обо всем происходящем.

А совсем недавно легионеры-ветераны, ничуть не церемонясь, согнали с лучшей земли племя триновантов, соседей и союзников иценов, и начали строить еще одну колонию.

Прокуратор знал, какое «паровое давление», благодаря действиям нового губернатора и захватам колонистов, скопилось уже под «римской крышкой» в Британии.

«Разорение священного для всех бриттов острова Мона,— думал Дециан — будет последней „щепкой в огонь“ — и „котел“ так закипит, что крышку снесет совсем!» Но Светоний был в провинции недавно и многого здесь не понимал. «Думает, что гладиус — решение всех вопросов!» — криво усмехнулся Цат. И ностальгически вспомнил прошлое.

Да, почивший предшественник Светония страдал слабым здоровьем и не слишком совал нос в дела прокуратора, да и в свои собственные, так что Цат, по сути, сам управлял провинцией, и последние несколько лет дейст-

вительно не было ни особенных мятежей, ни серьезных беспорядков.

Но после первой же встречи с новым губернатором Дециан понял, что отзывать из Британии ему не миновать. Ну что ж, он уже немолод, достиг верха своей карьеры и давно собирался на покой. Однако уходить из этой провинции просто так, не причинив перед этим самоуверенному Светонию неприятностей, ему не хотелось.

И он уже придумал, как это устроить. Причем — не делая ничего противозаконного, а просто буквально выполняя губернаторский приказ. А вот потом, когда в Британии станет по-настоящему жарко, он оставит здесь бравого воюку применять силовые методы управления колонией.

Цат опять криво усмехнулся: сидеть и смотреть, чья возьмет, он вовсе не был намерен. Может оказаться опасно. Да и зачем? В Олиссиппо<sup>1</sup>, в Лузитании, у него давно было отличное поместье, о котором в целом свете не знал никто, даже жена. Цат все подготовил: в порту Лондиния у него стояла с виду неприметная, но добротная и вместительная галера. В том, что ему удастся улизнуть вовремя, он почти не сомневался.

Прокуратор позвал своего самого рьяного сборщика налогов — Петрония. И велел ему отправляться со своими людьми в деревню племени ищенов.

Все предвидел Дециан Цат. Все, кроме одного: *насколько жарко станет скоро в Британии.*

### Прасутаг

Когда в Британию вторглось несметное войско Клавдия, вождь племени ищенов Прасутаг и другие вожди

---

<sup>1</sup> Совр. Лиссабон.

кельтов — Тогодубн и Каратак — пытались остановить римлян. Но поражение их было столь сокрушительным, что Прасутаг хорошо осознал, на чьей стороне сила, и смирился. И стал на колени перед императором и принял тогда его монеты. И сколько ни старался переманить иценов на свою сторону скрывавшийся в лесах Каратак, Прасутаг оставался верен — нет, не Риму даже, а своему решению не лезть больше в эту горячую воду. Правда, хлеб и овец несколько раз в леса посылал. Прасутаг ничего не боялся, он просто не любил заниматься делами безнадежными. Он хотел теперь покоя, и ненависти просто не было больше в его сердце.

Римляне не отняли у иценов землю, даже наоборот: Прасутаг приумножил свои стада и прикупил на деньги Клавдия в Галлии небольшой табун отличнейших породистых коней и построил рынок в своей «столице», которую римляне теперь громко называли Вента Иценорум. К городу теперь вела мощеная дорога от самого моря. Началась и постройка порта. На рынок приезжало все больше торговцев. Вента Иценорум разрастался. И прокуратор в Камулодуне никогда не отказывал ему в деньгах, если своих у него не хватало.

Многим иценам новый порядок не нравился. Они просто не разумели, зачем и за что платить подати. Никогда раньше этого не было. А римляне были неумолимы. Есть деньги, нет — плати все равно.

А еще римляне обязали Прасутага приезжать на съезд кельтских вождей, где все они должны были ежегодно приносить клятву верности императору.

Огненноволосую свою жену Боудикку он любил по-прежнему. Но она бросила его, как изорванный сапог, и ушла в леса к Каратаку. Не могла простить, что опустился он тогда перед римлянином на колени.

Он не взял себе другой жены. Он ходил к Боудикке несколько раз в леса и уговаривал ее вернуться, но в первый



раз она была тяжела от Каратака, а во второй раз — у нее уже было две дочки. Хорошие девочки. Здоровые и веселые, как весенние ягнята. Прасутаг принял бы ее хоть с десятком отпрысков от этого наглеца из катувелланов или от любого другого. Дети есть дети, чьи бы они ни были. Это ведь *она* их рожала, его Боудикка. Прасутаг даже привел жене в подарок прекрасного римского коня, которого дорого и не торгуясь купил на ярмарке в Камулодуне. Ему приятно было думать, что Боудикка ездит на его подарке, и между ними есть хоть такая связь. И зерно им привез, много зерна.

А Каратак зерно принял, но, когда увидел, как смотрит Прасутаг на Боудикку, сказал, чтобы он больше не приходил, а убирался и продолжал облизывать римские задницы. И Прасутаг сильно ударил его, и у них был поединок. И никто не вмешивался, потому что такой обычай. Они были как два вепря во время гона. И Прасутаг победил: в бое на широких мечах ему до сих пор не было равных. И приставил меч к горлу Каратака. Может быть, и убил бы. Но Боудикка непривычно тихо попросила — не убивать. Она никогда и ни о чем Прасутага раньше не просила. И он увидел ее испуг, и понял, что она — не вернется. И что нечего ему больше ходить. Неохотно отвел меч от горла Каратака, сказал ему, чтобы берег Боудикку как жену. А ей сказал, что не придет больше.

Повернулся и пошел к коню. И услышал:

— Прасутаг, постой!

Не было для него в целом мире ничего слаще этих слов. Вокруг стояли и ицены, и катувелланы, и тринованты, а она сказала ему при всех:

— Ты слепец, Прасутаг. Неужели твои глаза превратились в римские монеты и ты ничего не видишь? У нас отняли всё!

— У меня римляне не отняли ничего,— ответил он.— У меня всё Каратак отнял.

— Они отняли у всех. Мы стали рабами на своей земле...— Она оглянулась вокруг, словно ища поддержки. Все молчали, но в этом напряженном молчании чувствовалось, что они — согласны.

Прасутаг тогда пожал плечами:

— Я построил дорогу до рынка, и теперь на мой рынок пригоняет скот больше купцов, а сейчас я строю пристани, чтобы на моем рынке торговало все больше народу, и римляне дали мне на это денег.

— В обмен на что?

— Чтобы ицены не бегали по лесам и не нападали ножами на их лагерь.

— Ты продал нашу свободу,— грустно сказала она.

— Я изменил свою жизнь. И сейчас она лучше, чем та, что была. А плохо мне только потому, что ты — здесь.

— Я не хочу, чтобы мои дети жили в римском рабстве!

Он посмотрел — нет, не на Боудикку, а на верхушки деревьев, по которым вдруг пронесся ветер. Все стояли безмолвно и слушали их разговор.

— А я бы хотел, чтобы мои дети учились писать римские знаки, которые сохраняют человеческий голос и мысли.

— Зачем это нам нужно?

— Потому что человеческий голос уносит ветер, и от него не остается следа. А человеческая мысль вытесняется другой мыслью, и от нее тоже ничего не остается. И хорошая мысль навсегда исчезает.

Кто-то из стоявших вокруг неожиданно кивнул.

— Мы не римляне,— сказала Боудикка.— Мы — другие. То, что хорошо для них, может оказаться плохо для нас. Наверное, римлянам нужно сберегать свои мысли потому, что их не так уж много. У нас мыслей гораздо больше, чем у них, нам не нужно их сберегать.

Все засмеялись, и даже давно поднявшийся с земли Каратак. До этого он молчал и выплевывал сухие дубовые

листья, которые набились ему в рот во время схватки. А теперь сказал:

— Ты для них всё равно не больше, чем...— Он оглянулся по сторонам и увидел большого, лежащего под деревом пса.— ...Чем для меня — этот пес. Мы все для них — только звери.

Прасутаг пожал плечами и не стал его больше бить. Ведь она просила.

— Я очень хорошо знаю, что я за зверь,— сказал он.— А что думают обо мне римляне или Каратак, для меня не важно. Мне важно только то, что думает моя жена. Меня с ней соединили друиды, и, пока они же не разорвали наш союз, она все равно остается моей женой.

— Боудикка думает иначе. О ней — забудь. Но я теперь — не о том.— Каратак нахмурился.— Ты все еще хорошо держишь меч. Иди к нам, мне нужны люди. Тогда мы скорее отбросим римлян к морю.

Только мгновение Прасутаг колебался: ведь так он сможет видеть Боудикку каждый день... Но видеть ее каждый день с Каратаком было бы слишком тяжело, поэтому Прасутаг ответил:

— Ты же помнишь ту битву, когда погиб Тогодубн. Ты помнишь тот ад. Этого не забыть. Неужели ты не понял: их бог войны сильнее нашего Камула<sup>1</sup>? Во время битвы он превращает их в железные крепости, от которых отскакивают даже копья. Это не люди, это — порождения бога войны.

— Ты видел их вождя близко? — тихо спросила вдруг Боудикка.

— Так же близко, как тебя.

— Он был похож на бога войны?

Прасутаг вспомнил невысокого Клавдия, его тщедушие, даже, кажется, хромоту:

---

<sup>1</sup> Бог войны у британских кельтов.

— Нет, совсем не похож.

— Он молод? — снова спросила она.

— Нет, стар.

— Значит, он наверняка человек. А людей можно победить, если знать, как.— Она повернулась к Каратаку: — Ты тоже видел, как во время битвы они превращались в крепости?

Она спросила это с усмешкой, и Каратак не успел ответить, потому что тут уже все зашумели, ведь многие были в той битве. Кто говорил, что превращались, кто доказывал, что римляне просто смыкали щиты, и это у кельтов каждый в бою сражается сам за себя, а у них десять, тридцать, даже сто воинов бьются слаженно, словно один. Может быть, это боги римлян делают их одним целым во время битвы?

Боудикка подняла руку, и все смолкли.

— Если они просто смыкали ряды, то мы во время битвы должны отвлекать их друг от друга подальше и не давать сомкнуть щиты и превратиться в свои крепости. Значит, и нам нужно научиться биться в открытом бою вместе.

Каратак вдруг разозлился:

— Тебя не было в той битве, Боудикка! Ты не видела их. А я — видел. Поэтому запомни: мы никогда не сможем победить их в открытом бою. В открытом бою они — всегда сильнее. Мы победим их, только нападая из лесов тогда, когда они этого не ожидают, только поджигая их дома, лагеря, крепости, города. Убивая их, где бы они ни были. Чтобы они просыпались в страхе, весь день оглядывались в страхе и со страхом ждали приближения ночи! Мы будем нападать и нападать, пока за каждым деревом им не станет мерещиться один из нас и пока мы не истребим последнего из них.

Воины одобрительно взревели.

— Римлян больше, чем листьев в лесу, — покачал головой Прасутаг.— Откуда ты знаешь, сколько их еще оста-

лось в той земле, откуда они приходят? Что ты вообще знаешь о той земле? Ничего. Ты еще молод, Каратак, тебе еще нужно набираться мудрости...

Он посмотрел на Боудикку.

Та долго молчала, потом сказала грустно:

— Когда-нибудь ты тоже поймешь, Прасутаг, что ты для них, для римлян,— только пес и раб.

Прасутаг понял: она повторила слова Каратака. И только пожал плечами.

**В**сю обратную дорогу у него предательски шипало глаза, потому что больше всего на свете он хотел каждое утро видеть эту женщину и ее детей в своем доме, у своего очага. Но он знал, что этому не суждено быть. Потому что он увидел: Боудикка была у Каратака не просто подругой — она вообще больше не была той розовошкой, с припухлыми губами дочкой друида Катувела с острова Мона, на которой он когда-то женился. Теперь это была худая, красивая, одержимая женщина — и воин, и вождь. И к нему она — никогда не вернется.

**Н**о Боудикка все-таки вернулась. Вот как это было. Шел десятый год римского завоевания. А со дня его последней встречи с Боудиккой — тогда, в лесу — минуло две зимы.

Не проходило теперь недели, чтобы Каратак и его повстанцы не нападали на римлян. Они даже осмелели до того, что ночью сожгли казармы в Камулодуне и перебили много легионеров. И терпение римлян кончилось. Они окружили войско Каратака и подожгли лес на огромной территории. Каратака захватили и — Прасутаг слышал разговоры в курии — в цепях увезли в Рим на галере.

Его тогда совсем одолела бессонница. Вот и в ту ночь он вдруг проснулся в своей богатой, просторной хижине. Лил дождь. В соломе крыши ворковали голуби. И тут сквозь шум дождя он явственно услышал отдаленный топот копыт. Ближе, ближе...

Он взял меч и стал у двери, готовый ко всему.

На подворье послышалось хлюпанье грязи под ногами, голоса. И вдруг окровавленный высокий катувеллан, пригнувшись в дверном проеме, внес в его дом бесчувственную Боудикку. Ее одежда тоже была в крови, предплечье глубоко рассечено ударом меча. Она тяжело дышала и вся горела в жару. Позади катувеллана стояли две бледные девочки с плотно сжатыми от страха губами. Одна из них, что помладше, была огненноволосой, как мать.

Поправлялась Боудикка долго. Она потеряла много крови, ослабела, и рана долго не заживала. Ее лечили женщины иценов — те, что принимали роды и знали силу трав. Прасутага за время болезни жены привязался к ее дочкам, да и они теперь ходили за ним всюду, словно гусята.

А когда Боудикка совсем оправилась от раны, она сама пришла в его постель. Он чуть не задохнулся от счастья. И после стольких лет боли подумал: за что все-таки наградили его боги?

## **Месяц ивы**

Каждый год в месяц ивы<sup>1</sup> Боудикка совершала паломничество к друидам и встречалась с отцом. И это беспокоило Прасутага. Но о римлянах они больше никогда не разго-

---

<sup>1</sup> Месяц ивы праздновался друидами весной.



Друиды в лесу

варивали. В племени Боудикка теперь сама исполняла священные обряды, толковала сны, полет птиц и поведение священных зайцев<sup>1</sup>, и ее уже почитали как жрицу. Она ходила в луга собирать травы и потом долго стучала пестиком, изготавливая таинственные снадобья. Дочки вскоре с удовольствием стали помогать ей. Прасутаг опять купил ей в Камулодуне коня лучшей стати, но Боудикка не стала ездить на нем: конь невзлюбил хозяйку, да и «понимал» только язык римлян. Поэтому Прасутаг просто поставил его в стойло, чтобы конюхи кормили и чистили его, и сам забыл о нем.

Девчонки росли веселыми, дом целый день звенел их голосами, просторное подворье было полно кроликов,

---

<sup>1</sup> Заяц у древних кельтов считался священным животным, в его беге и поведении видели знаки грядущего.

щенков, ягнят — дочери обожали животных. Младшая, огненноволосая, уже верховодила соседскими детьми, все звали ее Дьярег<sup>1</sup>, а старшая была черноволосой, как ее отец, Каратак, и изящной, словно выточенной из дерева. Подрастая, она становилась все более задумчивой, отрешенной от суеты. Старшая обещала стать настоящей красавицей, и ее все чаще называли Халинн<sup>2</sup>. Она очень хорошо пела, и Прасутаг часто просил ее петь на праздниках, когда все ицены собирались в большом доме собраний недалеко от рынка в Вента Иценорум.

Обеих девочек он уже давно считал родными и хотел, как настоящий отец, обеспечить их жизнь в будущем. Поэтому он заплатил отличным ягненком толстому писцу римлянину в курии, и тот нацарапал на куске светлой кожи множество черных значков. Прасутаг попросил его сделать странное — написать, что половину своей земли и всего добра он, вождь иценов Прасутаг, оставляет далекому римскому императору. Он не хотел, чтобы у его Боудикки когда-нибудь попросили обратно те монеты, что давали ему. А так, оставляя половину императору, он за все сразу расплачивался. И писец тоже серьезно сказал, что вот теперь — все по правилам. А про себя недоумевал и потешался: «Самого императора сделал своим наследником! Смех да и только, и кто поймет этих дикарей?!»

Все шло по-прежнему, разве что Прасутаг теперь все чаще болел, особенно зимами. И потому вскоре предоставил Боудикке решать все дела племени. Только подать в Камулудун возил сам и в курию ездил один: женщин туда римляне не допускали. Да и он опасался: кто-нибудь из них мог видеть ее когда-то среди повстанцев Каратака и теперь узнать.

---

<sup>1</sup> *Dearg* — «красный» (язык гэлик).

<sup>2</sup> *Halainn* — «красивая» (язык гэлик).



Боудикка была заботливой женой, лечила его, и от ее снадобий к нему порой возвращались силы, и иногда казалось, что она простила его за Клавдия — эта сильная, загадочная и такая родная женщина. И быстро неслись счастливые лета и зимы.

Но всему когда-нибудь приходит конец. Однажды ранней весной, ночью, конь Боудикки громко и нервно заржал в стойле. Когда Прасутаг, наскоро обувшись и кляня холод, пошел посмотреть, что случилось, конь словно обезумел, сломал загородку и мощными ударами копыт убил вождя. В племени встревожились: это предвещало еще худшую беду, ибо конь был тотемом иценов.

Тело Прасутага, по обычаю, отдали богу реки. Так закончились и радости, и беды старого вождя. А для Боудикки и ее детей все только начиналось.

**В**се утро Боудикка и дочери собирались в дорогу. На острове Мона начинались празднования месяца ивы. Для них это всегда было самым долгожданным, самым значительным событием года.

Боудикка как раз отдавала последние распоряжения слугам, когда старшая дочь подошла к ней и растерянно остановилась, словно хотела что-то сказать и никак не могла подыскать слова. Боудикка недоуменно посмотрела на нее и вдруг, взглянув вниз, на ее холщовое платье, все поняла. У Халинн начались крови. Первые крови дочерей — это всегда было большим праздником у иценов. Девочки считались тогда осененными богиней Андрасте.

Боудикка рассмеялась, обняла дочь и увела ее в дом. И как раз в это время в деревне иценов появился римский вооруженный отряд. Это был сборщик налогов Петроний с конными воинами.

Когда-то Петроний служил в кавалерийской когорте батавийцев, во время завоевания Британии Клавдием отличился и был назначен декурионом<sup>1</sup>. Он честолюбиво мечтал, что это — только начало. Но десять лет назад мятежники Каратака, напав ночью на казармы, пронзили ему копьем бедро. С тех пор Петроний сильно хромал. О кавалерийской будущности пришлось забыть, он стал сборщиком податей. И, как и все сборщики, существом не особенно уважаемым. А потому был очень зол на свою судьбу и на этих кельтов.

В деревне иценов он оказался впервые — Прасутаг обычно сам отвозил налог в курию. Народу в деревне оставалось немного: в тот день в городке Вента Иценорум был ярмарочный день, и в такие дни, особенно утром, округа словно вымирала — все были там. Прокуратор это прекрасно знал, поэтому и отправил Петрония именно в это время и велел поторопиться.

Римляне спешились у хижины с самой высокой соломенной крышей. Слуги — хоть и вооруженные, но их не более пяти, отметил Петроний, — приняли лошадей.

Хозяева, видно, куда-то собирались: у коновязи нетерпеливо переминалось несколько оседланных лошадей, в седельных сумках — поклажа.

На крыльце появилась высокая женщина.

Прокуратор Цат сказал, что должница — вдова, и Петроний думал, что он встретит старуху, а тут перед ним стояла очень статная, совсем нестарая еще женщина с ослепительно белой кожей и огромной копной огненно-медных вьющихся волос. Одея она была как все женщины бриттов из тех, кто побогаче: синяя свободная шерстяная туника, такой же плащ с круглой массивной золотой застежкой. Петроний отметил, что застежка — точно золотая.

---

<sup>1</sup> *Декурион* — командир десяти воинов.

На шум из дома выскочили две высокие тонкие девочки. Та, что помладше, была такой же рыжеволосой. Увидев чужих, они тут же спрятались за спиной матери.

У женщины на лице не было страха, словно к дому подъехали гости, а не отряд из десятка вооруженных мужчин. И она посмотрела на Петрония взглядом, от которого ему — на секунду, не более, — почему-то стало не по себе. И в его ушах словно снова прозвучали слова Дециана Цата: «Ты выполняешь личный приказ губернатора Светония. Этот случай мы должны сделать показательным, чтоб и остальные кельтские вожди приготовились отдавать свои долги и знали, что пощады — не будет. Эти дикари уважают только силу. Возьми вооруженный отряд, на случай если ищены будут сопротивляться. Сколько их там, в деревне, а не на ярмарке, неизвестно, но должно быть немного. Баба Прасутага мнит себя вождем. Проучи. Ну да сам знаешь... Нет, убивать не стоит, — уточнил он, когда Петроний, вопросительно приподняв брови, провел себе ладонью по шее. — Убивать точно не стоит. Да, и помни: она — вдова». Петроний понял, что имел в виду Цат: за изнасилование вдов законами Рима предусмотрено наказание. В мирное время, конечно, но ведь сейчас как раз и было мирное время.

Стоя перед женщиной, Петроний развернул данный ему прокуратором свиток:

— Именем Сената и римского народа тебе приказывается сейчас же уплатить по займу, данному твоему мужу Прасутагу от имени императора Тиберия Клавдия Цезаря Августа Германика. В противном случае дом, всё, что в доме, а также твои земли конфискуются за неуплату!

Сборщик податей говорил, мешая латинские и кельтские слова. Он вдруг почувствовал, что в нем разрастается и набухает слепая злость. Эти ищены — такая же мятежная сволочь, как все бритты. Как те, что искалечили

его тогда в Камулодуне. Это из-за них, вместо того чтобы командовать сейчас кавалерийской алой, он таскается под дождем и снегом, собирая подати. Это из-за них он почти год валялся в канавах со всякой рванью и чуть не спился. И сдох бы, если бы его не увидел и почему-то не приказал подобрать на улице прокуратор Дециан. Всё — из-за них...

Боудикка старалась казаться спокойной, но прекрасно понимала: она и дочери сейчас — во власти этих вооруженных людей. Надо выиграть время: пока они будут грабить дом и подворье, люди начнут возвращаться с ярмарки, поднимут тревогу. Сборщиков — только десять... Она посмотрела в глаза Петрония и поняла, что тот свиток, о котором ей когда-то говорил Прасутаг и в котором он завещал свое имущество императору и ее дочерям, не имел для римлян никакого значения.

Она кивнула. Она отдаст всё. Даже оседланных коней.

Но сборщики налогов не торопились с грабежом. Это ее насторожило. Она не знала, как хорошо все рассчитал Петроний и как быстро управятся они со всем до возвращения иценов.

А Петроний вдруг неожиданно для самого себя потянулся к золотой застежке на ее плаще и — дернул. И в тот же миг невесть откуда взявшийся огромный пес огромным прыжком бросился него.

...Когда римляне зарубили слуг, а потом схватили ее девочек и стали рвать с них одежду, она кинулась на солдат волчицей. Ее бросили наземь, кто-то, чуть не отрывая ей голову, намотал на руку ее волосы. Свистнула плеть. Из прокушенной губы хлынула кровь, и во рту стало солоно. Закричали дочери. Снова засвистела плеть. Римляне смеялись...

Боудикка кусала губы. Она молча корчилась от боли на грязи двора, а плеть жгла и жалила — как мерзкая змея.

Кричали и бились ее девочки, солдаты зажимали им рты. И последнее, что она слышала, уже теряя сознание,— крик ее девочек и смех римлян... Римляне смеялись...

Она очнулась от какого-то стука. Оказалось, стучали ее зубы. Почти наступила ночь, но еще можно было различать предметы.

Она лежала у дороги, рядом высился дуб. И белели неподалеку обнаженные тела дочерей. Она сорвала с себя остатки изодранной одежды, только причинявшие боль, подползла к ним. Каждый вздох пронзал, как пика. Положила голову на истерзанную грудь одной, потом — другой девочки. Они дышали, сердца бились. И от них исходил непереносимый запах спермы. Она приподняла голову. Она узнала этот дуб. Она узнала дорогу. Совсем рядом шумела невидимая в темноте река. Боудикка поднялась и стала подтаскивать дочерей к реке — сначала младшую. Та открыла глаза и тут же затравленно сжалась в комок, словно не узнавая мать. Боудикка постаралась успокоить ее. А потом сказала, что им нужно войти в реку. Младшая вошла в темную воду, а Боудикка шла рядом и держала ее за руку. Дно было очень мягким, обволакивало ноги. Река была очень холодной, но родной: она принимала, она очищала.

— Мы пришли сюда умереть? — чужим, совершенно охрипшим голосом спросила дочь.

— Нет. Река очистит нас. Река — очистит...

Они стояли в реке обнявшись, мать и дочь — обнаженные, и соединялись с рекой, а их зубы стучали от холода. Дочь плакала. А на берегу рвало сестру. Боудикка вернулась за ней.

Она вдруг перестала чувствовать боль, холод. Она словно перестала быть существом из плоти и крови. Боги

оставили ей теперь из всех чувств только два чувства — ярость и желание выжить.

На рассвете их, совершенно выбившихся из сил, нашли у деревни дружественных триновантов...

### Спекшаяся земля

За неправдоподобно короткий срок — не более двух месяцев — Боудикке удалось собрать более ста тысяч воинов — мужчин и женщин разных племен — иценов, триновантов, коритан, корновиев. И они были готовы идти до конца.

Бритты хорошо поняли символический смысл изнасилования дочерей Боудикки. А расправа с друидами и осквернение священного острова Мона и впрямь оказались последней каплей, переполнившей их терпение. Вскоре огромная армия кельтов — пеших, верховых, в колесницах — двинулась к столичному городу Камулодуну. Город не был укреплен. Римляне считали, что живут в полностью покорившейся колонии. Светоний в это время гонялся за «партизанами» и последними друидами на западе, в горах Камбрии.



Друид

Прокуратор Дециан Цат изобразил активную подготовку к «обороне»: выслал против войска Боудикки 200 легионеров-ветеранов и распорядился спешно строить вокруг города хоть какие-то заграждения. У него еще было время послать в Лондиний, до которого было 80 миль, за мужчинами, способными носить оружие, но он почему-то этого не сделал. А потом прокуратор просто куда-то

исчез, даже не позаботившись эвакуировать из города женщин, стариков и детей.

Бритты обрушились на Камулодун, как падает на корабль гигантская волна. Они жгли и грабили город, а несколько ветеранов целых два дня удерживали храм Клавдия — в отчаянной попытке дотянуть до подхода подкреплений. Но они так и не пришли. Город был сожжен дотла. Не избежал злой участи и дом Светония — бритты разграбили все его имущество и убили всех, кто там оказался.

Боудикка сровняла Камулодун с землей. Словно его и не было. И повела войско на следующее логово врага — Лондиний...

**К**огда Светонию сообщили о происходящем на востоке, ему показалось, что это страшный сон и он скоро проснется. Светоний выступил сразу же, но путь его Двадцатому легиону предстоял долгий.

Ближайшим к Камулодуну римским формированием был Девятый Испанский легион. Один из лучших легионов — пять тысяч отборных солдат, отличившихся когда-то в Испании. Легион пришел в Британию с императором Клавдием и триумфально промаршировал в Камулодун с боевыми слонами. Это легата «испанцев» прочил Светоний в мужья дочери.

Квинт Сериалий решительно двинулся на подавление мятежа. Он шел всю ночь и к утру был уже на подходе. Дикому войску кельтов не останется ничего другого, как выступить против лучшего римского легиона в открытом бою.

**В** сумерки Боудикка собрала командиров своего войска. Дочери сидели рядом с ней. Костер бросал отсветы на

ее лицо, глаза возбужденно сверкали, и воинам она казалась гневным воплощением богини Андрасте.

— Когда рассветет, мы нападём из засады, из этого леса,— говорила она.— Я знаю: они идут прямо сюда, к нам в руки! Сигнал к нападению — крик совы. После первого удара помните главное правило — не давайте римлянам построиться и сомкнуть щиты. Разбивайте их строй, отвлекайте их, притворяясь, что бежите. Поодиночке они бессильны. Колесничие прикрепят к колесам мечи, они как раз окажутся на уровне их коленей. Римляне созрели, и мы сожнем их, как пшеницу! — Раздался смех, и Боудикка продолжила: — Не трогайте их оружие и доспехи. Всё это мы разделим по справедливости. В лесу укроем колесницы, они вступят в бой по моему сигналу. Как только услышите их клич, расступитесь, оставляя для них проход — шире, чем всегда, потому что к колесам у них будут привязаны мечи, помните об этом! А потом следуйте за колесницами, добивайте каждого римлянина, что еще шевелится. И главное — захватите как можно скорее их «орла». В нем вся сила, которую дает римлянам их бог войны. Изрубите его мечами, и так, чтобы все римляне это видели. Теперь идите к своим воинам и скажите, что завтра мы победим римлян в открытом бою! Боги сказали мне это!

Она замолчала. И вдруг крикнула совой — так громко и так похоже, что воины вздрогнули от неожиданности. И снова рассмеялись. Улыбнулась и Боудикка.

Рассвело. Везде лежала роса, и сырость пробирала легата Сериалия до костей. Он чихнул. Колонна шла споро. Из леса поблизости плыл туман.

И вдруг совсем близко крикнула сова. Он только успел подумать: «Какая сова, откуда? Ведь уже утро, разве совы...»

И начался ад.



**В**есь легион Сериалия, более пяти тысяч воинов, был уничтожен. Сам легат с одной когортой кавалеристов чудом смог избежать гибели. Они гнали измученных коней туда, где было назначено соединение с легионом Светония, и с содроганием вспоминали атаку бешеных колесниц и на одной из них — ведьму с развевающейся огненной гривой. Светоний получил известие о гибели легиона на марше. И даже в жаркий августовский день почувствовал озноб. Это — конец, причем позорный. Так ему придется скоро кишками почувствовать, как холодна сталь собственного меча. Но даже мысль о смерти отступила сейчас перед непостижимостью происходящего: Рим не терял целого легиона уже почти полвека — с той страшной мясорубки в Тевтобургском лесу в Германии, еще при Августе! И надо же было случиться, что теперь такой позор, такое унижение боги уготовили ему! В его провинции! Его легиону! Лучшую армию в целом мире громит варварка! Баба. И скоро об этом узнают в Риме.

**П**овстанцы уже шли к Лондинию. К этому городу с победоносной Боудиккой подошло уже 230 тысяч бриттского войска. А Светоний изо всех сил рвался на восток. Его солдаты преодолели 250 миль от Камбрии до Тамесиса с неправдоподобной для того времени скоростью, и он сумел подойти к Лондинию раньше Боудикки. Повстанцы немного опоздали. Историки считают, что их отвлекали грабежи.

**О**дного взгляда опытному военачальнику было достаточно, чтобы понять: город обречен. Это — купеческая колония, и здесь нет никаких, даже слабых укрепле-

ний, а значит, и никакой возможности организовать правильную оборону. Светоний обратился к жителям города, призывая их спастись кто и как может: приближается несметная варварская армия, и он не сможет защитить всех. Все что ему удалось, это организовать эвакуацию части горожан в земли традиционно дружественного римлянам племени атребатов. Он также приказал до отказа набить военные и купеческие галеры людьми и переждать нападение в море. И приказал легиону отходить.

*Лондиний был очень богат, и армия Боудикки грабила его несколько дней.*

*Историк Кассий Дион описывает леденящие кровь зверства бриттов. Одних благородных римлянок вешали на деревьях, зашив им перед этим во ртах отрезанные груди, других — насаживали на раскаленные пики. Не щадили никого. Это был ответ Риму на его вызов. Однако ни Кассий Дион, ни Тацит ничего не пишут о личном участии в этих зверствах Боудикки, хотя обелять ее они, конечно, не стали бы. После грабежей Лондиний превратился в один гигантский костер. Анализ обугленной керамики подтверждает, что температура пожара достигала 1000° Цельсия. Такой температуры огонь бушевал в Британии потом только во время гитлеровских бомбежек.*

*А слой огненно-рыжей спекшейся глинистой земли, раскопанный в этих городах и датированный 60—61 годами н. э., археологи называют «слоем Боудикки». Он, по странному совпадению,— того же цвета, что и волосы гневной королевы иценов.*

Один из самых крупных центров римской Британии, Лондиний, лежал огромным черным пепелищем. Потом на умирающие языки огня несколько суток лился дождь... Следующим городом, который постигла та же участь, был

Веруламей. Этот город населяли в основном кельты, принявшие римские обычаи, жившие по римским законам. И вскоре там тоже бушевало пламя. Жар поднимался в небо так высоко, что захваченные врасплох птицы обогрели прямо в полете.

В Риме все эти события вызвали уже не просто беспокойство, а панику. К военным поражениям римляне были психологически не готовы. Нерон, узнав о потерянном легионе, подумывал о том, чтобы вообще оставить мятежную провинцию, вывезти оттуда уцелевших колонистов и вывести войска. У Светония же теперь было только два выхода из создавшегося положения: или подавить мятеж Боудикки, или броситься на собственный меч — от позора.

Светоний отправил в Рим просьбу о подкреплении, а между тем послал приказы легионам Второму Августа и Четырнадцатому соединиться с его Девятнадцатым, с которым он уничтожил друидов. Случилось неслыханное: Поений Постум, префект Второго, *не выполнил приказ* и со своим легионом... не явился. Теперь можно только догадываться, почему. То ли его задержало по дороге какое-то племя, что маловероятно, то ли он, зная об истребленном легионе Сериалия, просто... испугался Боудикки. В итоге ему не останется ничего иного, как покончить с собой.

...А Светоний заболел. Его трясла лихорадка, он едва держался в седле, почти теряя сознание. Ближе к ночи они вошли в какую-то брошенную деревню. Все ее население ушло к мятежникам. Навстречу вышла только старая голодная собака с перебитой лапой, слишком истощенная, чтобы даже залаять. Здесь римляне решили сделать короткий привал. Легионеры обходили хижины, и вдруг в одной из них нашли затаившихся людей. Их вытолкали и поставили перед Светонием. Это были рабы,

сумевшие бежать живыми из Камулодуна, человек двадцать. Среди них оказалась и старуха мавританка — та самая... Теперь рабы умоляли взять их с собой.

Светонию помогли сойти с коня, и он, пошатываясь, подошел к съезжившейся женщине. И положил руку ей на плечо, словно ища опоры. Мавританка стояла, опустив глаза.

— Кто-нибудь остался жив из моих? — спросил он.

Рабыня, не поднимая глаз, только отрицательно покачала головой.

Итак, от всего, что было у него в Британии, осталось только то, что на нем, да эта старая нянька его уже мертвой дочери...

Светоний еще больше побледнел.

— Накормите их. Они пойдут с нами, — распорядился он.

Мавританка поклонилась господину, повернулась и — пошла прочь, через поле. Она — не принимала его милость. Старуха обрекала себя на смерть. Но она поступала по *своей* воле. И Светоний смотрел, как она уходит — тяжело, по-утиному переваливаясь. Смотрел молча.

## **Решающая битва**

**П**риближался день битвы войска Боудикки с армией Светония. И на карту оба поставили все.

Светоний подтянул все легионы, что были в его распоряжении, и готовился к встрече с войском кельтов на северо-востоке от пепелища, что еще недавно было Лондиниумом. Серьезно опасаясь потери колонии, император Нерон перебросил в Британию с Рейна несколько лучших, закаленных в битвах с дикими германцами, легионов.

Готовилась и Боудикка. В наскоро сооруженной из веток хижине она возжигала курения и снова и снова повторяла священные слова, которые должны были помочь ей услышать голоса богов и узнать исход завтрашней битвы. Но боги молчали... Снова и снова вопрошала Боудикка богиню Андрасте о завтрашнем дне, но, закрывая глаза, видела только разрушенные ее войском города и тела убитых и сцены насилия, учиненные бриттами. Она гнала от себя эти видения. Она убеждала богиню, что это была только месть римлянам — за то, что творили они на ее земле, на острове Мона, месть за ее девочек.

Боудикка пыталась сосредоточиться, возжигала все новые курения, но, лишь только закрывала глаза — повторялись те же видения. Андраста посылала их опять. Только их. И — ничего о будущем.

Боудикка знала, что сражаться с римлянами сюда пришла за ней почти вся ее земля. Но Боудикка больше не узнавала своего войска. Оно превратилось в толпу, озабоченную только грабежами. И с ней, предводительницей, теперь считались все меньше и бросали ей в лицо гневные слова, когда она пыталась запрещать грабежи. Боудикка видела, что груз награбленного отягощает не только руки и лошадей ее воинов. Между ними начались раздоры, они стали воровать друг у друга и теперь всюду таскали за собой свои повозки, не спуская с них глаз.

Она приходила в ярость, она кричала, что повозки надо бросить, что силы Рима теперь огромны, что добыть победу будет нелегко, но ее словно не слышали...

Она видела сейчас: римляне собрали самое большое войско из всех, что когда-либо сражалось против кельтов. И порой уже думала, что прав был Прасутаг: римлян — что листьев в лесу той далекой земли, о которой она ничего не знает. К счастью, у нее еще оставались лучшие воины, которые хотели гораздо большего, нежели набрать

римских золотых чаш,— они хотели отобрать у римлян всю свою землю. Но таких становилось все меньше...

Девочки спали тут же, на земляном полу хижины. Этой ночью они не кричали и не метались во сне, что с ними бывало теперь часто. Словно оттуда, из прошлого опять ворвался жалящий свист плетки и — вкус крови во рту, смех солдат, мерзкий запах их семени. А потом — холод реки. Боудикка думала, что со временем эта память уйдет, но она не уходила. Слишком много накопилось боли, и жить с нею становилось все труднее. Может быть, думала она, когда все римляне будут преданы богам рек, все злое исчезнет и с ее земли, и из ее памяти? Жадно вдохнув зеленый дым курений, Боудикка закрыла глаза и снова стала молить богиню о завтрашней победе и пыталась слышать ее голос.

Богиня молчала. Только потрескивало пожираемое огнем дерево.

*Две армии, две цивилизации, две культуры, «первый» мир и «третий» мир сходились на этом поле.*

*И почти так же, через много столетий, под барабанную дробь, поддерживаемые артиллерией, будут идти на зулусов шеренги британцев с ружьями наперевес. Тогда «римлянами» окажутся уже они сами. А зулусы, кроме луков и палиц, будут надеяться только на свирепый боевой раскас и ужасный боевой клич...*

Римляне завершали укрепление лагеря, из него доносились отрывистые строевые команды и бой барабанов. Занимался тревожный серый рассвет. Легионы уже строились, все занимали свои места — конники, лучники, копейщики, обслуга огромных баллист.

Воины Боудикки тоже готовились. Они выглядели устрашающе: синие, татуированные, волосы выбелены

известью. Поднимали коней на дыбы конные амазонки, выкрашенные вайдой. Кельты кричали, что-то скандировали, и ритмично били мечами о щиты, и трубили в рога. Эти звуки сливались и доносились до лагеря римлян как рев штормового океана.

Вот в лагере римлян зазвучали трубы, и к легионерам обратился сам Светоний:

— Не обращайте внимания на их рев. Это пустые угрозы. Посмотрите, там больше женщин, чем воинов! — Бывалые солдаты криво усмехнулись: вот это-то и хуже всего. — Держите сомкнутыми ряды, — продолжал Светоний, — пусть каждая «черепашка» станет неприступной крепостью. Когда мы столкнемся с ними, они не выдержат! Они сломаются и побегут. Мы ведь видели и раньше, как быстро умеют бегать от нас варвары. Так или нет, воины Великого Рима? — Легионеры одобрительно загудели. — Они сражаются без доспехов, они мягкие, как живот ягненка! Держите сомкнутыми ряды, поднимайте дикарей на копья, валите их щитами и рубите мечами! В их повозках — награбленное в наших колониях имущество. Но не думайте о добыче во время боя, так делают только варвары! И помните: в ваших руках — честь Великого Рима!

Дружный рев «Roma Victrix!» эхом раскатился по утренней долине.

А кельтов между тем охватила эйфория и ощущение собственной непобедимости. Они шли на битву с семьями и скарбом в повозках. «Вот разобьем римлян — и пойдем домой...» Повозки с семьями поставили в тылу, полукругом, ограничив поле битвы. И — возможности для своего маневра...

**Р**азвевающаяся грива огненных волос, копьё в сильной руке, «многоцветное» кельтское платье. Бледные ее

дочери вцепились в поручни колесницы за спиной матери так, что побелели костяшки пальцев.

Боудикка окинула взглядом свое войско. И прокричала голосом низким, глубоким, завораживающим:

— Я сражаюсь как человек, у которого отняли свободу! Я мщу за свое унижение и поруганные тела моих дочерей! Подумайте, ради чего *вы* идете на эту битву! Победить или погибнуть! Так решила я, женщина. Вы, мужчины, можете жить в рабстве, если желаете!

*Тацит приводит нам речь Боудикки, произнесенную с изменной колесницы. Будущий тесть историка, Агрикола, тоже был со Светонием в этой битве и писал в Рим подробные донесения.*

...Камни из тысяч баллист и горящие стрелы смешали ряды кельтов. Битва была короткой. Потом началась кровавая бойня.

Легионеры рубили профессионально, деловито, покакуль молча. И вязли по колено в земле, превратившейся в кровавое болото. Путь к отступлению кельтам преградили их повозки. Воины Боудикки оказались зажаты между врагами и собственными семьями. «Черепахи» неутомимо двигались по полю, устланному телами мужчин, детей и женщин.

Римляне потеряли четыреста человек, кельты — все свое многотысячное войско. Догорали перевернутые колесницы и повозки. Спасти удалось единицам. Стаи воронов с хриплым карканьем уже кружили над полем, ожидая окончания битвы. Скоро они дождались небывалой поживы.

Светоний приказал захватить Боудикку и ее дочерей живыми. Одним способом *полностью* искупить свой позор для него было — привезти их в цепях императору.



... Она налила три чаши только до половины. Больше — не нужно. И половина принесет смерть. Старшая дочь взяла свою чашу первой. Боудикка сделала ей знак подождать. Лицо младшей было мокрым, и мать ладонями вытерла ее слезы. День угасал. В хижине пахло теплой землей, обструганным деревом. И — ядовитым настоем.

— Наша жизнь — как этот день, — тихо сказала Боудикка. — Один ушел, придет новый. Мы станем деревьями, реками, травой. Римляне ничего не смогут с нами поделать. Светлая богиня Андраста ждет нас. И мы идем...

От усталости и лихорадки лицо у Светония стало землисто-серым. Он ждал.

Наконец ему донесли, что Боудикку — нашли.

Светоний вошел в хижину с факелом. За ним — быкоподобный легат Веспасиан. На полу они увидели три убранных венками из сухой омелы женских трупов. Они лежали головами на запад. Светоний догадался: в направлении острова Мона. Они выглядели спящими. В хижине пахло каким-то зельем, от которого кружилась голова.

Итак, Рим бросил на повстанцев лучшие легионы и победил. Кого? Толпу дикарей и вот эту странную женщину с огненной гривой и татуировкой на щеках, распростертую теперь на земляном полу хижины.

Веспасиан наклонился и задрал на Боудикке платье, потом выпрямился и изумленно заметил:

— Всё на своих местах, как и у них у всех... А я, признаться, сомневался... — И с солдатской прямолинейностью добавил: — Вот это баба! Заставила-таки нас с тобой, консул, обоссаться! И живой не далась. Самое поучительное было бы, конечно, за города и порублен-



**Памятник Бодикке скульптора Томаса Торникрофта  
на Вестминстерской набережной в Лондоне**

ный легион «Испана» прилюдно скормить ее гарнизонным собакам, чтоб никому из варваров впредь неповадно... Но я думаю так: сражалась она храбро. И тем, стерва, заслужила погребение чуть подостойнее. Как полагаешь, консул?

Светоний устало кивнул. И бросил факел на волосы мертвой королевы иценов. Они сразу занялись огнем. Через некоторое время, уже из седел, они оглянулись на полыхающий лагерь поверженной Боудикки. Теперь Светоний желал одного — спать...

Говорят, кельты выкрали обугленный труп своей предводительницы и с почестями предали, по обычаю, реке. Историки точно не знают какой, но, скорее всего, Темзе.

Вента Иценорум римляне сравнивали с землей и уничтожили последние остатки племени иценов.

Прямолинейный консул Тит Флавий Веспасиан стал императором и, помимо других дел во славу империи, заложил огромный амфитеатр для гладиаторских боев, какого Вечный город никогда не видел.

Что случилось со Светонием Паулином? Он вернулся в Рим. Во время гражданской войны, что началась сразу после смерти Нерона, Светония обвинили в предательстве. Говорят, по навету. Дальнейшая судьба его историкам неизвестна. Он просто исчез в маленькой деревне Локус Касторум, недалеко от Кремоны, где, как загнанный волк, скрывался от преследователей. Судьбы людей так переменчивы!

*У Вестминстерского моста по берегу Темзы летит гигантская бронзовая колесница мятежной Боудикки. Она грозит копьем непобедимой Римской империи, которой давно уже нет.*

## *Легенды мировой истории*

---

*Рвут упряжь могучие кони, готовы рассечь врага убийственные клинки на колесах. Ниже их — надпись: «В земле, которой не овладел сам Цезарь, ты пребудешь вечно».*

*Много воды утекло с тех пор в Темзе. И мир на ее берегах за две тысячи лет стал совершенно неузнаваемым. Если бы бронзовые глаза Боудикки смогли его увидеть... Только медленная серая Темза продолжает течь в океан. Как и тогда...*

**ЕВРОПА И РУСЬ:  
ЛЕГЕНДА О ВИКИНГЕ**



## Русь, дай ответ...

Присходило это почти 1200 лет назад, а вот уже пару сотен лет ломаются метафорические копыя «Откуда есть пошла Русская земля»? И у каждого лагеря на этот вопрос диаметрально противоположное, подтвержденное неоспоримыми фактами мнение. А все из-за нескольких строк, записанных в XI веке монахом Нестором при неверном пламени свечи в келье Киево-Печерского монастыря. Вот что написал тот монах:

«В лето 862. Изгнали варягов за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: „Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву“. И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, — вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: „Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами“. И избрались трое братьев со своими родам, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская

земля. Новгородцы же — те люди от варяжского рода, а прежде были словене. Через два же года умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть один Рюрик...»<sup>1</sup>

В общем:

И вот пришли три брата,  
Варяги средних лет,  
Глядят — земля богата,  
Порядка ж вовсе нет.<sup>2</sup>

Подлинность летописи почти не вызывает у историков сомнений, и сам «русский Геродот» Нестор причислен к лику святых. А вот текст ее вызывает ряд недоуменных вопросов. Например: если одних варягов уже изгнали, зачем опять призывали каких-то других?

И правда ли, что слово «Русь» — «О, Русь моя, жена моя, до боли мне ясен...» и далее — название отнюдь не древних славян, а какого-то совсем непонятно откуда взявшегося скандинавского народа? И правда ли, что знакомый еще с начальной школы Вещий Олег (тот самый, который, как поведал нам великий русский поэт Александр Сегеевич, «отмстил неразумным хазарам» и «прибил свой щит на воротах Цареграда» и потом непредусмотрительно наступил на череп «коня своего») вообще, говорят, отзывался на обращение «хакон»<sup>3</sup> Олаф?

---

<sup>1</sup> Перевод Д. С. Лихачева.

<sup>2</sup> А. К. Толстой, «История государства российского от Гостомысла до Тимашева».

<sup>3</sup> *Након* на скандинавских языках — «благородный», «княжеский». В VIII—XI вв. — титул норвежских правителей, а сейчас — распространенное в Швеции мужское имя. В византийских хрониках упоминаются договоры с «русским хаканом» Олегом. Из-за созвучия слов этот титул иногда заменяют на хазарское «каган», откуда и возникает путаница, и «русские каганы».

Вот во времена советского детства все было ясно. Уклончиво сообщалось в учебниках, что была такая речка Рось, на ее берегах весело водило хороводы одноименное славянское племя, от которого все и проистекло. Правда, почему именно от этого небольшого, думается, племени пошло название страны, когда рядом были большие и мощные племенные союзы типа полян и уличей? И почему от этой самой речки стало все называться, когда были и другие реки, пошире, хоть те же Днепр или Волхов?

Такие вопросы задавались не в меру любознательными двоечниками, и за них «исторички», строго глянув поверх очков, выгоняли из класса. Ну почему-почему! Подросли потом те двоечники и догадались: тут уж вам не древняя история, тут, господа хорошие, политика. Не ровен час у новгородцев да ладожан, не говоря уж о киевлянах, окажутся «родственники за рубежом», в кап. Швеции и кап. Дании, и начнется: «воссоединение семей», «историческая родина», то да сё! А тут речка Рось и племя рось — бортничали, куниц ловили, и — никаких контактов с заграницей, в древнем ОВИРе все спокойно!

Нет, а все-таки информация Нестора весьма противоречива: если так уж оно и было, что пришли викинги-варяги и захватили Русскую землю по приглашению или без, так почему язык с собой не принесли? Так не бывает. По истории языка можно всегда проследить, кто кого завоевывал или просто кто на чью территорию мигрировал. В русском же — заимствованных скандинавско-германских слов от той поры крайне мало, да и те не бесспорны, а те бесспорно германские, что есть, — при Петре появились. Как же так?

А боги викингов? Нигде по Руси — ни на севере, ни на юге — не найдено ни скандинавского капища, ни идола. Никаких óдинов, валькирий, равно как и прочих вагнеровских персонажей, не считая парочки явно случайно



оброненных статуэток Фрей, богини плодородия. Как раз наоборот: заключая договор с византийцами, Олег-Олаф <sup>1</sup>, «принудивший греков мир купить» <sup>2</sup>, клянется славянскими Перуном и Велесом и оружием. А обратим внимание на имена представителей «русской» договаривающейся стороны: Карл, Фарлаф, Рулав! И заявляют они о себе в договоре вполне безапелляционно: «Мы от рода русскаго».

А что до васильковоглазого пшеничноволового племени рось из пожелтевших, уцелевших кое-где советских учебников, которое только и делало, что занималось борничеством, ловлей куниц, вождением хороводов вокруг деревянного Перуна и, между делом, зачем-то постройкой городов в идиллически изолированном от всех тлетворных влияний гигантском лесном массиве под названием Древняя Русь, то есть такая упрямая вещь — данные археологических раскопок. И археологи, например, обнаружили, что на Новгородчине и по всей славянской территориальной «ветке» пути из варяг в греки ходовой валютой, среди прочих, были и византийские динарии, и арабские дирхемы. Целых семь кладов в одном городище Гнездове кто-то закопал в разные времена, да так и не воспользовался. А еще нашли там амфору с русской надписью *горухша*, то есть «горчица» (видно, импортное оливковое масло кончилось, не пустовать же таре!). Это,

---

<sup>1</sup> *Договор 2 сентября 911 г.* заключен после успешного похода дружины князя Олега на Византию около 907 г. Он восстанавливал дружественные отношения государств, определял порядок выкупа пленных, создавал благоприятные условия торговли для русских и греков.

<sup>2</sup> «*Иоакимовская летопись*», «*История Иоакима*» — условное название выдержек из старой рукописи, опубликованных русским историком XVIII в. В. Н. Татишевым в труде «*История Российская*» (т. 1, гл. 4).

согласитесь, в какой-то степени даже символично: классическая античная форма, новое содержание. Много нашли оружия и предметов из разных стран, ювелирных изделий из дальних краев, даже из Индии.

В общем, возникает сильное подозрение, что и арабов, и греков, а поди и евреев, и англоv, и скифов, и итальянцев, и полабских славян, и франков, уж не говоря о викингах, и прочая, и прочая — предостаточно мельтешило по русским рекам от Волхова до Днепра и дальше — до Черного моря. И ночевало, и зимовало, и вообще надолго задерживалось в многочисленных городах, построенных славянскими племенами вдоль этой оживленной торговой магистрали. Недаром соседи скандинавы называли Русь Гардарикой — «Страной городов». И об этом прекрасно известно, так как некоторые из тех торговцев-дипломатов-путешественников по пути «в греки» еще и записи вели от нечего делать, особенно арабы багдадские<sup>1</sup>. А в Ладоге, например, раскопали довольно масштабную по тем временам верфь, занимавшуюся ремонтом, а возможно, и постройкой знаменитых варяжских судов с головами драконов — драккаров. В археологическом слое, начиная с восьмого века, перемешаны предметы скандинавского и славянского обихода. А иногда трудно и сказать, какие — чьи, потому что очень уж сходны.

В общем, вырисовывается довольно интересная картина. Получается, помимо хороводов «для души», славянские племена должны были управляться с проходившей по их землям важной магистралью международной торговли, соединявшей Запад и Восток, Север и Юг! И прекрасно управлялись, и доход от этого имели отличный — судя по количеству построенных на протяжении Янтар-

---

<sup>1</sup> Известны, например, любопытные записки о путешествии по Руси X в. Ибн Фадлана, посла багдадского халифа.

ного Пути городов, о чем оставлены записки иноземных путешественников.

И все-таки, что там у них произошло, в 862-м? Почему «чудь, словене, кривичи и весь» вызвали к себе «из-за моря» именно этого Рюрика, как именно на него вышли, кто «дал ему рекомендацию»? Как с ним связались? И на каком языке озвучивали предложение на предмет «приходи и владей»? О языковом барьере ведь — ни слова.

И еще неясность: почему братья Рюрика, вроде бы пришедшие с ним на Русь — Синеус и Трувор,— так подозрительно быстро и притом синхронно самоустранились, не оставив ни наследников, ни каких-либо о себе более поздних упоминаний? Может, их просто кто-то убрал? Странно, странно все...

Так кем же были они, эти приглашенные европейские «специалисты» — варяги-викинги, которым вроде бы челом, вроде бы били, вроде бы славяне где-то в середине девятого века?

И еще вопрос: нашествие викингов на Западную Европу вполне сравнимо по разрушительности с нашествием на Русь монголов. Потрясение от него оставило глубокий шрам в истории, фольклоре, чуть ли не в генетической памяти западноевропейцев. А в русских фольклоре и истории, кроме одного упоминания в «Повести временных лет», не сохранилось «отчетов» о нападениях викингов, которым до Руси было — веслом подать! Почему всю вторую половину девятого и почти весь десятый век викинги не нападали на «Страну городов», богатую медом, мехами, сильными красивыми людьми (несомненно, приманкой для работаровцев), на которых был бешеный спрос и довольно ограниченное предложение на рынках Италии, Византии и арабских халифатов? Что им мешало? Или, может быть, *кто?*

«Русь, дай ответ... Не дает ответа».

И если Рюрик был основателем русской правящей династии, почему имя это так редко встречается среди русских правителей в частности и среди русских собственных имен вообще? Противоречит это сформировавшейся в незапамятные времена мировой династической традиции с ее бесчисленными Карлами, Людовиками, Николаями и Александрами плюс порядковый номер, доходящий иной раз до второго десятка. Ну хорошо, имя Рюрик — нехристианское. А сын Рюрика, Игорь? Это же все еще языческая Русь, так почему он не унаследовал отцовское имя и не стал по традиции Рюриком Вторым?

Как же все это можно объяснить? Кем он был? И вообще, был ли он — мужчина «средних лет» по имени Рюрик?

## **Смутное время Европы**

**Б**урное и полное кровавой неразберихи время наступило в Европе после падения Рима! Уже с пятого века римские легионы покидают Британию, Иберию, Лузитанию и Галлию: не до заморских колоний тут, когда саму столицу разоряют то готы, то гунны, то вандалы.

На заброшенных римских форумах валяются мраморные императоры прошлого, уткнувшись некогда гордыми носами в густую траву, которую мирно щиплют бляющие козы. «*Sic transit gloria mundi*»<sup>1</sup>. Граждане бывшей империи пьют от страха особенно много, хоронясь в винных подвалах то от одних, то от других варваров, и недоумевают, как это столько веков все было так хорошо, а теперь вот всей замечательной цивилизации пришел конец.

---

<sup>1</sup> «Так проходит мирская слава» (лат.).

В общем, погрузились бывшие колонизаторы на свои галеры и отбыли из колоний обратно в Италию, оставив свои разрушающиеся виллы с замечательными мозаичными полами, зарастающие сорняками виноградники и наполовину опустевшие города. И кричали над ними чайки, и плыли за кораблями долго-долго, ожидая, что выбросят с галер что-нибудь вкусненькое, и не понимая птичьими своими мозгами, что момент-то — исторический, начинается в Европе новая эра. Да что чайки! Бывшие граждане Римской империи тоже ничего не понимали и недоумевали: откуда взялись эти германские племена, активно и агрессивно расширяющие свое жизненное пространство? А уж воевать те умели! Даже победоносным римлянам так толком и не удалось завоевать германские земли за Рейном, их туда просто не пустили. Страшным напоминанием об этом стоял Тевтобургский лес, где когда-то сгинули целых три легиона генерала Вара, о которых до самой своей смерти плакал могущественный император Октавиан Август. Такой урон римской армии за всю историю мало кто причинял.

Всем империям отмерен свой век. Рим, когда-то широкоплечий повелитель мира в ослепительных латах, умирал согбенным, шепчущим молитвы стариком с коричневыми пятнами старости на руках, в старых шрамах от былых боев на дряблом теле.

А на смену ему по Европе шли другие, молодые и рьяные народы. Хоть смена эта была поголовно неграмотной, не знала бритвы, одевалась кое-как, дышала перегаром от медовухи, именно они, эти воинственные толпы, вышедшие из германских лесов, становились будущим Западной Европы. Со смешанным чувством любопытства и подозрительности глядели они на развалины брошенных соборов и амфитеатров чужой им пока цивилизации.

Но долго осматриваться по сторонам было не в их характере: в континентальной Европе сразу и громко заявило о себе германское племя франков, вожди которого решили подчинить себе галлов, кельтов, иберов и остальные оставшиеся «бесхозными» народы бывших римских колоний в Европе. Но на этом франки останавливаться не собирались: они имели и куда более интересные и далеко идущие планы — воссоздать саму Римскую империю со всей ее идеологией, культом военной силы, символикой и так далее. Немного останавливало то, что к тому времени идеологией Римской империи стало уже христианство, в котором культ военной силы заменился совершенно противоположной заповедью — «не убий», но франки были уверены, что, если постараться, можно совместить и то и другое. И это им действительно удалось.

Особенно ратовала за римскую символику нарождавшаяся у германцев аристократия, которой нравилось, как звучал теперь их титул на латыни: *Patricium Romanum*, «римский патриций». Хорошо звучало, достойно. Да и *Imperator* звучало для франкского сурового уха не хуже. Хотя грубые германские предки новых «римских патрициев» (бывшие римлян в Тевтобургском лесу) и перевернулись, поди, в своих могилах, но ценности со временем претерпевают изменения. Надо добавить, что на тех, самых начальных этапах европейского становления аристократом мог назвать себя любой, кто мог позволить себе заказать у кузнеца меч и без стеснения им пользоваться, а также приобрести приличную лошадь и седло. Грамотность в обязательный список критериев не входила.

Так вот, франки... Для реалистичного воссоздания Римской империи им пришлось, во-первых, принимать

христианство и учить благородную латынь, а во-вторых, еще и отбивать для папы римского лучшие земли в Италии, занятые другими, пока еще языческими германскими племенами. Что франки и сделали, получив полную поддержку Церкви, а значит, как считалось, и Сущего на небесах. И потому считали, что имеют полное основание называться теперь Священной Римской империей, о которой потом скажут, что она была, во-первых,— не священной (почему, и так ясно, а дальше станет еще яснее), во-вторых,— не римской (ну это тоже понятно, почему), а в-третьих,— даже не империей, а так, лоскутным полотнищем из земель разрозненных германских племен, зажатом в кулаке одного правителя. Не исключено, однако, что эти остроумные слова были просто злопыхательством завистников, которым тоже хотелось, но не получалось... Тем более что со временем империя-то стала простираться от Балтики до Италии и мавританской Испании.

Неизвестно, сколь долгое время занял бы процесс ее становления, не появившись на свет германский мальчик Карл, которого впоследствии назовут Великим. А он как-то уж уродился прямо со всеми качествами создателя империи и довершил начатое еще его франкским *grandfater*'ом, носившим хорошее коньячное имя Карл Мартель (Мартелл), и *fater*'ом, носившим несколько унизительное прозвище Пипин Короткий (строго говоря, Низкорослый).

В те времена, чтобы стать королем, нужны были следующие качества: твердая рука, отличные навыки владения холодным оружием, соответствие поведенческому стереотипу грозного ультрамачо, щедрость в дележе военной добычи, обеспечивающая верность большого числа сотоварищей, имеющих явные милитаристские наклонности. И, наконец, требовалась способность внушить своей

«команде» не слишком искушенных в политике рубак, во-первых, страх, во-вторых, уверенность, что, их лидер отлично знает, что делает, в-третьих, что если бы не его голова, так они бы все пропали. И в-четвертых — показать, на чьей стороне Бог, для чего требовалось помазание на правление папой римским в большом храме с обильной позолотой. Хотя если три первые условия оказывались соблюдены, то с четвертым обычно не возникало никакой проблемы.

Против каждого условия Карл Великий мог бы поставить «птичку». Не зря во многих славянских языках его имя стало означать просто «король», как имя Цезарь в Римской империи (той настоящей, итальянской) стало титулом императора вообще, а много позднее — кличкой зоопарковских львов...

А про Рюрика мы отнюдь не забыли, почтенный читатель, как раз наоборот: медленно, но верно к нему подбираемся!

Так вот, Карл Великий, уже имея крепкую империю, мог позволить себе некоторое отступление от стереотипа мачо: его частенько видели в беседах с приглашенным ко двору из Британии известным интеллектуалом Алкуином (о сексуальной ориентации которого бездоказательно сплетничали) или же в скриптории у летописцев — там день и ночь трудились монахи, описывая его великие императорские деяния. Написанное королю, несомненно, зачитывали, и он наверняка подправлял кое-какие факты и их интерпретацию, хотя Карлу приходилось верить чтецам на слово: его ученые современники обошли дипломатичным молчанием вопрос, умел ли он читать, а вот писать — точно, так и не научился. Надо заметить, что по тем временам это не было для



правителей чем-то из ряда вон выходящим и не помешало Карлу открыть при своем дворце в Аахене лучшую по тем временам школу и относиться с уважением к работникам умственного труда.

Но вот закончились его земные труды, и упокоился великий франк под роскошным куполом собора в любимом своем Аахене.

Империю унаследовал его сын Людвиг, прозванный Благочестивым. Передача власти произошла поразительно для того времени мирно и спокойно — без междоусобиц, бряцания холодным оружием и возмущенных возгласов наследников: «Ничего себе! Это почему это ему еще и Баварию?! Она мне же была обещана! Где справедливость?!» А все прошло тихо, потому что еще один сын Карла, тоже законный претендент, из престолонаследной гонки благоразумно вышел по собственному желанию, ибо предпочитал мирской суете созерцательное житие монаха.

Зато у нового короля Людвиг Благочестивого народилось (и благополучно пережило младенчество, что по тем временам было уже достижением!) целых трое сыновей — Лотар, Пепин и Людвиг.

Уже по тому, как вцеплялись они в детстве друг дружке в вихры и мутузили друг друга на пыльном аахенском подворье, можно было легко предугадать будущее Европы. Устав от постоянного шума, способного вывести из себя и святого, отец Людвиг Благочестивый отправил каждого из сыновей, как чуть подросли, в их будущие уделы — чтоб знакомились они с местным дворянством, своими официальными вассалами, и учили местные языки.



Людвиг  
Благочестивый

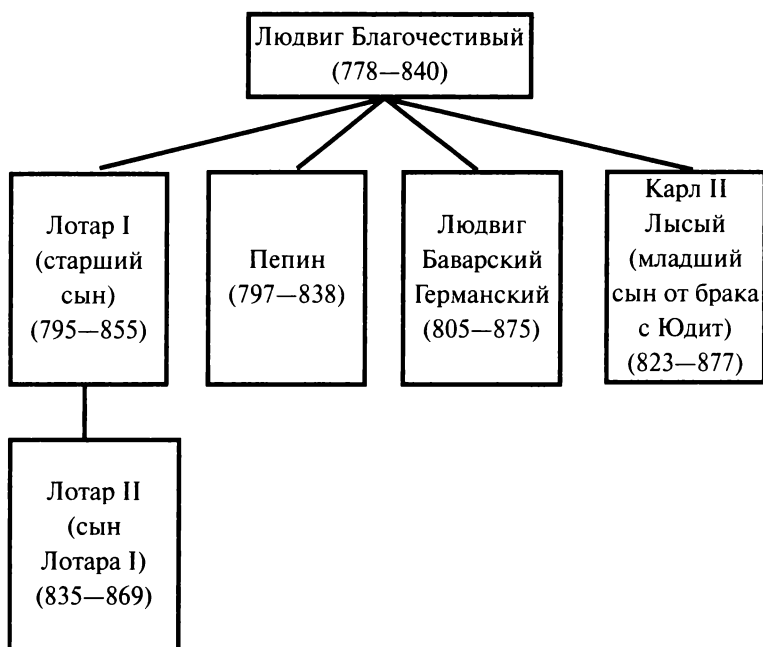


Схема родства действующих лиц данного повествования

*Кстати сказать, с языками в Европе складывалась тогда очень интересная ситуация. Вообще-то все они — франки, саксы, юты, бургундцы, лангобарды, а также скандинавы говорили на германских диалектах, но на юге империи и на территории современных Франции и Швейцарии в ходу была уже адаптированная галлами латынь, наследие римского владычества. Этот язык с принятием христианства стал считаться у западных франков более предпочтительным и престижным, чем «варварские» германские наречия прадедов. Но восточные франки продолжали говорить на*

*германских диалектах, используя латынь только в церкви, официальной корреспонденции и документах.*

*На территории будущей Франции галльско-латинское наречие смешивалось с германскими диалектами, медленно, но верно становясь все более похожим на французский язык.*

*В Священной Римской империи обитало также много славянских племен: полабские славяне, ободриты (бодричи), славяне богемские, моравские, а также более мелкие племена и племенные союзы, говорившие на своих славянских языках. На юге Испании в ходу был уже и арабский.*

*В общем, в тогдашней Европе переходить с языка на язык было делом совершенно обычным, особенно для тех, кому приходилось много путешествовать (например, монахам-миссионерам, продолжавшим христианизацию европейских язычников, или наемникам). И все-таки на территории Западной Европы языком «межнационального общения» оставалась латынь.*

Но вернемся к семье Людвига Благочестивого.

Мало ему было троих сорванцов! Благочестивый папаша, похоронив первую жену, женился опять. В возрасте почти пятидесяти лет — на прелестной четырнадцатилетней девочке Юдит. Скандала это не вызвало, так как вполне укладывалось в действовавшее тогда законодательство. А результатом явился непрестанно и хрипло орущий крепыш. Крепыша в честь деда назвали Карлом. По счету этот Карл, понятное дело, был Вторым, но из-за рано проявившихся трихологических проблем (от греческого *трихос* — «волосы») он остался в истории как Карл Лысый. Ну, поначалу, может, и думали, что у ребенка просто лоб большой, а потом поняли, что ребенок лысеет — и все тут. Чем ни мазали — не помогало.

А между тем старшие братья не гнушались ничем, чтобы выбить новоявленного братца из списка претендентов

на удел: даже унизились до сбора «компромата» на прелестную Юдит в попытке убедить отца, что маленький Карл — не от него. Однако Юдит, которой к тому времени было уже двадцать пять, без труда сумела оправдаться, принесла клятву невинности перед судом баронов, и при этом у нее было такое искреннее лицо (подрюмяненное легким румянцем благородного возмущения, который делал ее еще более невинной и прелестной), что бароны просто загляделись и не поверить ей не смогли. В общем, каким-то образом доказательства своей верности мужу она предоставила неопровержимые, свое доброе имя защитила, и законнорожденность Карла была всеми признана. Хотя в гости пасынков Юдит с тех пор приглашать, конечно, перестала. В общем, члены семьи после этого вообще крайне редко собирались вместе, а если регулярные встречи и происходили, то только на полях сражений — в качестве противников.

Людвиг Благочестивый был на старших сыновей ужасно зол, сыночка своего последненького любил поздней любовью деда и оставлять его без приличного куса Европы не собирался. Тогда старший Лотар пошел на отца войной, заявив таким образом о своем несогласии с родителем. А со временем к нему присоединились и другие братья, которые тоже почувствовали себя обделенными.

Скучно и монотонно описывать все подробности того, как семейство Каролингов постоянно выясняло друг с другом отношения и перекраивало границы своих уделов с помощью тяжело- и легковооруженной пехоты и конного рыцарства.

Военные действия шли с переменным успехом, побеждал то один, то другой. Естественно, семейные отношения от этого не улучшались. Своего Благочестивого отца сыновья несколько раз разбивали на поле битвы и

заклучали в темницу или просто сажали под домашний арест, но потом (все-таки родная кровь!) приглашали-таки за стол, замирялись, даже иногда, наверное, решали поехать вместе на охоту по первой пороше, и так — до следующей ссоры и нового весенне-летнего батального сезона.

А отец тоже не лыком был шит — использовал соперничество сыновей в собственных целях и натравливал одного на другого. Княжества и уделы так часто переходили из рук в руки, что крестьяне и мелкие вассалы, поначалу еще как-то следившие за тем, кому нужно в этом месяце платить подати, потом окончательно устали от калейдоскопа сюзеренов и стали относиться к очередной перемене господина философски. Тем более что на местах никакой существенной разницы от этих перемен все равно не было. Только если какой-то из братьев слишком уж поднимал квоту податей, философское отношение оставляли, а подхватывали рогатину или вилы. Одним словом, феодализм крепчал.

При всем при том компании «Благочестивый Людвиг и сыновья» приходилось одной рукой вырывать друг у друга европейские куски пожирнее, а другой — еще и защищать границы: от прозябавших пока в язычестве других германцев, от яростных дунайских славян, а также от последователей Магомета, что захватили уже Испанию и упорно двигались дальше в Европу — к Италии и границам современной Франции.

Но все они отойдут на второй план, когда из Скандинавии станут прибывать на своих маневренных кораблях белокурые язычники гигантского роста. Брутальная жестокость их набегов повергнет в шок даже привыкшую уже ко всему, закаленную в кровопролитиях Европу.

И тут мы еще ближе подходим к Рюрику...

**«A furore Normanorum, libera nos Domine!»**

Никому точно не известно, что произошло в Скандинавии в восьмом веке, что вызвало на этой территории такой небывалый всплеск рождаемости. Историки до сих пор ищут ответы. Может, селедки небывало много подошло к берегам, и оттого резко улучшилось питание населения, а может, шаманы местные набрали на травку какую, повышающую либидо, а темнело на улице рано, да и мороз, альтернативных развлечений — никаких, а вокруг полно румяных девиц, кожа которых от рыбной диеты стала гладкая да шелковистая...

А в итоге — всплеск рождаемости. И к тому же — явная нехватка ровных поверхностей, чтобы жилища строить, скот пасти или что-нибудь сажать: с одной стороны — неприступные горы, с другой — ледяные фиорды. А народ рождался крупный, со средним размером обуви 43, и земли, чтобы разместить все увеличивавшееся количество подобного размера ступней, становилось все меньше и меньше. В Дании и Швеции плоских пространств было побольше, но прокормиться — все равно сложно, ибо риск не получить плоды посаженного и посеянного был из-за сурового климата совершенно очевиден. Например, посеял ты репу в надежде на реповую кашу, а тут в июне — неожиданно заморозки, и — прощай мечта о сытном ужине. Так и называются эти края: «зона рискованного земледелия».

В общем, есть древним скандинавам хотелось постоянно, что естественно для молодых растущих организмов, численность которых в тогдашней Скандинавии явно увеличивалась.

Начались междоусобицы — деревня на деревню, хутор на хутор, сосед на соседа. Но вскоре перераспределять

стало нечего, нужно было расширять сферу жизненных интересов, выходить на «международную арену». Предложить викингам на внешнем рынке было нечего, кроме седлки и леса, но и того и другого в Европе — и так завались. И потому, чтобы не голодать, требовалось выработать иную стратегию...

Не будем думать, что только мысли о любви, о нехватке жизненного пространства и братоубийственная война за хлеб насущный занимали все время древних скандинавов. Их мир был полон поэзии. Тут были и тролли, что жили в горных пещерах; ноккены — прозрачные жутковатые существа с горящими глазами, нагоняющие на фиорды туман, развратные русалки хулдры, что топят мужчин, заманивая их под воду сине-зеленых озер, а также домовые ниссе, иногда помогающие по хозяйству, а иногда сводящие с ума и разоряющие дом.

Об этом пели вечерами поэты-скальды в «лонгхусах» или «медхусах» — продолговатых просторных срубах без окон, крытых соломой или дерном, где на скамьях за длинными столами рассаживались викинги одного клана — расслабиться за доброй чаркой меда и потолковать о своих древнескандинавских делах, пока лыко вязалось и не возникали различия во мнениях (тогда мирно начавшаяся дискуссия могла незаметно перейти в побоище). Скальды же, эта тонкая прослойка творческой интеллигенции, удовлетворявшая духовные потребности населения, к сожалению, не усматривала своей роли в смягчении нравов, а скорее наоборот — в поддержании через поэзию боевого духа.

Интересно, что и рай викинги тоже представляли себе именно так — огромным жарко натопленным медхусом под названием «Валхалла», куда ужасные, но при этом не

лишенные сексуальной привлекательности блондинки валькирии — с огромными бюстами и крыльями птеродактилей — приносят воинов, собирая их после битв по полям сражений. Тогда эти самые ожившие воины быстро восстанавливаются и начинают вечный пир с верховным богом войны одноглазым Óдином, которого обычно представляют кровожадным и примитивным, забывая, что глазом-то он пожертвовал для получения образования, поскольку был также и богом мудрости.

Загробное пиршество в Валхалле включало нелимитированное потребление пьяного меда самого лучшего качества, исключая при этом всякое похмелье на следующее утро. Воины там хотя и пьют, но продолжают оставаться в боевой форме, ибо готовятся во главе с Óдином к Последней Битве, последней схватке Добра и Зла, в которой погибнет все, чтобы родился новый мир. Который, в свою очередь, тоже обречен <sup>1</sup>.

Не слишком это была оптимистичная мифология, но оптимизму и веселой легкости бытия скандинавский климат как-то, видно, не слишком способствует — это вам не Средиземноморье. Там, на Олимпе, залитом солнцем, вином и оливковым маслом, по-пляжному одетых богов и богинь занимали проблемы совсем иного плана. Да что говорить, каков климат, такова и мифология.

И вот получалось, что умерший в собственной постели от естественных причин викинг не имел никакого шанса на загробную жизнь в Валхалле, и его уносили в туман страшные ноккены. Это ставило вопрос об отсутствии «загробного стимула» также и для скандинавских женщин или, к примеру, хороших плотников, оружейников и судостроителей, по понятным причинам не принимав-

---

<sup>1</sup> Эти мифологические представления разделяли и другие языческие германские племена Европы.



ших участия в военных экспедициях (хочется надеяться, что скандинавское общество как-то решало эту проблему, не оставляя означенные категории населения совсем уж в «мифологическом накладе»).

Кстати — о судостроителях. В Норвегии, например, путь до деревни родственников в соседнем фиорде по суше, через неприступные, поросшие лесом горы мог тогда занимать до нескольких дней, тогда как по воде — полчаса. Выход был очевиден: строительство плавсредств — байдар из шкур, лодок-однодеревок, выдолбленных из целого ствола, просто плотов самых разных размеров и конструкций. Междоусобные скандинавские войны потребовали в итоге судов, на которые можно было посадить весь свой клан с боевыми топорами, появиться в соседнем фиорде неожиданно и быстро и иметь достаточно места на борту, чтобы увезти захваченных пленников, скот и прочую добычу.

Судостроители викингов все белые ночи, наверное, проводили на своих верфях над берестяными чертежами! И в результате, после многочисленных проб и ошибок, на свет появилось то самое грозное скандинавское оружие, которое называли *лонгбот* — «длинная ладья». Ее очертания, поразительная легкость, малая осадка при полной загрузке и способность прекрасно плавать как по морям, так и по рекам до сих пор вызывают изумление специалистов. Потом не чуждые поэтического воображения скандинавские плотники стали вырезать на носу этих судов — и для красоты, и для деморализации противника — устрашающие головы чудовищ, и так родился знаменитый *драккарбот* — «ладья-дракон».

Их производство практически поставили на поток. На постройку стандартного драккара у бригады опытных плотников уходило от месяца до шести недель, на «спецзаказы», соответственно, больше. Это чудовище двести

лет Европа будет видеть в своих ночных кошмарах. И повторять одну молитву на наречиях англо-саксонских, славянских, галльских, иберийских, на греческом, на арабском. Но чаще всего — на латыни: *A furore Normanorum, libera nos Domine* — «От ярости викингов избави нас, Господи!». Потому что викинги прежде всего нападали на церкви, соборы и монастыри.

Драка, резня были самым угодным скандинавским богам занятием. Особенным почитанием пользовались у викингов берсерки. Берсерком мог стать любой. Внезапно во время битвы даже самый sereneкий, незаметный викинг мог озвереть. Опынев от вида человеческой крови, он, несмотря на самый жестокий мороз, срывал с себя всю одежду, впадал в транс и крушил все вокруг своим боевым топором, не различая своих и чужих. От таких не уворачивались: быть убитым или даже раненым берсерком означало гарантированное попадание в Валхаллу. Так что некоторые даже старались попасть под «горячую» руку этого пораженного безумием битвы воина, в которого вселялся сам Один. Потом берсерк мог упасть без сил, спать целые сутки, а то и двое, и после зачастую ничего не помнить о битве. К некоторым так никогда больше не возвращались ни это состояние одержимости, ни память о нем. Но соплеменники помнили и почитали берсерков.

Викингами или варягами древних скандинавов называла Европа, но сами они чаще называли себя *норсман* — «люди севера», и язык свой — *норс*. Это был язык германского корня. Так что во время битв все, даже самые грамматически сложные ругательства на «норс» — с упоминанием родительниц, других близких родственников и известной анатомической лексики — понимались герма-

ноговорящими противниками (включая франков и англосаксов) совершенно правильно, и те, вне сомнения, отвечали еще более оригинальными конструкциями. Так что для того, чтобы как следует завести друг друга на кровопролитие, ни тем ни другим никакие переводчики не требовались.

В 793 году викинги разорили большой и богатый монастырь на острове Линдисфарн у берегов Нортумбрии. Нападение было таким неожиданным и беспрецедентным по своему зверству, что потрясло сознание средневековых европейцев так же, как разрушение башен-близнецов потрясло человека современного.

Но была и разница: европейцы видели в викингах не только еще одного врага, привлеченного богатствами европейских монастырей, а наказание Божие за грехи. А что и говорить, у правителей Средневековой Европы (равно как и у церковных деятелей, и даже самого высшего ранга) грехов скопилось порядочное количество, так что многие из них чего-то подобного с затаенным ужасом давно ожидали. И потому даже не сразу разглядели в викингах людей из плоти и крови, а вместо этого увидели на шлемах их «дьявольские» рога, которых в действительности не было и быть не могло. Ну сами посудите: в своих лонгботах викинги были набиты порой как сельди в бочках — 64 здоровенных мужика (32 весла плюс запасная команда гребцов), да еще захваченные рабы, да еще провизия, да еще добыча! Если кому-то пришло бы в голову в такой тесноте нацепить себе на шлем рога, он бы выколол окружающим глаза еще до высадки десанта, и пострадавшие соратники за такую любовь к эффектному костюму просто выбросили бы его за борт. А если бы в команде появилось сразу несколько таких модников, то, протискиваясь через толпу на палубе, они сцепились бы рогами как маралы во время гона, и всей команде пришлось бы тра-

тить на расцепление этих идиотов массу драгоценного гребного времени. К тому же их менее терпеливых товарищей по команде легко могла бы осенить идея, что гораздо эффективнее и быстрее было бы просто отрубить им головы — и весь разговор. Надеемся, что эта аргументация убедила достопочтенного читателя, как она убеждает нас.

**В** девятом веке грозой Европы стал клан норвежца Уббы и его молодого, но способного отпрыска Рагнара. Ко времени описываемых событий папа Убба давно уже пил в Валхалле с Одинем, а вот Рагнар наплодил кучу воинственных сыновей, и все они вместе буквально терроризировали Европу.

К 862 году, с которого мы начинаем повествование, сыновья Рагнара вышли ростом и статью. Кроме одного, названного в честь деда тоже Уббой. И как раз его-то боялся даже отец, мало кого боявшийся и несколько раз бывавший в битве берсерком. Нам скоро придется встретиться с этим семейством, хотим мы того или нет.

О происхождении прозвища Рагнара — Мохнатые Штаны — рассказывали разное. По одной версии, однажды зимой в лесу Рагнар встретится с огромным злобным медведем и убил его одним лишь ножом. Жена сшила ему штаны из медвежьей шкуры, которая якобы особенно способствует усилению потенции. С тех пор Рагнар не снимал их ни зимой, ни летом. Другие говорили, что, когда Рагнар слишком уж напивался меда в лонгхусе, выходил за дверь и неуклюже спускал свои кожаные бриджи, чтобы справить малую нужду, все понимали, почему его прозвали именно так: его задница и ноги были сплошь покрыты густым рыжим волосом. Но в хрониках, по понятным причинам, нет исчерпывающего ответа на этот

вопрос, поэтому мы вольны выбрать ту версию, которая кажется нам более правдоподобной.

Между тем в династии враждующих братьев Каролингов произошло много изменений. Уже почил отец Людвиг Благочестивый, а также — братья Пепин и самый старший Лотар. Это существенно увеличило владения весьма еще живых пока Людвигу Германского и Карла Лысого. Однако не настолько, насколько они сами рассчитывали: братец Лотар, не иначе как из вредности, а также и для того, чтобы досадить братьям, оставил после себя наследников мужского пола, да к тому же вполне законных! Конечной целью и Карла Лысого, и Людвигу Германского было единовластное императорство в границах Священной Римской империей и Железная Ломбардская корона, символ высшей власти! И ради этого все средства были хороши, кроме совсем уж очевидного физического устранения собственного брата (или племянников), — это теперь могло создать нежелательный для христианского правителя общественный резонанс: европейские нравы смягчались, нарождалась политкорректность.

Однако особенно раздражал обоих братьев племянник Лотар Второй, сын почившего короля Лотара Первого.

Юный Лотар унаследовал от отца владение Лотарингию — здоровенный кусок Европы, который вклинился между землями Карла Лысого и Людвигу Германского как заноза! А главное, кусок стратегически привлекательный — от Фризии до Юрских гор (приблизительно современная Швейцария).

Сначала, естественно, стали ждать, что природа сама распорядится и авось Господь приберет племянника.

Сегодня в Европе это кажется сумасбродным оптимизмом, а в Средневековье было вопросом относительно недолгого ожидания: в те времена не заживались даже короли. И мы не говорим здесь о колотых и резаных ранах.

Отсутствие парового отопления (перестало применяться с уходом римлян), сквозняки в неоштукатуренных и только отчасти застекленных помещениях замков (стекло — большая редкость и крайне дорого), медицина — одно название... В результате: отхлебнул, разгорячившись на охоте, холодной воды, а потом кашель запросто переходит в бронхит, а там — уже двусторонняя пневмония и — зови священника. А про такое смертельно опасное дело, как беременность и роды, уж и не говорим! Один случай из пяти, что тебя выносят, один из десяти — что благополучно родят, один из десяти — что ты встретишь свой первый день рождения, а потом — та же вероятность, что дотянешь до тридцати. И если уж дотянул, то ты — уже долгожитель. Поэтому аристократы старались как можно раньше выдать своих отпрысков замуж или женить — чтобы обеспечить наследников и благополучное продолжение феодальных междоусобиц.

Но Лотар Номер Два упований дядюшек на его скорую кончину не оправдывал, а совсем наоборот: даже женился на склонной к полноте, не слишком юной бургундке по имени Тевтоберга из весьма влиятельной и воинственной семьи. Семья располагала приличным войском из многочисленных вассалов, включавшее даже отличную кавалерию. Это последнее обстоятельство было для Лотара в невесте самым привлекательным, потому что юный король прекрасно понимал: два матерых волка, милые дядюшки, только и ждут удачного момента, чтобы устранить его и начать драку за его Лотарингию. А этой женитьбой он роднился с одним из сильных союзников Карла Лысого, чем связывал руки хотя бы одному из дядюшек и укреплял свою власть. Bravo, Лотар! Несмотря на молодость, все так умно и хорошо рассчитать! Дяди заскрежетали зубами.

Но скрежетали недолго.

Ибо как раз с этого момента в наше феодально-междоусобное повествование вплетается всегда губительный для разумной политики романтический элемент.

Во время свадьбы Лотара и Тевтоберги ее влиятельный брат (с не слишком благозвучным, но вполне соответствующим именем Хукберт) намекнул жениху, что семейное счастье сестры для него — это всё. И когда кто ее обидит, так у него просто кровь бросается в голову, и он за свои действия не отвечает, будь перед ним кто угодно. И согнул при этих словах железную ложку. А рядом сидел папаша невесты, тоже бургундский боров (с голосом как иерихонская труба и кусочками курицы в нечесаной бороде), и с изумлением отметил, что, мол, какое совпадение: он испытывает точно такой же медицинский феномен, если кто-нибудь, даже ненароком, его дочку обидит. И тоже как бы невзначай согнул свою ложку. После чего двое мужчин весело рассмеялись, а третий — напряженно улыбнулся. Невеста же, убранная по обычаю венком из хмеля, сидела с другой стороны и хохотала громко, как и ее папаша, не расслышав ничего толком и не поняв, только предвкушая заманчивое супружеское будущее.

Пригласил ли племянник на свадьбу дядей — королей Карла Лысого и Людвига Германского — не знаем. Но о ситуации им было известно хорошо, так как Карл Лысый очень благоволил этой бургундской семье, и они не раз оказывали ему военную поддержку, и даже впоследствии именно в этой семье он нашел себе вторую жену.

Но вот через некоторое время после свадьбы Лотар стал чаще обычного уезжать на охоту. Не приходил ночевать и все чаще жаловался на головную боль, когда требовалось исполнение супружеских обязанностей. И Тевтоберга почувствовала неладное. К тому же до нее дошли

слухи, что во время охотничьих пирушек со своими вассалами муж без стеснения заявлял, что жена его, извините, «бургундская телка», а ему, как королю, хотелось бы чего-нибудь эдакого... поинтереснее.

И, по странному совпадению, появляется у его жены новая фрейлина — как раз то, что надо: очаровательная лангобардка Валдрада с раскосыми глазами, родинкой на щечке и зубами изумительной целости и белизны (тоже большая редкость по тем временам, даже среди знати). Лотар влюбился безудержно. Валдрада была необыкновенной женщиной: одержимой охотницей. Как шел ей, высокой и сильной, мужской охотничий костюм, как уверенно гнала она коня за взявшей след сворой. Как резво могла соскочить с высокого седла и, опередив всех, одним ударом ножа перерезать горло простертому на земле раненому оленю! Не иначе, из сострадания. Это производило на Лотара будоражащее и захватывающее впечатление. А уж когда однажды в его лесном замке перед жарким огромным камином своими жемчужными зубками Валдрада развязала пояс на замшевых бриджах короля... пропал король Лотар Второй. Пропала Лотарингия. Ибо король поклялся, что разведется с порядком надоевшей ему уже Тевтобергой и сделает королевой ее, Валдраду. И потом поинтересовался у законной жены (как бы между прочим), каково ее отношение к карьере аббатисы в каком-нибудь тихом благочестивом монастыре. Тевтоберга, прижимая платок к глазам, бросилась к брату Хукберту. Последствия легко себе представить. Над влюбленной головой Лотара начали сгущаться тучи.

Но ему было на это непредусмотрительно плевать. И Лотару все сошло с рук, так как и грозный папаша его жены, и даже брат занедужили и попали к праотцам намного раньше, чем планировали. А Лотар стал добиваться развода, что по тем временам было крайне нелегко.



А вот теперь самое время вернуться к его дядюшке — Карлу Лысому.

### Парижская Пасха 862-го

**П**асху Карл Лысый по обычаю справлял в Париже. Он ночевал сегодня в аббатстве Сен-Жермен де Пре, чтобы завтра быть на мессе в соборе Нотр Дам.

Карл думал, что все отлично рассчитал. Племянник Лотар Второй вскоре выйдет из игры, законных наследников у него пока нет и, судя по ситуации, не предвидится. Сразу после Пасхи (только варвары ведут войны во время церковных праздников!) он с войском бургундцев вторгнется в Прованс и захватит владения самого младшего своего племянника — тезки Карла Прованского, еще одного юного сына почившего Лотара Первого. Прованс мальцу ни к чему, а ему, Карлу, эти места давно нравились: земля благодатная, благоуханная, климат прекрасный. А вина! В винах и тонкой кухне Карл толк понимал — в отличие от своего брата Людвига Германского, для которого не было пищи лучше, чем кусок из собственноручно загнутого и зажаренного на вертеле кабана под соусом из баварских яблок.

Опекуна «прованского» мальчишки, регента Жерара, Карл устранил и сам станет регентом. А там — как Бог даст. Говорят, наследник-то болезненный (Карл Прованский действительно через год умрет).

Лотара старшего Карл всегда ненавидел даже больше, чем другого брата по отцу — Людвига. Ведь это именно Лотар когда-то так старался ослабить шлюхой его покойную мать Юдит и ненадолго заставил-таки баронов и даже самого отца усомниться в его законнорожденности. Теперь он расквитается с лотаровскими щенками за всё!

Как все не слишком уверенные в себе честолюбцы, Карл никогда не забывал унижений, обида жила в нем долго — то отпускала, то накатывала.

**В** камине пылал огонь и освещал большую комнату со сводчатым потолком. Карл Лысый любил проводить Пасху и Рождество в монастыре Сен-Жермен. Его аббат был из бургундских Вельфов, родственников матери, и знал короля с рождения. И он был одним из немногих людей, которым доверял подозрительный Карл.

Король Западной Франкии смотрел на темнеющее в маленьком окне небо и размышлял.

Недавнее пребывание в Аахене у племянника Лотара было скучнейшим — ни пиров, ни менестрелей, ни охоты. Пост. Но все равно встреча с племянником прошла как нельзя лучше. Похоже, он совершенно уверил юнца в полной своей поддержке и расположении. И понял, что умница Валдрада достигла даже большего успеха, чем он ожидал: Лотар совершенно не сводил с нее глаз, казался околдованным ею. И Карл понял: племянник перестал представлять угрозу. Его даже чуть кольнуло любопытство и что-то похожее на ревность: интересно, что эта талантливая шлюшка вытворяла, чтобы так его привязать? Неужели была еще более изобретательна, чем с ним?

Это ему трудно было даже представить, вряд ли еще что-нибудь могло оставаться в ее арсенале. К тому же еще шел пост, и он отогнал греховные мысли.

Однако ему хотелось «добить» Лотара совершенно. Во время встречи он уверил племянника, что пришло время положить конец владычеству викингов во Фризии. И обещал свое всемерное в этом содействии.

Когда-то датчане захватили эти земли и укрепились на них. Их называли «дьяволами Рустрингена», и связываться с ними мало кто решался, даже дикие норвежцы. Именно поэтому еще отец, Людвиг Благочестивый, когда-то нанял их на службу.

С тех пор как они захватили Рустринген, ошетинили своим флотом драккаров его острова и побережье, на берега Фризии нападать избегали. Но это также означало, что большая прибрежная территория, с богатым торговым городом Дорестадам, принадлежала франкским королям только на бумаге, а в действительности ею владели братья-викинги.

Теперь между этими могущественными воинственными братьями и влюбленным Лотаром, надеялся Карл, начнется война. Собаки начнут рвать друг друга, забыв о мозговой косточке, — а он подхватит ее, как раз когда они обесселят друг друга дракой.

На ужин ему принесли воды, только чуть подслащенной медом, пресного хлеба, орехов и сушеных яблок. Пост. Потом вошел секретарь Нитард с келарем. Они спросили, не угодно ли королю еще чего-либо. То, что ему было сейчас угодно, эти двое никак не могли доставить, и он нетерпеливым жестом отпустил их.

Монах поклонился, а Нитард пожелал королю доброй ночи. Наконец-то все оставили его в покое.

Пост давался ему в этом году особенно тяжело, но мучил его не голод. Как назло, как раз шесть недель назад в Аахене ему подарили захваченную викингами где-то в Иберии интереснейшую тоненькую глазастую сарацинку. *Сказали, что девственница. Это — вряд ли, взгляд ее слишком уж для девственницы уверенный и многообещающий. Но проверить нельзя, пока не закончится пост.* Принимая во внимание грандиозность задуманного, поддержка Свыше ему была сейчас очень важна.

Карл попытался молиться. Конечно, он взял сарацинку с собой в Париж. Девственницам не дело оставаться без присмотра, тем более пост завтра закончится.

Карл совершенно не мог сосредоточиться на божественном. Ее переодели мальчиком (что тоненькой сучке подходило чертовски!), и она была где-то здесь, в одной из келий мужского монастыря. Ни одна молитва не шла королю в голову! Языки пламени в камине стали подниматься все выше, словно напоминание о преисподней. Сарацинка спит сейчас где-то в келье, смугленькая, горячая, укрытая одним только тонким одеялом, а на полу — ее мальчиговая одежда. Гнать дьявола!

Карл подошел к распятию на красной кирпичной стене. Разделся до пояса, взял свою кожаную конскую плеть и хлестнул себя по спине. Боль сначала обожгла, но потом отрезвила и стала приносить облегчение. Он крикнул и хлестнул себя еще раз. Потом стал хлестать себя слабее, но чаще, шепча: «Domini, услышь! Помоги уничтожить моих врагов. Став императором, я построю тебе собор, какого не видел свет». Перед его мысленным взором вдруг поднялся и закрыл собой все небо этот огромный собор — больше аахенского, больше константинопольского, собор ЕГО империи. Он зашвырнул плетку в угол и, чуть морщась, опять надел тонкую рубашку. Больше Люцифер не отвлекал его от молитвы.

**Б**ыть императором, как дед Карл Магнус! О, как страстно хотелось ему почувствовать лысой головой приятный холод ломбардской Corona Ferrea — символа империи, символа власти! Он закрывал глаза. Он чувствовал, как откуда-то снизу, из чресел, поднималось волной желание, сродни желанию любовному, так что непроизвольно напрягались мускулы живота. Мысли о ломбардской

короне волновали его, словно мысли о женщине. Он получит удовлетворение. Он искупит все унижения юности. Он будет стоять в огромном соборе, и очередной понтифик станет рисовать крест на его огромном *императорском* лбу древним маслом власти! Он рано или поздно заполучит германские земли брата, а что там дальше, за ними? На востоке, как раз за землями Людвига, — богатые язычники россы, что владеют важным торговым путем, ведущим прямо в греческий Константинополь! И городов, говорят, много на этом пути! Покорив Восточную Франкию, он станет и их королем. Он обратит в христианство тамошних язычников и сможет за это вить веревки из любого папы. Константинополь! Карл шумно втянул воздух. Об этом не мечтал даже дед! Когда на византийском троне оказалась женщина, императрица Ирина (глупые греки не знают салического германского закона и допускают женщин править!), папа Лев Третий пытался путем юридической казуистики добыть деду Карлу византийский престол. Не получилось. Юридическая казуистика! Разве так добывают престолы?

Его не случайно тоже назвали Карлом. Не случайно. В человеческом имени заложен смысл, просто так имена не даются. Он видел в Аахене книги Алкуина, и в них изображение Константинополя: золотые купола внутри неприступных стен — словно корзинка, наполненная золотыми яйцами! Он читал о великих империях римлянина Августа и грека Александра. Август даже не пересек Рейна. Александр понятия не имел ни о германских землях, ни о Балтике. По сути, они никогда не владели *всем миром*.

Он остановился, пораженный этим внезапным озарением. Так оно и есть: может, это *его* судьба? Братец Людвиг Германский почти на двадцать лет его старше, уже седой как лунь. Пора и честь знать. Правда, брату удалось

родить троих сыновей, но не этим щенкам с ним тягаться! Придет время, и он сумеет разделаться и с ними, как сейчас — с сыновьями Лотара.

Во сне ему привиделись древние аахенские карты мира — на темном, как руки старца, пергаменте. Он смотрел на очертания стран и морей, и вдруг их контуры задвигались, стали округляться, светлеть и превратились в голую девку, и она стала похотливо и бескостно извиваться перед ним всем телом, словно толстая белая змея. Он начал хлестать ее плеткой, оставляя набухавшие кровью рубцы, но она продолжала извиваться — не от боли, а изнемогая от похоти. Тридцатидевятилетний король метался и стонал во сне. Он еще не знал, как жестоко будет угодно поиздеваться над ним судьбе в холодный пасхальный день 862 года.

Да, король Восточной Франкии Людвиг Германский теперь прекрасно видел, что брат Карл серьезно взялся за устранение наследников покойного Лотара. Шпионы подробно доносили Людвигу в Регенсбург обо всех передвижениях Карлова войска. Было очевидно, что Карл собирается напасть на Прованс, плохо защищенную вотчину последнего сына Лотара, подростка. Так, чего доброго, и до него с сыновьями доберется! Ну пусть попробует!

Официально между братьями-королями сейчас был мир и договор о нерушимом сотрудничестве, заключенный в Кобленце и записанный со всеми приличествующими клятвами Богом и христианством и щедро сбрызнутый отличнейшим мозельским. Но оба прекрасно знали цену этим клятвам: все они будут забыты, если одному подвернется благоприятный случай взять верх над другим.

Нет, братец Карл определенно вошел в раж и становился опасным! И Людвиг, как всегда в трудные минуты, посоветовался со своей хитроумной королевой Эммой, и та подала ему отличную идею: послать к норвежцу Рагнару с предложением союзничества. И, как бы между прочим, в процессе переговоров довести до сведения викинга то, что Карл на Пасху будет в Париже. Один, без войска. Если Рагнар Мохнатые Штаны ненароком убьет короля Карла во время очередного пиратского нападения на Париж (этот город и раньше разоряли викинги), то что с варвара взять? И тогда единовластным императором становится Людвиг Германский. А основное войско Карла сейчас далеко, на прованской границе.

Рагнар Мохнатые Штаны прекрасно понял намек короля Людвига, и как раз перед Пасхой его флот в 120 драккаров медленным удавом вползал уже в устье Сены. Его увидели с берега в Руане и, чтобы предупредить парижан, снарядили конников, но на тех напали на большой дороге грабители. Не судьба...

**В** Париже только что закончилась месса. Далеко над Сеной и болотистыми пустошами расплывались пасхальные звоны колоколов Нотр Дам, а с севера по реке плыл благовест от аббатства Сен-Жермен де Пре. Апрель в тот год был необычно холодным, но день Пасхи выдался ясным и солнечным. Крепость на острове Иль де ла Сите, плавным овалом омываемая Сеной, возвышалась посреди реки как огромный корабль. Как всегда, два моста через Сену справа и слева от острова были полны народом. На постоянных дворах Иль де ла Сите тоже не было свободных мест: парижские торжества привлекали много разного люда со всей округи — богатых купцов, монахов, румяных сельчан, то и дело беспокоило ошупывавших тугие

кошельки под справленным специально к Пасхе платьем. Париж поражал их двухэтажными строениями, не виданными в родных деревнях, и, конечно, собором — чудом из чудес. Он возвышался словно прекрасный конный паладин<sup>1</sup> среди толпы одетых в серый лен крестьян. Казалось, еще немного, и колокольня его коснется самого неба. Приезжие задирали головы так, что шапки падали: трудно было поверить, что человеческие руки могли построить такое. Диковинные цветные витражи и каменные стрельчатые своды не оставляли сомнений, что именно так и выглядит рай, куда попадут праведники. И, при взгляде на стрельчатые башни, становилось ясно, на чьей стороне Бог. У северного придела, однако, еще стояли леса — строительство не было окончено.

Нарядные селянки поглядывали на наемников короля — те, отпущенные ради праздника, звенели на улицах кольчугами, откровенно скучая и ища, где бы подкрепиться и промочить горло. Многие из них были язычниками, и эта непонятная канитель с постом, когда в их законных харчах резко сокращалась доля мяса, выводила их из себя. Особенно раздражались те, кто стал наемником недавно.

Но сегодня, наконец, недостатка в яствах не было! Прямо на улице на вертелах жарили гусей и продавали пироги с яблочной начинкой. Тем, кто не мог позволить себе эти разносолы подороже, тоже было чем разговеться: со специально украшенных лотков продавали вареные яйца — их собирали в течение всего поста и для сохранности варили вкрутую. Теперь, с упоением посыпая крупной серой солью, их ела беднота. Тут же, протягивая руки

---

<sup>1</sup> *Паладин* — рыцарь и ближайший соратник Карла Великого. Паладином был Роланд («Песня о Роланде»), герой битвы при Ронсевале.



с обкусанными ногтями, просили милостыню нищие и калеки. От чанов с разогретым дешевым вином поднимался ароматный пар. Обычно такое вино продавали на Рождество, но из-за холода торговцы выкатили бочки и на Пасху, сразу после мессы. Парижане приятно хмелели. Пост кончился. Прошедшая зима выдалась не слишком холодной и с обильными дождями, значит, должны уродить поля и виноградники. Да и прошлый, 861 год особенно голодным не был.

Народ на парижском Сите весело приплясывал в такт уличным музыкантам, распевавшим чуть хмельными голосами ронсевальские канцоны, обглаживал гусиные косточки, запивал снедь горячим вином.

Поздно стаявший снег оставил на улицах столько грязи, что для священников и королевской свиты от аббатства до самого входа в базилику Сен-Дени соорудили деревянные березовые тротуары. Тротуары были свежие и еще истекали весенним соком. Такие же тротуары поставили и на острове Иль де ла Сите — от пристаней до самого входа в Нотр Дам.

Благородные парижские семьи не толпились на мостах, как иной люд, а прибывали на торжества по воде — в красивых небольших барках с навесами, увитыми яркими лентами. Простолюдинов, пытавшихся вскарабкаться на тротуары, чтобы пересечь лужи, безжалостно сталкивали слуги, доставляя этим развлечение оборванным детям, которые с веселыми воплями и хохотом носились сквозь толпу под окрики и проклятия забрызганных горожан.

Над одной из улиц между соломенными крышами протянули канат, на котором напряженно балансировала худенькая девочка — уличная акробатка в расшитых блестящими панталонах. Под глазом у нее явственно темнел синяк, а внизу, прямо под канатом, блестела на солнце

огромная лужа, в которую, доведись ей сорваться, она наверняка бы угодила. На акробатку глазела быстро собравшаяся толпа, и ее с рваной шапкой, собирая плату за развлечение, уже обходил мускулистый мужчина. Но как только он приближался, толпа редела. Монет в шапке было совсем немного. С каждым сбежавшим зрителем мужчина становился все мрачнее: «Правду мне говорили в Руане, проклятые парижане только плятятся, но не платят! Ну и убирайтесь, твари!» Он вынул из шапки монеты и запустил ею в спины зрителей. А какой-то бенедиктинец, взобравшись на тротуар, перекрикивая говор и хохот, пообещал зрителям кочергу Люцифера в геенне огненной за то, что глазуют на непотребное акробатство в святой день Пасхи.

Сквозь толпу, собравшуюся неподалеку от Сен-Жермен де Вю, к харчевне под темной соломенной крышей пробирался монах. Он шел издалека, замерз и очень устал. Звали его брат Константин. У монаха оставалось несколько монет, и он решил перекусить. В харчевне пол был устлан соломой, пылал очаг, в нем, как в маленьком подобии геенны, на цепи висел котел, и там кипело какое-то варево. Под столами, что-то склевывая, бродили куры, то и дело шныряли крысы.

Приняв от подавальщика большую миску серой чечевицы с розовыми кусочками свинины, монах молитвенно сложил над ней руки, речитативом произнес: «За то, что мне ниспослано сегодня, благодарю тебя, Господи», перекрестился и взял с затертой столешницы деревянную ложку. Он согрелся, и ему стало хорошо, так хорошо, что он почти знал: долго это продолжаться не может. В дальнейшем углу шумела подвыпившая компания. Подумалось: «Только бы не пристал с разговорами какой-нибудь забулдыга!» И тут же он почувствовал такой толчок в спину, что чечевица вместо горла попала ему в нос.

— Тысяча, тысяча извинений, святой отец! — воскликнул сзади по-франкски нетрезвый хриплый голос.

Обладатель этого голоса хотел было оказать ему помощь, снова со всего размаху ударив по спине, но монах отчаянным жестом, все еще кашляя, отклонил его руку. А непрощеный собеседник, крепко сбитый, опоясанный мечом, в старой, много раз чиненной кольчуге, уже усаживался напротив.

Монах наконец прокашлялся и отер рот грубым рукавом рясы. Да, небо опять подслушало его мысли и послало ему испытание за грехи.

— Тысяча извинений, святой отец,— повторил незнакомец. Перекрывая гул голосов, он крикнул подавальщику: — Эй, парень, я тут пролил пойло, налей-ка мне еще! — И снова повернулся к монаху: — Ну, скажи, откуда и куда ты держишь путь? Это, конечно, если ты не дал обета молчания. Если дал, то можешь не отвечать.

Монах понял, что уклониться от разговора не получится:

— Я хожу по странам, изучаю языки людей, сравниваю их законы,— медленно, подбирая франкские слова, сказал он.

— Ну, видать, тебя твой Бог и вправду хранит,— одному-то ходить, и без меча...

— Одному-то ходить, и без меча...— задумчиво повторил монах.— Одному-то ходить... Погоди! А ведь ты, по выговору, тоже не из этих мест,— сказал он вдруг.— Ты из славян! Но не из балканских и не из моравских.— Он задумался, пристально глядя на незнакомца и шевеля губами. И вдруг неожиданно заключил: — Ты — родом с Балтики! — И добавил на родном наемнику языке: — Ободрит или венд.

— Точно, точно, ученый монах! — воскликнул наемник на том же наречии и по-медвежьи облапил невысокого монаха.— Я ведь и по-латински, и по-франкски, и по-

северному! А ободритское наречие мне и впрямь родное. Выпей-ка со мной! Зовут меня Ходорик. А твое как имя?

— Брат Константин.

— А не хочешь ли ты выпить со мной, брат Константин? На корчажку вина у меня монетка завалялась. Сегодня у христиан праздник.

— Так ты христианин? — удивился монах.

— Крестить-то меня крестили... На короля Пипина напала однажды такая блажь — крестить всех своих наемников. За это новую кольчугу и одежду обещали, а я тогда как раз поизносился.

Немолодой подавальщик принес вина и теперь медленно наливал его из захватанного измазанными в саже пальцами глиняного кувшина.

— Не хочешь, святой отец? Ну ладно, а я вот выпью. Видишь ту компанию в углу? Необразованные, непросвещенные людишки — только и разговоров, что об озимых да скотине. А я бывал и на Тринакрии <sup>1</sup>, где курится вулкан, и в Риме, и в стране арабов Вандалуз <sup>2</sup>, и даже в самом Городе Константина, по сравнению с которым все города, и даже этот Париж — просто глинобитная деревня! Недавно съездил домой в Хедеби, похоронил женку. Хорошая была женка, ютландского роду-племени, да вот видеться-то нам нечасто удавалось. А вот теперь получил у Карла Лысого за службу, да как-то так вышло, что на Пасху все и потратил. Теперь вот иду в Рустринген, во Фризию, к законам Харальду и Рюрику. Может, возьмут меня в свою дружину. Пора подумать о том, чтобы заработать себе на старость. А var у них, скажу я тебе, такой — поискать!

— Var? — не понял монах.

---

<sup>1</sup> Сицилия.

<sup>2</sup> Андалусия.

— Дружина то есть. Это по-северному, на норс... И знаешь, что я могу сказать тебе о мире? — спросил наемник ни с того ни с сего, словно забыв, о чем говорил до этого.

Он явно старался не смотреть в миску монаха, но глаза опять скашивались: нос предательски наводил их на запах вареного мяса.

На столе лежала чья-то оставленная деревянная ложка, и Константин указал непрошеному гостю на нее глазами. Тот не заставил себя просить, подсел поближе и стал уплетать за обе щеки.

— Я могу тебе сказать... о мире... вот что,— говорил он с набитым ртом.— Вот что: везде и все дерутся из-за земли и власти, как собаки из-за кости. Взять хоть эту землю. Великая была когда-то земля, при императоре Карле. Ну да ты ведь ученый монах, поди, и сам знаешь. Хотя, между нами говоря, и император Карл тоже был сволочь порядочная, особенно к саксонцам, мне еще отец мой рассказывал. Да не озирайся, никому до нас тут дела нет, они там всё об озимых да как бы втереть друг дружке хромую старую корову по цене юной телочки. Жадный и бессмысленный народ, парижане!.. И все-таки при Карле был порядок! — Он с притворным благоговением поднял не очень чистый указательный палец.— Римская империя!.. И отцу — у нас все мужчины в семье всегда служили франкским королям — он платил щедро... Да ты тоже ешь, ешь, святой отец! Вон я тебе кусочек мяса в уголке оставил... Ну так вот... Я с пятнадцати лет — «наемное копье», а так вот ничего и не нажил. Воевал раньше в дружине самого хакона Харальда и брата его Рюрика — «хакон», это благородный значит, по-северному,— земляки они мои, тоже из Хедеби...

Служил я франкскому королю Лотару. Служил брату его, королю Пепину, тот тогда щедрее первого был, но

скоро сыграл в ящик. Потом служил третьему брату, королю Людвигу Германскому — этот оказался скрягой хуже всех! Теперь вот послужил четвертому их брату, Карлу Лысому. А с чем начинал службу, с тем и ухожу. Всех моих богатств — меч, что на поясе, и «меч», что в штанах. И уж не знаю, какого из богов за то благодарить, но оба пока в порядке... А в этом Париже всего и хорошего, что харчи. Харчи тут знатные.

А в городе Хедеби ты, поди, не бывал? Ну вот, а повидать его стоит! Хороший город, торговый. Какие сисястые бабенки подают там мед! Ну, тебе, монах, бабенки ни к чему, а мед там добрый. Я хоть и от вин не откажусь, а слаще того меда — нет! Раньше назывался город тот Рерик, много наших славян там торговало, но захватил его однажды норвежец Рагнар, и стали город называть Хедеби, вот как! А славяне там и сейчас живут, норвежцам они и фризам в торговле — главные соперники. Норсмены в Хедеби утвари золотой и всякого добра много привозят на своих драккарах — и от греков, и от франков, и от англов. Но по мне торговля — пустое, суета. Мое дело — война... — Ходорик грустно замолчал, как это делают уже довольно пьяные люди. — А ты, монах, небось и драккаров не видал? — спросил он вдруг.

Брат Константин отрицательно покачал головой.

— Счастливчик! Потому и живой. — Наемник хрипло засмеялся. — А хаконы Харальд и Рюрик — не такие, как другие ютландцы. Э, да ты, монах, видать, о них и не слышал? Всей Фризии они хозяева, всему Рустрингену. Рус!

Монах понял, что отделаться от болтуна не удастся.

Надо сказать, что брат Константин шел сейчас из бенедиктинского монастыря Райхрад в Моравии с очень важной миссией. Он должен был встретиться в Париже с самим аббатом Нитардом, секретарем короля Карла. Нитард славился своей ученостью и несравненными позна-

ниями в языках. Поэтому все закрывали глаза на то, что он был незаконнорожденным плодом любви дочери Карла Великого и одного придворного поэта.

Моравский настоятель бенедиктинцев просил сообщить аббату Нитарду странные святотатственные вещи: греческие монахи в Моравии изобретают для славян литеры и переводят священные книги на славянские языки, когда всем известно, что священных языков Писания только три — древнееврейский, греческий и латынь. Брат Константин был послан, чтобы подробнее проинформировать обо всем Нитарда, показать образцы литер и текстов, и уж тогда аббат Нитард решит, как лучше доложить обо всем в Рим, великому понтифику Николаю.

Пасхальные колокола забили чаще, в их звоне вдруг почувствовалось что-то паническое. Константин прислушался: точно, они звучали теперь как набат.

Снаружи побежали люди, упало что-то тяжелое, раздались мужские крики, какие-то команды, детский и женский визг. Все выскочили из харчевни.

И Константин увидел, как по реке к Иль де ла Сите приближаются огромные черные ладьи. Их было очень много, вся река ниже по течению, насколько хватало взгляда, была заполнена их квадратными парусами. Ветер дул споро, зловеще увеличивая на них изображения больших черных птиц — то ли орлов, то ли воронов. Нос и корма кораблей были высоко задраны, спереди — зубастые головы каких-то существ, словно порожденных адом. Борта — прикрыты щитами. Корабли медленно приближались. И шли явно не с миром.

Константин ожидал, что сейчас эти огромные чудища сядут на мель: видно было, что Сена у Сите мелка и илиста. Но те продолжали надвигаться не сбавляя скорости, с неотвратимостью беды, словно заговоренные.

— Беги, монах, прячься, где сможешь, хоть под землю! Сейчас здесь начнется ад! — услышал брат Константин за спиной ставший совершенно трезвым голос своего недавнего нахлебника, но, когда оглянулся, того уже не было.

Монах сунулся в подвал харчевни, но там все уже было забито, и его просто вытолкнули наружу. Тогда он бросился по лестнице на чердак — та же история. По улицам метались толпы тех, кому, как и Константину, нигде не удалось найти убежища.

Все произошло очень быстро: ладьи уткнулись носами в ил, и из них посыпались до зубов вооруженные гиганты. Ловко, хорошо зная свое дело, они забросили крюки с канатами на крепостные стены и быстро, словно огромные пауки, стали взбираться по ним наверх. Было что-то наводящее ужас именно в этом их паучьем спокойствии. Жертва замерла в предсмертном оцепенении. Совсем скоро она забьется в паутине...

Немногочисленных вооруженных наемников моментально смяли. И на парижских улицах началась бойня. Пришельцы не щадили никого. Отовсюду неслись женские мольбы, визг и вопли: викинги ловили и насиловали женщин, потом бросали тут же, в апрельскую грязь — голых, с неестественно вывернутыми конечностями, окровавленных, похожих друг на друга, подобных жутким куклам из-за заплывших от кровоподтеков лиц. На иных еще оставались лоскутья нарядных пасхальных обновок...

Брат Константин понял, что укрыться уже не получится, прижался к стене какого-то дома, закрыл глаза и стал молиться. Вдруг он услышал чавканье грязи под чьими-то ногами, совсем рядом, и одновременно — хриплый хохот нескольких глоток. Монах открыл глаза и увидел, что окружен кольцом викингов. Впереди стоял широченный бородач в кожаных штанах, с окровавленным мечом. Викинги



стали притворно складывать руки на груди и, закрыв глаза, «молиться». Один из них отбросил что-то в сторону. Константин неосознанно проследил взглядом за брошенным предметом: это была маленькая человеческая голова, и он успел узнать голову девочки-акробатки. Он почувствовал приступ ужасной тошноты и упал перед гигантами на колени. И боковым зрением увидел, как потащили по грязи его недавнего собеседника Ходорика — тот кричал что-то странное, повторялись слова «игра» и «стол»<sup>1</sup>.

Константин понял, что это конец, что сейчас в грязь покатится и его голова. Он поднялся с коленей, стараясь вернуть себе подобие достоинства. Бородатый викинг удивленно-насмешливо приподнял бровь.

Брат Константин выпрямился и начал молитву дрожащим голосом, но постепенно знакомые слова возвращали ему твердость:

Pater noster, qui es in caelis:  
sanctificetur Nomen Tuum;  
adveniat Regnum Tuum;  
fiat voluntas Tua,  
sicut in caelo, et in terra...<sup>2</sup>

Викинги переглянулись одобрительно-насмешливо, широченный бородач вынул из ножен меч... Брат Константин зажмурился и почувствовал, как что-то горячее полилось по его ногам. И услышал хохот. Викинг почему-то не снес его голову. Он всего лишь рассек ремень на перекинутой через плечо монаха суме. Поддел упавшую суму мечом и вынул содержимое — его книги, перья и пергаменты. Викинги продолжали потешаться.

---

<sup>1</sup> Слово, которое услышал Константин, было *tafl* — «стол» на древнегерманском, также вид шахмат у скандинавов и англосаксов.

<sup>2</sup> «*Pater noster*» — «Отче наш» (*лат.*).

Широченный, наконец, произнес по-франкски — с ужасным выговором, словно река перекатывала камни:

— Ну вот, ученый монах, ты хотел встретить смерть стоя, как мужчина, а обоссался!

Потом он затолкал все обратно в суму и сунул Константину в руки. И тот почувствовал, что его пергаменты как-то связаны с тем, что прямо сейчас его — не убьют.

Викинги поволокли его куда-то по улице, переступая через трупы, похохатывая, указывая на него пальцами и зажимая носы.

На подворье Нотр Дам они составили вместе березовые тротуары и соорудили что-то вроде широкого помоста.

На помосте уже стояли бледный король Карл, архиепископ парижский Энеас, секретарь Нитард, аббат Сен-Жермена, монахи и целая толпа празднично одетых придворных.

Викинги деловито сволакивали в кучи трупы телохранителей короля и уничтоженного отряда наемников. Брата Константина тоже забросили на помост. С неожиданной ловкостью для такого грузного человека на помост за ним запрыгнул и рыжебородый. Конечно, это и был Рагнар.

— Да, нечасто мне приходилось рубить головы такому избранному и нарядному собранию! Прости, твое величество, и потерпи поблизости моего смердящего монаха. Мне он по нраву. Он встал в полный рост перед моим мечом, хоть и обоссался. К тому же долго вам его терпеть все равно не придется... Эй, монах! Доставай из сумки свои хреновины и пиши всё, что сейчас увидишь. А увидишь ты очень интересные вещи.

Константин уже лихорадочно доставал свои письменные принадлежности.

— Пора и нам описывать свои дела, не всё же франкским королям! — Рагнар хохотнул. — Они там много чего

понапишут, да не так как было, а по-ихнему. Так что, за-санец, ничего от себя не прибавляй, пиши всё как есть, всё, что видишь! Сам-то проверить я не смогу, писанину разбирать мне недосуг, а верные люди найдутся.

Он кивнул. На помост зачем-то втащили несколько ве-сов и поставили в ряд.

— А увидишь ты, монах,— продолжил Рагнар,— вот что: если не будет собрано и принесено мне на это по-дворье семь тысяч фунтов самого чистого серебра, то сле-тит с плеч голова короля франков, ну и остальных тоже. А ну, ребята, принесите-ка мне кресло — ноги уж не те, что раньше. Зато с руками все в порядке — рублю и пра-вой, и левой. И не страшись, король, ничего и почувство-вать не успеешь: молочница масло так чисто не разрежет горячим ножом, как я отделию голову от шеи.

Лицо короля было уже не просто бледным, оно приоб-рело землистый оттенок.

— Ты убил всех моих людей, кто же будет собирать для тебя серебро? — тихо спросил Карл.

— Что?! Громче! — заорал Рагнар.

Король срывающимся голосом прокричал опять ту же фразу.

— О, да у тебя громкий голос! Хорошо! Кто из вас тут архиепископ? Поди, ты, толстяк в колпаке? — Рагнар безошибочно определил Энеаса.— Так вот: ты и ты — вы поедете собирать серебро.— Он указал нечистым пальцем на аббата Сен-Жерменского монастыря.— Ре-бята, ну-ка подведите преподобным каких-нибудь кляч, они привезут сюда наше серебро. Крайний срок — до захода солнца. Взвешивая при факелах, можно оши-биться.

Пожилого тучного архиепископа взгромоздили на ло-шадь. Он мелко дрожал и беспрестанно шептал что-то на латыни. Лошадь хлестнули по крупу и, качаясь как куль,

архиепископ поскакал с подворья. Аббат Сен-Жермена вскочил в седло сам и понесся вслед, не оглядываясь. Свита короля стояла ни жива ни мертва.

Из-за ворот подворья раздавались крики, стоны, вой, визг, несло гарью — викинги продолжали разорять Париж.

Константин строчил, не прерываясь ни на минуту.

— Так, ну а чем же нам теперь скоротать время?..

Вдруг толпа викингов расступилась, и люди увидели кое-что еще более странное. Двое гигантского роста, совершенно одинаковых верзил несли в перевернутом щите третьего.

— А, вот и мой сынок Убба!

Убба, по прозванию Бескостный, имел тело взрослого мужчины, а ноги и все, что ниже пояса,— годовалого ребенка. Его всюду носили двое молчаливых близнецов-гигантов. Они испытывали перед Уббой суеверный ужас. На урода часто нападали приступы бешенства, и тогда он немилосердно избивал их. Близнецы были покрыты синяками и ранами, но терпеливо все сносили. Они не возражали бы, наверное, даже если бы он их убил. Убба был умен и зол. Другие братья, и даже отец Рагнар побаивались его, втайне полагая, что тот обладает сверхъестественной силой. Лицом он был даже красив, но его сильно портили очень темные, почти черные губы с мокнущими заедами в углах. Он мог предсказывать бурю, умел толковать сны и непревзойденно играл в тафл.

Убба открыл рот, и все замерли: у него не только нижняя часть тела была годовалого ребенка, но и голос — неожиданно пронзительный и высокий.

— Кто здесь умеет играть в тафл? — спросил «ребенок», и от этого вопроса у многих побежали мурашки.

Все молчали.

— Я спрашиваю: кто умеет играть в тафл?

— Вот этот умеет,— раздался голос.— Сам сказал, когда мы его схватили.

Константин посмотрел в ту сторону и увидел Ходорика со связанными руками.

— Подойди. Ты один такой здесь, кто умеет играть в тафл? Откуда ты?

— Из Хедеби.

— Хорошо, земляк. Развяжите его. Если выиграешь ты — спасешь голову своего короля. Ведь Рагнар все равно может отрубить ее, даже если принесут серебро. Никто не знает. Но если ты выиграешь, король будет жить — мое слово. Если же выиграю я — сам сделаю из него «кровавого орла» во славу Одина.

Убба не мог принимать участие в боях, как другие, и иногда холодел при тайной мысли, что может не попасть в Валхаллу.

— А видел ли ты, король, как делают «кровавого орла» во славу Одина? — прозвучал уже голос Рагнара.

Рагнар подошел к свите Карла, словно высматривая добычу. И вдруг схватил пожилого Нитарда, молниеносно повалил его на помост вниз лицом, потом сорвал одежду, отсек с обеих сторон ребра от позвоночника, вывернул их и, вытянув алые легкие, расправил их на спине несчастного. Женщины завизжали. А Рагнар опустил на колено и поднял окровавленную ладонь к небу, посвящая жертву Одину. Все произошло так быстро, что никто не успел ничего понять. Рагнар поднялся и обвел взглядом людей на помосте.

— Да, о бабах-то я и забыл,— задумчиво сказал он.— Баб — на драккары! Стервы гладкие. И нам в пути веселее, и в Хедеби за них хорошо заплатят.

Несколько мужчин безоружными вступили в отчаянную схватку за своих женщин. Их тут же порубили в куски. Обезумевших, воющих женщин уволокли. Среди них

были и девочки не более десяти лет. Мальчики прижимались к отцам.

А аббат был еще жив. И видно было, как в его грудной клетке шевелится что-то. Сердце еще билось. Нитард багровел и умирал от удушья несколько минут, которые всем показались вечностью.

— Рагнар, ты закончил? Принесите тафл,— пропищал Убба.

Тут в ворота въехала телега, груженная серебряными канделябрами, посудой, монетами, окладами библий и распятиями.

И тогда Константин, дрожащий и заплаканный, в мокрой, вонючей рясе, встал на помосте.

— Я не буду писать для тебя, Рагнар,— сказал он, сотрясаясь всем телом, но твердо.— У меня нет больше страха. Тебя — породил ад.

Он схватил с чаши весов распятие и прижал к груди. Викинги одобрительно переглянулись.

Рагнар пожал плечами:

— Ну что ж, ты мне понравился с самого начала. Но бесполезно оставлять тебя жить, ибо сыновей у тебя, монаха, никогда не будет, и смелость свою ты передать не сможешь.

Короткий взмах его меча закончил земные дни брата Константина.

**П**ривезенное серебро методично взвесили: оказалось чуть больше половины того, что требовал Рагнар.

Убба начал звереть: он никак не мог начать игру. Близнецы втянули головы в плечи.

Наконец принесли тафл — доску, разделенную на клетки, с белыми и черными фигурами. Все знали: выиграть черными труднее, чем белыми. Черные стоят в цент-

ре поля. Окруженные, малочисленные, они должны отбивать нападение белых фигур. И король — всегда среди слабых, черных фигур в доброй северной игре тафл! Белые фигуры стоят с четырех сторон по периметру доски, они всегда начинают игру. Уверенный в себе Убба решил играть черными.

Ходорик взялся за фигуру...

Викинги обступили игроков, но опасались подавать какие-либо советы — Убба уже нескольких отправил за это в Валхаллу. Чего не знал Убба, так это того, что Ходорик с детства умел заработать себе в Хедеби на приличный обед, играя по медхусам. Иногда проигравшие шельмовали его, говоря, что он, как фокусник, незаметно переставлял фигуры в свою пользу, но никто никогда не поймал его за руку и не мог ничего доказать, так что приходилось им выкладывать денежки. Теперь ставка была поболее приличного обеда с выпивкой.

Карл Лысый самым страшным унижением своей жизни считал то, что когда-то усомнились в его законнорожденности. Теперь он понял, что значит быть совершенно втоптаным в грязь, когда твоя королевская голова — на кону игроков, словно пьяная девка из трактира. Он и его свита уже более трех часов стояли на холоде и с ног валились от усталости. И тогда король осмелился и сел на залитый кровью помост, неподалеку от того, что осталось от мудрейшего Нитарда. Остальные пленники тоже стали садиться. Викинги начали поднимать их плетками. Карл схватил занесенную над ним плеть, вырвал ее и бросил на землю. Рагнар сделал знак, чтобы короля оставили в покое, и продолжал наблюдать за игрой. Карл не видел, что происходило там, на доске, скрытой от него мощными спинами, но там сейчас решалась его жизнь. И всякий раз, когда он слышал счастливый «детский» смех Уббы, берущего очередную фигуру, у него холодело сердце.

Викинги продолжали грабить Париж.

Как раз тогда и въехала в ворота еще одна груженная серебром повозка. Рагнар отвлекся от игры и пристально наблюдал, как его старшие сыновья взвешивают серебро. Парижане собрали для викингов 7200 фунтов.

А Убба уже не смеялся своим кошачьим смехом. Игра неожиданно закончилась. В гневе, словно капризный ребенок, он перевернул доску. Он — проиграл ободриту Ходорикку! Голова короля была спасена каким-то безродным и безденежным наемником, дебоширом и любителем выпить. Но и так иногда бывает...

Посланники Людвига Германского намекали Рагнару, что во время нападения на Париж от короля Карла следует избавиться. И Рагнар собирался это сделать.

Но Убба проиграл, а игра есть игра, и конунг счел, что нарушать слово — бесчестно.

Рагнар приказал уходить.

Опять затрубили рога-вардруны. Один за одним, словно сытые волки с окровавленными мордами, драккары отчаливали от Иль де ла Сите. Закончилась страшная парижская Пасха 862-го. На подворье Нотр Дам валялся недописанный Константином пергамент, его впечатала в грязь чья-то нога. Последнее, что было нечетко выведено на нем: «Deus est vires of pallens»<sup>1</sup>. И на помосте осталось лежать серебряное распятие, выхваченное из чаши весов Константином — Рагнар или не заметил его, или просто почему-то решил оставить...

А Ходорик, выигравший в тафл жизнь короля, так и не получил от этого никаких выгод. Он так и не добрался до Рустрингена. Вскоре его труп рыбаки выловили из Сены, и в тавернах говорили, что он утонул спьяну. Вообще все

---

<sup>1</sup> «Бог — сила слабых» (лат.).



ущелевшие очевидцы королевского позора как-то незаметно исчезли — кто погиб в битве, кто — на охоте, кто — не проснулся утром после доброго ужина. Ну что ж, мир полон неожиданных совпадений.

Со страшного дня нападения Рагнара прошла неделя. Карл приказал войску вернуться в Париж и до поры отказался от планов присоединения Прованса.

Парижане медленно приходили в себя от пережитого, хоронили и оплакивали своих близких. В королевских покоях аббатства Сен-Жермен де Пре опозоренный Карл II старался утопить память о своем унижении в вине и вновь и вновь яростно утверждал себя в постели с тоненькой сарацинкой. Она была совершенно раздавлена его королевским величием. Кстати, в Аахене его обманули: она и впрямь оказалась не девственницей.

### Дьяволы Рустрингена

Рюрик знал о Хедеби только по рассказам брата Харальда. Дорога в этот город им обоим была заказана. Их клану Скьольдунгов пришлось бежать оттуда, когда город захватил еще старший Убба с сыном Рагнаром. Это для Харальда там оставалась родина, а все, что помнил с детства Рюрик, был безлесый Рустринген с его низкими зелеными островами, часто затопляемыми белесой, как бельмо, морской водой. Не столько земля, сколько вода.

Если бы не брат, Рюрика не было бы в живых. И еще: из-за него умерла их мать. Однажды, в детстве, он совершенно неожиданно узнал об этом.

Вот как это случилось.

Их клан пришел когда-то сюда на своих драккарах и поселился здесь, на рустрингенском берегу, не спрашивая, кому принадлежала эта земля. Их деревня — новое пристанище беженцев-Скьольдунгов — быстро росла.

Харальд построил дом у самой воды, и они жили здесь вчетвером — Харальд, его подруга славянка Радмила, Рюрик и сын Радмилы Игорь, или Ингвар, как его называли по-северному. С Радмилой мальчишки говорили по-славянски, между собой — мешали славянский и норс, а с Харальдом — только на языке норс. Рюрик и Ингвар часто дрались. Однажды Ингвар — дело было в конце лета — в шутку потащил его во время купания под воду. Рюрик впервые испытал страх смерти и возненавидел тогда за это Ингвара. Он вытащил его на берег и стал избивать. Он озверел как берсерк и не обращал внимания на кровь. Радмила в тот момент месила тесто. Она долго не могла разнять их перепачканными в тесте руками. Потом оттащила сына и прокричала Рюрику на славянском своем, ободритском: «Ты — хуже волчонка!» — и заплакала горько, испуганно. И не хотела больше ни видеть его, ни говорить с ним.

А когда драккары Харальда пришли обратно с добычей, все ему рассказала.

Брат позвал Рюрика и взглядом приказал ему сесть. Рюрик беспрекословно повиновался. Радмила увела куда-то Ингвара с ужасно распухшими носом и ухом. Рюрик сидел с опущенной головой. Он приготовился быть битым. Может, даже убитым. Он знал, как страшен брат в гневе, как боится его дружина. А Харальд смотрел не на Рюрика, а на пламя очага — ночи в Рустрингене уже холодные в конце лета — и говорил словно не с братом, а с самим собой.

— Если человек хочет убивать, значит, он уже вырос. Слушай. Ты должен знать.

Я был уже взрослым, когда наша мать поняла, что носит тебя. Осенью я собирался жениться и строил свой дом рядом с отцовским, на том же холме. Мы совсем не ждали нападения Уббы и Рагнара. Их давно уже не было видно у наших берегов, они все время проводили в набегах на англоv. Драккары старого Уббы пришли осенью, ночью. Дозорных на двух сторожевых башнях убили сразу, так что те не успели протрубить в рога. Люди Уббы быстро высадились, начали врываться на подворья и резать в домах. И стали поджигать огненными стрелами крыши в Хедеби. Мать с вечера мучилась родами в бане, ей помогала соседка-повитуха.

Отец выскочил на порог, и горячая стрела попала ему прямо в глаз. Он упал, а я схватил меч и бросился в баню. Весь пол был залит кровью, и повитуха сказала: «Я не могу ей помочь. Она умрет». И побежала к своей семье, спасаться.

И тогда мать закричала мне, чтобы я разрезал ее, спас тебя и бежал. Она кричала, что уже достаточно пожила. Что должен жить ты.

В первый раз я превратил человека в «кровоавого орла», когда мне было всего четырнадцать зим. Моя рука не дрожала даже в самый первый раз. Но то — был враг. И я никогда не забуду, как это было страшно — резать ее. Она была сильной, и я привык ее слушаться. Я был глуп, я послушался и резал ей живот, и ее кровь смешивалась с моими слезами и потом. Я терзал родную мать, терзал страшно. Наверное, нужно было сначала убить ее, но я не мог. Я старался не смотреть ей в лицо. А мать только молила: «Не задень ребенка... не задень ребенка... не задень ребенка...» — пока не уронила голову и не умерла. Я вынул тебя, отсек от ее тела, даже не обтерев, завернул в то, что подвернулось под руку, и положил за пазуху, как щенка. Ты был синий и мертвый на вид, как выпавший из

гнезда птенец, и весь залит кровью матери. И, прижав тебя одной рукой к груди, а другой — держа наготове меч, я выскочил на улицу.

Наш дом пылал, уже обвалилась крыша, только до бани огонь еще не добрался. И мой недостроенный дом тоже пожирал огонь. Все это останется со мной навсегда...

У ворот нашего дома я увидел мертвое тело. Это была моя невеста, Хельга. Из ее груди торчала стрела, ее глаза были открыты и полны боли. Я даже не мог остановиться, чтобы закрыть своей невесте глаза. И я не остановился. Это тоже останется со мной навсегда. А ведь она, наверное, бежала ко мне за защитой. Я должен был схватить меч и бежать к пристани, принять бой и погибнуть. Но я этого не сделал: мне показалось, что ты шевельнулся. И ты был теплый. Я не знал точно, было ли это твое тепло или еще сохранялось тепло нашей матери. Но ты был теперь всем, что осталось у меня от нашей семьи, и больше всего я хотел, чтобы ты жил. Чтобы мать погибла не напрасно...

Я бросился прочь из Хедеби, в деревню Эрика Скъольдунга, брата отца. Я знал одно: нужно предупредить его, потому что Убба и Рагнар наверняка решили известить нас всех в одну ночь.

С тобой за пазухой я не мог бежать быстро, но я успел. Мы тотчас же погрузились на драккары и уже были в море, когда увидели корабли Уббы — они подходили к опустевшей деревне Эрика. Они тоже заметили нас и начали было погоню, но потом отстали, поняв, что догнать нас не получится, да и лонгботы их сидели слишком низко — они не могли оставить Хедеби, не пограбив его хорошенько.

Я держал тебя за пазухой, как щенка, и думал, что, если ты и умер, не брошу тебя рыбам, а, когда достигнем берега, предам огню, как полагается.. И вдруг ты

шевельнулся у меня за пазухой. Я закричал: «Живой!» — и все собрались вокруг меня. Я достал тебя, и все увидели, как ты пошеволил ногой, маленькой и синей, и открыл глаза, и заорал противно, пронзительно. Все захотали, а я опять, второй раз в тот день, плакал, как будто ты, вот сейчас, родился из меня. Женщинам на драккаре я ничего не успел сказать о тебе. А тут они загомонили, забрали тебя из моих рук. Деревня Эрика Скьольдунга была маленькой, и в ней тогда не было ни одной кормящей женщины, а ты орал все громче и хотел есть. Тебе давали какие-то смоченные тряпочки, но ты слабел, твой крик становился все тише, и я думал, что все равно тебя потеряю... И вдруг впередсмотрящий затрубил в рог: впереди показался Рустринген. Но тогда он был чужим...

Рюрик слушал в глубоком молчании: брат никогда еще не говорил с ним как с взрослым. И этот рассказ потряс его.

— Мы пристали к берегу у ближайшей деревни, высадились с мечами в руках. Я молил Одина и Фрею, чтобы там оказалась кормящая женщина. Это была деревня Радмилы, славянская деревня. Все попрятались — люди норс нападали на них совсем недавно и многих убили. Я держал тебя на руках, а ты уже не орал, а только бессильно мяукал, как котенок. Мы стали посередине деревни и кричали на языке норс, что пришли с миром. И тогда из какой-то хижины вышла женщина, и подошла ко мне без всякого страха, и взяла тебя из моих рук. Это была Радмила. Она как раз кормила Ингвара. Так она выкормила и тебя. Мужа у нее не было, семье своей она была обузой. Мне понравилась ее смелость — выйти к нам, вооруженным, вот так, без страха. Она стала мне подругой, а Ингвар — сыном. Теперь он — твой брат. И вы будете драться с врагами спина к спине, пока для вас не освободит место

на пиршественной скамье Один. И даже там вы будете рядом. Вас выкормила одна и та же женщина. По законам норс — вы братья. Теперь уходи.

**П**осле того разговора прошло много лет.

Много лет веселой рустрингенской вольницы.

В рустрингенских плавнях Скъольдунги построили большой укрепленный лагерь. Там не было ни скотины, ни птицы, ни мягких перин, и туда не разрешалось приводить женщин. Все знали, что это мудро: женщины часто делают жизнь слишком трудной для мужчин. Там были сторожевые вышки, на которых по ночам зажигали огонь, там у дружины был отличный медхус со столом длинным, как пристань в Бирке <sup>1</sup>, там была верфь, чтобы строить и чинить драккары и, конечно, были кузни оружейников. Юноши учились там быть мужчинами и владеть мечом, а главное — избавлялись от низкого страха перед смертью, который свойствен всем живым существам, а из мужчины делает раба. «Свободен тот, кто свободен от страха, — говорил Эрик Скъольдунг под одобрительный гул своей дружины, — все равно, к какому ты принадлежишь племени. Кем бы ты ни был — даном, норвежцем, сверигом <sup>2</sup>, суоми, балтом, вендом, ободритом, — ты принадлежишь клану „рус“, если можешь сказать: „Я смеюсь в лицо смерти! Я не войду к Одину с побелевшими от страха губами!“».

В их дружину пришли воины из множества племен, потому что они, конечно, никогда не нападали на те деревни, откуда был родом кто-нибудь из дружины. Слух об

---

<sup>1</sup> *Бирка* — крупное торговое поселение в средневековой Швеции.

<sup>2</sup> Швед.

этом быстро облетел берега, и к ним стали приходить самые разные искатели приключений и поживы. Они богатели. У них были теперь прекрасные драккары, и каждый воин честно получал свою долю добычи по доблести его. Хорошо было в Рустрингене!

Они ходили на россов и англов, ободритов и вендов. Они стали грозой берегов. И их стали называть «дьяволы Рустрингена». В прибрежных городах строили сторожевые башни и ставили на них дозорных, которые при их появлении били в набат и в ужасе кричали: «Рус!» Король Людвиг Благочестивый, которому официально принадлежала Фризия, несколько раз посылал войско, чтобы покорить их. Но безуспешно. Скъольдунги знали рустрингенские плавни, как стая волков знает лес вокруг своего логова. Сильнее их от Оркнейских островов и до Рейна был теперь только клан Уббы и Рагнара. Вскоре «рус» осмелели совершенно и взяли штурмом богатый город с удобной пристанью на слиянии Рейна и Леха — Дорестада. Город был окружен виноградниками, что посадили еще римляне. В Дорестаде жили фризы и венды, и они ненавидели захватчиков-русов, но в них был силен страх смерти, а значит, годились они только на то, чтобы платить дань тем, кто смеется в ее пустые глазницы. Фризы и венды любили мир и хороши были, только чтоб ухаживать за виноградниками, полями и скотиной, а себя защищать не умели. Дорестада был лакомой приманкой и для кланов из Норвегии и Швеции, однако Убба и Рагнар не совались пока в эти рейнские плавни. А после того, как Эрик и Харальд Скъольдунги отбили несколько жестоких нападений «чужих» викингов, рассудительные жители Дорестада осознали, что уж лучше свои «дьяволы», которых знаешь, чем чужие, которые могут оказаться еще хуже.

И платили «рус» за защиту. В одной из схваток погиб Эрик Скульдунг, и конунгом стал Харальд.

Давно это было.

И Рюрик был совсем еще мальчишкой, когда впервые увидел короля франков. Тогда «русы» снова обратили в бегство храбрых бургундцев Людвига Благочестивого: тяжелооруженные, на лошадях, с огромными треугольными щитами, они ничего не могли поделать с «рустрингенскими дьяволами» в их болотистой вотчине. На этот раз своих бургундцев вел сам король. И Харальд взял короля в плен. Людвиг был красивый старый человек, он очень гордо держал голову. И очень хорошо скрывал свой страх. Рюрику это понравилось. Королю было непривычно, что Харальд говорил с ним как с равным, но викинг ни разу не унижил короля, хотя и мог бы: франк был в его власти, его бургундское войско, пуская пузыри, погружалось в рустрингенскую воду, потому королем *де факто* сейчас был Харальд <sup>1</sup>.

Харальд не стал мешать королю в его попытке «сохранить лицо»: Людвиг попытался представить дело так, что это *его* осенила вдруг идея: сделать Скульдунгов своими поданными и передать Рустринген под их защиту от «других викингов».

— И, конечно, Дорестада, *Людвиг?* — осведомился Харальд. С сарказмом, ибо ответ был всем известен заранее. Дорестада уже давно был их городом и платил дань им.

---

<sup>1</sup> Когда-то Карл Великий, создатель Священной Римской империи и отец Людвига Благочестивого, спросил папу римского Льва Третьего, что важнее — быть королем «де-факто», то есть обладать реальной властью, или королем «де-юре», в легитимности права на власть которого никто не сомневается. На этот крайне сложный вопрос Лев Третий, косясь на отличный меч Карла и на его многочисленных вооруженных и верных вассалов, ответил, что «де факто».



Король сделал вид, что чуть колеблется и что у него действительно есть выбор.

— Вот как договоримся, угощу тебя вином моих добрых рейнских виноградников,— добавил Харальд.

Король чуть поморщился:

— Да уж вино из Дорестада, говорят, и вправду доброе. Ну так уж и быть: бери под опеку и Дорестада. Я пришлю тебе своих людей — помочь возвести укрепления на берегах от... пиратов.

— В Дорестаде уже устроены укрепления от... пиратов, *Людвиг*.

Это действительно так и было. Русы и жители Дорестада свозили лес и вбивали сваи у речных берегов. Работа была долгой, тяжелой и грязной. Но эти сваи, незаметные под водой, запросто могли пропороть днище драккара. Только рулевые «рус» знали на память, где и в каком порядке они вбиты и как подойти к Дорестаду так, чтобы их избежать. «Чужие» пираты, потеряв так несколько лонгботов, больше к городу не совались.

— Вот как, викинг? В Дорестаде уже есть защита? Что ж, тем лучше,— сказал король. Он говорил на языке франков, который был хорошо понятен людям норс. Так стали пираты «рус» маркграфами и официальными вассалами франкского короля.

Ну и попойку они после этого устроили! Рюрик напился первый раз в жизни, и так плохо ему редко потом бывало.

**В** дорестадском медхусе чадили обмотанные паклей факелы. И пьяный Горм Скъольдунг вскочил тогда и закричал на Харальда, что Харальд, наверное, теперь — слабак, что он должен был убить короля франков, когда мог это сделать! Харальд грустно покачал головой, а потом

молниеносно метнул в него нож, и тот вонзился Горму прямо в шею. И пока Горм хрипел, умирая, невозмутимо ответил ему, что если бы он убил короля франков, то это принесло бы «рус» гораздо больше вреда, чем пользы. И продолжил обглаживать баранье ребро. И никто больше не задавал никаких вопросов, потому что «рус» доверяли Харальду: на то он и конунг, чтобы знать, кого убивать, а кого оставлять в живых. А Горм уж, конечно, так и не попадет в Валхаллу: Один не берет туда тех, кто из гордыни говорит так против своего конунга, тем более родича.

Харальд с легкостью согласился на единственное условие Людвиг Благочестивого — креститься. И непременно в Аахенском соборе. В Дорестаде тоже была церковь, где молились местные христиане. Правда, всю бесполезную, хоть и красивую, и ценную золотую и серебряную утварь, какую все христиане так любят собирать в церквях своего бога, викинги уже давно из нее вынесли, переплавили и продали, оставив священникам только парочку совсем уж необходимых предметов, но креститься можно было бы и там.

Однако Людвиг Благочестивый настаивал на крещении именно в Аахене, за что пообещал новые кольчуги, щиты, оружие — все что пожелают. И даже говорил, что без крещения их договор нельзя записать на пергаменте, а без этого у договора не может быть полной силы. Рюрик тогда рассмеялся: договор им принесли мечи, так неужели в них меньше силы, чем в знаках, нацарапанных на скобленной телячьей коже?! Но Харальд отнесся к этому с неожиданной серьезностью. И Рюрик понял, что брат верит в силу франкских знаков. И тоже поверил, что есть в них сила. Потом в Дорестада пришли монахи из Аахена и говорили им о боге, которого где-то очень далеко, на высокой горе, непонятно за что казнили на деревянных перекладинах, сделав ему что-то вроде «кровавого орла».

А может, принесли в жертву. Рюрик тогда ничего этого не понимал и не очень монахов слушал. Раз это был всемогущий бог, как они говорят, то как он дал такое с собой сотворить? А если дал, значит, был слабым, и тогда говорить о нем нечего. А вот значкам на пергаменте Рюрик и Ингвар выучились. Харальду они не давались, слишком уж их было много, чтобы запомнить, а чтобы изображать их — и говорить нечего! Рука у Харальда загрубела от меча, а работа нужна была кропотливая, вроде как девичье вышивание. Харальд сказал: учитеесь, чтобы договор королевский можно было самим прочесть: мало ли что он там нацарапает!

В Аахен они отправились, когда уже стала желтеть листва на ясенях. Шли на драккарах всей дружиной, вооруженные до зубов, готовые к любым неожиданностям. Но река аахенская, Ворм, обмелела и стала просто канавой — пришлось оставить драккары под охраной в другой реке, поглубже, а в Аахен, столицу Людвига, идти пешими. Дружине все это очень не понравилось — думали, король заманивает их в западню. Даже Рюрик, хоть и совсем мальцом был, а знал, что в открытом поле против франкской конницы им не устоять. Потому они шли, по-птичьи вскидываясь на каждый звук и держа ладони поближе к рукояткам мечей. Так они и не поняли тогда, почему Людвиг не устроил им засады на пути в Аахен. Но Харальд был спокоен. Он словно знал, что этого не случится.

Бывали они и раньше в церквях — когда грабили их, конечно. И в очень красивых церквях. Но Аахенский собор, где великий конунг и король франков Карл похоронен, поразил тогда Рюрика больше всего. А Харальд, оглядывая убранство собора, сказал: «Вот какая она, их Валхалла...»

Мальчишки, такие же как и он со Ингваром, но одетые во все белое, непонятно пели красивыми голосами. А на потолке высоко, сводчатом были звезды нарисованы золотом и лица их богов. Красивые лица, но не по себе ему было — смотрели они прямо на него, будто укоряли за что-то. Поэтому старался он глазами с ними не встречаться. Свечи горели везде... И как только строят они такие высокие дома для своего бога? И камни так высоко поднимают... Значит, хоть и мертвый, и слабый, а дает он им силу.

А потом все вышли из собора — и мальчишки поющие, и священники в золотых платьях — и пришли к реке. К той самой, чуть шире канавы. Там викингам сказали всем раздеться до исподнего и оружие оставить на берегу. Тут уж Харальд подступил к Людвигу и сказал, что меча своего он не оставит никому. И дружина загомонила и креститься уже отказывалась. Но священник в высокой, наподобие шлема, шапке сказал, что мечи можно оставить при себе, меч — оружие благородное, с ним креститься можно. Тогда все в исподнем, но перепоясанные мечами, пошли в реку. Вода была теплой-теплой, как молоко только что из вымени. Священник сказал, что в этой реке бьют горячие ключи и потому вода ее — священная и целительная. Кто из дружины был помоложе, да и Рюрик с Ингваром, стали смеяться, плескаться друг на друга, как при купании, но священник, который тоже прямо во всем облачении с ними в воду вошел, читая распевно молитву, прекратил читать и закричал на них на всех, что это не шутовство, а таинство, и попадут они за свои смешки в котел огненный, куда те крещенные попадают, кто Бога не чтит. Про огненный котел «рус» первый раз слышали.

А священник тогда крест поднял над головой и стал говорить, что вот теперь те, кто плохое замыслит против ко-

нунга Людвиг или другого крещеного, или против храма Божьего, попадет прямиком в котлы огненные, подземные, где будут варить их вечно, пока языки их и глаза не сварятся. Мокрая дружина опять стала ругаться на чем свет стоит по-северному и из речки Ворм выходить: креститься совсем уж никто не желал. Но сказали им — и конунг франков, и священники в золотых облачениях, что теперь поздно уже: раз в священную реку входили, Бога христианского тем и признали. А о Валхалле своей, и об Одине поганом, и о Фрее непотребной — всем теперь забыть, как и не знали вовсе. И на берегу певчие мальчишки опять запели. А в камышах птица закричала противным голосом.

Одевались хмуро, а Харальд был чернее тучи. Только теперь он понял, что угодил-таки в Людвигову западню, но в западню иную, неожиданную и невидимую. И ничего теперь было не поделать. Раз Один не вступился, не поразил тогда их певучих мальчишек, их священника в высокой шапке, значит, поняли викинги, сила — на стороне франкского бога.

А тут стали выносить и укладывать перед дружиной обещанные Людвигом дары: оружие, кольчуги — все новенькое, только от кузнецов. Здесь не обманул Людвиг Благочестивый. И повеселела дружина. А сам договор Рюрик прочитать-то по буквам смог и всем видом показывал, что понимает. Но ничего в нем не понял, хотя Харальду не признался. Рюрик и не заметил, как улыбался король и переглядывался со священниками, видя, с какой важностью «читает» парень пергамент. Так стали они в тот год не только маркграфами и вассалами Людвиг, короля франкского, но также и христианами. Кроме тех, кто оставался драккары сторожить.

А на пути обратно в Рустринген воины на драккаре спрашивали Харальда, что ж теперь им делать, каким

богам молиться-то — что-то они совсем запутались. И что делать теперь в Рустрингене со столбами Одина, его воронов, и Фрей, и со столбом брата ее, Фрея — бога плодородия и мужской силы? И Харальд рассудил так: в каждой земле — свои боги. Один безраздельно правит в земле Норс, но они сейчас дальше от той земли и ближе к франкской, потому в Рустрингене бог франков имеет бóльшую силу. Так что теперь надо почитать их Христа, и гневить его не стоит. Про котлы кипящие священники тоже, поди, говорили правду. Но и Одина, и Фрею с ее братом гневить не след. Потому надобно поставить и для Христа теперь столб и вырезать на верхушке его изображение вместе с крестом. И приносить ему жертвы свежей птичьей кровью, как и остальным, и молиться ему тоже, чтобы посылал победы, удачу и сыновей и не отнимал силу мужскую прежде срока. А заберут их после смерти к Одину или Христу — в том валькирии с ангелами как-нибудь разберутся: у тех и у других крылья — сам видел. Ингвар тогда тихонько сказал Рюрику, что уж, конечно, когтистые валькирии не дадут без хорошей драки утянуть их после смерти каким-то пушистым, как гуси, ангелам, что нарисованы на потолке в Аахене. Рюрик и сам тогда так же подумал. В общем, все с мудрым Харальдом согласилось, и стало у них на одного бога больше.

### **Новый конунг**

Когда умер Людвиг Благочестивый, королем франков стал его старший сын Лотар. Он призвал Харальда к себе и подтвердил договор, заключенный с «русами» его отцом. Они стали теперь вассалами Лотара, хотя никакой разницы для них в этом не было. Франки не лезли в рус-трингенские дела, довольствуясь тем, что Харальд со

своей дружиной считался подданным короля и не чеканил своей монеты. Совсем другое пошло дело, когда после смерти Лотара Первого Фризия стала владением его сына Лотара Второго. Харальд ждал приглашения в Аахен для присяги новому королю, но Лотар Второй с приглашением не спешил. А однажды летним утром в рустрингенский лагерь влетел, поднимая пыль, королевский гонец. На отличной лошади, в кольчуге, закрывающей даже шею. Он прокричал, что привез послание конунгу «русов» от нового короля, бросил какой-то свиток прямо на середину лагеря и тут же ускакал, словно боялся погони.

Свиток оказался давним договором с Людвигом Благочестивым. Договор был перечеркнут крест-накрест. Молодой король бросал вызов. Харальд усмехнулся. Он знал, что новое владение юного короля — Лотарингия — как раз между владениями его дядей — Карла Лысого, короля западных франков, и Людвига Германского, короля франков восточных, и что закаленные в интригах и битвах дядюшки точат на наследника-племянника огромные желтые клыки.

Тем же летом пришли в их дружину двое сотоварищей — Аскольд и Дир. Немолоды, уже седина у обоих в волосах, но бойцы оба знатные, страха не знали. Аскольд разговорчив и умен, а Дир — роста богатырского и силы, но без Аскольдова разрешения ни слова не вымолвит, все молчит. Да еще в кузне любил проводить время, свое оружие сам ковал. Любил оружие. И оно у него всегда было в полном порядке, он к этому относился со всей серьезностью. И никогда без дела не сидел. Пока другие в лагере лясы точат да бражничают, он то копье, то щит чинит, то наконечники стрел или меч точит и под нос себе напевает, точно бык мычит. Оба были свериги, родом из Бирки. И много Аскольд рассказывал всем о богатом Микле-

гарде<sup>1</sup>, Городе городов, где раньше служили оба они в гвардии самого императора. Даже про Аахенский собор так и сказал он им, что это — просто лачуга из прутьев по сравнению с соборами и богатствами Миклегарда. В такое и поверить-то было трудно.

Так и служили они, да вот стареть начали, а Аскольд еще и ухо потерял, так что в гвардию миклегардского императора оба они более не годились. Отпустили их с богатыми подарками, как и полагалось по обычаю, но не жилось им в Бирке после чудесного Миклегарда. Дир бы, конечно, где угодно жил, у него своего ума не было. Аскольд же, что в медхусе, что в походах, просто ни о чем другом ни думать, ни говорить не мог, как о том, что в Миклегарде богатств можно на всю жизнь набрать. И что он сам хорошо знает все его укрепления, и как легко можно было бы напасть на город весной, когда император обычно уводит ромейское войско воевать болгар или сарацин, а в городе оставляет флотских друнгариев<sup>2</sup>, а те в защите крепостных стен смыслят не много. Его слушали и хаконы, и дружина. Видно было, он и впрямь знал, о чем говорил.

С приходом Аскольда многим русам стало казаться, что Харальд постарел и потому реже стал водить дружину на богатые города. Только все толкует о братстве да стрижет малую дань с фризов и Дорестада и тем доволен. И церкви теперь разорять запрещает.

И Рюрик, и Ингвар уже давно не только превратились из юношей в воинов, но и самая первая седина стала кое-

---

<sup>1</sup> Так на староскандинавских языках называли Константинополь.

<sup>2</sup> *Друнгарий* — командующий императорским флотом в Византии.



где пробиваться у них на висках. Рюрик поселился в Дорестаде, в добротном срубленном доме с Эфанд — женщиной большой и мягкой. А Ингвар не любил город, остался жить в лагере, в рустрингенских плавнях.

И вот что произошло однажды с Ингваром. Напали они ночью на деревню полабских славян, чтобы захватить их женщин и продать в Бирке. А когда Ингвар под утро приплелся на свой драккар, то, качаясь как пьяный, тащил за собой только белобрысого мальчишку. Был мальчишка лет шести. Трясся и смотрел на всех волчком. Ингвар сказал, тоже колотясь как от жестокого похмелья (берсерки всегда с виду похожи на хмельных), что обуял его в битве Один, и порубил он и мать, и отца, и старших сестер и братьев этого мальчишки. Сам малец в сундуке схоронился. А когда Ингвар откинул крышку сундука, Один его уже покинул, и он снова стал собой.

Ингвару дали вина пополам с медом и уложили спать.

Кто-то поднес меду и мальчишке, но он выбил чарку из чьих-то рук, и она покатилась по палубе, заплескав всех. А мальчишка вывернулся и хотел прыгнуть за борт, но его успали схватить. Он вырывался, кусался. Викинги смеялись и одобрительно гудели: бесстрашный, будет толк! Имя свое полабское малец потом-то уж назвал — Олег, но викинги стали звать его Олафом. Ингвар решил мальчишку не продавать и принял его как сына. Возился с ним, словно мать. И, странное дело, привязался Олаф к убийце своей семьи. И постаревшие Харальд и Радмила тоже полюбили его — как внука. Она всё лопотала мальчишке по-славянски, песни пела. И он называл их бабкой и дедом, а как чуть подрос — воду носил, снег от ворот отгребал. И вскоре вырос в широкоплечего красивого парня и начал ходить в походы с Харальдом, Ингваром и Рюриком. А уж из лука стрелял Олаф так, что не могли с ним тягаться даже взрослые лучники дружины.

Поздней осенью, когда земля жадно ждет снега и готова к нему, а он все не идет, умерла Радмила. Смерть ее очень опечалила Ингвара и Рюрика. Она была им хорошей матерью. Все ее дети с Харальдом умирали один за другим еще младенцами. Рюрик и Ингвар так и остались единственными ее детьми.

Женщины «рус» в Дорестаде обрядили Радмилу в платье из богатых греческих поволок, положили ее на помост из векового дуба, а под помост — веток. Обложили Радмилу подушками и богатой утварью, умастили ее волосы миклегардским маслом, и Харальд, совсем постаревший, почерневший от горя, поднес к веткам огонь. Ветер быстро раздул пламя.

Тризну справляли всю ночь. Харальд выставил столько меда и столько вина (в ту осень виноградники дали особенно добрый урожай), что пьян был весь Дорестада.

А потом Харальд ушел из города в гавань. И сидел там на огромном старом, гниющем у берега драккаре. Драккар давно хотели разобрать, чтобы использовать гвозди и дерево для ремонта других судов, но Харальд когда-то не позволил это сделать, и ветхое чудище просто оттащили в дальнюю бухту и забыли о нем. Вот на нем и провел три дня Харальд. И непрестанно пил. И не разговаривал ни с кем, только с умершей Радмилой. Рюрик тогда думал, что это, конечно же, просто от одиночества и старости, потому что нельзя же в самом деле так убиваться по женщине. Дружина все понимала, и только самые молодые спрашивали, почему это конунг не справляет одинокую тризну на своем новом лонгботе.

Ведь у Харальда был новый, лучший драккар — самый быстрый, предмет зависти многих. И голову драконью на нем вырезали лучшие плотники Бирки, да так, что косила эта голова бешеными глазами, словно живая, и высу-

нутый язык ее был покрашен красным, а зубы — белым. Харальд любил свой драккар больше своего дома. Он так и называл его по северному обычаю — хус, что и значит «дом», к большому неудовольствию Радмилы. Но она была женщина и славянка и не могла понять душу мужчины норс, сколько бы лет ни делила с ним постель.

А теперь Харальд тосковал на старой гнилой посудине в дальней бухте Дорестада. И далеко был виден его небольшой костер на палубе. Но никто не мешал конунгу, потому что такой уж это обычай. А на четвертый день, ближе к ночи, Харальд прислал за Рюриком Аскольда.

Аскольд передал просьбу Эфанд — прямо у калитки, не заходя в дом, и ушел. И Рюрик собрался к брату. Харальд сидел на палубе, обложенный подушками, как покойник. И — трезвый, хотя с лицом опухшим. Он сказал:

— Давно хотел говорить с тобой, Рюрик. Сдается мне, кончилось время нашей веселой вольницы: я и ты и все наши хаконы завели себе в Дорестаде дома, скотину, виноградники, жен, детей. Что с нами стало твориться? В лагере бываем редко. Ожирели. Завидовать стали не доблести — имуществу друг друга. Помнишь, как мы делили добычу? Никто ничего друг от друга не прятал, всё клали на общий стол и делили по доблести и справедливости. Теперь — не так. Вижу, идут времена, когда норс бросят свои драккары рассыхаться под летним солнцем. Будем вырывать друг у друга куски земли, как франки. А потом станем мы овцами, которые только и годны, что для стрижки. И тогда придут какие-нибудь другие стригали и начнут стричь нас...

Он вынул из ножен меч и положил перед собой на палубу:

— Это хороший меч, он сработан честным Сигфридом из Хедеби. Я пришел сюда с этим мечом, с ним и уйду.

И мне не нужен плащ из миклегардских золотых поволок — он не греет зимой, и не нужно железное воронье гнездо, что франки зовут короной — мне нужен шлем, чтобы защитить голову от вражеского удара и продолжать бой.

Харальд надолго замолчал, а Рюрик налил себе из кувшина в глиняный стакан вина и залпом выпил. Он хотел сказать, что ожирели они от того, что давно не водил их конунг в большие походы. Но не сказал. Рюрик не любил вина, он предпочитал мед, но Харальд давно пристрастился к рейнским винам и не пил ничего другого.

— Давно, еще перед нашим крещением,— снова заговорил Харальд,— да ты его уже, наверное, не помнишь, мальцом совсем был,— приходили к нам из Аахена монахи и много рассказывали о своем Боге. Так вот... Бога их схватили и распяли на деревянных перекладинах потому, что один из его сотоварищей его предал.

Рюрик взглянул на брата вопросительно, и Харальд продолжил:

— И никто из сотоварищей Бога так за него и не отомстил. А предатель просто взял серебро и ушел. Будь осторожен, брат. Это может случиться со всяким.

— С тобою этого не случилось.

— Я всегда чувствовал того, кто способен это сделать, и убивал его, чтобы избавить от страшного бремени предательства. Ты должен всегда об этом помнить. Ибо конунгом после меня быть — тебе.

Рюрик ничего не ответил.

— Ты храбр в битве, но не безрассуден, и это как раз то, что требуется от конунга. Ты знаешь, кого поставить в центр, кого на фланги, когда вступить лучникам, как обороняться от конницы. Но... Помнишь, прошлой весной мы ходили на англов, и они выставили против нас сильное войско? Я видел тебя в битве: у тебя нет ненависти к врагу. Так сможешь ли ты убить того, с кем делил хлеб и

корчагу с медом, если он замыслит предательство? Быть конунгом — значит уметь заметить в глазах даже самых близких к тебе тлеющий уголек измены. Надо уметь видеть коварство других, а для этого надо самому быть коварным. Сможешь ли ты? Вот что меня заботит...

— Может, кто-нибудь другой будет лучшим конунгом? Зачем ты позвал меня? — спокойно спросил Рюрик.

— Вот видишь... Это тоже плохой знак: ты спрашиваешь об этом спокойно. Ты не вскочил сейчас, губы твои не побелели от гнева при мысли, что власть уйдет от тебя к другому.

— Ты прав. Я убиваю, только когда это нужно.— Рюрик помолчал и продолжил: — А если все время стараться высматривать в глазах соратников возможную измену, можно вообще перестать видеть что-либо другое. А можно увидеть ее и там, где ее нет.— Харальд не перебивал.— Но тебе нужно, брат, доказательство того, что я могу понимать коварство? Хорошо. Слушай. Ты позвал сейчас меня. Одного из последних доживших до этого дня Скульдунгов. Об этом уже знает дружина, ведь ты прислал за мной Аскольда. Значит, дружина понимает, кого ты решил сделать конунгом. И если бы ты сейчас изменил свое решение, для коварного человека это не имело бы никакого значения. И коварный убил бы тебя, и вынес бы потом твое тело к дружине, и сказал бы, что ты пожелал умереть от меча, потому что не желал умирать от старости, потому что хотел войти к Одину как воин.— Харальд чуть вздрогнул при этих его словах.— И никто никогда не узнал бы, что ты хотел сделать конунгом кого-то другого,— закончил Рюрик.

Харальд улыбнулся:

— Хорошо. Ты понимаешь коварство. Я думал и об Ингваре, но Ингвар стал берсерком. Один раз берсерк — это уже навсегда. А из них — плохие конунги...

Харальд надолго замолчал. А потом непривычно дрожащим голосом спросил Рюрика о самом теперь для себя главном:

— А ты смог бы помочь мне войти в Валхаллу как воину? Ведь если я просто умру от старости, во сне... Скажи, ты — смог бы? — Харальд смотрел на него с надеждой.

Рюрик сел и крепко обнял брата. Вместе они выглядели как отец и сын. И Рюрик только теперь со щемящим чувством увидел, как постарел брат. От Харальда пахло вином, невымытыми волосами и, почему-то, — кожей. И тогда Рюрик заметил, что на брате — новые сапоги. И сразу понял: брат — собрался в дорогу.

— Я никогда не смогу поднять на тебя меч, Харальд. Никогда.

— Даже если я буду молить тебя, как меня молила наша мать?

— Ты сам говорил мне, что тот ужас шел за тобой много лет. Ты и мне желаешь этого попутчика?

Брат указал вдруг на почерневшую палубу драккара:

— Вон там... Там, где дыра от мачты, я стоял и держал тебя за пазухой, когда Один решил вдохнуть в тебя жизнь и ты зашевелился.

Рюрик обнял плечи брата еще крепче.

— А помнишь крещение в реке Ворм? — спросил Харальд. — Я смеялся тогда, я думал, что ради новых франкских мечей для нашей рустрингенской дружины это — сущая безделица. А вот теперь думаю, что не следовало бы этого делать и связываться с христианским Богом. Потому что сейчас это все запутало, и я даже не знаю, какой бог или какой ноккен или дьявол теперь примет меня... Таких слов никогда не говорил мой язык, Рюрик, а сейчас я скажу их: мне — страшно. Если меня возьмет христианский Бог, я никогда не увижу наших родичей, моих пав-

ших сотоваришей, не увижу Радмилу. Что буду тогда делать я у христианского Бога?

Над ними высилось ясное ночное небо, и звезды чисто посверкивали, словно отмытые осенними дождями.

— И всё теперь так непонятно... Один монах из Аахена сказал мне, что убивший себя сам сразу же падает в вечные кипящие котлы. В это верят христиане. Он сказал, что человек не может отнять у себя жизнь, так как она дана свыше. Три дня я думал об этом. Наверное, монах прав. Но умереть в своей постели, а не от меча — значит отдать себя ноккенам тумана... Как мне быть?

Рюрик ничего не мог на это ответить. Он об этом не думал. Даже в Одина и Валхаллу он верил не слишком, как-то больше по привычке, а гораздо больше верил в вещи конкретные — твердость своей руки, остроту своего меча, в новый парус своего небольшого потрепанного драккара.

— Брат, ты еще можешь держать меч, значит, рано пока думать о смерти,— сказал он.— Радмилу не вернешь... Оставь свое горе на этом старом корабле. Под моим кровом у тебя всегда будут чистая постель и добрый обед с чаркой вина. Я буду тебя ждать.

— Дружина теперь — твоя, Рюрик. И мой новый драккар. И кровный враг Рагнар с его сыновьями, у которого осталось пепелище нашего дома в Хедеби. Всё теперь твое. Иди домой, Рюрик. Я приду к тебе завтра...

Брат пришел к нему ночью, во сне. Он был молодым, таким молодым, каким его никак не мог помнить Рюрик. И он стоял в новых сапогах из рыжей кожи у мачты большого незнакомого драккара. Брат поднял руку, прощаясь. И тут же вдалеке закрутилась огромная воронка и стала затягивать драккар, а брат все махал с палубы и спокойно ждал, когда воронка окончательно его затянет. Рюрик хотел крикнуть и не мог, словно у него больше не было горла.

Он проснулся резко, как от удара. Начал лихорадочно одеваться. Эфанд заплотшно, большой белой птицей заметалась по комнате в одной льняной рубашке. Рюрик выскочил из дома и бросился к гавани, не сказав ей ни единого слова. Хлопнула, как пощечина, дверь, и она внезапно остановилась, села на край их остывающей постели, упала на подушку, которая еще хранила его запах, и навзрыд заплакала.

В гавань уже бежал народ.

Старый драккар пылал. На палубе в кольце огня сидел мертвый Харальд. Перед самым рассветом он поджег корабль, а потом сел и наискось рассек себе шею мечом...

Только что встало солнце. Погожим обещал быть этот день.

...Рюрик подошел и перерубил канат, связывавший старый корабль с берегом. Спорым было течение в реке.

Скьольдунги и вся дружина «рус», стоя у воды, ритмично забили мечами о щиты, вновь и вновь хрипло повторяя древнюю песню норс, какую поют, провожая своих конунгов. Провожая в дорогу, не хороня в земле...

Северный ветер драккар направит!  
Один готовит скамьи для пира!  
Он наливает в рога крутые!  
Место готово, скамья для пира!  
Место готово, скамья для пира!  
Место готово!..

И стенали над ними в небе чайки-плакальщицы. Так ведь и зовут их люди норс.

Все дальше уходил от берега пылающий драккар. И тогда Рюрик громко крикнул дружине: «Слушай!»

Воины и хаконы тотчас умолкли. И Рюрик сказал, чтобы «рус» собрались на тризну в медхусе Дорестада, а после



тризны — покинули свои теплые дорестадские дома и вернулись на всю зиму в рустрингенский лагерь — готовиться к походу на Миклегард.

Он закончил, и дружина опять ритмично и мощно забила мечами о щиты — теперь уже приветствуя нового конунга. И громче всех бил о щит хакон Аскольд.

### К Миклегарду

Рюрик снарядил на Миклегард сто пятьдесят драккаров, еще сто — оставил со Свенельдом, самым опытным законом «рус», для защиты Рустрингена.

На драккаре Рюрика шли Аскольд и Ингвар. И также — Олаф, ростом и статью уже почти догнавший конунга. Дир шел на другом корабле.

Путь лежал через земли племен, населявших страну Гардар, или Гардарику. Аскольд уже бывал там и со знанием дела рассказывал, что тамошние народы называют себя суоми, чудь, весь, летты, словены, а все вместе называются они «руотси», или «россы». Они очень похожи на людей норс, но говорят на языке мягком, словно льющийся мед, и понятном, если понимаешь ободритов и вендов. Рюрик с детства хорошо знал эти наречия. И еще говорил Аскольд, что у россов — полноводные реки, но на них много порогов и перекатов. Россы строят очень хорошие речные боты — лады, но не любят моря. Они вообще не любят покидать надолго свои дома и поступают так, только когда отправляются торговать. Еще они делают самый лучший мед, самый слад-



Старая Ладога

кий и самый пьяный. И они верят в своих богов, и их много, а не один, как у греков и франков. Потому нет у них высоких каменных церквей, наполненных золотом и серебром, как у тех, но много резных столбов с изображениями их богов. В городах у них — красивые дома, очень необычные, с крышами, похожими на чешуйчатых огромных рыб. Есть у них богатые склады с добром из разных земель. А особенно, добавлял Аскольд, хороши у них женщины. Они не такие высокие, как у норс, но крутобедрые, белокожие и большеглазые. За них арабы из страны Вандалуз дают много серебряных дирхемов. Леса россов полны зверем с блестящим шелковистым мехом, который не редет и не выцветает, сколько его ни носи. И еще россы делают крепкие канаты, на которых тащат свои ладьи через перекаты рек и из одной реки в другую, чтобы попасть в Миклегард. Летом многие ходят торговать через земли россов. Тем же путем придется идти и дружине Рюрика.

Аскольд говорил, а Рюрик слушал его, стоя рядом на палубе. И вдруг пристально, сбоку, посмотрел на Аскольда. Тот заметил его взгляд, улыбнулся приветливо и открыто. Да, Аскольд действительно много знал о земле россов.

Они прошли большим, похожим на море озером со множеством островов и фиордов, россы называли это озеро — Нево<sup>1</sup>. Так сказал Аскольд.

Потом они вошли в реку, почти такую же широкую, как Элбе<sup>2</sup>, но не такую быструю. Река впадала в озеро Нево, и потому идти теперь пришлось против течения.

---

<sup>1</sup> Ладожское озеро.

<sup>2</sup> Река Эльба.

И все было поначалу привычно, но вдруг стало твориться что-то странное: вода завертелась множеством водоворотов и... река стала поворачивать вспять<sup>1</sup>. «Рус» не видели раньше ничего подобного, и многим стало не по себе. Но драккары теперь легко заскользили уже *по течению*, и все увидели в этом добрый знак. Аскольд ничего об этом сказать не мог.

На высоких берегах стеной стоял сосновый лес, и серые скалы выступали из песчаных обрывов, словно обломки гигантских зубов. Когда солнце начало клониться к закату, стала меняться и погода: подул сильный ветер, небо затянули облака. Они быстро набухли дождем, словно ушибы — кровью. Вода в реке стала свинцово-серой.

Тут они и увидели Алдегьюборг<sup>1</sup>. Город стоял на возвышении и окружен был каменными стенами с башнями. Ниже по течению — пристани и верфь. На деревянных подпорах стояли сразу пять недостроенных лонгботов без драконьих голов. У пристаней было пусто. Аскольд сказал, что обычай здесь для приезжающих такой же, как и в других городах россов: пришельцы могут войти в город только при свете дня, без шлемов и щитов, и одновременно — не более пяти человек, пока их мирные намерения не станут очевидны воеводам князя.

Город казался безмолвным, словно вымер. Жители явно готовились обороняться. Было видно, что город этот — мастеровой, торговый, богатый, как и Дорестад. Но не доносилось из него обычных городских звуков —

---

<sup>1</sup> Иногда весной (очень редко) уровень воды в Ладожском озере поднимался настолько, что Волхов начинал течь обратно к озеру Ильмень. Было поверье, что это предвещает беду.

<sup>2</sup> Совр. Старая Ладога.

стука кузнечных молотов и плотницких топоров, ржания лошадей, говора толпы и криков торговцев. Вместо этого на четырех башнях дозорные уже били в барабаны, поднимая тревогу: уж слишком многочисленным был растянувшийся по реке флот русов. Стены вдруг ошетились нацеленными стрелами, и с обеих сторон от крепости на берега выехала сотня-другая всадников с копьями и щитами самой разной формы и размеров. Рюрик не мог не заметить, как легко было бы драккарам подойти почти под самые стены, — подходы к городу не были защищены, как в Дорестаде.

Драккары один за другим мягко уткнулись в светлый песок — как гигантские рыбины, и оказались в пределах досягаемости стрел, но лучники на стенах чуть ослабили тетивы и выжидали. Как было условлено, дружина тоже ждала — когда с драккара конунга взлетит зажженная стрела — сигнал к высадке. Небо становилось все чернее. Явно надвигалась гроза.

Рюрик, Аскольд, Ингвар и Олаф стояли на носу рядом с головой дракона. С разинутой пастью и белыми зубами, с берега он, наверное, казался среди них «пятым». Вместе с Аскольдом и Ингваром у Рюрика было всего двенадцать законов, и остальные шли на других драккарах.

Донеслось бормотание грома.

— Весной здесь часто бывают грозы — сказал Аскольд.

— Аскольд, как зовут здешних богов? — спросил Рюрик.

— Здесь много богов, я не упомяну всех. Но главный — Перун, бог грома и молнии.

— Кажется, это он нас встречает... — сказал Олаф.

— Мы должны показать россам и их богам, что пришли с миром, — сказал Рюрик.

— Что мешает нам взять этот город? Нас наверняка больше, чем защитников, — пожал плечами Ингвар.

— Я не стал бы этого делать, Ингвар,— усмехнулся Аскольд.— Сразу за этим городом реку преграждают пороги, миновать которые можно, только если знать путь между ними. Без местных проводников мы погубим драккары и людей.

— Аскольд прав. Если мы нападём на Алдегьюборг и осадим его, об этом разнесется слух до самого южного моря, и по всему пути нам будут устраивать засады, мы не сможем обернуться до снега. А когда замерзнут реки... Мы пришли с миром,— решил Рюрик.

С этими словами он медленно снял шлем, высоко поднял его над головой и положил на палубу. Потом поднял щит и положил рядом со шлемом. И вдруг ловко спрыгнул на берег.

По нацеленным стрелам пробежало волнение: лучники на стене снова натянули тетивы. Викинги на драккарах тоже нацелили луки. Сам воздух казался напряженным, как натянутая тетива со смертоносной стрелой.

Безоружный Рюрик, утопая сапогами в песке и скользя по влажной траве, медленно поднимался к воротам в самом центре крепостной стены.

За спиной послышался шум: Олаф тоже оставил шлем и щит и спрыгнул на песок. Они пошли к воротам вместе. Их догнал Ингвар, тоже без шлема. Потом спрыгнул и Аскольд. Ветер ерошил их волосы. В воздухе пряно и резко пахло травой, сосновой смолой и водой.

Резко вспыхнула молния. Рюрик остановился. И вдруг почувствовал страх: в любой момент какой-нибудь из своих или чужих лучников может не выдержать — рука дрогнет, тетива сорвется. Они окажутся под градом разящих стрел. Он ясно представил себе, как железный наколочник пробивает череп или вонзается в глаз. Страшная боль — и темнота. А потом? Он вдруг почувствовал презренное желание жить — то, что заставляет уползать от

лопаты дождевого червя. А он-то думал, что давно победил его... Больше всего Рюрику захотелось сейчас держать щит, прикрыться им.

Обрушился ливень, и небо на тысячу частей расколол такой оглушительный удар грома, что у всех зазвенело в ушах, а в городе от испуга заржали лошади и завыли собаки.

Гроза бушевала прямо над их головами. Медленно поднимаясь к городу в потоках ливня, Рюрик поднял ладони к небу, показывая богам россов, что идет с миром. Вдруг ему показалось, что прямо над закрытыми воротами среди лучников стоит... женщина. Она стояла спокойно, опустив руки, на ней была какая-то красная одежда, яркая и тревожная на фоне багровых туч.

Что это? Зачем там быть женщине? И что ждет его за этими высокими воротами? Они — как рубеж...

Викинги на кораблях, слыша в промежутках между ударами грома биение собственных сердец, следили за каждым шагом своего конунга. А он шел под натянутыми тетивами, и незнакомые боги этой земли тоже, казалось, целились в него сверху.

Почерневшее небо огненной змеей снова рассекла молния, ударил гром..

И вдруг ворота распахнулись. Дружина радостно взревела тысячью глоток и опустила луки.

## Гостомысл

Огрызаясь слабеющим громом, уползали посветлевшие, потерявшие силу тучи.

В городе Рюрика, Ингвара и Олафа встречала дружина россов. Были среди них и пешие, и конные. Они сидели на широкогрудых спокойных лошадях, ноги их бы-

ли вдеты в тяжелые железные стремяна. Повадкой и кольчугами конники походили на франков. В дружине были и другие воины, непохожие на остальных россов — с небольшими луками за спиной, в остроконечных шапках, отороченных мехом лисиц, на лошадках небольших, более подвижных и гривастых. Рюрик вспомнил Аскольдов рассказ об этих наемниках, что живут в бескрайних, как море, жарких степях с высокой травой, какие это несравненные конники, как далеко и без промаха разят их стрелы.

Войско расступалось, чтобы викинги могли пройти к большому медхусу. Вид его поразил Рюрика. Крыша у него была невиданная — круглая, словно перевернутая чаша, а на самом верху — резная башенка. Кровлю образовывали вырезанные из дерева полукружия — некоторые из них поблескивали серебром, так что вся кровля казалась высунувшимся из морской пучины боком огромной рыбины в чешуе.

Над входом он увидел огромные лики русских богов — они были сделаны так искусно, словно в любую минуту могли ожить.

Из медхуса вышел высокий седовласый воин в доброй кольчуге, тоже без шлема, но опоясанный мечом, и пошел Рюрику навстречу молодой, пружинистой походкой.

— Я князь россов Гостомysl, — назвал он себя. — Ты доказал, что пришел с миром. Перун к тебе милостив. Не суди меня за осторожный прием: ты ведешь грозное войско, а на Невгород — так называем мы наш город — часто нападают люди на драккарах, таких же как твои. Из какой ты земли? — Князь, что было неожиданно, говорил на языке норс, но так, как говорят в Бирке све-риги.

— Я — Рюрик. Иду из Рустрингена, земли франков. *К тебе* я пришел с миром. Со своим домом... — Он сделал

жест в сторону реки и своего драккара.— И с верной дружиной<sup>1</sup>.

Гостомысл кивнул:

— Знаю. Ваш народ проводит жизнь на воде и называет ладью домом. И у тебя очень хороший драккар, как мне сказали мои видевшие его... хаконы.

Рюрик не смог скрыть, как приятно была ему эта похвала князя.

— Да, это быстрый зверь. Сработан добрыми плотниками. Но твои плотники куда искуснее.— Он кивнул на диковинный резной медхус.— Мы держим путь в Миклегард. Со мной идут родичи Ингвар и Олаф. Путь неблизкий. Нам нужно твое содействие, князь. И мы заплатим твою цену.

— Россы приветствуют тебя, Рюрик. И твоих родичей, и твою дружину. Вы получите все необходимое, чтобы отправиться в город Константина. Вас проводят в дом, где вы сможете обсушиться, а потом — прошу к моему столу.

— Здравствуй и ты, Гостомысл, и твой дом, и твоя дружина,— сказал Рюрик, переходя на славянский, ободрительский.

Россы заулыбались: его выговор был для них странным и немного смешным, но вполне понятным. По лицу Гостомысла тоже скользнула улыбка, и оно на миг словно помолодело.

«А женщин своих они попрятали. Ни одной так и не увидел»,— разочарованно шепнул Ингвару и Рюрику

---

<sup>1</sup> На староскандинавском (Old Norse) «свой дом» — *sine Hus*, «верная дружина» — *thru Var*. Из неправильной передачи этих словосочетаний, как считают многие авторитетные историки, в частности академик Б. А. Рыбаков, и возникла путаница, увековеченная многочисленными переписчиками летописей — что Рюрик пришел на Русь с братьями Синеусом и Трувором. Которых на самом деле не было.



Олаф, когда они шли к месту своего постоя. Те переглянулись и засмеялись: «Он только за этим и рисковал своей головой!»

Дружина тоже высадилась и разбила лагерь на берегу. Викинги развели костры, сушили одежду и были рады наконец почувствовать свободу после тесноты драккаров. Из города им уже гнали коров и гусей, несли большие круглые хлебы, везли в баклагах знаменитый мед россов. Пир намечался знатный. «Рус» стосковались по доброй свежей пище. Они шли из Рустрингена долго — серп молодой луны за это время стал круглым щитом Одина, и все это время они ели только рыбу, сухари и вяленое мясо.

Недалеко от медхуса Рюрик увидел святилище россов — резные, словно воздушные, столбы с изображениями богов защищала двускатная крыша, обитая такими же полукружиями, из каких была сделана кровля медхуса, которые блестели как золотые. Подойдя поближе, он увидел, что они и есть золотые.

Здесьние боги чем-то напоминали тех, что остались в Рустрингене. Конунг вспомнил свое грозное видение. И почему-то подумал, что увидит среди них женское божество. И оно здесь действительно было. И смотрело пристально, вперив в него свои огромные, круглые, словно от ужаса, глаза. По лицу змеились волосы, похожие на морскую траву, на тонких деревянных губах застыла странная улыбка — как будто богиня знала что-то очень важное, неведомое пока конунгу. Он вспомнил о женщине на крепостной стене. Сейчас он был почти уверен, что она ему почудилась.

**М**едхус князя Гостомысла был очень просторным и убранством напомнил Рюрику медхусы в Бирке — желез-

ные жировые светильники, каменный очаг в углу, длинный стол, по его сторонам во всю длину — резные скамьи. Во главе стола — место для князя. На столе — блюда и чаши из серебра, по стенам — многоцветные тканые полотнища, головы медведей и волков с разинутыми пастьями. Но сразу бросалось в глаза одно отличие медхуса россов — стены были ровно обмазаны белой глиной и расписаны диковинными деревьями и красными цветами. Рюрик даже засмотрелся, так это было красиво. Его с законами усадили от Гостомысла по правую руку, россы расселись по левую. Мечи все оставили у входа, повесив на огромные лосиные рога. Только Гостомysl не снял свой меч — не иначе, знак княжеской власти: ножны его были украшены крестами.

Озираясь по сторонам, ни Рюрик и никто из его людей не заметил, как Аскольд обменялся быстрым взглядом и едва заметными кивками с одним из воевод Гостомысла.

Вошли женщины. С поклоном они ставили яства и вина и старались как можно скорее уйти, не вступая ни с кем в разговоры. Они были недурны собой, но многие из них выглядели рабынями, захваченными в разных землях.

Вскоре из медхуса понеслись звуки доброго пира: громкий многоязычный говор, взвизги ущипленных за мягкие места женщин, нестройное пение, язык которого разобрать было уже трудно. Потом все смолкли, и по струнам гусель-кантеле ударил древний седой суоми. Он монотонно запел что-то об озере Нево.

Гостомysl, увидев, как Рюрик поглядывает на женщин, понимающе усмехнулся:

— Ты проделал долгий путь, можешь взять сегодня на свой драккар любую из них.

И тут один из россов, одетый богаче других, сидевший рядом с Гостомыслом по левую руку, тот, что в начале пи-

ра незаметно обменялся взглядами с Аскольдом, ударил кулаком по столешнице:

— Но не раньше, чем выберу я, какая девка больше всего по вкусу мне!

Певец оборвал пение на полуслове. Рюрик вскочил, с грохотом полетела на пол полная чаша, которую ему только что налили и из которой он не успел еще сделать ни глотка.

Гостомысл медленно поднялся. Он был багров от гнева.

— Эти люди пришли с миром,— прорычал он грозно.— Вадим, ты нарушаешь закон гостеприимства!

— Гостеприимства?! А мне сдается, они пришли как хозяева! Не отвертись, Гостомысл: ты призвал этих варягов! Я давно понял: их мечами ты хочешь укрепить свою власть. Мы платим дань норвегам и свеям, но те хоть приходят и уходят, а этих ты решил посадить над нами навечно, чтобы они сделали нас рабами, пили наш мед и брюхатили наших девок!

Все замерли.

Гостомысл попытался что-то сказать, но только открыл рот и по-рыбьи зашевелил губами. Вдруг его словно пронзила стрела: он резко выпрямился, попытался схватиться за столешницу и тяжело повалился на земляной пол. Какой-то рыжий росс с веснушчатым лицом кинулся к нему, приложил ухо к его груди и поднял на всех потрясенный взгляд, который ясно говорили: Гостомысл — мертв. Да, так иногда бывает: когда сердце человека переполнится густым черным гневом, он разрывает его на части.

Все сгрудились вокруг мертвого князя.

Тут, неожиданно спокойно, заговорил Вадим:

— У Гостомысла нет сыновей. Я — брат его жены, единственный его родич. Мне теперь и быть князем. При мне все будет по-другому!

С этими словами он оттолкнул рыжего, наклонился и начал судорожно отстегивать меч Гостомысла.

И тогда веснушчатый взял чашу мертвого князя. Понюхал остатки его меда, а потом вылил на столешницу. Жидкость странно запузырилась на выскобленном дереве. Так же пузырился на земляном полу и тот мед, что вылился из опрокинутой чаши Рюрика. Как небольшое болотце, откуда выходит земляной газ.

Все замерли.

— Вещий гриб! Вадим, ты... — начал недоуменно рыжий парень.

— Бейте пришлых, верные мне россы! — завопил вдруг Вадим. С быстротой испуганной белки он выхватил меч князя из ножен и одним ударом отсек рыжему россу голову.

Кровь брызнула Рюрику на грудь. Голова с открытыми глазами покатила по столешнице, оставляя кровавый след. Все какое-то мгновение очумело следили за катящейся головой, а потом бросились к висевшим на рогах мечам. Пир превратился в побоище. Рухнули на пол, разлетевшись в куски, рога. Часть россов, казалось, дралась на стороне Вадима, другая — против, а третьи, похоже, сражались против тех и других. Разобрать ничего было нельзя. Рюрику и его хаконам удалось сорвать те мечи, что подвернулись под руку. Они перевернули тяжеленную столешницу и, проталкивая ее ближе к выходу, отбиваясь со всех сторон, стремились под этим прикрытием уйти.

И вдруг Рюрика оглушил мощный удар сзади. В глаза полилось горячее, и наплыла темнота.

## Милена

**О**н был жив — об этом говорила сильная боль в голове, в плече, а также то, что он чувствовал запахи — сена, земли, грибов, а еще хвои и каких-то трав, слышал гуде-

ние комара. Этот мир никак не мог быть ни Валхаллой, ни миром мертвых христианского Бога.

Рюрик открыл глаза. Его мучила жажда. Огляделся. Нет, точно не Валхалла... Он находился в низкой темной хижине с земляным полом, с очагом посередине. На огне кипело какое-то пряное варево. В углу стояла деревянная бадья. Дверь была открыта, и в нее виднелся светлый лес, доносились звонкие, высокие голоса птиц. Его меча с ним не было. Безоружен... Рюрик дотронулся до головы. На затылке — большая опухоль с коркой запекшейся крови. По пояс голый, укрыт шкурой. Плечо перевязано холстиной. И от холстины этой — приторный травный запах. Подступила тошнота. Где кольчуга? Где он вообще? Где Ингвар и Олаф? Драккар? Дружина? В хижине не было ничего, чем он мог бы защититься. Но враг не стал бы перевязывать его рану... Кто здесь живет? Охотник? Рыбак? Вряд ли — снастей в хижине не видно никаких.

Он попытался подняться на ноги, чтобы подойти к бадье, — нет ли там воды? И тут его пронзила такая боль в плече, словно кто-то с размаху всадил копьё. Хижина поплыла перед глазами, и он со стоном опустился на серый набитый сеном мешок, что служил ему постелью.

Снаружи послышались женские голоса. Говорили по-славянски. Один голос был молодой, другой — старчески скрипучий, словно ветер раскачивал сухую ветку. Мужских голосов не было слышно. Это немного успокоило его. Потом где-то совсем рядом залаяла собака.

В низком дверном проеме возникла сторбленная старуха с охапкой хвороста в руках. А за ней, тоже с хворостом, пригнув голову, вошла... высокая женщина. За ними вбежал здоровенный, похожий на волка, пес.

Стиснув зубы, Рюрик опять попытался сесть. Это ему удалось. Пес зарычал на него, оскалив желтые клыки, но женщина осадил его властным окриком. Тот сразу затих

и лег в углу, следя оттуда за каждым его движением немигающими волчьими глазами.

— Ну вот, помогла вечерняя трава, очнулся варяг,— проскрипела старуха.

— Кто вы?.. Где моя дружина, драккар, где мой меч? — Славянские слова возвращались к нему медленно.

Высокая женщина подняла на старуху глаза:

— Оставь нас, Горислава.

Старуха чуть поколебалась.

— Хорошо,— сказала она наконец.— А будет опять метаться да буйствовать, брось в огонь вот этой травы. Ну, пойдем, Волк, силки проверим, может, заяц где угодил!..— Кряхтя, старуха уковыляла прочь и увела собаку.

А женщина, догадавшись, что Рюрика мучает жажда, зачерпнула из бадьи берестяным ковшом воды и поднесла ему. Запястья у нее были тонкие. На правом — тяжелый резной серебряный браслет, он таких раньше нигде не видел. Отверстие в крыше пропускало свет не щедро, но он успел заметить тонкую талию, перехваченную кожаным поясом, полную высокую грудь, до прозрачности белую кожу с красными пятнами комариных укусов там, где ткань приоткрывала ключицы. Пышные волосы перехвачены лентой.

Она смотрела на Рюрика скорбными, темными глазами. Смотрела, как он жадно пил. Пил, пока не опустошил ковш. Женщина была, пожалуй, красивой, но очень уж необычной, не похожей на дорестадских молодых и женщин норс, которых он знал до сих пор. И он чувствовал в ее присутствии какую-то странную скованность.

— Это брошенная хижина,— просто и грустно сказала женщина.— У тебя больше нет дружины и нет драккара. И чем больше людей думают, что мы мертвы, тем нам — лучше. Я — Милена, жена... вдова Гостомысла. И сестра Вадима. Он взял власть в Невгороде...

Рюрик откинулся на тюфяк и вперил отчаянный взгляд в почерневшие балки крыши, словно хотел, чтобы они от этого расступились.

Не спрашивая ни о чем, Милена вышла из хижины и принесла деревянную миску с холодной жареной зайчатиной.

Он жадно накинулся на еду. Теперь он уже знал, какие движения причиняют ему боль, и избегал их. Зайчатина была несоленой и жесткой, но ему показалось, что ничего более вкусного он не ел никогда в жизни. Наудачу спросил чарку меда, но меда не было.

Память медленно возвращала ему картины: гроза, раскаты грома, лучники на стене... И — женщина-призрак в красной одежде на фоне грозových облаков.

Она? Он не помнил. Потом — пир, гудение рожков, заунывное пение старого суоми, катящаяся голова с открытыми глазами, перевернутая столешница... Боль и темнота.

Пока он ел, женщина рассказала ему, что на Волхове было сражение между варягами, и потоплено много ладей. Что варяги ушли дальше по реке через пороги. Что в Невгороде тоже было кровавое сражение — между россамии. Что Вадима поддержала часть россов и наемники, и он победил.

Рюрик отдал пустую миску, обтер руки о штаны:

— Давно я здесь?

— Четвертый день.

— Все... мои драккары ушли? Все до единого?

— Не знаю.

— Как я оказался в лесу?

— Однажды утром мы проснулись здесь от непонятного шума. Кто-то ломал кусты. Испугались: медведь, погоня? Это оказалась заблудившаяся лошадь. Ты был привязан к ее седлу. У Гориславы накошена вечерняя трава, она хорошо

помогает от ран. И ее любят лошади. Вот лошадь и пришла прямо сюда. Ты был весь в засохшей крови. Горислава сказала, что раны твои неопасны, если не будет горячки. Но ты потерял много крови. Повезло тебе: ни на волков, ни на медведя твоя лошадь ночью не набрела. Да они сейчас и не голодны: зайцев и кабанов — видимо-невидимо. А лошадь на следующий день отвязалась и убежала. Вот и всё. У Гориславы плохо гнутся пальцы, это она привязывала...

Рюрик недоумевал. Его лошадь? Не было у него никакой лошади!

— Как ты оказалась здесь?

Женщина подбросила в очаг еще сучьев и какой-то травы. Отрешенно глядя, как они разгораются, медленно заговорила:

— Накануне прихода твоей дружины мне снился странный сон. Черная змея, огромная, скользкая. Она плыла по Волхову, подняв голову. Я знаю, такие сны снятся неспроста. А потом я сама видела: Волхов тек вспять целый день и только к вечеру повернул обратно в Нево. Поэтому я не могла спать, когда шел ваш пир, я сидела в своей горнице на другом конце подворья и прислушивалась. И услышала бой в избе дружины, а потом, за дверью, — голос одного из воевод Гостомысла, Мирослава. Потом он вбежал и закричал, что Гостомысл отравлен, что надо бежать. Стемнело еще не совсем, и я видела, что глаза у Мирослава безумные и лицо — в слезах. Он сказал, что Вадим отрубил голову его старшему сыну. И все-таки он спасал меня. Пока жива, не забуду его верности. Мы проскакали мимо костров твоей дружины. Они увидели нас, смеялись и что-то кричали вслед. Мы доскакали на его коне до небольшой ладьи в камышах. Если бы не Мирослав... Но он должен был вернуться — в городе осталась его семья и — тело сына. Я не помню, сколько



гребла в темноте, без остановки. Ночь — ни единой звезды. Только вода плещет и — ничего больше, словно уже смерть наступила. Несколько раз натыкалась в темноте на берег, отталкивалась и опять гребла. А потом легла на дно ладьи, рядом с мечом, и молила Водяную Мокошь<sup>1</sup> вынести меня... Разбудил меня собачий лай. Было уже светло. Так меня нашла Горислава. Она лесная бабка, травница и ведунья. Живет в пещере неподалеку, пришла на реку проверить свои садки. Я была что мертвая, ладони стерла до мяса. Горислава теперь — мои глаза и уши. Продает в Невгороде целебные травы, людей лечит. Это она пришла и сказала, что твои... что драккары варягов ушли вверх по реке.

— Погоди... Ты сказала: «с мечом»? У тебя есть меч?

Она внимательно посмотрела на него, вышла из хижины и вернулась с тяжелым, длинным свертком. Она даже пригнулась под его тяжестью и несла, обхватив руками, словно младенца. Положила на пол. Отвернула холстину. И Рюрик увидел — меч! В широких ножнах, хорошей франкской работы.

— Мы с Гориславой спрятали и твою кольчугу. Вот только починить ее — нужен будет кузнец.

Рюрик не мог сдержать улыбки:

— Может, у тебя где-нибудь и лонгбот припрятан в прошлогодних листьях?

— Нет у меня лонгбота,— улыбнулась она в ответ,— даже лодку унесло течением. Встали утром, а ее в камышах нет.

Рюрик осторожно приподнялся и сел. Хижина теперь вроде бы плыла меньше.

Он смахнул прилипшую к ножнам листву. Вынул меч. Залюбовался, тронул лезвие: отличный клинок...

---

<sup>1</sup> Божество воды у древних славян.

— Как он тебе... достался?

— Это один из мечей Гостомысла. Всё что успела взять. Подумала, пригодится. Нести его было тяжело!

Он приподнял брови, посмотрел на нее удивленно и с уважением.

Милена помолчала и продолжила:

— Я знаю, что Вадим держит тело Гостомысла. Он ждет. Ждет, пока найдут меня. И тогда — опоят настоем из вещей грибов и сожгут на погребальном костре мужа. По обычаю, жена решает добровольно, но...— Она горько усмехнулась.— Вадим не будет меня спрашивать.

Она все подкладывала хворост в огонь, дым уходил в небольшое отверстие в крыше. Рюрик мог теперь ее как следует рассмотреть.

— Плохо они ищут,— заметил он.— Если Новгород так близко, что старуха доходит туда пешком...

— Пока плохо. У Вадима много дел в самом Новгороде. Много казней. Когда казнит непокорных — будет искать хорошо. А до Новгорода — не близко. Горислава уходит туда на рассвете и только к закату доходит — целый день пути. Другой день торгует и врачует, а на третий — в обратный путь.

— И ты в лесу... одна?

— Со мною Волк. Он получше защита, чем Горислава. И нож у нас есть, и серп. Вот только меч не помог бы — тяжел слишком. Мы его из лодки с Гориславой еле вытащили. И Волк помогал.

Рюрик снова улыбнулся.

— Ну, я-то задал вам работу потруднее! — Он коснулся ее ладони с чуть затянувшимися ранами. И почувствовал благодарность и жалость.

Она тоже неожиданно улыбнулась:

— Да нет, тебя-то мы перекатывали, как куль с мукой! Он засмеялся, представив себе эту сцену.

И оба замолчали, словно подумав одновременно о чем-то одном.

— Почему Вадим так хочет твоей смерти?

Милена молча смотрела через открытую дверь на лес, и Рюрик смотрел на ее лицо — единственное, что было сейчас в этой хижине освещено хорошо. Он не мог оторвать глаз от этой странной женщины, которая сейчас была полностью в его власти. Сознавала ли она это, отдавая ему меч?

Однажды из похода в землю англов он привез вышитую картину, которая так ему понравилась, что он приказал Эфанд повесить ее на самом видном месте в их доме. На картине была самка единорога под деревом с огромными желтыми плодами. Совершенно белое животное, гордо изогнув гибкую шею с тяжелой гривой, смотрело человеческими, грустными, живыми глазами. Диковинное благородное существо. И эта женщина напоминала ему сейчас ту самку единорога — самое редкое, странное и прекрасное существо на земле.

**М**илена рассказала ему, что Гостомысл был союзником и другом ее отца — князя ильменских словен Воислава. Что мать она не помнит — та утонула в озере много лет назад. Что у Гостомысла с женой Умилой не было детей, и отец отдал ее им на воспитание.

Рассказ вернул Милену памятью в ту зиму. Морозы были особенно сильные, и Умила начала кашлять. Она кашляла так, что из горла у нее шла кровь. Знахарки лечили ее всеми настоями, какие знали, но ничто не помогло: к весне Умила умерла. А в конце лета, когда полетела паутина и потянулись по небу косяки птиц, Гостомысл позвал ее и сказал, что полюбил ее, Милену. Так она стала его женой.

— А что Вадим? — спросил Рюрик.

— Вадим вырос с отцом на Ильмене. Мы встретились опять только здесь, взрослыми, уже после смерти отца. Отец не любил Вадима, они враждовали, как два медведя в одной берлоге. Когда отец умер, Вадим отказался возжечь отцовский костер и не был на его тризне. Гостомысл говорил: в них обоих было много упрямства.

— Упрямства? — не понял он слово.

— Когда каждый видит только свою правду.

Рюрик кивнул.

— А перед смертью отец завещал все ильменские земли мне... Чтобы правил ими Гостомысл, а после его смерти — правили бы его сыновья, — пояснила Милена. — Но детей я так и не смогла ему дать.

Рюрик удивленно приподнял брови:

— Земли — завещал женщине?

— Это очень давний обычай, и сейчас уже мало кто ему следует. После смерти отца Вадим остался ни с чем. Гостомысл думал, что отец был несправедлив к Вадиму. Может, эта несправедливость и сделала Вадима таким? И тогда Гостомысл позвал брата и сделал воеводой в своей дружине. И тот пришел... Я думала, теперь его душа смягчится, и он будет благодарен Гостомыслу. Но однажды вдруг увидела, как он смотрел на князя, когда думал, что его никто не видит, и испугалась его глаз, ненависти в них. С тех пор я боялась за Гостомысла каждый день, но он был уверен в своем могуществе и не верил, что Вадим может замышлять что-то против него серьезно. Теперь мне ясно: брат тайно покупал поддержку наемников и предателей.

Она надолго замолчала.

— Ты неправа — сказал Рюрик. — Вадим не нашел бы столько предателей только за подкуп. Купить можно наемников, это правда, но за ним ведь пошли и другие

воеводы твоего князя. Он — оклеветал Гостомысла. Сказал, что «рус» пришли по его призыву поработить Новгород. И россы поверили...— Теперь к Рюрику вернулось все, что случилось в медхусе, и он рассказал ей об этом.

Она молча смотрела в дверной проем. Потом сказала:

— Когда новгородцы не хотят князя, когда думают, что князь плох, вече и волхвы дают ему посох и мешок, а в мешке — сухарь и берестяной ковш для воды. Это — знак, что его изгоняют. Ослушаться этого не может никто. Гостомysl и я — мы бы просто ушли на Ильмень и никогда не вернулись обратно. Для этого не нужен яд в чаше на пиру.

Рюрик посмотрел на нее с недоверием:

— И князь просто так берет этот ваш ковш и сухой хлеб и — уходит?

— Такой обычай.

Он подумал, что женщина сама не знает, что говорит: ни один конунг — ни норсмен, ни франк — такого бы не сделал. Даже если б и ушел, то вернулся бы с дружиной. Но он вдруг подумал, что в этих краях даже река изменяет свое течение, так, наверное, и все здесь бывает по-другому, и ничего не сказал.

— Горислава принесла из Новгорода новости: перед святилищем каждый день казнят тех воевод, кто отказался присягать Вадиму как князю,— тихо сказала Милена.— Это те, кто был с Гостомыслом во многих походах, лучшие воеводы дружины. Их сажают на кол. А семьи сжигают с ними на погребальных кострах. Я чувствую, что ветер доносит смрад даже сюда. Думаю, что и Мирослава тоже... Когда россов убивают враги, это понятно. Но когда сами россы убивают друг друга...

Тут уж Рюрик не выдержал: эта женщина говорила теперь совершенно невозможный вздор.

— Франки беспрестанно убивают друг друга! Даже франкские короли-братья стараются убить друг друга. И кланы норс из соседних фиордов тоже убивают друг друга. Все убивают друг друга. Как иначе? И у россос — как у всех.

— Вадим старается заполнить души и головы ужасом, чтобы ничего другого у людей не осталось... Но ужас пройдет. Вадим — пришлый здесь, он не знает невогородцев. Они привыкли быть свободными, он не усидит князем долго. И я все время молю богов о том дне, когда смогу вернуться в свой город. Хозяйкой.

Рюрик раскатился горьким смехом:

— Чего же ты хочешь, женщина? Быть князем в Невогороде?

Кровь бросилась ей в лицо, но ответила она спокойно:

— Я хочу выжить и вернуться в свой дом. Хозяйкой. А там — как решат боги.

Он приподнялся на локтях. И уже мягче продолжил:

— Ты говоришь о вещах, которых как женщина не разумеешь. Вадим смог взять власть и может править в Невогороде до глубокой старости. И тебе, чтобы вернуться в свой дом и не быть убитой, нужно взять крепость, уничтожить дружину Вадима и всех его наемников. А войска у нас — собака, старуха-травница, ты и еще воин, который не может встать и дойти до двери, чтобы мир не закружился перед глазами!

Он тяжело откинулся на тюфяк и опять стал буравить взглядом стропила.

— Я должен пробраться в город, — сказал он наконец.

Тут уже грустно засмеялась она.

— Почему ты смеешься?

— Да потому что тебя сразу узнают и схватят! Вадим наверняка позаботится об этом.

— Чего я добьюсь, сидя здесь в лесу, прячась, как лисица в норе? — зло спросил он. Спросил не ее, себя.

— Невгород далеко. И к тебе еще не вернулись силы...

Он хотел сказать: «Отчаяние придает силы». Но не мог вспомнить, как по-славянски «отчаяние».

Рюрик сел, подтянул к себе меч и, действуя одной здоровой рукой, застегнул на поясе массивную пряжку. Она не пыталась помочь — словно чувствовала, что ему важно сделать это самому. Поднялся. Распрямился, почти коснувшись головой матицы. Хижина качнулась, но потом «вернулась» на место. И привычная тяжесть оружия придала уверенности.

— Скажи, почему ты так спокойно отдала мне меч? Я уже могу двигаться, я могу захватить какой-нибудь бот на реке и уйти — в Невгород, в Бирку, уйти домой, в Рус-тринген. А сначала... — Он не хотел произносить то самое грубое славянское слово, которые хорошо знал, и вместо этого подбирал другое. — Сначала натешиться тобой и бросить здесь на милость ищеек твоего брата.

— Да. Можешь, — сказала она спокойно и грустно.

— Я здесь чужой, находник<sup>1</sup>. — Это слово было незнакомо Милене, но она его поняла. — Я совсем не знаю тебя, а ты — не знаешь меня. Так почему ты...

— Я подумала, что не случайно тебя привели ко мне боги. И доверяюсь тебе, потому что выхода у меня нет. — И почти прошептала: — Отчаяние...

Они стояли теперь друг против друга — высокие, светлые, в луче, падающем через отверстие в крыше. Она произнесла как раз то слово, которое он мучительно вспоминал — произнесла, словно читая его мысли.

Твердо и без всякой мольбы посмотрела она ему прямо в глаза — так, что достала до самого дна: «Помоги мне, конунг!»

---

<sup>1</sup> Пришлый, иноземец. Так называет скандинавов в летописи Нестор.

Он ничего не сказал. И продолжила она:

— Не зря река повернула вспять и принесла в город твои ладьи, не зря ты сейчас здесь. Я видела, как ты безоружный шел к городу. Тебя ведут боги...

У него опять закружилась голова. Преданный всеми и бессильный. Конунг... «Ведут боги!» — горько улыбнулся он. Он чувствовал страшную досаду на свою слабость.

— Меня предали. И без дружины я — больше не конунг.

Здоровой рукой он слегка отстранил женщину и, нагнувшись в низком дверном проеме, медленно вышел из хижины. Она удивляла его. Не боялась, говорила странные для женщины вещи. И ни разу не напомнила о том, что спасла ему жизнь.

С детства он жил в мужском братстве. В лагерь Харальда женщины не допускались. Были пленницы, захваченные во время походов, но Харальд с детства приучил его не думать о них как о женщинах — они были товаром, который надо было привезти в очередной порт и передать работорговцам. Ему и в голову не приходило разговаривать с ними. Один раз его напоили и заставили изнасиловать пленницу — таково было посвящение в мужчины. А он был так пьян, что не помнил ни той жертвы, ни ее сопротивления, ни своих ощущений.

Потом он впервые влюбился, в шестнадцать лет, в румяную дорестадаскую молочницу. Она была старше и не заставила его долго страдать от любви и научила дух захватывающим штукам на сеновале коровника, и там разговоров было не так уж много. Вернувшись с братом из похода, он нашел свою молочницу совершенно охладевшей к нему и замужней.



Потом была тихая красивая Эфанд, бездетная вдова дорестадакского купца. Она все делала тихо — тихо смеялась, тихо ела, тихо двигалась. Даже горшками у очага ворочала тихо.

Он не помнил, как однажды оказался в ее доме, — видимо, был сильно пьян. А потом был поход на англов. Она встретила его из того похода с караваем вкуснейшего хлеба, как встречают жены, и привела его в свой дом, как будто так и должно было быть. Она отлично жарила мясо и солила селедку, отдавалась ему без капризов, с чувством, похожим на радость, и он решил, что незачем что-то менять. Он вспоминал о ней, когда был голоден, когда рвалась одежда, когда хотелось женщины. Виделись они нечасто. Он был то в рустрингенском лагере, то в походах.

Она никогда не жаловалась, верно ждала. Да его почему-то не слишком и волновало, верна она ему или нет. Хотя он и знал, что верна. С ним она ни в чем не нуждалась. Он даже иногда привозил ей золотые и серебряные украшения. Вот только детей у них не было, а ему все сильнее хотелось сына. Иногда он подумывал оставить ее и попытаться счастья с женщиной помоложе, но не решался: с Эфанд было удобно, тепло и спокойно. Она была как подушка из гусиного пуха, что принимала его усталую, натертую шлемом голову.

Что она думала о своей жизни, чего хотела, к чему стремилась? Этого он не знал, но догадаться было бы несложно.

Милена оказалась совсем другой, но именно поэтому, несмотря на ее женственность и полную от него зависимость, ему было тревожно: он не знал, чего от нее ожидать. Он больше никому не верил. И его мучила неизвестность: Олаф, Ингвар и его хаконы — убиты или предатели?

\* \* \*

**В**адим не спал и вглядывался в темноту.

Новгород теперь был в его руках. Он выбрал правильный момент, он все продумал и — победил! Восторжествовала справедливость, он добился того, о чем мечтал всю жизнь: не быть вторым, не быть чьей-то тенью. Он всерьез уверил себя, что это Гостомысл и сестра настраивали против него отца, чтобы оставить его ни с чем, чтобы самим захватить ильменские земли.

Не вышло: теперь и эти земли, и Нево, и Волхов — вся эта длинная и доходная ветка торгового пути — в его руках. Плохо только одно — Милена бежала. И она не смогла бы сделать это без чьей-то помощи. Значит, кто-то ее предупредил, кто-то ей помог. И этот «кто-то», возможно, сейчас — в его доме, среди его окружения, наливает ему мед, кричит ему здравницы.

Днем он всматривался окружавшим его людям в глаза, словно через глаза пытался проникнуть им в головы. Те, кто не выдерживал взгляда, попадали под подозрение. И ночь за ночью он спал все хуже.

Больше всего Вадим боялся, что его отравят. Он начал давать принесенную еду сначала своим собакам, но потом пожалел их — собаки стали уже единственными существами, привязанными к нему безусловно, единственными, кому он полностью доверял. Вадим не желал их гибели. Тогда были призваны его ближайшие соратники. Они пробовали пищу с серьезными и бледными лицами, а он испытующе смотрел на них и ждал. Но даже этого ему скоро показалось недостаточно. Теперь во время трапез у его ног сидело похожее на гигантскую жабу слабоумное существо неопределенного пола. Он кормил его из рук, а оно жадно заглатывало все своим широким ртом. И тихо хихикало.

Казнены были уже все, кто отказался признать его князем, и все, кого некогда возвысил Гостомысл. Их пытали, но никто из них не сказал, где скрывается сестра. Даже медленно умирая на остро заточенных колах, пропоровших все нутро, они хрипели, что не знают, где Милена. Но Вадим им не верил. Плохо, правда, то, что эти казни уже ополовинили дружину Гостомысла и не оставили ни одного толкового воеводы. Но Вадим считал это не таким уж злом по сравнению с возможной смутой.

Жену Мирослава пытали на глазах ее мужа, жгли ей лицо пастушьим тавром перед тем, как перерезать ей горло — как старой, отжившей свой век кобыле. Мирослав, со связанными руками, два раза терял сознание, и его отливали ледяной водой, но воевода продолжал молчать.

Теперь Вадим собирался устроить последнюю показательную казнь — самого Мирослава и его сыновей. Он хотел сделать это перед святилищем. Он прикажет волхвам посвятить кровь мятежников Перуну. Даже самые упорные из его противников поймут после этого, что он — победил. Вот только в волхвах он теперь тоже не слишком был уверен.

Нет, он все рассчитал и все делал правильно. И жалел только об одном своем поступке. Совсем недавно он послал за старшими волхвами и приказал им спросить богов, где скрывается Милена. В поисках Милены он приказал прочесать лес в округе, но люди пришли ни с чем. Он не мог отправить людей дальше в лес и на более долгий срок — каждый верный человек был необходим ему в городе: опасность смуты еще оставалась. Поэтому, кроме волхвов, помочь ему теперь не мог никто.

Всю предшествовавшую встрече с волхвами ночь он не спал. Так и пролежал до рассвета, уставившись в темноту, и у него не было терпения на почтительное обращение, к которому волхвы привыкли. А они держались независимо,

дерзко и совершенно вывели его из себя. Волхвы не привыкли, чтобы им приказывали князя: князей можно было изгонять, волхвов — нет. И они ответили ему при всех, что служат не ему, а высшим силам, и приказывать им он не может. Вадим задохнулся от этого вызова. Люди вокруг смотрели выжидающе, а некоторые, ему показалось, даже прятали усмешки. И он приказал всем троиим волхвам отрубить головы. Если б они возразили ему хотя бы не при всех... Да, волхвы были сами виноваты — они не оставили ему выбора. Теперь он чувствовал, что этой казнью перешел некую черту, и даже его близкие сторонники отшатнулись...

И все-таки Милену нужно было найти. Что бы ни делал теперь Вадим, все знали, что она — единственная наследница всех ильменских земель. Об этом однажды объявил сам отец, собрав всех воевод — своих и Гостомысловых — на большом пиру, что длился три дня. Проклятые три дня, проклятый пир, проклятый отец! Вадим ненавидел этого человека даже мертвого: почему боги не дали ему отца, которого он мог хотя бы уважать!

Конечно, после Гостомысла Милена сама не стала бы распоряжаться этими землями — это мог делать только ее новый муж. А если его нет — вече, горожане Невгорода! Вот чего добивается этот сброд! Старые обычаи россов! Время менять эти обычаи... И решать теперь будет он.

А сестра довольно красива, значит, муж — только вопрос времени. А она уж постарается, чтобы избранником ее стал кто-нибудь, способный расправиться с ним, с Вадимом! Благодетельница... Уговорила Гостомысла взять его в дружину! А Гостомysl все равно никогда не признавал его первенства как родича перед другими воеводами. Несколько раз унизил его при всех! Вот за то и проглотил вещей гриб, старый медведь! Оба они — и сестрица и Гостомysl — его ненавидели и приветили-то из жалости.

Вадим не позволит себя жалеть! То, что ему не дают, он берет сам! А ведь Вадим мог быть отважен в битве. Взять хотя бы последний поход Гостомысла на степняков!

Он уж позаботится о том, чтобы Милена вознеслась с черным дымом к богам на большом погребальном костре своего мужа... А потом он устроит для горожан хорошую тризну и после этого сядет в Невгороде полноправным князем.

После казни Мирослава и его сыновей Вадим решил бросить все силы на поиски сестры. «А может, она тоже все-таки сгинула?» — с надеждой думал он.

И еще одно заботило Вадима: варяжские пленники сидели в яме уже который день, об этом охотно болтала его челядь на верфи, в харчевнях, в кузнях, на мельницах, но вызволять их Рюрик не являлся. При таком росте этому селедочнику смешаться с толпой даже в Невгороде было бы трудно. А ведь пленные — его родичи. Стало быть, мертв? А что, если варяг просто *не желает* их вызволять?! Стал бы он сам, брат, *делать это* для Милены? Так, может, конунг все-таки жив? И скрывается? Ждет момента, чтобы напасть? Улизнул и собирает новое войско?

Еще одна бессонная ночь... А если это боги мстят ему за казненных волхвов? Его прошибла холодная испарина. Или сами мертвые волхвы наслали на него этот недуг и потешаются сейчас над ним из темноты? Он вздрогнул — ему показалось, что кто-то шевельнулся сейчас в темноте дальнего угла княжей избы. Он испуганно уставился во тьму. Нет, никого...

Чтобы заснуть наконец хотя бы от утомления, Вадим приказал привести ему в постель двух степнячек-невольниц, отнятых у кого-то из воевод. Но девки пришли заspanные, их равнодушная покорность раздражала, он никак не мог по-настоящему возбудиться и прогнал их прочь. Они уходили, кутаясь в свои покрывала, и он заметил на

лице одной мелькнувшую усмешку. Он ударил ее по губам. И еще. И еще. И еще!

— Это тебе, чтобы не смела улыбаться своему господину! — сорвался он на крик.

— Никогда, господин! — ответила хазарская сучка и опять улыбнулась рассеченными в кровь губами.

В глазах его потемнело. Пульсирующая боль охватила весь затылок и через виски подступила к глазам.

И тут в Невгороде заголосили петухи.

## Олаф

Когда Аскольд занес над Рюриком меч — там, в медхусе конунга россов, — Олаф не поверил сначала своим глазам, но тут же бросился на предателя. Аскольд все же успел ударить, но меч задел Рюрика только вскользь, и вся сила удара пришлась по краю перевернутой столешницы. Они с Ингваром пытались вынести залитого кровью Рюрика из битвы и одновременно отбивались от Аскольда. Олаф видел, что в дальнем конце медхуса дрались остальные хаконы, которых тоже втянули в побоище.

Олафу и Ингвару удалось вырваться наружу. Рюрик был без чувств, но, кажется, дышал.

— Там — коновязь! К кораблям, быстро! — прорычал Ингвар, взваливая на себя огромное тело брата.

— Оставлять пир, не попрощавшись?! — раздался вдруг за спиной голос Аскольда.

— Ингвар, уходи, я задержу его! — крикнул Олаф и бросился на него с мечом. Из беззаконного медхуса неслись приглушенные, словно сквозь вату, звуки побоища. Ворота крепости были распахнуты.

Ингвар дотащил Рюрика до коновязи, отвязал оседланную лошадь, с нескольких попыток (лошадь нервно

ржала и не хотела стоять на месте) тяжело перекинул брата через седло, привязал его поводом к стремени... Копье насквозь пробило ему колено сзади. Теряя сознание, он все-таки успел ударить лошадь по крупу, и та понеслась прочь из ворот крепости к лесу — с бесчувственным, залитым кровью Рюриком на спине.

Очнувшись на дне ямы, Олаф услышал над собой словно с неба доносящиеся голоса:

— ...Лошадь с трупом нигде не смогли найти, точно Мокошь в реку утянула! — сказал один голос. Говорили по-славянски.

— Если он жив и сбежал, покрутитесь у меня на колу! — раздраженно ответил другой.

— А что с этими делать, Вадим? — спросил первый голос.— У одного нога разворочена, другой — тоже не лучше, еле дышит. Добить да и сжечь вместе с остальными?

— Мой человек спрашивает, не лучше ли их добить, Аскольд? — спросил второй голос на языке норс.

— Я понял, что спрашивает твой человек,— услышал Олаф голос Аскольда.— Эти — твои. Делай, что хочешь.

— Да, ничего не скажешь, дар!.. Так ты думаешь, дружина Рюрика пойдет за тобой в Миклегард?

— Все законы Рюрика — мертвы. Вон они, у стены, лежат в ряд. И что-то пока не видно прилетевших за ними валькирий! — Голоса засмеялись весело, уверенно.— У дружины есть выбор: или со мной в Миклегард, или за своим конунгом и законами — в Валхаллу! Но среди «рус» — достаточно верных мне людей. Я обещал им неслыханную долю в добыче. Да и добыча будет неслыханной.

— Ты уверен, что он мертв?

— Рюрик? Уверенным в этом можно быть только тогда, когда голова лежит на некотором расстоянии от шеи.

Щенок помешал мне снести ему голову, я зацепил его только краем. Да не бойся! Он теперь совсем один, тяжело ранен и не опасен. Да и протянет он не долго!

— А этот Рюрик, он очень привязан к своим родичам?

— Да, можно сказать и так, хотя ничего нельзя знать наверняка! — Аскольд рассмеялся. — Еще той зимой, на Ильмене у твоего отца, я знал, что рано или поздно ты своего добьешься. Хитрый, дьявол... Или как там тебя теперь — князь Вадим? — Он помолчал: — А я ведь понял: ты спрашивал о родичах и Рюрике потому, что решил поймать конунга «на живца»? Ловко!

Олаф слышал, как Вадим довольно усмехнулся.

— Я рад был нашей встрече, Одноухий Аскольд! Когда обратно из Миклегарда?

— Через год, перед самой короткой ночью мы должны быть уже здесь. Зимовать будем в Миклегарде. Там зимы мягкие. Да, если тебе, как возьмем Миклегард, нужна будет моя помощь, можешь рассчитывать на моих людей, и возьму за это недорого, как с друга. Да, все хотел спросить: откуда у тебя в дружине степняки? И впрямь они добрые конники?

— Конники — лучше не бывает! А появились у нас две зимы назад. Говорят, что раньше кочевали по берегам Большой Реки и жили сытно, но жестокая засуха уничтожила их пастбища и скот. И потому, мол, ушли в другие земли, что остались совсем без женщин — одни умерли, другие — нашли мужей в сытных землях, а эти молодцы сели на оставшихся коней и стали сражаться за тех, кто дает им женщин, мед и серебро.

Аскольд засмеялся:

— За женщин и серебро, значит? Ну что ж, бывает. Смотри, чтоб им и вся земля твоя не приглянулась со временем. Так тоже бывает. — И добавил: — А смуту любую подавляй страхом. Только страхом! Я старше тебя, Вадим,



и поверь моему опыту: правит долго только тот, кого уважают, а уважают только тех, кого боятся.

Они еще что-то говорили, но уже отходили от ямы, и Олаф не мог разобрать ничего.

**В**адим решил не убивать родичей Рюрика, а оставить их в яме и распустить об этом слухи по городу. Если Рюрик все-таки жив, он заглочит эту наживку и придет сам. А Аскольду Вадим хотел сначала предложить службу, но потом передумал. Манит того Миклегард — тем лучше: чем дальше этот коварный селечодник со своей дружиной, тем ему, Вадиму, новому негородскому князю, спокойнее. А то кто его знает, что у того на уме, если он — даже со своими так... Теперь Вадима даже беспокоило возвращение Аскольда будущим летом. Что, если Однотухий, вернувшись от греков, не пойдет в Рустринген, а вместо этого попытается сместить его здесь? На всякий случай Вадим решил хорошенько подготовиться к его приходу. Но сначала нужно было утвердиться в Невгороде князем.

**О**лаф знал, что это очень дождливая ночь, но больше ничего о мире не знал. Сколько прошло дней? Мысли путались. Где это он? Грудь болела, было трудно даже сделать вдох. Наверное, поломаны ребра. Олаф физически чувствовал, как стены колодца сдавливают его легкие и мешают дышать. Все что ему сейчас было нужно, это сделать глубокий вдох. Но мешала боль в груди. И — эти стены. Он чувствовал их, даже не видя в темноте. Холодным потом прошиб вдруг ужас: что, если его здесь просто засыпят землей? Он прикрыл глаза ладонями: думать о море. Море... Простор...

Пошел сильный дождь. Сквозь тяжелую деревянную решетку в яму хлынули потоки воды. Олаф встал и прислонился к стене. Вода была холодной, весенней. В колодец с писком падали мыши-полевки и тонули, пальцы иногда ощущали в воде их тельца. Одна упала ему на плечо, побежала, пища. Он поймал ее, зажал в кулаке. Страшно хотелось есть, но все же не настолько, чтобы победить в себе отвращение, и он выпустил этот мокрый комочек, бьющийся в безумном желании продолжать жизнь. Если дождь будет идти неделю, месяц, год — вспыхнула сумасшедшая мысль — то яма наполнится, и он всплывет с водой, поднимется к самой решетке и попытается ее взломать!

Он уже очень ослабел. Раньше ему бросали хотя бы кусок хлеба и спускали бадью с водой, но вот уже несколько дней не приносили и этого. Голова сильно кружилась, и от этого ему легче было представить себя где-то еще — не здесь, не в этой яме.

Он встал и ошупал земляные стены. Они были на том же месте, не придвинулись. Забыть о них... Море. Ветер. Парус. Драккар... Что они сделали с драккаром Рюрика? А Ингвар — что они сделали с ним? Где вся дружина? Он крикнул и испугался — так страшно, безнадежно и оглушительно забился, запульсировал в тесном колодце его крик.

И вдруг услышал ответ. Это был голос Ингвара!

Олаф вскочил и — показалось ему — наполнил колодец криком до самой решетки. И закричал на норс: «Ингвар, я здесь!» Шум ливня — всё, что было ему ответом. Но через некоторое время он услышал: Ингвар смеялся. Его голос шел как будто из самой земляной глубины и был до неузнаваемости веселым. Он пел залихватскую, знакомую всем песню, полную славянских ругательств, — о том, что лучше: девки или пьяный мед?

Дикая радость придала Олафу сил. Ингвар — здесь, и он жив, он не пал духом! И Олаф стал подпевать ему дрожащим от радости голосом: «Ингвар, я здесь! С чего ты это так весел, старый черт?» Но тот не отвечал, а сам продолжал петь. Потом он запел другую песню — протяжную северную песню гребца-викинга. А потом — еще одну. И радость Олафа сменилась недоумением, потом тревогой, а потом — нежеланием принимать! Олаф кричал и кричал: «Ингвар!» Кричал, пока совершенно не сорвал голос и из его рта не стало вылетать только бессильное шипение: «Ингвар... Ингвар... Ингвар...» И тогда стекавшие по лицу капли дождя стали солеными.

А рядом, в таком же колодце, обезумевший Ингвар пел и пел свои страшные песни. Постепенно его пение становилось отрывистее и слабее, и наконец его голос совсем умолк.

На следующую ночь Олаф услышал сверху тихий пошви́ст. Он открыл глаза и поднял голову.

— Эй, варяг, селечодник, ты жив?.. Веревку держать можешь?

### Русалочья ночь

Прошло много дней. Становилось все жарче, и комары докучали меньше. К тому же у Гориславы было полно какой-то чудодейственной травы, дым от которой хорошо отгонял гнус и в самые сырые вечера. Плечо у Рюрика уже почти не болело даже после целого дня упражнений с тяжелым мечом Гостомысла. Не далее полета стрелы от хижины нашелся родник, питавший неглубокое лесное озеро с прозрачной водой, темной от осыпавшейся в него хвои. Рюрик настолько окреп, что мог теперь переплывать это «хвойное» озеро. Вода, становившаяся все теплее, лас-

кала крепкие мышцы его огромного поджарого тела, и серебристыми стрелками разлетались в ней небольшие рыбешки.

С каждым днем эта новая для него земля завораживала его все больше, и ему казалось, что Рустринген, Дорестада остались в какой-то прошлой жизни. Он смастерил себе лук и острогу, и у них не было недостатка в свежей рыбе и дичи. А Волк привязался к нему и отлично брал кабаньих след.

Только вот старая Горислава уже не ходила в город — она заболела в своей пещере и надрывно кашляла, лечась какими-то настойками и пахучими дымами. Милена носила ей воду и жареное мясо, но та почти ничего не ела. Последняя новость, которую она принесла из Невгорода, была о расправе Вадима над волхвами. И о том, что начали хватать людей за гневные об этом разговоры и что в городе все больше ненависти к новому князю.

Рюрик делил хижину с Миленой и по ночам уже давно изнемогал от желания. Но что-то мешало ему просто наброситься на нее — даже притом, что отказывать ему из-за безвыходности своего положения она бы, наверное, не стала. Ему почему-то важно было, чтобы она сама предложила ему себя. Но Милена держалась отстраненно. А ведь он чувствовал ее страстность, он видел, как напрягались под платьем ее соски, когда он невзначай дотрагивался до нее, он видел, как она украдкой смотрела на его тело, когда он раздевался у озера. Это мучило его ужасно. Но сильнее он боялся того, что Милена может взять над ним власти больше, чем он обычно давал над собою женщинам. И еще одно чувство было новым: он боялся *своей готовности* дать ей эту власть. Борясь с этим, он был с нею намеренно груб, насмешлив. Она спокойно все сносила, готовила пищу, чинила их немудреную одежду. И ни разу явно не показала свой интерес к нему как к мужчине.

Проще всего было бы ночью задрать ей рубаху и... Но он чувствовал: такое простое задираание рубахи станет его поражением. А он хотел, чтобы женщина знала свое место. И напускал на себя равнодушие. Но этой игрой самолюбия довел себя почти до иступления.

...Однажды он проснулся среди ночи — захотелось пить. В хижине было жарко и душно. И вдруг он заметил, что Милены — нет.. Ее тюфяк в углу был пуст. С неприятным чувством Рюрик ждал и ждал в темноте хижины, а она все не возвращалась. В очаге как всегда курился какой-то пряный дым.

Рюрик забеспокоился всерьез. Он выскочил на воздух без рубахи и босой, тихо, опасаясь кричать, позвал ее по имени. Никто не отозвался. Вокруг стоял освещенный полной луной лес. Он пошел по этому ночному лесу, залитому лунным сиянием, рая ноги об острые шишки.

...Милена стояла в воде их озера по пояс — обнаженная, с распущенными мокрыми волосами, и рядом с нею плескались тысячи осколков разбитой ею в воде луны.

Она повернулась к нему спокойно, с царственной негой, совсем не удивившись его появлению, словно и это озеро с черной водой, и полная луна, и эта необычно жаркая ночь принадлежали только ей, а он здесь был лишь гостем.

Да так оно и было: откуда мог знать викинг Рюрик с серыми, как вода зимнего моря, глазами, что эта ночь у россов — особая. Русалочья.

Где-то в соснах крикнула невидимая неясность. Береговой песок приятно охлаждал босые ноги. Рюрик на минуту остановился, пораженный красотой этой ночи, этого озера, этой женщины. А мокрая, голая Милена уже шла ему навстречу. Она вышла из воды и остановилась напротив него совершенно спокойно и бесстыдно. Ее тело белело в ночи. И ему вдруг показалось, что она и есть то таинст-

венное существо с вышивки англов, принявшее вдруг облик земной женщины.

Рюрика затрясло как в ознобе, и он рванулся к ней и наконец-то, после стольких своих терзаний, схватил ее податливое прохладное тело, и вжал в себя ее полные груди с темными напряженными сосками, и впился в ее влажный рот, как волк в жертву. Никогда еще не желал он женщины с такой нежной и одновременно звериной силой. Она ответила ему с жадностью. А когда оторвалась на миг, чтобы сделать вдох, посмотрела на него радостно и победительно.

Потом положила руку на его подрагивающее огромное плечо, изуродованное рубцом затянувшейся раны, и, глядя прямо в его затуманенные глаза, которые не видели сейчас ничего, кроме нее, повлекла в воду...

Никогда еще Рюрик не испытывал такого пронзительного, такого полного наслаждения женщиной. Оно накаtywало, как приливная волна, и становилось все сильнее и сильнее — когда казалось, что сильнее быть уже не может...

**Ч**его не знал и не мог знать Рюрик, да и никто в Невгороде, так это того, что флот Рагнара Мохнатые Штаны в сто драккаров, хорошенько отпраздновав знатную парижскую добычу и продав на рынках Хедеби церковное серебро и невольниц, сломил сопротивление Свенельда, разорил Рустринген и уже направляется к берегам россов.

**О**днажды Милена, придя, как обычно, утром в пещеру старой Гориславы, нашла ее совсем слабой. Старуха лежала с закрытыми глазами, потемневшая, словно старое поваленное ветром дерево.

Внезапно она села на топчане — так что Милена вздрогнула от неожиданности, больно схватила ее руку своими узловатыми пальцами, оцарапав ногтями, и зашептала беззубым ртом: «Река — вспять... Новый город... мальчик... находник-князь... ладя... смерть». Потом крючки ее пальцев разжались, она опустила на спину и затихла.

Волк потянул носом воздух и вдруг, запрокинув голову, завыл протяжно, леденяще, словно умоляя о чем-то. И Милене не по себе стало от слов старухи, они показались каким-то нехорошим пророчеством.

Гориславу они похоронили в лесу, чтобы не разводил большого огня и не привлекать внимания к своей хижине. И теперь надо было решать, что делать. Жить в лесу и дальше, ничего не зная, Рюрик больше не мог. Он решил оставить Милене побольше еды и постараться все-таки проникнуть в город.

А на следующий день произошло вот что.

Этого кабана Рюрик выслеживал вот уже несколько дней. Он слышал его: зверь трещал валежником вокруг хижины по ночам, но днем хорошо прятался где-то в чаще. С утра было пасмурно, и Рюрик не знал, как долго они с Волком искали логово. Поиски увели их довольно далеко от тех мест, где они охотились обычно. Наконец Волк взял след — пригнул голову и быстро затрусил, не поднимая носа от земли. И Рюрик увидел: матерый вепрь с вздыбленной холкой и белыми клыками-бивнями стоял на открытой поляне и как будто ждал.

Вот он хрюкнул, начал убежать, и Волк азартно погнался за кусая за мохнатые ляжки.

Дальше все произошло во мгновение ока. Кабан неожиданно развернулся и — молниеносно распорол псу брюхо. Рюрик остолбенел, а вепрь зло глянул на него маленькими умными глазками.

Волк уже бился на земле, путаясь лапами в собственных сине-серых окровавленных кишках, и визжал от боли.

— *Fukja Jog!*<sup>1</sup> — выкрикнул Рюрик, бросил в зверя копье и... промахнулся.

Зверь еще раз поглядел на него и затрусил прочь неспешно, словно уверенный в своей неуязвимости.

Рюрик не мог поверить: промахнуться с такого близкого расстояния! Он выхватил лук, и в кабаньей холке затрепетала его стрела. Зверь вздрогнул и, заверещав, бросился в чашу.

Рюрика охватил охотничий азарт, и он, выхватив из-за пояса охотничий нож Милены, перескакивая через поваленные зимними ветрами стволы деревьев, погнался за вепрем.

И... вдруг увидел бегущих впереди кабана людей. Видно, они затаились в засаде, а кабан понесся прямо на них. Кажется, пятеро? Они бежали — значит, боялись сами... На плечах их он увидел луки, больше никакого оружия. Грязные, полуголые, они бежали изо всех сил, а за ними неся огромный клыкастый вепрь и следом — Рюрик, с ножом в руке, с длинными спутанными волосами, обросший густой бородой. Один беглец был особенно молод, изможден и все время спотыкался. И он сильно напомнил Рюрику... Нет, этого не могло быть!

Наконец вепрь поравнялся с бегущим и, сбив его с ног, помчался дальше. Упавший громко выдохнул: «*Fukja Jog!*» И Рюрик узнал голос.

— *Olaf?!*

— *Rorik?! Konungr!*

Вепрь исчез в чаще. Люди остановились. Олафу помогли подняться, и он, припадая на ногу, бросился навстречу

---

<sup>1</sup> «Ё...ый кабан!» (*Староскандинавский.*)



Рюрику. Остальные, тяжело дыша, остановились поодаль и подняли луки. Это были трое молодых парней, и один — пожилой, широкогрудый, с длинными седыми усами на продубленном морщинистом, исчерченном шрамами лице. В шрамах был даже его совершенно голый череп. Он прищурил глаза, взгляделся в Рюрика и кивком приказал молодым опустить луки.

Рюрик обхватил легкое, неузнаваемо исхудавшее тело Олафа, от радости потрянул так, что парень едва не вскрикнул от боли. Увидев, что опасаться нечего, приблизились и его спутники. Рюрик сразу узнал в пожилом одном из воевод, что сидел напротив него за столом Гостомысла. Запястья и щиколотки всех четверых были изранены — видно, их держали в цепях, на телах гноились ожоги от пыток огнем.

Все они были еще слабы, все тяжело дышали. Наконец пожилой сказал:

— Здравствуй, конунг варягов! Я — Мирослав... А это мои сыновья — Глеб, Ярополк, Всеволод. Наш новый сторож оказался верным Гостомыслу человеком. Другой твой родич... был уже мертв. Он еще там, в яме. — Помолчав и еще немного успокоив дыхание, добавил: — Это моему старшему, Ратмиру, Вадим отрубил тогда голову. Сколько останется жить, буду видеть это опять и опять. До сих пор не знаю, что сделали с его телом...

Лицо Рюрика потемнело при воспоминании о *том* дне, но одновременно он почувствовал, как огромный камень, который он носил до тех пор на душе, спал с нее и летит вниз, разбиваясь о выступы скал. Теперь он знал, что родичи его — *не предали*.

— Благодарю за Олафа, — ответил он. — Я — твой должник, Мирослав. Навсегда должник.

— Теперь нас — шестеро. А у тебя, вижу, и добрый меч есть. Хорошее начало.

— Теперь нас — шестеро. И мы пойдем в Невгород, как только вы наберетесь сил.

Олаф тут же рассказал, что они бродили по лесу много дней, питаясь птицей, ягодами и грибами. Они надеялись набрести на тех, кто укрылся в лесах от казней Вадима, но никого не нашли. Мирослав был уверен, что люди прячутся на озерных островах — их было великое множество, но лодки у них не было.

На обратном пути к хижине Рюрик увидел мертвого Волка. Вся земля вокруг собаки была изрыта — пес долго мучился, прежде чем испустить дух. Рюрика кольнула жалость: он совершенно забыл о нем и не вернулся прикончить, чтобы прекратить мучения.

Рюрик присел у мертвого пса и погладил его большую шишковатую, еще теплую голову. Потом встал и повернулся к Мирославу:

— Милена спаслась. Ты спас ее. Она здесь. Со мной.

Тот бросил на него быстрый взгляд:

— Я поклялся Гостомыслу, что выручу его Милену, если с ним что-то случится. — Помолчал и посмотрел на викинга пристально: — Ты можешь не знать, но Милена — должна... По закону россов жена не может сходитья с другим, пока не предано огню тело ее мужа.

— То же — и у нас. Выходит, Мирослав, мы с ней преступили оба. Моя вина. Казни меня. Вот меч.

Мудрый Мирослав только глубоко вздохнул и покачал головой.

**М**илена увидела возвращающихся с Рюриком людей и сначала испугалась, но потом, узнав Мирослава и его сыновей, побежала им навстречу, обняла старика, заплакала. Люди были страшно голодны. Милена выложила перед ними все запасы вяленого мяса и рыбы. Потом про-

мыла им раны ключевой водой и перевязала их с какими-то снадобьями Гориславы.

Рюрик развел у хижины небольшой костер, и они, разговаривая, просидели у него всю ночь.

И на рассвете решили пробраться в Невгород и найти верных Гостомыслу людей.

— Я снесу Вадиму голову! — пообещал вдруг Олаф и посмотрел на севшую у огня Милену. Он не спускал с нее глаз.

Ночь была безветренной, и комары особенно донимали, не помогал даже дым, но беглецы были так измучены, что заснули прямо у костра.

— Я видел твой драккар, — уже засыпая, пробормотал Олаф.

Рюрик даже вскочил:

— Где?

— Он лежит на мелководье недалеко от города. Я видел, когда мы бежали.

— Видел?!

— Голова дракона торчит над водой, как живая. Я даже подумал — чудовище вылезает из реки...

Рюрик ничего не смог больше узнать: запрокинув бледное лицо, Олаф заснул — так крепко, что это было похоже на смерть.

**В** Невгороде они застали битву. Пылали княжеский дом и медхус дружины.

Против Вадима повернулись даже те россы, которые поддерживали его из страха за свои жизни и жизни своих семей. Люди, непривычные к страху, и те, кого он не может разрушить до конца, бывает, устают бояться. Невгородцы уже увидели, что ильменский князь принес им больше смертей, чем жестокий набег сверигов прошлой весной.

Остававшиеся с Вадимом наемники-степняки, которым он, к тому же, задолжал, решили наконец сдаться. И вынесли, держа за волосы, его голову.

Неизвестно, какими были его последние часы и минуты, когда он сидел в княжеском доме, всеми оставленный. Ждал ли он тех, кто вошел к нему с обнаженным мечом? Мертвое лицо его было мирным. Но он умер князем, как и желал.

...Олаф показал, где находятся на подворье ямы для преступников, но Рюрик и сам бы их нашел — по трупному смраду. Мертвого Ингвара подняли из ямы: нога его была совершенно черной, точно обугленной. Рюрик проводил брата в Валхаллу по обычаю викингов — они с Олафом справили по нему тризну, на которой страшно напились вместе с россами и степняками-наемниками. Ингвару понравилась бы такая тризна. Гостомысла горожане предали огню с княжескими почестями, по всем обычаям россов.

### **Забывтая битва**

Рюрик смотрел и не мог поверить своим глазам: его «дракон», высунув красный язык, действительно поднимал голову из воды совсем недалеко от берега.

Он тотчас бросился в воду и нырлял, пока не осмотрел все повреждения. Умелые плотники россов быстро подлатали «дракона», и, как только он был готов, Рюрик и Олаф решили испытать драккар — пройти на нем по озеру Нево и дальше, по короткой широкой реке, до соленой воды. За ней уже лежал Рустринген. Рюрик сказал о походе Милене и увидел, как она сразу притихла, сжалась. И даже похудела за те дни, что он готовил драккар к походу, — словно что-то сушило ее изнутри.

А жизнь в Невгороде постепенно входила в свою колею. Собралось вече, на котором головой выбрали воеводу Мирослава. Опять в городе застучали топоры — возводили новые дома вместо сгоревших в пожаре, в том числе — княжеский и дружинный, отстраивали кузни, склады. И снова строили лонгботы для себя и на продажу — леса в округе было много.

Рюрик нашел для себя и Милены приют в пустующей избе. После тесноты и темноты лесной хижины они почувствовали себя в настоящих хоробах. Олаф же предпочел ночевать в доме дружины, где все спали вповалку — устав от состязаний в стрельбе, борьбе, а то и от драк, да и от любви с негородками. И россы, и наемники вскоре приняли Олафа как своего. Он был лих, отважен, честен, всегда заводила на пирушках. Полюбил лошадей и вскоре стал искусным наездником. Ближайшими его сотоварищами стали сыновья Мирослава — Глеб, Всеволод и Ярополк. И ни одна живая душа не знала, что Олаф безнадежно влюбился. В первый раз в жизни. И, как на зло, — в запретную женщину. Он старался теперь быть как можно дальше от Милены, от этого искушения. Но это все же не мешало ему пользоваться доброй славой у нескольких веселых негородских молодок.

...Добротню починенный драккар, хоть и чуть поскрипывая, шел споро, жадно захватывая парусом соленый ветер, словно истосковавшись по нему. И Рюрика охватила безотчетная радость. Так всегда бывало с ним в море — он словно опять был молод, и впереди — целая жизнь, в которой не будет ни сомнений, ни боли! Конунг начинал узнавать низкие берега — до Рустрингена было не так уже далеко.

Милена, земля россов, в которой навсегда остался Ингвар,— все это теперь оставалось позади, за этой соленой водой. Может, все это — Милена, лесная хижина, Новгород, миклегардский поход — просто приснилось, и он вернется сейчас... домой, в Рустринген, к теплой Эфанд. Вернется в свое маркграфство и будет жить привычной прежней жизнью — так, словно никакой земли россов и не было?

Рядом стоял Олаф. Он тоже узнал берега. И был молчалив, и напряженно думал о чем-то, время от времени бросая на Рюрика испытующие взгляды.

И вдруг Рюрика пронзило: Аскольд! А он-то: Рустринген, Эфанд, теплый угол! Да возвращаясь из Миклегарда, Аскольд не минует Новгорода! А узнав, что там произошло, наверняка постарается сесть там князем! Дружина россов потеряла из-за Вадима больше половины, воеводы перебиты, один остался Мирослав с сыновьями, а горожане и ремесленники — храбры, но не воины. И подходы к городу с воды — так и остались не защищены, заграждения не поставлены.

И там — Милена...

— Драккар в порядке,— не оборачиваясь, сказал Рюрик Олафу.— Правда, стал поскрипывать, но идет ходко и проскрипит еще долго.— И вдруг резко повернулся к гребцам: — Поворачивай!

— Повора-а-а-чивай домо-о-о-ой! — радостно подхватил, встрепенувшись, Олаф, и сташил с места одного из гребцов, и сам взялся за весло.

**М**ирослав отдал под начало Рюрику всю дружину Новгорода и наемников-сверигов, взяв под свое начало всех конников — и россов, и степняков.

Теперь Рюрик и Мирослав готовились к вероятному возвращению Аскольда и думали, что время у них еще есть. Они ошибались.

Однажды с городских стен увидели, что к городу приближается множество ладей. Это оказались летты. Их деревни разорили викинги, на парусах которых было изображение черной птицы. В эту же ночь пришли и ладьи с готландскими беженцами. Они рассказали, что викинги пришли не просто за данью, от нападавших не было пощады никому, им нужна была не дань, а земля.

И Рюрик понял, кто приближается к их берегам.

Времени не оставалось совсем. Рагнар мог появиться у города в любой день.

Всех способных носить оружие мужчин Рюрик взял в свою дружину. Город превратился в большой лагерь. По приказу Рюрика все небольшие ладьи, и недостроенные тоже, вывели подальше от города и затопили на мелководье. Это была первая линия обороны. Позади затопленных ладей, на расстоянии выстрела из лука, устроили вторую линию — лучшие драккары связали в ряд и перегородили ими реку. На них Рагнара поджидали лучники, основные силы дружины и Рюрик. Лучники заняли также позиции на высоких берегах. Крепость Невгорода была третьей и последней линией обороны.

Степнякам, которые собрались было уходить, выплатили все, что задолжал Вадим, и пообещали еще столько же, если сумеют отбить нападение. Они должны были верхом атаковать викингов, высадившихся на пологих берегах Волхова. Воеводы степняков попросили вперед новую упряжь с серебром для каждого и белую кобылицу и, получив требуемое, согласились. Их шаман принес кобылицу в жертву, и степняки били в барабаны у костров

уже третью ночь, стараясь заручиться поддержкой своих богов.

Днем и ночью работали железоплавильни и кузни. На крепостной стене Невгорода установили огромные чаны для горячего вара и «греческого огня», чтобы поджигать стрелы. Когда-то секрет этой чудодейственной смеси, которую не могла погасить даже вода, продали Гостомыслу греки из Миклегарда.

У многих беженцев — леттов и готландцев — тоже было оружие. К Рюрику пришли и вооруженные мастера с верфей, и охотники, и кузнецы, и бортники, и лесорубы. Вооружились и все купцы россов. Из иноземных купцов одни сочли за благо уйти из города от греха подальше, а другие — из тех, у кого уже были здесь дома и лавки,— сами пришли к Рюрику и предложили свои мечи. Среди них были греки, ободриты, венды, болгары, суоми, несколько италийцев, франков, даже два чернобородых купца из Багдада. Народ этот был не из пугливых, к риску привычный. Восточные купцы привели и свои отряды охраны, вида самого воинственного. Важен был всем торговый путь от Балтики до Понта Эвксинского, важен и необходим, и купцы готовы были его защищать.

Ночью на берегу и вокруг города жгли костры. Дозорные на башнях сменяли друг друга, вглядывались в сумерки, вслушивались в звуки. Олаф был с лучниками на связанных посреди реки драккарах. Дружина спала вповалку на палубах.

**К**ак-то раз вечером Мирослав с Рюриком тихо разговаривали у мачты.

И тут появилась Милена. Она пришла к ним из своего укрытия в крепости. Там испокон века негородцы укры-



вали своих женщин, стариков и детей во время набегов викингов.

Ее лицо белело в темноте. Он спустился к ней:

— Почему ты здесь?

— Мне нужно говорить с тобой! Невгород был для тебя первой остановкой на пути в город Константина. Ты пришлый, ты здесь — случайно. У тебя есть твой драккар и гребцы. Ты и Олаф могли бы отплыть сейчас в Бирку. И остаться в живых.

Он посмотрел на нее изумленно.

— Но ты же сам сказал, что силы неравны, что у Рагнара большой флот, а у нас из воевод — один Мирослав с сыновьями, а горожане и беженцы — слабые воины.

Все так и было.

Он задумался.

Она замерла.

Он взял ее исхудавшее лицо в свои огромные ладони. И вспомнил ночь полной луны в начала лета. Томительная-сладкая память разлилась по телу.

Она закрыла глаза.

Он поцеловал ее веки.

Но она смотрела на него, ждала ответа.

Он прижал ее голову к груди, забыв на минуту, что на нем — кольчуга. Он гладил ее густые непокорные волосы и понимал, что не просто желает эту непредсказуемую женщину — ему очень трудно было бы без нее жить. Она привязала его не только к себе — привязала ко всему, что было с ней связано. И — к своему льющемуся, как вода, языку. И — к этой реке, этому городу, к этой странной, как она сама, земле.

Именно это со всей ясностью осознал он совсем недавно, когда его драккар вновь взрезал первую соленую воду, за которой — уже рукой подать! — лежал берег Рустрингена.

Милена не почувствовала тепла его тела, только железный холод кольчуги.

— Говоришь, лучше мне пересидеть всё в Бирке? И вправду. Выспался бы!.. А теперь — возвращайся в крепость. Всё будет хорошо.

— Рюрик, сегодня над святилищем кричал ворон,— глухо, не поднимая головы с его груди, сказала она, и ее голос поразил Рюрика безысходностью.

— Когда беженцы рассказали о вóроне на парусах, я сразу понял, кто явится к нам в гости. Эта птица — знак клана Рагнара, его бесчисленные дочери ткнут паруса с вороном для всех его кораблей. А ворон над святилищем... Так, может быть, он как раз предвещает гибель своего родича.

— Ты говорил мне, что сюда идет твой кровный враг. Что он убил твоих родителей, сжег твой дом. Ты здесь — только из-за того, что желаешь его убить?

Он не мог сказать ей, что того дома он никогда не видел сам, только Харальд. Но Рагнар — был его кровным врагом, и изменить этого было нельзя. Вот только опять — ненавидеть его он не мог. А Новгород он будет оборонять еще и по другой причине. Но Милене он этого почему-то не сказал, а ответил просто:

— Только бы мне это удалось!

— А потом, если останешься жив,— в Рустринген?

Он промолчал.

— Если я останусь жива,— вдруг сказала она,— весной у нас будет ребенок. И своей волей я никогда не пойду за тобой в этот твой Рустринген. Это все, что я хотела тебе сказать и почему пришла сейчас.

Она повернулась и быстро, не оглядываясь, пошла по дощатой пристани прочь, в темноту.

Задремавший на палубе Мирослав никак не мог понять, почему это Рюрик, разбудив его, начал возбужденно

расспрашивать, как по обычаям россов берут жен. Ничего не понимая, Мирослав смотрел на него застывшими глазами и думал, что конунг свихнулся от бессонных ночей и усердной подготовки к обороне. И только потом все понял.

**Р**агнар появился у Невгорода на рассвете. И рассвет этот был ветреным, нервным, а небо — красным, как воспаленные от бессонных ночей глаза.

Беженцы и раньше говорили о гигантском драккаре конунга норвежцев, но то, что увидел Рюрик, превзошло все его ожидания. Никогда в жизни не видел он драккар такого размера, как тот, на котором пришел Рагнар. Как и кто построил это чудовище, и как вообще могло оно держаться на воде? Две его драконьи головы были поистине гигантскими и видны издалека. Кто-то из дружины даже присвистнул. И правда — было отчего.

Вот на норвежских драккарах низко, страшно, подавая сигнал атаки, затрубили огромные рога-вардруны — «голоса войны». Ветер, однако, дул навстречу Рагнару воинству. Накануне россы принесли богам большие жертвы, и не иначе как Стрибог, повелитель ветров, был на их стороне. Драккары нападавших двигались медленнее, чем ожидал Рюрик, к тому же путь остальным загораживал медленный монстр Рагнара, занявший собой почти всю реку. Он первым и наткнулся на преграду из затопленных Рюриком ладей. Зажженные обычным огнем стрелы норвежцев не могли долететь до связанных борт о борт ладей Рюрика. Описывая дугу, они с шипением уходили в воду прямо перед ними. Луки россов с тетивой из ножных жил степных коней били лучше и дальше. Рюрик опробовал их заранее и точно рассчитал расстояние, и теперь греческий огонь его лучников поджигал скопившиеся перед

первой преградой корабли Рагнара. Ветер споро разносил пламя.

Тех, кто все же прорывался до драккаров Рюрика, встречали мечи лучших воинов его дружины...

А тех норвежцев, кто выбирался на пологие берега, добывали конные степняки.

Вот чья-то «греческая стрела» запалила наконец и парус «чудовища», а еще одна — вонзилась прямо в пасть носовому «дракону» Рагнарова корабля. Пылающий парус упал. Загорелась палуба. Огонь пытались тушить, заливая его водой, но вскоре с суевренным страхом поняли, что это — бесполезно. Оставив тщетные попытки спасти корабль, викинги начали бросаться в воду. Они пытались плыть, но огненные стрелы настигали их прямо в воде, и даже под водой продолжал гореть смертоносный огонь греков.

Лучники, стоя на высоких берегах реки, осыпали стрелами и викингов на кораблях, и тех, кто смог высадиться на узкой полоске поймы.

— Варяги горят! Горят варяги! — закричал Олаф. И счастливо засмеялся. А Рюрик заметил, что Олаф называл людей норс, норвежцев по-славянски — варягами, словно росс.

Сделавшийся еще сильнее ветер прибывал корабли нападавших друг к другу, и они занимались пламенем один за другим. И тогда несколько драккаров стали разворачиваться и уходить прочь, к озеру Нево. За ними последовали и другие уцелевшие.

С гигантского корабля Рагнара, вопя от боли и ужаса, прыгали охваченные пламенем гребцы. И Рюрик видел, как рухнула мачта, как пылали размалеванные чудища на носу и корме...

Битва закончилась. Но долго еще накатывала на речной песок кровавая волна, долго еще Волхов и озеро Не-

во выбрасыли на берег останки Рагнарова воинства. А однажды на берегу нашли странный обугленный труп мужчины с отвратительными отростками вместо ног. И долго дивились и гадали, что это такое.

Потери россов были невелики. Но для Мирослава эта битва оказалась последней. Его зарубил молодой викинг с длинными спутанными, медно-золотыми волосами. Рюрику удалось ранить и пленить парня.

Пленных продали багдадским и греческим купцам, и Рюрик смотрел, как норвежцев проводили связанными мимо негородского святилища.

Вдруг из толпы выступил тот самый золотоволосый парень. И крикнул на языке норс:

— Эй, конунг! Эрик Кровавый Топор не будет ходит за плугом каких-нибудь россов или греков или вертеть мельничное колесо! Ты же не росс, ты знаешь наши обычаи. Сделай со мной то, чего пожелал бы сам в моей шкуре! Дай войти в Валхаллу от твоего меча!

— Развяжите его! — приказал Рюрик. Он уже знал, что перед ним — сын Рагнара.

Он подошел к парню. Тот был ранен: длинная рубаха его побурела на бедре от запекшейся крови. Люди вокруг расступились. Норвежец пошире расставил ноги, поднял голову и, глядя прямо в глаза Рюрику, хрипло пропел:

— Один готовит рога крутые!

— Место готово, скамья для пира! — тихо отозвался конунг и точным сильным ударом отсек ему голову.

Россы смотрели молча.

И Рюрик понял: только что он навсегда отсек и свое прошлое.

А тело Рагнара так и не выбросило на берег. Может быть, он и сумел выплыть, кто знает? Говорят, его видели

потом у берегов Англии. Но, как бы то ни было, он навсегда останется в сагах и легендах Скандинавии. Ужасный Рагнар Мохнатые Штаны...

После той волховской битвы больше ста лет ни один викинг не поведет к берегам россов свои драккары. Зато их набеги на Фризию и Рустринген опустошат эти земли настолько, что жители станут их покидать. И сами рустрингенские плавни, давшие имя «рус», затопит холодное серое море.

Рустрингенскому лагерю пришел конец, остатки дружины ушли в Хедеби или нашли пристанище в других землях. А вот верный Свенельд с уцелевшими воинами, числом в полтысячи, на десяти кораблях пришел в Невгород. Многие тогда вступили в дружину Рюрика, а остальные, обосновавшись поначалу на Волхове, стали потом расселяться и по другим городам Гардарики. Кто осел в Полоцке, кто — в Ростове, кто — в Муроме. Срубили избы, завели семьи с нежными, сильными местными женщинами. А пришли они потому, что слух о поражении Рагнара от Рюрика Дорестадского и его дружины россов прокатился по всей Европе.

Достиг он и королевских ушей Карла Лысого и Людвига Германского.

Запись о битве на Волхове сделает франкский монах Бертин в своих знаменитых «Анналах», да потом и соскоблит: хороший пергамент дорог. И невелика важность — одни язычники в далекой Гардарике побили других! Вот если бы язычников побил христианский король, тогда другое дело. Так и не останется ничего об этом сражении в европейских хрониках. А то, что будет написано спустя века по памяти, по устным преданиям русскими летописцами, за годы монгольского ига погибнет в огне

или затеряется, да сколько и соскоблят иноки: доброго веллума<sup>1</sup> во все времена было мало, а деяния современных летописцам правителей казались важнее деяний прошлого. Память человеческая недолговечна и пристрастна, а потому — избирательна.

Так, не думая и не гадая, стал конунг Рюрик, маркграф Дорестадский и Рустрингенский, по воле негородского веча правителем славян. Он женился на Милене по обычаям россов, и в начале марта она родила ему сына. Его назвали Ингваром. У них был хороший дом, наполненный уютными запахами жареного мяса, свежесыпеченного хлеба, младенческой колыбели. Прямо от подворья вели мостки к драккару на реке; и сын, впервые увидев страшных драконов отцовской ладьи, весело засмеялся и протянул к ним ручку — схватить. Едва научившись ходить, он не боялся даже больших шипящих гусей и, потешно надувая щеки, отгонял их палкой.

Рюрик с Олафом и сыновьями Мирослава — новыми воеводами — умножили дружину, прошли через пороги до озера Ильмень и там на берегу Волхова облюбовали возвышенность, где заложили новую крепость. Пороги защищали бы эту крепость от неожиданных вторжений со стороны моря намного лучше, чем открытый Невгород-Алдегьюборг. Строительство продвигалось споро, и вскоре дружина превратила это место в лагерь новой мужской вольницы. И застучали на новой верфи топоры, зазвенели мечи и кольчуги, рекой полился мед. И пели там скальды, и дурачились скоморохи, и становились мужчинами славянские и варяжские отроки. Крепость ту назвали

---

<sup>1</sup> Пергамент очень высокого качества, используемый для важных документов.

Хольмгард <sup>1</sup>. А братство, в память прежнего, рустрингенского, так и называли: «рус». Или «русь».

Одноухий Аскольд дошел-таки с дружиной до стен Константинополя и осадил город, но взять не смог даже в отсутствие основного войска, которое император увел воевать болгар. Византийцы отразили нападение как всегда стойко и профессионально и уничтожили больше половины рустрингенской дружины. «Рус» довольствовались тем, что жестоко разграбили и разорили окрестности города, и отправились в обратный путь на озеро Нево с добычей. Но до озера они не дошли: на дружину Аскольда напал мор — люди стали умирать от лихорадки и кровавого поноса. На высоком берегу широкой реки, изобилующей опасными порогами, Аскольд увидел богатый город. Ему понравились и этот город, и река. Он сразу понял, что пороги будут для драккаров хорошей защитой, и здесь можно перезимовать. Местные князья поначалу отнеслись к викингам гостеприимно, но Аскольд недолго удовлетворялся положением гостя. Город этот назывался Киев, был он населен мирными купцами и дружину имел совсем небольшую. Аскольд сделал этих людей своими данниками и стал их князем. Бессловесная тень Аскольда, Дир, следовал за ним повсюду.

### **Последний поход конунга**

Леса стояли словно обрызганные желтой и красной красками осени. В воздухе летела паутина. Днем еще припекало, но все знали, что лето кончилось, и зима уже го-

---

<sup>1</sup> Эта крепость станет началом Великого Новгорода.



товит в путь свою ледяную ладью. У россов это всегда самое многоцветное и пронзительно грустное время — такое особенно остро чувствуют женщины.

В одну из долгих уже ночей Милене приснился странный сон. В нем старая Горислава повторяла свои непонятные предсмертные слова — про находника-князя, змею, ладью и смерть.

Милена проснулась с плохим предчувствием. Тяжело поднялась, поддерживая живот: она снова ждала маленького. Мощно храпел муж. Догорала лучина. Окон в горнице не было, и она не знала, рассвело уже или нет. Подошла к колыбели посапывавшего Ингвара. Он спал, крепко сжав пухлые кулачки.

Милена не знала, что в это время в Волхов уже входила ничем не приметная с виду ладья, без всяких драконьих голов...

**П**рибывшие на ладье франки, в кольчугах с головы до ног, попросили встречи с конунгом россов Рюриком. Он принял их в новой просторной избе дружины, и они важно передали ему пергаментный свиток, скрепленный печатью короля франков Карла. Спросили, не желает ли конунг, чтобы ему было истолковано послание. Рюрик уже совсем забыл латынь и потому согласно кивнул, лишь зорко выстрелив взглядом, нет ли в глазах этих франков непочтения. Успокоился: не было.

Он постарел за эти годы, раздался вширь, поседел, став чем-то похож на несуетного матерого волка, вожака стаи, и только взгляд оставался тем же — похожим на отблеск доброго клинка.

Король западных франков Карл призывал Рюрика встретиться с ним на реке Маас, в Маастрихте, чтобы обсудить вопросы чрезвычайной важности.

Рюрик выслушал послов и сказал, что об ответе подумает. Толмач удивленно приподнял бровь: конунг россов, вероятно, не совсем понял — его призывает сам король Карл! Но не сказал ничего. Послы удалились.

Этим же вечером Рюрик созвал воевод дружины на совет.

— Лучше отправь гонцов обратно, Рюрик, — посоветовал Ярополк. — У нас много дел здесь. Мы должны продвинуть наши владения на юг, сделать данниками радимичей и полян, что живут по Днепру. Они богаты, но у них плохие дружины. Олег, говори! — попросил Ярополк друга подтвердить свою правоту.

— Мирославич прав, у нас много своих дел, — подхватил Олаф. — И наш кровник Аскольд еще жив, сидит в Киеве князем. Помнишь, говорили прибывшие оттуда купцы? Кровь Ингвара надо отомстить. — Олаф говорил теперь по-славянски как росс, лишь небольшой акцент выдавал в нем варяга, а вот Рюрик до сих пор пересыпал свою речь скандинавскими словами. — Но, с другой стороны, и поехать бы стоило — чтобы узнать замыслы этого короля, — добавил он и почему-то виновато глянул на Рюрика.

Рюрику нравилось его новое братство «рус», его молодые законы-воеводы, рьяные в битвах и пирах, уверенные, что им принадлежит мир. Но рядом с ними конунг особенно остро чувствовал, что — стареет... И теперь он сам не мог понять, почему с такой странной, необъяснимой силой захотелось ему вновь увидеть Рустринген, Дорестада — словно что-то важное в его жизни оставалось незавершенным. Кто знает, сколько еще ему отмерили боги? Олаф совсем уже стал россом: он молод, ему легко. Он — ближе к дружине. А вот у него, стареющего конунга, не получается. Однажды Олаф, вдруг посерьезнев, попросил звать его не Олафом, а Олегом. Рюрик так его теперь и звал, но все равно выговаривал неправильно. Ему все чаще теперь казалось, что он

слишком многое делает неправильно. Он чувствовал, что Олег и хотел бы, и мог бы стать конунгом как раз таким, какой и нужен россам. Рюрик понимал, что Олег — ждет. Ждет, когда придет его черед. И Рюрик не знал, как повернется дело, если терпение Олега подвергнется слишком долгому испытанию. И он не хотел бы дожить до того, чтобы это увидеть...

Осень наплывала на волховские леса медленно, но уже начали чаще дуть холодные скандинавские ветры. Милена собирала мужа в дорогу. Пожелтевшее от беременности ее лицо приобрело черты обреченности. Сказаны были уже все слова, выплаканы все слезы. Муж уходил к франкам. С ним шел старший воевода, Глеб Мирославич. Сам вызвался — хотелось посмотреть, что это за народ такой — франки. Они уходили на двух драккарах. На мостках Рюрик, Глеб, Олег, Ярополк и Всеволод по-медвежьки обнялись. У всех четверых болела голова и глаза были красными: проводы прошлой ночью удались на славу. Трое воевод еще раз хлопнули Рюрика и Глеба по спинам, пожелали спорых ветров в паруса и ушли отсыпаться.

И тут Милена бросилась к нему и припала, дрожа. Долго длилось это объятие.

Рядом стоял сын, Ингвар. Рюрик подбросил захохотавшего мальчишку, поцеловал его волосы, пахнувшие последним осенним солнцем, взял в свою огромную ладонь его руку и пожал — как взрослому, как мужчине. Он не мог понять, почему так тяжело провожает его жена, он ведь оставлял ее надолго и раньше.

— Милена, я вернусь еще до первого снега! Не на битву же иду.

Она внимательно посмотрела на него:

— Ты оставил дома меч Гостомысла.

— Да. Он слишком красив для дальней дороги, я взял другой хороший клинок.

— Ты оставляешь меч... сыну?

— Ну, для этого он еще мал, а я — не так уж стар! — ответил Рюрик, улыбаясь и ласково трогая ее выпирающий живот. По обычаю россов отец оставлял сыну свой лучший меч перед смертью.

...Милена стояла с Ингваром на стене Невгорода, они махали вслед.

У поворота реки Рюрик обернулся на город. словно целая жизнь прошла с того дня, когда он впервые увидел его стены на высоком берегу, под росчерками молний *той грозы...*

Впереди ходко шли на своей ладье франки — паруса поймали, наконец, хороший ветер. Старый драккар Рюрика, скрипучий и чиненый, теперь уже далеко не такой быстрый, оставленный ему еще Харальдом, вышел в озеро Нево.

\* \* \*

— Ваше величество, какая-то дама просит встречи с королем...

Королева Эмма, жена Людвига Германского, к которой была обращена эта фраза, сразу догадалась, кто это пожаловал.

— Пусть войдет! — Голос Эммы прозвучал устало.

Вошла очень высокая женщина в запыленном, выдавшем виды длинном плаще и подобострастно склонилась перед Эммой. При этом плащ распахнулся, и Эмма заметила, что лангобардка вооружена и до сих пор путешествует только верхом и только в мужском платье. Валдрада сильно подурнела за годы: привлекательность ее совершенно растаяла, оставив только резкое выражение загнианности.

Во всем огромном регенсбургском замке Людвига было промозгло и холодно, как в склепе, причем в любое время года, и только в нескольких покоях, включая этот, украшенный большим красным гобеленом с белым единорогом, было относительно сухо и тепло.

— У меня сведения для короля...

— Король болен. Ты расскажешь все *мне*, Валдрада. Так что случилось?

Возражать королеве Эмме не решился бы никто. Несколько лет назад, когда мятежник Алдехис Беневентский обманом взял в плен ее мужа в Бари, королева Эмма, мать семерых детей, сама повела войско в Италию, и Алдехис в панике бежал от нее на Корсику.

Сейчас Людвиг был очень опасно болен, ему уже несколько раз отворяли кровь. Два дня назад его без сознания привезли из Моравии, где королевская армия подавляла мятеж тамошних славян.

Тяжелые мешки под глазами пятидесятилетней Эммы говорили о бессонной ночи, которую она провела у постели мужа.

Она до сих пор беззаветно любила и желала своего короля. И он тоже любил ее — ее решительность, ее ум, ее преданность. Он не мог представить никого другого в роли своей королевы, хотя ее обрюзгшее тело с обвисшим животом и грудями, похожими на вымя старой коровы, давно перестало его привлекать.

Эмма знала о его пленниках и селянках. Чем больше их бывало, тем меньше волновалась умная королева по поводу того, что Людвиг заменит ее постоянной фавориткой. Но все отчаяннее, самозабвеннее становились ее молитвы о том, чтобы Бог вернул супруга в ее постель. И — все безрезультатнее.

А последние дни и ночи она истово, мучая на ледяном каменном полу артритные колени, молилась только об

одном — чтобы Бог дал мужу пережить болезнь и вернул силы.

Валдраду благочестивая королева-воительница, знавшая за свою жизнь одного только мужа, считала распутницей и относилась к ней с брезгливостью — в уколах женской зависти она не призналась бы и самой себе. Ей казались отвратительно порочными и пухлые губы пришедшей, и ее раскосые глаза. Эмма была совершенно уверена, что во всех своих бедах Валдрада виновата сама, и что у Люцифера уж точно припасены для бывшей красотки хорошо разогретый котел и подходящего размера горячие щипцы. Но распутница всегда приносила важные сведения, и ее приходилось терпеть.

Валдрада была когда-то любовницей покойного теперь Лотара. Из-за нее он много лет мучительно разводился с законной женой, вопреки ее влиятельным родным и самому папе римскому. А получив наконец папское разрешение на развод, неудачник Лотар занемог и в одночасье умер. Вообще-то на такой случай у Карла с Людвигом был уговор — честно разделить земли почившего племянника, но вот Людвиг, на свою беду, заболел сам, а его армия оказалась отвлечена моравским мятежом. И Лотарингию, потирая руки, единолично захватил Карл Лысый.

Валдрада жила теперь на унижительном положении стареющей наложницы при дворе Карла и шпионила в пользу Людвига и Эммы — за обещание сделать графом Эльзасским ее болезненного бастарда Хьюго, прижитого с Лотаром. За этот титул для сына Валдрада была готова на все.

— Говори! — приказала ей Эмма.

— Карл послал гонцов к Рюрику Рустрингенскому, королю россов. И тот направляется теперь в Маастрихт, где у них назначена встреча.

— Час от часу не легче! — вздохнула Эмма.

Валдрада оставила на нее раскосые глаза — выжидающие, собачьи, одержимые. В ней уже поселились первые признаки душевной болезни. А королева, погруженная в свои мысли, словно забыла о ней. Маастрихт — это почти Восточная Франкия, почти владения Людвига. Все ближе подбирается Карл! И почему, почему дикарь Рагнар не прикончил Карла тогда, в Париже!

Эмма знала, что этот самый Рюрик не так уж давно разгромил и самого Рагнара. Карл наверняка предложит Рюрику союзничество. Для варвара это, безусловно, редкое по привлекательности предложение. Конечно, он согласится. И когда этот Рюрик со своими россами станет на сторону Карла, их королевству восточных франков придет конец. Но, кажется, она знала, что делать...

Непутевой Валдраде следовало немедленно отправиться в Маастрихт и выполнить еще одно, самое рискованное и важное поручение. И в случае успешного возвращения ее с сыном будет ждать наконец долгожданная награда — это только что было торжественно обещано самой Эммой — графство Эльзасское. Валдрада знала, что слову Эммы можно верить.

Колокола Регенсбургского аббатства зазвонили к вечерней молитве, и королева уже хотела было поспешным и брезгливым жестом избавиться от Валдрады, но вдруг остановилась. Валдрада сильно сдала за последний год, выглядела рассеянной: а ведь когда-то искусство переводевания и перевоплощения делали ее непревзойденной шпионкой, она могла проникнуть куда угодно и добыть какие угодно сведения. Однако такого дела, на которое посылала ее Эмма, ей еще исполнять не приходилось.

Взгляд женщины странно блуждал, и у Эммы появились сильные сомнения, что Валдрада справится с мис-

сией. Она явно была не в себе. Рисковать королева не могла. И внезапно ее осенило:

— Погоди. Ты, конечно, никогда не видела этого... короля россов. С тобой пойдет один норвежец. Без сомнения, ему приходилось видеть его достаточно близко. Он ходил на россов с Рагнармом. Он и поможет в том случае, если...

Она имела в виду: в случае, если Валдрада только ранит конунга, и его надо будет добить. Но, взглянув опять на Валдраду, Эмма решила оставить фразу незаконченной. На шпионке и так лица не было.

**В** Маастрихте драккары Рюрика и Глеба остановились перед старинным мостом, построенным еще римлянами. «Вот что еще может защитить реки от драккаров — укрепленные мосты. Мосты, превращенные в крепости!» — подумалось Рюрику.

На встречу с королем конунг пошел один, Глеб с дюжиной воинов остался у ворот. С ним Рюрик оставил и свой меч. Таков был уговор с Карлом. Встреча должна была проходить один на один и без оружия.

— Рюрик, не знаю я франков, но не нравится мне все это. На западню похоже, — сказал Глеб, недоверчиво глядя на высокие шпили аббатства.

— Такие места, как это аббатство, христиане почитают священными. Здесь не убивают, здесь они молятся своему Богу. Здесь безопасно.

Глеб недоверчиво покачал головой.

Рюрика встретил сам епископ Маастрихта и повел к королю. Они долго шли по длинному коридору вдоль бесконечных каменных арок.

В покоях короля был накрыт богатый стол.



Карл восседал во главе, в массивном дубовом резном кресле. Он тоже был без оружия.

Сел и Рюрик.

Епископ Маастрихта произнес молитву, перекрестил их обоих и вышел.

Рюрик никогда не видел раньше короля западных франков и никогда раньше не сидел за столом с королями. Лоб Карла казался огромным и был исчерчен глубокими морщинами. Время не пощадило его.

Карл испытующе посмотрел на него, словно изучая, и наконец сказал:

— Рюрик, твой брат и ты — вы много лет верно служили моему отцу.

«Ну, положим, король тоже сослужил нам службу, да и другого выхода у него не было», — подумал Рюрик, но лишь кивнул.

— Ты разбил самого Рагнара, — продолжил Карл, — ты завоевал многие земли вендов и россов, и у тебя сильное войско. В этом мире сейчас я и ты — единственные, кому Бог дает редкую возможность. Мой брат Людвиг болен, стар и, без сомнения, скоро умрет. Его войско в Моравии, его сыновья неопытны. А я недавно усилил свое войско еще и крестившимися лангобардами. Как звери, они умеют драться, как сушие звери! Вместе с тобой мы можем завоевать остатки Средней Франкии и всю Восточную. И это — не предел. Но надо спешить. Всевышний дает нам эту возможность именно сейчас. Тебе подвластен торговый путь россов, что ведет в Византию. Он приведет нас в Константинополь с его богатствами. Мы придем туда с несметным войском. Мы создадим тысячелетнюю империю, конунг. И в ней будет достаточно места для нас обоих. Если мы сейчас объединимся, мы станем силой, которой не сможет противиться никто. Что ты на это скажешь?

Глаза Карла блестели, он вскочил и заходил по каменному полу, под сводами гулким эхом отдавались шаги его подкованных сапог.

А Рюрик был спокоен. Внимательно слушая короля, он даже не изменил позы.

— Кто сказал тебе, что мне подвластны россы? — произнес он наконец. — Они призвали меня. Они платят мне, как наемнику, и я делаю свое дело, как наемник. И не лезу в их дела. Это — всё...

Карл сделал вид, что не заметил сказанного Рюриком, а может, и впрямь не слушал его, возбужденный собственными видениями.

— Неужели ты не понимаешь, что после земель восточных франков мы возьмем Константинополь?! Мы будем владеть всем миром, а не какой-то его частью, владеть, как мой дед, как Александр Великий, как Цезарь!

— Я сказал то, что есть, Карл. И я не знаю тех великих конунгов, которых ты назвал. Я — наемник. И как наемник, могу сказать тебе дельную вещь: хочешь защитить себя от викингов — а у Рагнара осталось достаточно сыновей — укрепляй в своей столице мосты. И поставь на них лучников с хорошими луками — чтоб тетивы были из ножных жил кобылиц — такие луки бьют куда дальше! Владеть миром — работа королей. А у нас, наемников, работа попроще.

Карл стал заметно нервничать.

— Такого момента не было и не будет ни у кого никогда! И ты сядешь конунгом, королем, императором — кем бы ни пожелал назваться — в *любом* городе, который захочешь сделать своей столицей!

— Кроме Миклегарда, надо полагать... — прищурился Рюрик.

— Аахен! Регенсбург! Париж! — Карла начал уже сильно раздражать этот упрямый варвар, перед которым он метал теперь бисер.

— Это очень интересный разговор. Очень интересный, Карл. Но ты извини меня, я перед приходом сюда был невозддержан, выпил слишком много ячменного пива, и мне нужно сейчас отлить. Я должен выйти.

Он вышел в арки длинного пустынного коридора и повернулся, чтобы идти к воротам. Все было ясно. Надо немедленно поднимать паруса, возвращаться в Новгород. И — готовиться к обороне.

В коридоре гулко раздались еще чьи-то быстрые шаги. К нему приближался какой-то монах. Он шел поспешно, наклонив голову в капюшоне, и странным показалось Рюрику то, как он двигался.

Поравнявшись с Рюриком, монах вдруг остановился. Конунг не успел подумать, что нужно от него этому монаху, когда тот неожиданно и быстро выбросил руку с ножом в незащищенное кольчугой место чуть ниже адамова яблока.

Удар был сильным и точным. Рюрик умер без мучений, не успев ничего понять.

Убийцу так и не нашли, он исчез, словно растворился. А король Карл в тот же день усилил личную охрану, без которой теперь не появлялся даже в гостях у верных аббатов.

...Рюрик увидел вдруг Харальда и Ингвара. Они сидели на палубе огромного драккара. И Рюрик сел рядом с ними. А потом кто-то подошел и положил на его пылающий лоб прохладную руку, и он увидел высокую женщину в льняном переднике.

«Здравствуй, мать!» — сказал он женщине на языке норс и дотронулся до ее руки. Она накрыла его руку своей мягкой теплой ладонью и счастливо улыбнулась в ответ.

Потом он увидел собаку Волка, и на его спине — маленькую светловолосую девочку, которую никогда не видел раньше. С девочкой на спине Волк завилял хвостом и лег рядом, подсунув голову ему под руку — погладь! Рюрик потрепал уши собаки, потом — льняную голову девочки, поднял глаза и увидел Милену.

Она была такой красивой, что у Рюрика перехватило дыхание. Он встал и обнял ее, а потом спросил: «А где же Ингвар?» «Ему пока с нами нельзя», — ответила Милену серьезно, потом сняла девочку со спины собаки и протянула ее Рюрику: «А ей — можно. Это наша дочка, Умила».

Мимо проплывали берега, они были похожи и на Рус-тринген, и на Нево, и на Невгород.

Харальд и Ингвар хлопнули его по спине и налили ему доброго меда. «Так что, черти, видели вы Валхаллу или царство христианского Бога?» — спросил Рюрик. Они словно ожидали этого вопроса и засмеялись: «Да нет ни Валхаллы, ни царства христианского Бога, как говорили нам монахи. Это всё враки. Все просто плывут на многих драккарах в одном и том же направлении, и ты поплывешь с нами тоже. Это дело долгое, и мы не достигли еще цели. А что будет там — не знает никто. Может, и нет ничего, потому как и в жизни, и в смерти у людей только одно ясное дело — путь».

И Рюрика впервые совершенно покинули все сомнения и страхи. Он был со своими, он был всеми прощен и всеми понят.

Парус над нестрашным крашеным драконом наполнился ветром...

Ранним утром драккары Олега подходили к Киеву. Город парил высоко над Днепром и был красивее Невгорода и любых других городов, когда-либо им виденных. Городом правил его кровник Аскольд — посеявший раздор в рустрингенской дружине, погубивший Ингвара и чуть не убивший его с Рюриком. Настало время возмездия. На палубе рядом с Олегом стоял серьезный мальчик лет пяти, в маленьком шлеме и кольчуге.

Вдруг мальчик увидел рядом с их ладьей — другую. Она была большая, красивая, с белозубыми, высунувшими красные языки головами драконов. На ладье тоже были люди, и он узнал... мать. В волосах ее была та же, знакомая ему, лента. Он закричал ей: «Я здесь!» Она улыбнулась ему и помахала рукой, и маленькая девочка у нее на руках тоже замахала ему. К матери подошел высокий мужчина, опоясанный мечом, обнял ее за плечи и тоже стал махать ему и улыбаться. И были там еще какие-то люди, а большая собака рядом с матерью стала громко лаять. Игорь снял и отбросил шлем и стал тоже махать им изо всех сил, подпрыгивая.

— Игорь, кому это ты машешь? — спросил его Олег.

— Да вон же, смотри! — вытянул он руку. — Смотри, смотри, там мама, на ладье! И отец! Отец, я здесь! — Он повернулся к Олегу: — Они здесь! А ты обманывал меня, говорил, что они никогда не вернуться! — Мальчишка заливался своим заразительным смехом. — И смотри, какой у них чудный корабль! И собака! У нас теперь есть собака! Отец, как зовут твою собаку? — кричал, надрывая голос, мальчик. — Олег, прикажи гребцам, чтобы подошли к ним поближе! Ну помаши им, а то они подумают, что ты не рад их видеть!

Мальчишка продолжал прыгать на палубе, сбросив шлем и звеня своей кольчугой, потом остановился:

— Они уходят... Куда же вы уходите?! Я же здесь! Куда вы?! Куда они?.. — Он в отчаянном недоумении оглянулся на Олега.

Тот все это время задумчиво и странно смотрел на него. Они шли впереди всей флотилии.

Никакого *другого* драккара рядом с ними не было...

*У князя Игоря, сына Рюрика и Милены, будет великая судьба и страшный конец. Но это уже совсем другая история.*

*Олаф стал великим князем россов. Он воспитал Игоря как своего сына. Он выстроил заложенный Рюриком Новгород и много других городов. Он дошел до Южного моря, и перед его дружиной не устояли даже стены Константинополя, выдержавшие натиск многих других великих завоевателей прошлого. В истории и легендах он останется князем Олегом. Князь россов по-славянски, хотя и с неуловимым скандинавским акцентом, будет грозно ставить условия самому византийскому императору, а у того будет нервно подергиваться веко — то ли от гнева, то ли еще от чего.*

*Дружину Олега по-прежнему будут называть «Рус», или мягко, по-славянски, «Русь», как повелось издавна. Так станут называть себя и сами славяне-россы. А почему — все потом забудут. Чтоб ломали головы и заходились в бесплодных спорах будущие историки.*

*За мудрость и хитрость Олега назовут Вещим, и умрет князь после всех своих великих деяний волею странного несчастного случая. Да вы и сами знаете: конский череп, змея... Но только оглядываясь назад, люди видят: случайностей не бывает — ни счастливых, ни несчастных. Все происходит только так, как и должно происходить, ибо все наши судьбы взвешены, измерены по росту нашему, по силам нашим, и все для нас предначертано.*

Королева Эмма не обманула: сын Валдрады Хьюго получил-таки во владение Эльзас, и Валдрада смогла прожить последние годы с собственной крышей над головой. Но недолго этим наслаждалась, скоро совершенно сошла с ума. Иссохшей старухой бродила она по гулким коридорам своего эльзасского замка и перед кем-то громко все время оправдывалась и плакала.

Людвиг Германский благополучно выздоровел, старый кабан, и подавил моравский мятеж, и укрепил свое войско, чтобы брату Карлу неповадно было и думать о беспредельном господстве над франками,— так услышаны были хотя бы эти молитвы королевы Эммы.

У Карла Лысого не получилось править миром. Но пользу из всей этой истории он все-таки извлек: он запомнил совет конунга Рюрика и построил между Руаном и Парижем целых два укрепленных моста, так что первые же пожаловавшие за легкой поживой викинги с удивленным разочарованием впервые вынуждены были повернуть восвояси...

Но в конце концов оба они — и Карл Лысый, и Людвиг Германский — получили ровно столько земли, сколько дается обычно и нищему, и королю, а многочисленные их потомки продолжили ожесточенные междоусобицы.

И ушли на это долгие века.

\* \* \*

**В** келье горело сразу три свечи, и тень человека на сводчатом потолке была огромной. Тень принадлежала иноку Нестору — художнику, с большими светлыми глазами, тонким чуть длинноватым носом и аккуратной русой бородой.

Он отложил потрепанное гусиное перо и вдруг чихнул, едва не загасив свечи, и почти пригнулся к полу, чтобы не попасть ненароком на лежавший перед ним, закрепленный для письма пергамент. Утерев нос ветошкой, инок перекрестился и слегка простуженным голосом прочитал вслух только что написанное: «И сказал Олег Аскольду и Диру: „Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода“, и показал Игоря: „А это сын Рюрика“. И убили Аскольда и Диру, отнесли на гору и погребли Аскольда на горе, которая называется ныне Угорской <...>, а Дирова могила — за церковью Святой Ирины. И сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: „Да будет это мать городам русским“. И были у него варяги, и славяне, и прочие, прозавшиися русью»<sup>1</sup>.

И летописец Нестор опять чихнул и пробормотал древнюю примету: «Видать, правда...»

*Время викингов кончится, как кончается весеннее половодье. Они успокоятся, угомонятся, станут христианами и растворятся среди других народов. На севере Англии викинги смешаются с англами, саксами и шотландцами и примут их язык и культуру. Наследник Карла Лысого отдаст последнему яростному викингу Роллону почти весь север Франции, который назовут Нормандией. Здесь люди норс станут говорить по-французски и понимать толк в тонких винах. Они пристрастятся к рыцарским турнирам, строительству крепостей на насыпных валах и к литературе. Их станут называть нормандцами. Зов воинственных предков покинет их последними. Но море они забудут: воевать станут уже не на драккарах, а создадут лучшую в Европе конницу, с которой и завоюют Англию.*

---

<sup>1</sup> «Повесть временных лет», перевод Д. С. Лихачева.



*А на Руси язык, боги и судьба россов станут для викингов их языком, их богами и их судьбой.*

*Пройдет несколько столетий. Константинополь разрушат крестоносцы, начнется упадок Византии. Русь запылает в огне княжеских раздоров, потом — падет под ударами монголов. А где воюют — там не до торговли.*

*Европа между тем станет строить более тяжелые корабли, которые не потащишь волоком, и купцы найдут другие пути на восток и на юг. Опустеет, обмелеет, зарастет осокой и забудется великий некогда торговый Путь из Варяг в Греки.*

*Пройдут еще столетия, и во Франции, Англии, и Голландии — там, где врезались когда-то в берега корабли с наводящими ужас головами драконов и звенели мечи викингов, их расселившиеся по Европе потомки построят чистенькие домики и заведут на подоконниках цветы. И застроят такими же красивыми аккуратными домиками свою Скандинавию. И все будет вроде бы хорошо, вот только детей станет рождаться здесь уже намного меньше.*

*Ибо время гасит огонь в крови и самых страстных любовников, и самых ярых завоевателей, и поборников веры, и строителей великих империй. И тогда на смену им приходят другие, такие же ярые. До поры...*

*А Рюрик?.. Ни скандинавы, ни россы не сложат о нем ни саг, ни песен. Для первых он будет уже россом, для вторых — слишком скандинавом, с таким-то неславянским именем. И постановят наконец учнейшие мужи, что летописцы, записывавшие древние устные предания о русском конунге Рюрике, что-то не так поняли, или что-то не так услышали, или вообще все это просто сочинили, и непровержимо всем докажут, что все было в девятом веке совсем-совсем не так, и даже никогда никакого скандинава Рюрика на Руси не было.*



Викинг Рагнар у стен города (гравюра XIX века)

*Но, честно-то говоря, что было, а чего не было тем 862 годом в Невгороде, не может сейчас знать никто. Только северный ветер над Волховом, Ладогой да затопленным теперь Рустрингеном.*

*Может, и вправду не было Рюрика. А может, и был... Только до сих пор, говорят, проходит ладожскими туманами его призрак-драккар о двух крашенных драконьих головах. Ибо оставил он в земле россов свою кровь. Да и любил он в этой земле. А когда любишь, всегда возвращаешься...*

**МАРКО ПОЛО,  
ВЕЛИКИЙ И БЛАГОРОДНЫЙ  
ВЕНЕЦИАНЕЦ**



Одни говорят, что он раздвинул границы изведанного мира и считают его положительным героем. Другие называют вралем, «венетским бароном Мюнхгаузеном». Как бы то ни было, один генуэзский мальчишка в пятнадцатом веке проводил над его книгой ночи — до поглубевшего рассветного неба и оплывшей до самого основания свечи. Потрясение от прочитанного определило дальнейшую судьбу мальчишки: он вырос и попытался открыть морской путь в Индию, но не учел размеров земного шара — и бросил якорь своей каравеллы в песок нового континента. Америки. Зачитанная до дыр книга Марко Поло была с Колумбом во всех его странствиях.

Историю Марко Поло, великого и благородного венецианца<sup>1</sup>, знают все. Или, по крайней мере, думают, что знают. Все ведь так ясно! Юный Марко отправляет-

---

<sup>1</sup> Так Марко Поло назван в заключительной строке его книги. Существует несколько версий этой книги на разных языках. Автор пользовался следующим изданием: Marco Polo. The Travels of Marco Polo. London, Penguin Books, 1958. (*Перевод и вступление* — Ronald Latham.)

## МАРКО ПОЛО, ВЕЛИКИЙ И БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ

ся в торговую экспедицию с отцом и дядей — почтенными венецианскими купцами. Одними из первых европейцев они добираются до далекого, почти мифического Китая. Потом чуть ли не два десятилетия проводят на службе у правителя Хубилай-хана, который осыпает их почестями и назначает Марко правителем одной из своих провинций. Для беспрепятственного передвижения по Китаю Хубилай дает братьям и Марко золотые таблички с приказом оказывать им всяческое содействие.

Но не может Марко забыть родину ни за какие блага хана — и возвращается в родную Венецию. Обнимает зажавшихся родных, одаряет их привезенными из странствий драгоценностями... И попутно знакомит соотечественников с удивительным кулинарным новшеством — макаронными изделиями, совершая тем самым революцию в итальянской кухне.

Пример Марко Поло, подкрепленный красочным описанием далеких земель, откуда он вернулся живым и невредимым, неопровержимо доказывает венецианским купцам, что регулярный доступ к несметным сокровищам Востока для них вполне реален.

И даже потом наш герой не успокаивается, а становится капитаном галеры. И в морском бою у берегов Хорватии попадает в плен к генуэзцам. В плену он диктует товарищу по несчастью, некоему писателю Рустикелло, свои воспоминания о жизни в далеких краях. Тот их литературно обрабатывает и — выходит произведение, которое раскупается мгновенно. Первый бестселлер!

Умирает Марко Поло благообразным седобородым старцем, окруженный обожающей семьей, в почете, богатстве и славе. Уходит в мир иной великим гражданином благодарной Венеции...

Всё. Хеппи-энд.

Однако более близкое знакомство с материалами о жизни хрестоматийного Марко Поло поселяет сомнения, и становится все яснее, что ни один факт его биографии не может считаться достоверным. Даже место рождения — то есть был ли он венецианцем? Вокруг этой истории до сих пор кипят страсти. Хорваты, например, уверены, что Марко был хорватом, и родина его — хорватский остров Корчула, и фамилия его не Поло вовсе, а Пилич — Марко Пилич. На острове Корчула даже быстренько «собрали» небольшой дом-музей, тут же нашлись «потомки» великого путешественника, и, пока исследователи судят да рьят (был ли, не был ли?)<sup>1</sup>, Марко отлично служит делу развития корчульского туризма — подобно динозавру Несси в Шотландии.

Нельзя даже достоверно сказать, привез ли он в Италию макароны. Может быть, и привез.

Если, конечно, вообще куда-нибудь ездил!..

А книга его называлась «Описание мира», но островословы-современники сразу же нарекли ее «Il Millione» — «Миллион бак», то есть собрание историй не совсем правдивых. Даже выражение появилось в Венеции: «давать Марко Поло», — то есть попросту — врать.

«Почему это он, — вопрошают скептики теперь уже, когда путешествия в Китай стали делом привычным, — почему это он ни Китайской стены не заметил, ни чайных церемоний, ни акупунктуры, ни свитых ног у женщин?

---

<sup>1</sup> Большинство исследователей все-таки склоняются к мнению, что Марко — уроженец Венеции. «Энциклопедия Британика», например, убрала все упоминания о Корчуле как родине Марко Поло вследствие их недостоверности.

## МАРКО ПОЛО, ВЕЛИКИЙ И БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ

Поло утверждал, что управлял провинцией, но в китайских архивах (а китайцы архивировали все тщательнейшим образом с незапамятных времен!) не нашли никакого такого наместника Марко Поло. Нет, был, конечно, один По Ло, но — явно местного „розлива“...» «Да потому,— отвечают они себе же,— что никуда дальше своего дома в крымской Солдае<sup>1</sup> он не ездил, а ходил по постоянным дворам да караван-сараям, слушая и записывая рассказы персидских купцов. Оттого и все китайские названия даны у него в персидском варианте!» Однако никто из них не объясняет такого весьма странного для купца тринадцатого века поведения. А также и того, почему Марко упоминает о существовании Японии, о которой персы не знали.

Появляются и вопросы, ставящие под сомнение хрестоматийные факты его биографии: почему в отчетах венецианской Инквизиции (весьма опасного тогда учреждения) проскальзывает упоминание о каком-то «наблюдении» за Марко Поло, безобидным купцом-путешественником? Почему сорокалетний, очень обеспеченный человек после долгих лет странствий по Азии, вместо того чтобы наслаждаться заслуженным отдыхом в кругу семьи, оказывается на галере в морском бою при Курзоле?

После смерти Марко среди его личных вещей нашли золотые таблички Хубилая, но скептики уже не могут остановиться и заявляют, что он мог украсть их у кого-то, кто действительно был в Китае. Мало того что лгун, так еще и воришка! А может, и похуже: откуда в фундаменте его дома оказались останки женщины, найденные не так давно в процессе реставрации и датированные XIII веком? И почему, наконец, мраморная гробница «славнейшего и

---

<sup>1</sup> Совр. Судак.

знаменитейшего сына благодарной Венеции» из церкви Сан-Лоренцо исчезла куда-то при невыясненных обстоятельствах и бесследно?

Чем больше знакомишься с героями растиражированной истории Марко Поло, тем больше всплывает любопытных и не всегда объяснимых подробностей... Но начнем по порядку.

### **Его Венеция**

Добро пожаловать в Венецию, господа! Вот — рынок, Риальто. Здесь мерно и громко уже который век пульси-



Витторе Карпаччио «Исцеление безумного» (1494)



рует ее сердце. Осторожно, не поскользнитесь, деревянные тротуары улиц скользкие: ночью прошел дождь. Впрочем, уже начинает припекать солнце, а лужи быстро высыхают, так что осмотреться — самое время!

...**В**енецию всегда называли городом, где «ничего не растет, но всего в изобилии». И увидеть это изобилие воочию можно здесь, на Риальто: редкий китайский шелк, индийские специи и драгоценные камни, каспийская икра, балканские кожи и серебро, фламандские ткани, английская шерсть, воск и меха из Московии, мед, вино и оливковое масло из Греции, ковры из армянской Киликии, сахар и хлопок с Кипра и из Египта, клинки самой лучшей стали из Дамаска и Толедо... Если чего-то нет в Венеции, этого просто нет на земле!

Издавна торговали здесь и «живым товаром». Рабов везли с берегов Черного моря, из Далмации, из Африки.

Вот плывут по Большому каналу<sup>1</sup> роскошные гондолы знати и богатых купцов с гребцами в бархатных ливреях. Из богато убранных драгоценными тканями кают-feltze доносятся звуки мандолины, смех, звон бокалов.

Снует, как кефаль, многочисленная лодочная мелочь. Канал быстро заполняется судами; только посередине остается еще полоса зеленой воды — а суда все прибывают и прибывают. Будет хороший торговый день!

Один за другим подходят иностранные торговые корабли и к таможене Пунта Догана — бьют на палубах барабаны, задавая ритм гребцам, свищут плети, рвут луженые глотки разноязыкие боцманы. Венецианские таможенники чуткими носами «обнюхивают» каждый

---

<sup>1</sup> Венецианский Canale Grande в русской традиции называют и Большим каналом, и Гранд-каналом.

корабельный закуток. Один английский путешественник оставил нам о них такую запись: «Даже обыскав корабль и не найдя ничего, что можно было бы обложить налогом, они все равно не уйдут, не получив мзду хотя бы на выпивку»<sup>1</sup>.

Пахнет специями, просмоленной древесиной, гнилыми водорослями, из таверн доносятся ароматы чеснока и жареной рыбы. Бродят обвешанные медными чарками продавцы воды: «А вот — вода, холодная вода!..» Торговцы сладкими орешками и изюмом привычно отмахиваются от туч назойливых мух. Под холщовыми навесами и в арках рынка, где идет торговля, постепенно становится жарко. Проклинают жару и оттирают фартуками вспотевшие лбы пожилые горничные. Квохчут куры, крикают в корзинах утки.

Риальто — рынок-полиглот. Купцы в одеяниях своих земель с легкостью переходят с языка на язык: греческий, турецкий, армянский, фарси, английский, датский, немецкий, французский, арабский, полдюжины итальянских наречий. Но чаще всего, конечно, слышен венецианский диалект.

Те иностранные «гости», которые местного наречия не изучили, нанимают зазывал — часто из бродячих комедиантов. Зазывалы орут во всю глотку: «А вот подходи, мыло из ширазских роз, попробуй на нюх — какой товар! Им и шах персидский моется, покупает только у меня!» — и уморительно изображают, как намыливает подмышки и причинные места толстый неповоротливый «шах». Вокруг лавки собирается хохочущая толпа, тянутся руки с монетами. Купец доволен.

---

<sup>1</sup> William Thomas, *The History of Italy*, Cornell University Press, New York, 1963. Цитируется по антологии: Michelle Lovric, *Venice Tales of the City*, London, 2003, с. 59. (Перевод — автора.)

## МАРКО ПОЛО, ВЕЛИКИЙ И БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ

У лавки кожевника рыдает пожилая женщина в простом, аккуратно заштопанном траурном платье. «Только что ведь был у пояса кошелек, а хватилась — срезан!» Ее успокаивает нестарый еще хозяин — а сам зорко следит за своими бойко торгующими мальчишками-подмастерьями.

Около церкви Сан-Джакомо испитой августинский монах в дырявой грязной рясе неожиданно сильным, зычным голосом проклинает сарацин, все удерживающих в нечестивых руках Святую землю, и призывает венецианцев, погрязших в суетности и плотских грехах, использовать последнюю возможность избежать геенны огненной, став рыцарями Креста и вернув Иерусалим Господу. На него мало кто обращает внимания: религиозным рвением торговый люд Риальто никогда не отличался. На Крестовые походы здесь вдохновляются только тогда, когда можно хорошо пожить — как, например, более полвека назад в Константинополе, теперь, увы, для венецианцев опять потерянном! Да и в большинстве мусульманских стран, куда более платежеспособных по сравнению с европейскими партнерами, у венецианцев давно налажены надежные торговые связи. Так что зря дерет горло монах на Риальто. Вот в испанском Сантьяго-де-Компостела <sup>1</sup>, где монах проповедовал до этого, его слушали бы с куда бóльшим энтузиазмом.

Небольшими группками бродят по рынку разноязыкие паломники, ожидая отплытия галер в Святую землю.

В лавку картографов неподалеку заходят серьезные капитаны с продубленными лицами, и старый картограф

---

<sup>1</sup> Место паломничества католиков наряду с Иерусалимом и Римом. Город, где с раннего Средневековья находится собор с мощами святого Иакова (по-испански — «Сантьяго»), имя которого вдохновляло испанских христиан на освобождение от мавританского владычества.

ведет с ними неспешную беседу за рюмкой доброй густой мальвазии, то и дело гоняя подмастерьев за свитками новых, пахнувших клеем и кожей карт.

Риальто — царство рук. Их тысячи: руки розовато-белые с веснушками и рыжей растительностью; руки черные, словно мокрые спины косаток; руки цвета золотистого меда... Они трогают ткани, показывают товар, звенят дукатами, заывают, приветствуют, хватают за одежду, пытаются удержать, скрепляют пожатиями сделки, взлетают отчаянно, отмахиваются разочарованно. И, наконец, бережно, с благоговением принимают плату.

Получив от покупателя венецианский дукат — валюту самую твердую и ходовую как на Средиземноморье, так и за его пределами,— негоциант пробует его на зуб. Потом монета тяжело падает в кожаный кошель, и тот туго, в три-четыре оборота, перевязывается тесемкой.

И ради этого единственного момента — вся суматоха, весь шум, весь этот Риальто!

Чуть подалее от моста бурлят другие страсти. Здесь — рынок рабов. Одни плачут и просят пить, другие лопочут что-то на своем языке, да никто их не понимает и не слушает... Есть и такие, что впали в мнимое безразличие ко всему происходящему, и эти-то — самые опасные: чуть не углядишь — бросаются в канал, а это — убыток.

Перед торгом девушкам и детям придают «товарный вид» — неплохо кормят, вдоволь дают пить и, раздав гребни, заставляют вычесывать друг другу из волос паразитов. Одежды на них немного — чтобы покупатель не подумал, что товар с изъяном. На девственниц — особо высокая цена, и горе тому торговцу, который обманет покупателя!

Грустными еврейскими глазами смотрят на мир ростовщики из темных лавок у канала, и качают головами в своих красных конических шапках, предписанных сена-

том к обязательному ношению, и шепчут, шепчут что-то на своем древнем языке — то ли молятся за этот пропащий мир, то ли проклинаят его, то ли выручку подсчитывают вслух. А может, и то, и другое, и третье... Юристы в лавках рядом с ростовщиками подслеповато зарывают морщинистые пергаментные лица в огромные кодексы на кипарисовых подставках и составляют прошения, контракты, завещания. И дают советы по тяжбам.

У входа в таверну спят вповалку на скользкой от блевотины деревянной мостовой широкоплечие коротконогие галерные гребцы, от души повеселившиеся вчера на берегу. Через распростертые тела осторожно, бросая по сторонам нервные взгляды, переступает почтенный господин. Можно побиться об заклад: он направляется в злачный Каstellето — бордель-резервацию, где живут венецианские проститутки, известные своим искусством по всей Европе, да и за ее пределами. Многие из них попутно «работают» и на Инквизицию, ибо в постелях Каstellето языки развязываются сами собой. К вечеру ручеек клиентов превратится в шумную многоязыкую реку.

В обычные звуки рынка то и дело врываются вопли потасовок. Торговый бизнес — дело серьезное: в случае особенно резкого расхождения во мнениях даже кинжалы идут в ход. Обманутые покупатели проклинаят торговцев, давая волю чувствам, а порой даже поджигают их корабли. И все это — несмотря на надпись справа от алтаря в старой церкви Сан-Джакомо: «Вокруг этого храма да будет купеческий закон справедлив, меры весов верны, а договоры — честны»<sup>1</sup>.

Время от времени народ всем скопом, опрокидывая хлипкие лотки зеленщиков, бросается за очередным карманником.. Счастье вору, если он успеет добежать до

---

<sup>1</sup> Jan Morris, Venice, 2000.

ступеней Сан-Джакомо: тут уж кидай украденный кошель в толпу, падай у входа в храм — тогда не убьют. По крайней мере не здесь и не сейчас — таков неписанный обычай Риальто.

А на причальной дубовой тумбе слепой мальчишка поет на венецианском диалекте о купце, что уходит в долгое плавание в далекие земли, и вернется ли к возлюбленной — неизвестно. Белы́ глаза маленького слепца на загорелом лице. Его высокий, чистый, неожиданно красивый голос гармонично вплетается в какофонию рынка и пронизывает, связывает воедино все звуки Риальто — плеск воды в канале, бой барабанов, перебор мандолин, речитатив зазывал, переключку гондольеров, вопли чаек, говор многоязыкой толпы... Круглолицая, с потрескавшимися от солнца губами, веснушчатая дочка греческого торговца медом, не понимая в песне ни слова, украдкой смахивает слезу и бросает в пустую шапку певца мелкую монету.



Иллюстрация из старинного манускрипта «Марко Поло»

Жестокая, шумная, сумасшедшая, вонючая, пьяная, распутная, благоухающая специями, расчетливая, полная жизни Венеция!

### Похождения семейства Поло

**1204** год. Как только пришла весть о захвате венецианцами Константинополя, возликовали купцы на Риа-льто. Ну, может, и чувствовали некоторые — легкие конечно — уколы совести: ведь пошли Крестовым походом на христианский город, многое разрушили и многих убили под горячую руку. Но, имея во владении такую торговую базу, расположенную на удобнейшем перекрестке между Востоком и Западом, товарооборот на Риа-льто можно увеличить в десятки раз!

Дедушка нашего героя, мессир Андреа Поло, не тратил времени на рефлексию, а перенес «головной офис» своей «торговой фирмы» в Константинополь. Семья его росла, торговля шла отлично, и постепенно за будущее своего бизнеса Андреа стал спокоен: во всех делах ему помогали теперь сыновья, ставшие весьма толковыми купцами: старший Марко, средний Никколо и младший Матфео. Торговали Поло драгоценными камнями и ювелирными изделиями.

В те времена драгоценные камни, специи, золото, серебро, шелк, парчу и другие восточные товары на Риа-льто привозили купцы, входившие в таинственный каирский «орден» — «карими». Они были связаны клятвой взаимопомощи и ревностно охраняли свою монополию. Караваны «карими» сопровождали целые наемные армии, ибо поставка товаров на рынки XIII века была делом крайне опасным: караваны подстерегали в пути разбойники и любители поживы всех мастей. А если удавалось

отбить нападение или откупиться, оставался весьма реальный риск умереть по целому ряду других причин — путь пролегал через раскаленные безводные пустыни, заснеженные перевалы и ущелья, через земли, охваченные племенными войнами, через деревни, в которых население выкашивали проказа, дизентерия, лихорадка, холера, чума. Сколько купцов погибло в пути, сколько сгинуло караванов... Но игра стоила свеч, ибо за то, что привозилось, можно было требовать практически любую цену!

Несмотря на явный соблазн, европейские купцы отправляться так далеко на Восток в массовом порядке опасались. Прибыль — прибылью, но всерьез рассказывали, что живут в тех краях люди с головами собак (*synosephali*), люди с лицами на груди (*blemmyae*) и, наконец, люди с одной огромной ногой (*sciorods*), которую они используют не только для удивительно быстрого бега, но и в качестве укрытия от палящего солнца (прикрываются ею, лежа на земле, словно пальмовым листом). Кто знает — чего можно от них ожидать? И почему-то многим казалось — ничего хорошего... Кто сочинял эти истории и кто встречался с этими существами — неизвестно. Может, сами «карими» их и сочиняли, дабы поселить опасения и неуверенность в душах потенциальных конкурентов?

Неизвестно, когда и почему появилась у братьев Поло идея путешествия на Восток<sup>1</sup>. Однако что поразит в этой истории любого, так это их способность в самых опасных обстоятельствах выходить сухими из воды.

В 1261 году правитель Никеи Михаил Палеолог при активной поддержке генуэзцев (между прочим, заклятых конкурентов Венеции) наконец-то изгнал из Константинополя венецианских захватчиков. Толпа, одержимая

---

<sup>1</sup> В этом путешествии Марко не принимал участия по причине своего нежного возраста.



## МАРКО ПОЛО, ВЕЛИКИЙ И БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ

жаждой мщения, побивала венецианцев камнями, выкалывала им глаза, громила и жгла их лавки и дома. В общем, око за око: те ведь при захвате города почти шестьдесят лет назад тоже не слишком церемонились.

И вот незадолго до этих событий купцы Поло, проявив великолепное чутье, распродают всю свою недвижимость в Константинополе, покупают на вырученное «портативный товар» — драгоценные камни — и отбывают в Судак, где их и нагоняют вести о константинопольских погромах. Недаром названы будут они в книге Марко «людьми, выдающимися своей мудростью и даром предвидения»!

Впрочем, последующие события заставляют думать, что тут не только дар предвидения: братья Поло просто в рубашке родились.

**А** в это время на Европу надвигается монгольская угроза. На Западе монголов именуют «тартары» — по названию одного из их племен и ассоциации с Тартаром, адом греческой мифологии. И как исчадия этого ада, посланные за грехи, налетают они на спящие города — полчища всадников в остроконечных шапках. У них — нечеловеческая способность переносить лишения: они могут без остановок преодолевать огромные расстояния, утоляя голод и жажду только живой конской кровью (надрезают вену, а после зашивают рану «жилной ниткой»). Врага монголы берут в огромное кольцо, будто охотясь на степных волков, а потом кольцо постепенно сжимают... Многотысячное войско действует так слаженно, будто представляет собою единый организм. За короткий срок монголы завоевали значительную часть Евразии, и их дальнейшее продвижение на Запад, кажется, не сдержать уже ничем. На Востоке вал кочевников не смогла остановить даже Великая Китайская стена, которую с этой целью и строили, — ужасная армия, освоившая

стенобитные машины и осадные башни, просто обратила в руины большую часть этого невиданного многокилометрового укрепления<sup>1</sup>. Об этом мало что знали в Европе, но венецианцы, как и генуэзцы, с давних пор имели торговые дома, склады и собственность в крымской Солдае — удобной перевалочной базе между Востоком и Западом. Поэтому они были лучше осведомлены о ситуации и начинали опасаться, что если дело пойдет так, то дымы костров монгольских военных становищ скоро можно будет, не приве-ди Господь, увидеть с колокольни Святого Марка!

Услышав о приближении монгольского войска, почти все европейские купцы в Солдае стали спешно сворачивать свою деятельность, эвакуировать семьи, вывозить все, что можно. А что же делают в это время братья Поло? Прикупают еще драгоценностей и отправляются прямо в Золотую Орду — торговать с наводящими ужас кочевниками!<sup>2</sup> Смелость? Да. Безрассудная? Если судить по их уже проявившемуся ранее в Константинополе поразительному инстинкту самосохранения — вряд ли. У обоих в Венеции оставались семьи. У Никколо Поло — жена и шестилетний сын Марко.

Упорные венецианцы *невредимыми* добираются до самой Волги. А здесь идет междоусобная войны между ханами Берке и Хулагу. Два европейца с седельными сумками, полными драгоценных камней, — в эпицентре военных

---

<sup>1</sup> Может быть, поэтому Марко о ней и не упоминает. Стену восстановили только в шестнадцатом веке. (См.: John Larner. Marco Polo and the Discovery of the World. N-Haven and London, 2001. С. 59.)

<sup>2</sup> Кроме старшего — Марко, который не стал продавать свой дом в Судак и с братьями на Восток не поехал, а вскоре и вовсе умер.

действий двух татарских армий, и — никакой особенной охраны! И опять они умудряются уцелеть! И даже добратся живыми до Бухары, где находится резиденция хана Хулагу. В Бухаре они застревают на три года, но времени не теряют, а становятся для бухарского повелителя абсолютно своими людьми. Что помогло им завоевать расположение хана? Щедро отсыпанные драгоценные камни? Но купцы и так были в его власти, включая их седельные сумки. Природная харизма? Политический талант?

Но дальше — самое изумительное совпадение. Через Бухару проезжают — совершенно случайно, по каким-то своим монгольским делам — послы хана Хубилая, что правит своей необозримой империей из завоеванного Пекина. И Хулагу не только рад их представить друг другу, но и дает венецианцам Поло самые прекрасные рекомендации. После чего послы уже настоятельно приглашают братьев ко двору самого великого Хубилая, который якобы никогда еще (живых?) европейцев не видел и очень заинтересован на них взглянуть. Вот так, отчасти в качестве любопытных живых экспонатов, братьев Поло доставляют к хану...

Хубилай был правителем просвещенным и любознательным. Он желал узнать о Европейском Западе как можно больше. Конечно, обаятельные Поло с легкостью завоевали расположение и самого Хана всех ханов. Он делает венецианцев своими доверенными лицами и советуется с ними по многим вопросам. Впрочем, ханские симпатии к «латинянам» имели, скорее всего, политическое объяснение: Хубилай доверял своим западным советникам намного больше, чем китайским, потому что для последних он был варваром и «проклятым завоевателем». Может быть, для того, чтобы иметь в Китае «буфер» из европей-



Хубилай-хан

цев, он и надиктовал Поло письма к папе римскому, требуя прислать в Китай для проповеднической деятельности 100 христианских миссионеров! Письма эти братья должны были передать понтифику лично.

А по возвращении поручалось им привезти для хана также лампадное масло из церкви Гроба Господня в Иерусалиме<sup>1</sup> — хан слышал о его чудо-

действенных свойствах. Братьям дают «пайцзу» — охранные таблички, на которых по чистому золоту выгравировано: «Силами Вечного Неба да свято будет имя Хана! И да пребудет вечное благоговение всех перед его посланникам». С тем они и отбывают.

По всему ханству (расстояния огромные!) действует прекрасно организованная система «ям»<sup>2</sup> — станций для перемены лошадей, но на дорогу в Святую землю у братьев все же уходит три долгих года. Наконец Поло прибывают в Акру<sup>3</sup> — последний в Святой земле оплот христианства. Масло-то они достали, а вот с доставкой писем получилась загвоздка: папа Климент IV, которому они были адресованы, только что умер. В Акре братья обратились за советом к местному епископу Теобальдо Висконти. Тот развел руками: ничем, мол, помочь не могу, нету

---

<sup>1</sup> Других гонцов в то же самое время он отправляет на остров Мадагаскар — привезти перья (а если удастся, то и яйцо) удивительной птицы Рух, которая, как рассказывали, живет вечно. В общем, любознательность великого хана не знала границ.

<sup>2</sup> Как известно, отсюда пошло и русское слово «ямщик».

<sup>3</sup> Совр. Акко.

папы и в скором времени не предвидится, ибо выборы обещают быть долгими и трудными. Теобальдо хорошо знал, о чем говорил: нового папу не могли избрать еще два года. Но не возвращаться же к Хубилаю, не выполнив поручения? Не ровен час осерчает... Значит, оставалось братьям только одно: вернуться в Венецию и ждать, пока в Риме не определятся с новым понтификом.

### Сирота

На Риальто юного Марко больше всего привлекали лавки картографов. Старый Антонио иногда поручал ему то размешать тушь из сепии — «чернил» каракатицы, то сделать вязкий лак из рыбьих костей, которым для защиты от морской воды покрывался пахучий телячий пергамент-веллум с нанесенными контурами далеких земель. Мастер знал, что семья купцов Поло богата, но в Венеции ходили упорные слухи, что отец мальчишки и дядя сгинули где-то на Востоке. Мать непрестанно болела, вот и прибился парнишка к лавке картографов, как бездомная собачонка. Парень показал себя трудолюбивым и смысленным, и Антонио был так им доволен, что предложил стать подмастерьем. Услышав это, серьезный молчаливый мальчишка неожиданно бросился старику на шею, едва не сбив его с ног!

У Антонио всегда толпился народ — хриплоголосые капитаны галер, приходившие за самыми последними и точными картами, а также купцы, которым Антонио платил за то, что возвращались они из торговых экспедиций с зарисовками береговых линий, горных перевалов, караванных троп в пустынях и переправ через реки. Иногда разные «агенты» привозили из одного и того же района совсем различные зарисовки, и Антонио с другими масте-

рами-картографами приходилось разбираться и составлять вразумительную карту. Самые подробные и соответствующие последним сведениям карты стоили очень дорого — на такие деньги можно было нанять полкоманды для небольшой галеры.

Для особенно ценных карт в мастерской имелась комната без окон, где стояли огромные сундуки. На внутренних их крышках имелись замки с причудливыми засовами в виде свившихся змей. Чтобы отпереть сундуки, требовалось несколько ключей. Когда ключи поворачивались в замках, раздавался скрип с шипением, словно в сундуках и впрямь жили змеи. Это означало, что замки пора смазывать. Марко был очень горд, когда Антонио время от времени поручал ему это дело. Значит, доверял и считал своим. Для Марко это было самым важным.

Мореходы и торговый люд приносили в лавку и свежие новости. Иногда это были печальные вести о гибели торговых караванов или галер. И тогда в мастерской повисала тишина. Все осеняли себя крестом, потом в молчании поднимали чаши красного вина и думали, что, сохрани Дева Мария, но может настать день, когда вот так же будут пить здесь и в память о них. А караваны все равно будут упрямо идти, увязая в песках, все равно будут резать Адриатику торговые корабли и — многоязыко шуметь вечный Риальто! В повисшей скорбной тишине потрескивали в камине дрова, в церкви напротив красиво пели «Te Deum» монашки. Антонио в такие минуты находил предлог выйти из мастерской. Все знали, что два года назад из паломничества в Святую землю не вернулся его единственный сын, Винченцо. Был он лучшим в Венеции картографом, гордостью отца. Может, еще и поэтому привечал осиротевший старик юного Марко.

Раннее утро в доме Никколо Поло на кампо Сан-Лоренцо. Пахнет сажей: слуги чистят камин. Кухарка гремит в кухне посудой и переругивается с зеленщиком.

Дом — небедный: во всех окнах не слюда, а маленькие ромбовидные стеклянные пластины, в гостиной комнате — зеркало, гобелены. До отъезда дела Никколо шли очень хорошо, и в семье осталось достаточно денег, чтобы даже теперь, после стольких лет его отсутствия, мать с сыном не знали особой нужды. Маленькому Марко было всего лишь шесть, когда отец уехал по торговым делам. Малыш со смешным упрямым «ежиком» волос превратился уже в долгоязого подростка, а отца с тех пор так и не видел.

Мать уже давно не встает с постели. Лицо обтянуто кожей так, что проступают кости. Вокруг глаз глубокие темные круги — как смерть кистью обвела. Два года назад зима была особенно суровой, и она сильно простудилась и слегла с лихорадкой, с изнуряющими головными болями. Кризис прошел, болезнь ее не убила, Но поселилась с тех пор в ее теле. Не помогли ни дорогие лекари, ни знахарки с острова Мурано, которые, в страшной тайне от Инквизиции, лечили с помощью магии. Только вот последняя и лечить отказалась, и платы не взяла.

Марко знал, что мать долго не протянет. Ему было страшно, и он старался быть с ней как можно меньше, чтоб не так тяжела оказалась потеря. И он просил у Бога, чтобы дал ему больше ее не любить. Но не слышал Бог, и еще сильнее завладевал душой Марко страх.

Весь март мать диктовала Марко письма отцу, и он раздавал их купцам и капитанам в мастерской и в порту морякам, чтоб передали Никколо Поло, если случится его где встретить... Но письмо за письмом купцы привозили обратно нераспечатанными, так и не найдя адресата. И Марко возвращался к матери ни с чем...

Боже, как же счастлива была она в этом доме целых шесть лет! До того счастлива, что совсем не вспоминала свой залитый солнцем остров Курзола <sup>1</sup>, где родилась и где встретила в доме отца, венецианского торговца солью, будущего своего мужа, этого уверенного, сильного человека, глаза которого напоминали синевой ионийскую Адриатику.

Умный, осторожный — не мог ее Никколо пропасть просто так! Она долго надеялась. Однако болезнь взяла свое и убила надежду.

В полном безразличии теперь ко всему, глядя из окна на черепичные крыши, меж которых высились корабельные мачты, думала она, что и сын Марко — тоже самый настоящий Поло, та же кровь. Все меньше времени проводит он с ней, целыми днями пропадает на Риальто у картографов. Много раз замечала она, как, вздыхая, смотрит он из окна на мачты галер. Сначала думала, что сын просто тоскует по отцу, но однажды, перехватив такой его взгляд, поняла: нет, не то! Пугающе знакомым было это выражение. Быть Марко в этом мире скитальцем. И быть еще одной венецианке при живом муже — вдовой...

*О молчаливое подвижничество венецианских купеческих жен! Как было одиноко им в промозглом холоде февральских ночей, когда мужья, следуя с караванами по Великому шелковому пути, мучились в пустыне Гоби поносом от гнилой воды, защищали в окрестностях Кандагара свои дорожные сундуки от курдских грабителей, развлекались в палатках из верблюжьих шкур с туземными красотками... На долю купеческих жен оставалось лишь ожидание. Художник Карпаччио показал таких венециа-*

---

<sup>1</sup> Совр. остров Корчула у берегов Хорватии.





Две венецианки. Картина Витторе Карпаччио

нок <sup>1</sup>. Две стареющие и некрасивые женщины сидят в богатых платьях и прекрасных жемчугах и с тупой обреченностью, опустив плечи, смотрят в одном и том же направлении невидящими глазами. Будто собрались на праздник — а за ними так и не прислали. И вот они сидят и ждут — никому не нужные и осознавшие это. <sup>2</sup> Долгое время считалось, что это куртизанки в ожидании клиентов. Потом пригляделись повнимательнее, и... в руке одной женщины — белый платок, поодаль — белые голуби. Все это — символы непорочности. А жемчужные ожерелья в Венеции имели то же значение, что обручальные кольца. Значит, на картине — женщины вполне уважаемые и замужние. Но отчего такая обреченность во взгляде?.. Оттого, что безотцовщиной росли дети. Оттого, что в бессилии видели они: год за годом покрывается морщинами под нещадным средиземноморским солнцем их кожа. Оттого, что реже и реже приходили месячные, становилась дряблой грудь, сухими и тонкими делались губы, так редко увлажняемые другими губами... Оттого, что короток женский век, а ожидание бесконечно, как туман над лагуной... И становилось женщинам страшно в такие ночи, и те из них, кто посмелее, завернувшись в длинные плащи, прямо с порогов уверенно ступали в гондолы. А потом рождались и вырастали дети, порою очень похожие или на арабского торговца дамасскими клинками, или на проезжего французского рыцаря. Красивыми были венецианцы.

...К головным болям матери добавились потом и обмороки. Однажды она потеряла сознание прямо на улице

---

<sup>1</sup> Картина «Две венецианки» выставлена в Венеции, в музее Коррэр.

<sup>2</sup> На картине изображены женщины XVI века, но в веке XIII все было так же, разве что костюмы — другие.

и, не удержавшись, упала с низкого моста. Как хохлатки, забегали бестолково вокруг и закудахтали служанки. И утонула бы она, не оказись рядом какие-то не то французские, не то английские крестonosцы, ждавшие корабля в Святую землю. Выташили, привели в чувство и принесли домой, завернутую, словно в саван, в промокший светлой шерсти плащ с нашитым небольшим крестом. Первый раз за столько лет коснулась ее мужская рука.

Теперь в доме только скорбно покачивали головами: не жилища. В ту ночь смерть показалась ей желанным избавлением, и задумала она дело страшное, греховное. И долго носила в себе этот замысел.

Наконец собралась с духом и отправила немого слугу на остров Мурано к последней своей лекарке за снабдьем. Та узнала парня, сразу поняла, кто его прислал, и дала тряпицу с порошком...

**М**арко остался один, вернее — под опекой родственников отца. Те не любили мать Марко, считали ее курзольской провинциалкой, которая так и не стала настоящей *venexiana*<sup>1</sup>. Им не нравилось, что мальчик проводит целые дни у картографов, и теперь он целыми днями помогал семье на складах, на галерах и в лавках, а в свободное время решал задачки из «Книги всяких разностей для юного купца» *Zibaldone da Canal*: «Рассчитай: два торговца грузят шерсть на галеру. Один погрузил 13 тюков, другой — 17. По прибытии в Венецию капитан потребовал платы за перевозку. Купцы сказали: „Возьми по тюку от каждого из нас, продай, из тех денег вычти за перевозку, а остальное отдай нам“. Капитан так и сделал. Потом же сказали ему купцы: „А теперь отчитайся, за сколько ты

---

<sup>1</sup> Венецианкой.

продал шерсть и как рассчитал плату за перевозку и остаток“»<sup>1</sup>. Марко вздыхал и брался за шерботое перо... Он продолжал ходить к Антонио, но делать это приходилось украдкой и потому редко.

Хоть все и болтали, что отец и дядя погибли, он все же продолжал надеяться. Вот хотя бы на прошлой неделе: купец, о котором три года не было ни слуху ни духу, вдруг объявился! Рассказывал, сидя в лавке у Антонио, как бежал от сарацинских пиратов.

Но годы шли, а отец не возвращался. Верхняя губа у Марко уже стала покрываться легким пушком. Уже набеленные проститутки на Риальто стали посматривать на него, к его вящему смущению, и, громко хохоча, говорить ему такое, от чего уши у него становились ярко-пунцовыми.

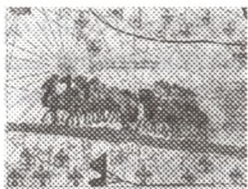
Марко почти забыл об отце, смирился и со смертью матери. В его жизни мало что менялось. Он жил с родными, помогал им на складах, уже знал наизусть и Библию, и книжку Zibaldone. Но, как только выдавалась свободная минута, приходил в лавку к старому Антонио, который теперь часто болел и пил какие-то разноцветные, резко пахнувшие настойки. Антонио уже поручал ему копировать даже сложные карты и неплохо платил.

Осенними вечерами, когда улицы Венеции до крыш погружались в непроглядный, как молоко, туман, и работы на складе было не так уж много, Марко приходил в мастерскую чаще. И слушал, как мореходы неспешно вели под мальвазию беседы при уютном свете масляных ламп. Одним таким вечером Марко прочерчивал на дешевом пергаменте те места, через которые когда-то, как предполагали опытные картографы, мог проходить караван отца. Из Солдайи, что на

---

<sup>1</sup> A. Stussi, *Zibaldone manoscritto mercantile del sec XIV*. Цитируется по: John Larner. *Marco Polo and the Discovery of the World*. Yale University Press New Haven and London, 1999. С. 200.

Маг Negro — Черном море, на юг к огромной реке с названием Итиль<sup>1</sup>, а оттуда — в земли жестоких воинов «тартар». Там был город Бухара, а дальше на восток — конец мира.



Караван Марко Поло. Иллюстрация из старинного манускрипта

Уже перед самым закрытием в лавку вошли два незнакомца в странной, невиданной даже на Риальто одежде. Глянув на вошедших, Марко как-то неловко двинул рукой и смахнул на пол чернильницу. Густая бурая жидкость разлилась по светлому мрамору пола... Марко замер от ужаса. Все смотрели на незнакомцев. И один из них подошел к Марко, склонился к карте, потом взял из его окаменевшей руки перо, подправил изгиб реки Итиль и пририсовал еще один неизвестный приток. «Вот так-то будет правильнее!» — сказал он. Потом переглянулся со своим оставшимся у двери спутником, радостно засмеялся и взъерошил Марко волосы. А тот так и оставался в оцепенении...

### В путь!

**Б**езотцовщина кончилась.

И зажили Марко и Никколо в Венеции в их опустевшем без матери доме. Но опустевшим дом был недолго: отец привел новую жену, мачеху Фиордилизу. Та была просто помешана на чистоте и порядке, и Марко, что и говорить, частенько от нее доставалось! Фиордилиза Тревизан, дочка старого торговца шерстью Тревизана, считалась перестарком. Она была уже в отчаянии: никто отчего-то не брал ее даже с солидным приданым, и потому пошла бы

---

<sup>1</sup> Совр. Волга.

хоть за черта. И тут появился Никколо Поло, совсем еще ничего собою! Вот и влюбилась без оглядки. А Никколо верно рассчитал: эта будет покорно ждать и следить за складами и домом, как цепная собака.

Марко видел, что отца тяготит оседлая, домашняя жизнь. Отец был как на иголках, словно все время ждал чего-то, и, может быть, поэтому Марко тоже был как на иголках и тоже ждал каких-то скорых перемен.

И вот наконец дождался. На этот раз все они уезжали из Венеции вместе. Отец и дядя брали его с собой! Марко не мог поверить своему счастью. Его ждут удивительные страны и приключения! Он будет так же свободно говорить на неведомых языках и научится быть таким же бесстрашным, как отец!

Перед отплытием из Венеции Марко пришел к Антонио прощаться. Старик сидел в своем кипарисовом кресле с зеленой обивкой как-то особенно прямо, и от него пахло лекарством. Он казался сердитым и не сказал на прощание Марко ни одного доброго слова. И лишь потом, обернувшись уже в дверях, увидел Марко слезы, катившиеся по старческому щекам, и тоску в глазах — ту же бездонную тоску, что стояла когда-то в глазах матери...

Это была последняя их встреча.

**В**енеция таяла за кормой, галера выходила в Адриатику. Марко никогда до этого не был в открытом море. Он стоял на носу и читал молитву, рекомендованную «справочником» Zibaldone к троекратному повторению перед морским путешествием: «Святой Ариель и Товий („И святой Марк“, — добавил он для пушей надежности), Христос-победитель, Христос-владыка, Христос на небесах, Христос на земле...» И опять: «Христос-победитель, Христос-владыка, Христос на небесах, Христос на земле...» И опять...

## МАРКО ПОЛО, ВЕЛИКИЙ И БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ

Его немного тревожило, что солнце — бледное и неяркое: Zibaldone учил, что, «если солнце утром безжизненного цвета, словно выцветшее, значит, быть шторму и другой непогоде».

— Эй, в нашем деле стоять да смотреть — толку мало будет! — ворвался в молитву голос отца. — В каюте возьмешь перо и пергамент, да не дорогой, а серый, подешевле, и составишь подробную опись провизии в трюме..

Марко бросился выполнять отцовский приказ, а бородастый Никколо с непослушным «ежиком» волос и дочерна загорелым лицом, на котором так и сияли неправдоподобно голубые глаза, сам засмотрелся на уменьшающуюся позади — в которой уже раз! — таможню Пунта Догана.

Нечастым он был здесь гостем, но именно Риаљто заставлял его гордиться тем, что он — венецианец. Пока шумит этот рынок, стоять и городу!

Потом его мысли сменили направление. Да... Не простые они теперь купцы, а служат самой Инквизиции. Монголы — враги опасные и могучие. Они подмяли под себя и Китай, и Московию — страны огромные. Христианство и Республика должны знать, как можно от них защититься. Затем и посланы они к монгольскому хану.

«Хубилай об этом, видать, знает, он непрост, но у него для нас свои задумки, а у Серениссимы<sup>1</sup> — свои. Положение неудобное — как раз посередке, ну да ничего: Венеция между водой и землей который уж век — а стоит и процветает!..»

Два года ждали братья в Венеции избрания нового папы, но тщетно. А тут вдруг были призваны в канцелярию Инквизиции и получили приказ отправляться к хану немедленно. Никколо все недоумевал, как же так, ведь они не выполнили поручения хана: папа еще не избран, хан-

---

<sup>1</sup> *Serenissima* — «Святейшая» (или, точнее, — «Безмятежнейшая»). Часть официального названия Венецианской республики.

ские письма, естественно, не переданы, и сотню монахов-миссионеров они не нашли. Одним только маслом лампадным разжились — и всё. Но в канцелярии причину спешки объяснили Никколо так: при дворе хана недавно объявились генуэзцы, а значит, надо держать их сношения с «тартарами» в поле зрения. И теперь братья плыли в полную неизвестность: хан может помиловать, а может и казнить. Но не выполнить приказ Инквизиции было столь же опасно.

«Знает старая монгольская лиса о давней вражде между Венецией и Генуей, — думал Никколо. — Хитер старик, ох хитер! Всех использует! Европейцев — против завоеванных китайцев, генуэзцев — против венецианцев, чтоб передрались друг с другом. Так всеми легче править! Птица Рух его интересуется, видите ли!.. Масло лампадное!..» — Никколо догадывался, что про их шпионство хану известно. А как соберут они о монголах все сведения, что требует Инквизиция, — вряд ли отпустит их хан просто так, без залога.

Потому и посоветовал им преподобный епископ Теобальдо Висконти, который принимал их в Акре еще на пути в Венецию, в обратный путь к Хубилаю взять с собой такой залог, и самое верное — какого-нибудь достаточно подросшего сына, если таковой имеется... Это неприятно поразило отца: даже о его Марко знала Инквизиция. Ханские письма римскому понтифику епископ Висконти посоветовал оставить тогда у него.

И до начала константинопольских погромов венецианская Святейшая Инквизиция послала доверенных людей — предупредить, чтобы уносили Поло из города ноги подбру-поздорову: намечается смута. Здорово все получилось: вовремя сумели превратить недвижимость в драгоценные камни и удалиться от погромов на безопасное расстояние. А долг — платежом красен. Потому и служат теперь и папе, венецианской Инквизиции, и Хубилаю. Но вернее всего — самим себе. Да, тревожно братьям было отплывать. И опасался Никколо за Марко: все-таки



родного сына сам вез в заложники. Ну да не оставит Пресвятая Дева!

Никколо вспомнил вдруг о жене: «Жаль — умерла, не дождавшись!..»

Хотя, честно-то сказать, за столько лет разлуки и за чередой экзотических подружек он ее совершенно забыл. Помнил только солнечный остров Курзолу, да то, что девица была скромная, тихая, не вертихвостка... И вот ведь какого парня вырастила: счет знает, карты разбирает, погречески понимает. Остаются монгольский да китайский. Да еще владение мечом, стрельба — надо будет на корме приладить мишень, пусть в море тренируется. А как удастся добраться до суши — непременно верховая езда!

На палубе галеры Никколо выделялись выбритые тонзуры двух монахов — их братья Поло везли к Хубилай-хану. Монахи обернулись в сторону Никколо, и он поклонился святым отцам. И подумал между тем, что представляют они собой жалкое зрелище. Хан хотел сто «искусшенных в семи искусствах» миссионеров, но братьям удалось залучить лишь этих двоих — остальные отказывались ехать в Китай наотрез.

Святые отцы не внушали особенных надежд: хлипкие больно. В далеких краях миссионер должен быть и монахом, и воином, а эти...

— Как думаешь, Никколо, довезем хоть их? — словно читая его мысли, спросил за спиной брат Матфео.

— Приналечь! — рявкнул вдруг боцман гребцам, и святые отцы даже подпрыгнули, и начали мелко креститься.

Братья переглянулись, и Никколо в сомнении покачал головой.

Он ошибался. Монахи доедут с ними до Китая.

Никколо пристально посмотрел на небо. Оно действительно обещало непогоду. Но галера была добротной,

новой, капитан Зилли — моряком опытным, и братья решились рискнуть. Да и парня надо приучать: шутка ли, уже шестнадцать лет — а впервые в открытом море! Какой же это венецианец?

...Много раз повторял Марко свою молитву — с каждой новой горой воды, обрушивавшейся на палубу, и каждым новым приступом неукротимой рвоты. Пока, наконец, потеряв остатки сил, не забылся тяжелым сном. Его морское крещение состоялось.

**П**ервая остановка была в Акре, где братья снова встретились с епископом Теобальдо и провели в беседах с ним несколько вечеров, без свидетелей. Марко в это время бродил по пыльному, полному бродячих собак городу. А через день — они отплыли в Киликийскую Армению. Путь был долог, и уже там, в порту Айас, им сообщили потрясающую новость: новым папой римским стал не кто иной, как их старый друг Теобальдо Висконти! И зовут его теперь Григорий X. Вот таким скромником оказался епископ...

## **Китай**

**П**о непререкаемому обычаю, путешественники пали перед ханом всех ханов ниц. Лежали долго.

Наконец Хубилай приказал им подняться. И Марко понравился ему с первых минут: он подарил хану отличную действующую модель мангонеллы — осадной катапульты, которую смастерил от нечего делать в дороге. Мангонеллу зарядили кусочком полированной яшмы, и камешек, ударив о стену, рикошетом отскочил к ханскому сапогу. Хубилай расхохотался. Он обожал всякие ме-

ханические приспособления и изобретателей. Ко всеобщему изумлению, он хлопнул Марко по спине и спросил: «Коней любишь?» Марко только на пути сюда научился держаться в седле, но с готовностью ответил, что любит. «Будет толк!» — заключил хан. Повелитель необозримой империи явно выказывал благорасположенность.

Никколо склонился в низком поклоне. А монахи жались в сторонке, и хан уже рассматривал их с явным любопытством.

*Позже Марко Поло будет строить настоящие, гигантские мангонеллы, с помощью которых станет покорять для хана китайские города.*

*Монахи проживут в Пекине более десяти лет. Обращенных ими будет немного, но в их миссии Поло смогут слушать слово Божие на латыни, исповедоваться и причащаться, как подобает добрым католикам. А вот надежды Инквизиции на этих монахов как на запасной источник сведений не оправдаются. В итоге жестокая лихорадка унесет сначала одного — брата Франческо, а потом и другого — брата Лоренцо...*

Двадцать лет бросала Марко ханская служба по гигантской империи Хубилая — от Крыма до Янцзы, от поляр-

---

<sup>1</sup> России в его повествованиях посвящено только несколько страниц. «Это живущий в простоте, но очень красивый народ — и женщины, и мужчины белокожи и светловолосы. Время от времени они платят дань татарскому хану Запада Токтаю, но не то чтобы очень тяжелую... Свои пиры, где много пьют отличного вина, приготовленного из меда, они зовут „stravitza“... холод в той стране сильнее, чем где либо еще в мире, — так силен, что человеку невозможно выжить, если бы не печки... Товаров для продажи в стране немного. Однако меха в ней действительно драгоценны... А также много серебряных рудников, обильно выдающих серебро».

ной России <sup>1</sup> до Мадагаскара. Двадцать лет тряски на собачьих упряжках, на раскачивающихся горбах грациозно-уродливых верблюдов, на широких спинах коренастых монгольских лошадей с непокорными гривами, на утлых, связанных кокосовыми канатами лодчонках, на пахнущих ветром, солью и солнцем скрипучих палубах галер. Ночевки на зимовьях, под пальмами, во дворцах с раздвижными стенами из рисовой бумаги, в палатках кочевников под яркими степными звездами — совсем такими же, как те, что отражаются в канале под окном далекого, давно забытого города... И порой совсем было ему непонятно, есть ли в его странствиях какой-то смысл и какая-то цель, делает ли он все это как верный слуга хана или потому, что только в дороге и бывает счастлив, что это уже у него в крови и иначе он — уже не может.

Действительно ли побывал Марко Поло во всех описанных им странах? Неизвестно. Многие концы в его повествованиях не связываются. Наместником китайской провинции Янчжоу он точно не был — вопреки всем его утверждениям. Практики свивания ног женщин тоже не заметил. Это, конечно, может объясняться тем, что у мужчины-иностранца были ограниченные возможности непосредственных встреч с китайками. Однако в своей книге Марко Поло со знанием дела распространяется, например, о практике проверки девственности китайских невест, а уж на подобную «церемонию» его вряд ли пригласили бы. Про чай — не написал и его не привез. Хотя, может быть, просто не понравился ему этот напиток?

И книга у него получится странная, все в ней причудливо перемешается: исторические сведения, рассказы о битвах, анекдоты, случаи из жизни, дневниковые записи, описания мифических животных, обрядов, традиций и сексуальных обычаев... Повествование о зловещих голосах дневных призраков пустыни, сбивающих путника с пути,

## МАРКО ПОЛО, ВЕЛИКИЙ И БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ

и тут же — списки товаров, которые можно поставлять из какого-то района и привозить в него, советы, что следует и чего не следует путешественнику употреблять в пищу, где найти надежных проводников и носильщиков... Порой кажется, что писали ее два разных человека — купец и поэт. Но так оно и было, и мы расскажем об этом дальше.

Вспоминал ли Марко родной город? Тосковал ли по нему? Об этом в книге нет ни слова. Даже описывая китайский Кинсай («целый город лежит на воде и окружен ею со всех сторон, так что люди ходят из одного конца в другой по мостам»<sup>1</sup>), он не упомянул город своего детства. И только рука переписчика — по-видимому, венецианца — ставит пометку на полях: «как в Венеции».

Двадцать лет оставались братья Поло и Марко на службе у Хубилая. Двадцать лет не отпускал он их. Братья просили разрешения уехать несколько раз, но хан каждый раз отказывал. Так что его заложником Марко посчастливилось не стать. Может, заложниками были все трое? Однако в книге нет свидетельств о том, что они чувствовали себя в плену, что стремились бежать. А возможностей ведь было сколько угодно. Может быть, они сознавали безрассудность любой такой попытки. Или настолько уже привыкли жить на Востоке, что не видели особого смысла в возвращении. И если братьев связывали с Венецией хотя бы оставленные склады, дома и жены, то Марко с шестнадцати лет знал только Восток и наверняка уже мыслил и вел себя иначе, чем это было принято в Венеции.

А Хан всех ханов давно и прекрасно знал, кто они все — и эти братья Поло, и монахи-миссионеры (как и генуэзцы,

---

<sup>1</sup> Marco Polo. The Travels of Marco Polo. London, Penguin Books, 1958. С. 214.

и другие европейцы, подвизавшиеся при его дворе), и чьи приказы они исполняют: все послания их перехватывались и уничтожались. И Инквизиция давно считала их сгинувшими. Единственный миссионер, ехавший в Пекин на встречу с братьями Поло, был перехвачен еще при въезде в город и тут же убит, и братья так об этом и не узнали.

Хан явно получал удовольствие от этой игры с Инквизицией, которая его так недооценивала. И вел себя, словно кот, что играет с пойманной мышью перед тем, как ее съесть. Но, странное дело, со временем Хубилай действительно привязался к троим венецианцам. Они не льстили ему беззастенчиво и примитивно, как все остальные, они были толковы, деятельны, разумны, они развлекали его рассказами о далеких землях. А главное — они имели мужество говорить ему правду тогда, когда другие языки от страха проглатывали. Он дал братьям жен, дома, коней. И просто решил не отпускать обратно.

А вот у генуэзцев при ханском дворе что-то не заладилось, и, возможно, не без влияния венецианцев Поло! Генуэзцы часто лезли не в свои дела, да и шпионили грубо, и Хубилай вскоре отправил их восвояси. Да, говорили, что дорогой с ними все-таки что-то приключилось, и до Генуи ни один, кажется, живым не добрался...

**Н**о к 1291 году политическая ситуация изменилась. Хан состарился, и ему все труднее было удерживать Китай в повиновении. И подданные все больше походили на шакалов вокруг умирающего льва — по мере того как он слабел, они подбирались ближе и ближе. И «советники» Поло, конечно, начали нервничать. «Великий хан так высоко ценил их службу, осыпал столькими милостями и так приблизил к себе, что другие загорелись завистью» — так говорится об этом времени в книге Марко.

Хан прекрасно понимал, что без него венецианцам грозит расправа. Он решил, пока жив, позаботиться о любимой дочери Кокачин, а заодно спасти и своих венецианцев. Хан заочно выдал дочь замуж за Иль-хана Аргуна, повелителя Персии (жених и невеста никогда не встречались). К жениху ее должна была сопровождать целая свита, в нее хан и включил венецианцев. Жен и имущество европейцы, конечно же, оставляли в Пекине: все должны были видеть, что, выполнив миссию передачи невесты, они немедленно вернуться. Но хан позвал их перед самым отъездом и снабдил приветственными письмами ко всем христианским правителям. И Марко все понял.

Хан сказал, чтобы венецианцы взяли ханские золотые таблички — «пайцзы» — «Силами Вечного Неба...». Они и так всегда были с ними, во всех их странствиях. Не знал хан, что самое ценное из своего имущества они уже продали, и на эти деньги, по доброму обычаю семьи Поло, купили алмазы, изумруды, сапфиры и жемчуг.

Хан решил, что безопаснее будет отправиться морем. И вот снаряжается большая экспедиция из тринадцати кораблей с охраной, «фрейлинами» невесты, приданым, гардеробом, провизией и всем необходимым.

И начинается это ужасное путешествие...

### **Опасная связь**

До Суматры, спустя три месяца после отплытия, добрался только один корабль, на котором уцелела лишь половина команды. А впереди лежали Бенгальский залив, Индийский океан. На Суматре они узнали, что Хубилай умер.

Покинув остров, они попали в жесточайший шторм. Когда буря наконец стихла, обессиленная команда уже теряла сознание. Показавшееся солнце палило немилосердно, и вскоре люди покрылись ожогами и язвами. Над зеркальной водой в знойной тишине, сплетаясь со скрипом снастей, разносились лишь стоны, мольбы и проклятия. Каждый день океан принимал по нескольку мертвых тел. Что поражало Марко, так это стойкость, с которой переносила тяготы пути изнеженная девчонка — дочь хана.

Наконец влажной, обволакивающей прохладой опустились сумерки, и прокричал на закате единственный уцелевший петух. Он да десяток кур — все, что осталось, прочая живность давно была съедена либо смыта волнами.

Только теперь Марко перестала трясти изнуряющая лихорадка. Но, как только начала отпускать болезнь, ему опять явилось наваждение, в тысячный раз уже повторявшееся за время пути: посреди его низкой каюты перед ним стоит принцесса. И ни тени смущения в ее решительных рысьих глазах — только любовь и обреченность. Он что-то говорит ей... Курится опиум на столе, призрак приближается... Он даже видит, как блестят от ароматического масла ее маленькие высокие груди...

Марко протягивает руку, пальцы касаются живой кожи — он отдергивает руку, словно обжегшись. И у него захватывает дух: ведь призраки — не отбрасывают тени, а женская тень на потолке в неверном свете коптящей лампы — вот она! Это — опаснее самого дикого шторма. Дочь Хубилая, невеста могущественного персидского хана. Если дойдет до Аргуна... Он явственно увидел, как с него живьем, сделав аккуратный круговой надрез над бровями, сдирают кожу.



Да, ему как-то довелось быть свидетелем подобного. Но это — если выпадет дожить. Впереди же при любом раскладе — только смерть. Корабль пахнет, как свежеструганный гроб. А перед ним — только протяни руку — исхудавшая, но прекрасная девочка-рысь, о которой он мечтал почти вечность! Она стоит неподвижно, но пламя лампы заставляет ее тень метаться по потолку... Потом лампа гаснет...

**В** Малабаре они установили на корабле новые мачты взамен срубленных во время шторма, пополнили запасы воды, продовольствия, наняли нового капитана-араба. И купили рабов: нужны были гребцы. Как оказалось, неудачно: в море рабы взбунтовались, попытались захватить корабль и выломать дверь в каюту женщин.

Мятеж был подавлен при помощи капитана и нескольких гребцов, оставшихся от старой команды. Потом Матфео, Никколо и Марко рубили на палубе головы каждому десятому бунтовщику. Старики были еще в силе. Те, которых пока пощадили, покорно соскабливали с палубы кровь и о мятеже больше не помышляли.

Наконец на горизонте показался порт Ормуз. Здесь невесту должны были встречать придворные Иль-хана Аргуна. Из сотен человек свиты и тринадцати кораблей, что отправились в путь из Китая два года назад, до Ормуза на единственном, страшно потрепанном судне добралась только горстка. И, кроме Кокачин, еще одной девушке посчастливилось не умереть от болезни и не сгинуть в штормовой пучине — Хао Донг<sup>1</sup>, фрейлине принцессы, дочери высокопоставленного ханского чиновника. Отец ее тоже был в свите Кокачин, его смыло волной еще у Суматры.

---

<sup>1</sup> Матери обеих были китайками.

— А!.. А!.. А!..— верблюдом ревел старый Никколо, плюясь итальянскими, китайскими и монгольскими ругательствами.— Всё пережить, всё перетерпеть и сложить голову на старости лет по вине собственного сына! Ну в кого ты таким уродился бабником?! Посмотри: ведь седой уже!.. Мало того что по всему Китаю твои семена, так тебе теперь принцесса понадобилась!.. Поразвлекся в дороге, и будет! Всё, теперь отдашь ее Аргуны.

Никколо знал, что сын спит с ханской дочкой, но был уверен, что у Марко достаточно чувства самосохранения, чтобы делать это осторожно, оставляя ее девственницей, а иначе им — конец.

Марко склонил голову и сказал по-монгольски:

— Прости, отец. Казни меня, но я не отдам ее хану. Не отдам никому. Я сделал ее своей женой, когда нам грозила смерть.

Старый Никколо схватился за сердце:

— И ты говоришь об этом сейчас, на пороге у Аргуна?! В Малабаре можно было бы хоть попытаться сбежать...

— И куда бы мы делись? — неожиданно спокойно возразил стоявший рядом Матфео.— Смешались бы с толпой и исчезли? Трое европейцев и девицы? — И задумчиво добавил: — Вообще-то у меня есть одна идея...

Но Никколо не унимался:

— Дай мне нож, брат, я лучше сам себя порешу быстро, чем палачи Аргуна сделают это медленно! И вам обоим советую сделать то же! Это — конец. Даже когда Хубилай перехватил наши донесения папе, я не чувствовал, что близок к смерти, а сейчас — точно знаю!

На крики вышла сама принцесса Кокачин — почему-то без украшений, в простой грубой одежде, волосы, схвачены бечевкой. За ней, опустив лицо, сияющее плохо скрываемой радостью, следовала ее «фрейлина». На ней

## МАРКО ПОЛО, ВЕЛИКИЙ И БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ

было платье принцессы — хоть и помятое, но роскошное, синего шелка, на котором бесновались огненные цветы. Обе девушки были одиноково худы, но Хао Донг выглядела красивее и была даже немного выше принцессы.

Кокачин окинула всех взглядом и твердо сказала:

— Я — жена Марко. А Хао Донг теперь — принцесса и невеста.

Матфео даже засмеялся от неожиданности:

— А девчонка-то — умница! Мне как раз это и пришлось в голову.

— Смотрите сами,— заключил, ни на кого не глядя, несколько успокоившийся Никколо.— Но, коль судьба нам уцелеть,— повернулся он к Марко,— в Венецию с нею возвращаться как с женой — и не думай.— Сказал — как молотком гвоздь забил.

— Но почему?!

Старик не ответил, только посмотрел на сына и вздохнул.

**В** Ормузе был траур: всего за несколько дней до их прибытия умер хан Аргун. По обычаю, на невесте хана теперь должен был жениться его сын, Газан.

Хао Донг увели женщины. Подмены никто не заподозрил. Правда, путешественников «попросили» задержаться на два месяца — до конца траура, а потом, что еще важнее, до утра свадебной ночи. Только после этого, удостоверившись в невинности невесты, счастливый супруг позволил им удалиться. Кокачин все это время Марко прятал на корабле.

**М**арко всегда чувствовал, что с Матфео у него намного больше общего, чем с отцом. Матфео был не таким

прямолинейным, более рассудительным. Он и сказал ему почти перед самым отплытием, когда им, наконец, было разрешено покинуть Ормуз:

— Трудно тебе будет дома, Марко. А Кокачин — еще труднее.

— Так что же ты мне советуешь?

— Уж коль обман твой сошел тебе с рук, оставайся здесь. Город торговый, в месте стоит хорошо, купцов много. Разделим камни честно. На свою долю камней отличное дело можешь завести, дом купишь, сыновей народите с Кокачин... Раза два в год отправлял бы нам отсюда галеру с товарами. Выгода была бы взаимная. Ты, Марко, теперь человек восточный — небось уже забыл, как все оно там, в Венеции... Я уже и сам нечетко помню...

Превосходный корабль, который дал братьям сын Аргуна Газан, уже стоял в порту, готовый к отплытию. И Марко принял решение остаться в Ормузе.

Однако за день до отплытия Никколо и Матфео их верный слуга татарин Пьетро принес плохую новость: по рынку ходят слухи, что невесту Аргуна подменили — не дочка это, мол, хана Хубилая... А то, о чем сегодня болтают на рынке, завтра может дойти до дворца.

Остаться в Персии становилось смертельно опасно...

### **Чужая родина...**

**И** снова вошли под резную арку дома на Сан-Лоренцо бронзоволицые путники в видавших виды восточных халатах и монгольских сапогах. Слугу-татарина оставили у ворот. Родные, сидевшие за воскресным обедом, застыли в немой сцене, потрясенные неожиданным появлением странных чужаков. А Марко, глядя на этих совсем незнакомых ему людей, почувствовал себя онемевшим —

он с ужасом обнаружил, что не может вспомнить ни одного слова на родном языке. Конечно, ведь уехал он из Венеции мальчишкой! В голове мешались китайские, арабские, тюркские слова и — ни одного на итальянском! Отец и дядя, как назло, тоже молчали. На руках у одной из женщин заревел младенец.

И тогда, по-прежнему не говоря ни слова и не глядя в испуганные глаза родичей, Марко, совсем забыв про собственное оружие, схватил с широкого дубового стола хлебный нож и по-варварски, по-монгольски полоснул по халату. Из прорези, как тяжелые капли предгрозового дождя, посыпались и раскатились по столешнице бриллианты, бирюза, изумруды и рубины — заиграли огнями в пламени масляных светильников. Выпали из подкладки и объемистые шелковые мешочки специй и опиума.

Родственники изумленно смотрели то на дивный фейерверк драгоценностей, то на чужих смуглокожих людей в странной одежде, то вновь на камни — долго, пока какая-то старуха в черном, тяжело поднявшись из-за стола, не протянула к вошедшим руки и не выдохнула:

— Никколо!

И Никколо Поло только теперь с трудом узнал свою жену Фиордилизу.

А один из пришедших склонился в почтительном поклоне перед родичами Марко, и только тут они уразумели, что это вовсе не хрупкий подросток, как показалось им сначала, а маленькая грациозная женщина невиданной наружности.

**И**з-за драгоценностей — тех, что Марко так недальновидно продемонстрировал при первой встрече, а Никколо и Матфео безуспешно пытались потом разделить

между всеми по справедливости — многочисленное семейство Поло вскоре перегрызлось напрочь. А присутствие монгольской принцессы только подливало масла в огонь. В Венеции никогда до того не видели монголов, знали только, что так выглядят страшные варвары «тартары». И вот одна такая живет теперь здесь, среди них! На Кокачин оборачивались на улице; дети, да и взрослые порой, завидев ее, подтягивали к ушам кожу на своих висках, изображая монгольский разрез глаз, передразнивали ее щебечущий голос, походку. Везде она слышала за своей спиной недобрый смех и повсюду встречала неприязненные взгляды. Особенную неприязнь вызывала принцесса у свекрови — Фиордилизы.

Однажды, стремясь развеять тоску Кокачин и зная, как любит принцесса лошадей, Марко подарил ей прекрасного арабского скакуна. На площади Святого Марка тогда росли трава и деревья, и венецианцы ездили там верхом и устраивали рыцарские турниры. Недалеко были и конюшни.

И вот как-то раз Кокачин мчалась во весь опор, и тут в голову ее коня попал камень. Марко, который на другой стороне площади разговаривал с Матфео, бросился ей на помощь. Прикрываясь от града камней какой-то доской, он вытащил Кокачин из-под лошадиной туши. Матфео между тем разогнал негодяев, до смерти испугавшихся его китайского меча в ножнах. С того дня Кокачин отказывалась выходить на улицу и стала добровольной затворницей в высоком, как мрачная башня, новом доме в Каннареджио, купленном Марко сразу же по возвращении. Окна дома выходили с одной стороны на канал, с другой — в узкий колодец двора Corte Seconda del Milion (тогда он назывался иначе, но как — никто в Венеции уже не помнит).

Никколо и Матфео тоже купили себе новые дома, опять сошлись со старыми торговыми сотоварищами, кто

еще оставался жив, и быстро включились в венецианскую купеческую жизнь. Как-то так получилось, что отец и Матфео отделились от Марко, и даже в крошечной Венеции они умудрялись не видеться месяцами.

Постепенно Марко осознал, какую совершил ошибку. Все здесь действительно было ему теперь чужим. Он не понимал многих само собою разумеющихся для венецианцев вещей, да и говорил с сильным акцентом. Иногда ему не хватало слов, чтобы закончить начатую фразу. И он искренне не мог уразуметь, почему город так ополчился на его «язычницу» Кокачин. За то, что монголка? Так ведь в городах, где он жил, в землях, через которые странствовал, бок о бок торговали, сплетничали, обманывали друг друга, пили, дрались и мирились монголы, китайцы, арабы, армяне, евреи, персы, греки...

Однажды он пошел на Риальто и попытался найти ту лавку старика картографа, где был когда-то счастлив, но не нашел и следа. И тогда вдруг с особенной ясностью понял, что того города, в котором он вырос и который еще помнил, *больше нет*. Что то место, куда он вернулся, это какой-то совсем другой, странный и чужой город. К чужим городам ему было не привыкать, но то, что именно *этот* тоже оказался чужим, ранило как-то неожиданно и больно.

В несчастьях Кокачин он винил себя. И постепенно его стал раздражать ее полный любви взгляд. Теперь дома она видела его все реже. Единственной радостью принцессы стало пение печальных песен родины вместе со старым татаринном Пьетро. Так и тянулись ее одинокие вечера, а в каминной трубе их дома на Каннареджио злым многоголовым драконом завывал ветер с лагуны. Венецианцы обходили этот дом стороной.

К Пьетро же на рынках со временем привыкли, пусть и продолжали потешаться и обсчитывать. Но он был постоянным покупателем, платил аккуратно, и даже выучился говорить на венецианском диалекте, хотя потешно «выпевал» фразы. И торговался совсем как венецианец, даром что язычник и «тартар»!

Марко постепенно забросил дела, все чаще стал напиваться до бесчувствия в тавернах Каннареджио и Риальто. И заплетающимся языком рассказывал бывший советник могущественного хана наглой кабацкой рвани о своих изумительных приключениях. Постепенно он стал местным шутом: голь потешалась над его выговором, его рассказами и пьяно интересовалась постельными подробностями его жизни с «тартаркой»... А он кричал, срывая голос: «Я прожил среди язычников долгие годы, и никто из них не обходился со мной, чужаком, европейцем, христианином так, как вы — с моей женой, „добрые“ венецианцы!.. Если так, то по мне — лучше язычники!» Пьяные после этого обычно все же отставали. Те же, кто был не слишком пьян, не упускали случая сообщить о крамольных его речах «куда следует».

Марко негласно взяли «под наблюдение Церкви», а вскоре вызвали и для «интеррогации», попросту — допроса.

Представитель Святой Инквизиции с белесыми мутноватыми глазами несвежей рыбы дает ему понять, что греховная связь с идолопоклонницей сама по себе является наказуемым для христианина деянием, уж не говоря о прочем.

— Нам стало известно, мессир Поло, как вы кричите в кабаках, что предпочитаете язычников своим добрым согражданам христианам! Вы рассказываете о встречах с некими «учеными сарацинами»! Всем известно, что сарацины дики и способны только на одно — убивать христиан;



среди нет и не может быть «ученых». Вы фантазируете о странных деньгах из пергамента, о черном горящем дьявольском масле, которым отапливают жилища, об огромных языческих городах в тысячи каменных домов... Слушая ваши бредовые рассказы, можно подумать, что грязные идолопоклонники способны процветать, не зная истинного Бога, Господа нашего Иисуса Христа! Мало того что все это пахнет чернокнижием, но даже самому безумному выдумщику должно быть известно, что есть грань, за которой кончается *выдумка* и начинается *крамола*! Своей крамолы вы смущаете добрые христианские души... Молчите! — почти выкрикнул инквизитор, хотя Марко, унесясь мыслями далеко, и не думал перебивать. И продолжал монотонным голосом: — По дороге сюда вы не могли не заметить у Пьяцетты торчащие из земли распухшие ноги...— На лице инквизитора появилось брезгливое выражение.— Это несколько дней назад рука святого правосудия настигла крамольника, речи которого были почти так же отвратительны, как ваши. Когда палач закапывал его вниз головой, тот был еще жив и стремился вырваться из рук господина экзекутора — вместо того чтобы молиться о спасении своей души! — Инквизитор привычно — лоб—грудь—лево—право — перекрестился на распятие.— Только... только учитывая ходатайство ваших отца и дяди, оказавших Святой Церкви когда-то неоценимые... услуги, мессир Поло, мы заключаем, что длительное пребывание среди язычников просто временно повредило ваш рассудок. Поэтому решено не принимать пока более действенных мер по вашему исправлению... Однако совершенно очевидно, что служба на флоте любому поможет скорее вернуть умственное здоровье. Тем более что мы готовимся к войне с Генуей. Свежий воздух открытого моря — что может быть целительнее для истинного венецианца!..

Вот так и оказался мессир Поло на боевой галере при Курзоле.

После отбытия Марко на флот Венеция для бывшей принцессы окончательно превратилась в ад. Но Кокачин держалась, только петь совсем перестала.

О том, что Марко попал в плен, сообщили, конечно, только его родне.

Как раз перед отбытием Марко родичи с прискорбием узнали о беременности Кокачин, и вот теперь Фиордилиза не смогла отказать себе в удовольствии передать невестке печальную весть.

Худая, с морщинистой и отвислой, как у индейки, шеей старуха, которую вечное отсутствие мужа так и оставило бездетной, медленно поднялась по крутой лестнице Corte Seconda del Milion.

Дверь открыл старый Пьетро. Руки его были в саже: он только что растопил камин. В проеме двери появилась начавшая уже округляться фигурка «тартарки». Невестка застыла, словно предчувствуя недоброе. А свекровь медленно начала:

— Марко... — Она собиралась сказать, что он в плену, но жив-здоров, что уже ведутся переговоры по выдаче пленных. Но тут ее осенило. И, глядя невестке прямо в лицо, подавшись всем телом вперед, она отчеканила: — Нет его больше! Сгинул при Курзоле, понимаешь меня? Сгинул, говорю! — И она изобразила мертвеца со скрещенными на груди руками и откинутой головой.

Кокачин поняла: Марко — погиб. И тут же стала медленно оседать на пол от пронзившей ее жуткой боли. По ногам потекло что-то горячее. Старый раб бросился ее поднимать, пачкая сажей ее серое платье...

А Фиордилиза повернулась и вышла. На губах ее играла счастливая улыбка, от которой даже расправились морщины и помолодело лицо.

За сутки Кокачин истекла кровью. Ни один лекарь, опасаясь за свою практику и репутацию, не согласился ей помочь. Их слуги взашей гнали Пьетро от дверей.

С мертвой принцессой произошло что-то странное: она стала совершенно белой. Побелели ее волосы, даже ресницы и брови, молочно-матовой стала кожа. Так она и лежала.

Пьетро догадался, что там, где христиане хоронят своих мертвых, Кокачин похоронить не позволят, и поэтому несколько дней тяжело ворочал камни и разобрал кусок кладки в подвале их дома, и сделал принцессе тесный склеп.

Работа была очень тяжелой, но она помогала заглушать боль. Сколько помнил себя татарин Пьетро, он всегда был рабом. Даже матери своей он не знал. Кокачин стала единственным в целом мире существом, к которому сильно и навсегда привязалось его сердце.

Когда все было закончено, старый раб, измученный этой тяжелой работой, долго стоял перед заложенным склепом Кокачин на коленях. Из его закрытых глаз по глубоким желобам морщин стекали слезы, и он повторял и повторял слова, какие говорят на ее родине, провожая в странствие мертвых.

### **Рождение книги**

**В** Генуе к пленным относились неплохо: кормили и поили сносно, водили к мессе, на исповедь и на прогулки. Между Генуей и Венецией было неписаное соглашение: с пленными обращаться по-христиански. Однако

Марко чувствовал, что просто сходит с ума. У него не было никаких вестей от Кокачин, но он чувствовал неладное. Его накрыла тоска — тяжелая, как сырая верблюжья шкура. Он ни с кем не разговаривал и почти не ел.

С абсолютным безразличием принял он и то, что в каземат вместе с ним посадили невыносимого пьяницу. Этот пизанец не напивался до полного бесчувствия, но и трезвым никогда не бывал: раздобыть сколько хочешь вина в генуэзской тюрьме было парой пустяков. У него ужасно несло по утрам изо рта, к тому же он, опустив припухшие веки, почти постоянно читал, подвывая, французские вирши, в которых Марко не понимал ни слова. Звали его Рустикелло.

Никто не узнал бы в этой опухшей личности автора довольно популярного при королевских дворах Франции и Англии куртуазного романа «Мелиадус». Как и Марко, Рустикелло знал лучшие времена. Когда-то был он придворным писателем самого английского короля Эдуарда Первого и как сыр в масле катался, но бес его все-таки попутал: связь итальянского рифмоплета с одной замужней леди неожиданно получила огласку, а у дамы был влиятельный супруг... После контакта своей задницы с английским сапогом Рустикелло серьезно усомнился в куртуазности англичан. Покровительство было потеряно, вирши не раскупались — и он отправился на перекладных сначала в родную Пизу, а потом — в Венецию, где быстро прожил так, что соблазнительной казалась даже корабельная похлебка. А тут — морская стычка с генуэзцами... Вот так и стал он пленником.

Однажды вечером Рустикелло, по обыкновению, опять стал доводить Марко французскими канцонами с последующим переводом на итальянский. Обычно Марко в таких случаях запуская ему в голову глиняным подсвечником. Но тут прислушался. Канцона была про то, как

## МАРКО ПОЛО, ВЕЛИКИЙ И БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ

вез королю Артуру рыцарь Ланцелот невесту Гвиневру, да сам в нее и влюбился... И как-то так случилось, что, дослушав про рыцаря Ланцелота, начал Марко рассказывать этому сочинителю о своей жизни и всех своих странствиях. В Венеции ему никто не верил. Да и сам он стал уже сомневаться, что вся его прошедшая жизнь была реальностью, что все это ему не приснилось. Но когда он рассказывал обо всем Рустикелло, прошлое начинало вновь обретать краски, и таяла его тоска, и он заново переживал свои странствия и невзгоды. И — радости.

Рустикелло отставил стакан и уже не взялся за него в тот вечер. День за днем слушал он Марко как замороженный, и даже пить стал меньше.

Рассказы Марко пизанец начал записывать (благо, дешевый пергамент и чернила в тюрьме достать тоже было легко), но записывал он их на французском, объяснив, что венецианское наречие — язык деревенщины и для книг не подходит. Что он там кропал, Марко было совершенно все равно — лишь бы выговориться, рассказать этим маленьким людишкам, которые дальше Константинополя и Акры носу не высовывали, какой огромный мир лежит на Востоке! Рустикелло не насмешничал, не подвергал ничего сомнению, и за одно это Марко был пизанскому пьянице благодарен.

А этот лукавый рифмоплет уже весьма надеялся на то, что дни его нищеты — окончены. Он понял: нежданно-негаданно он нашел самый настоящий клад, и теперь он поведаст миру о необыкновенных приключениях и чудесах, виденных этим венецианцем! Это сочинение будут раскупать, как горячие пирожки! К нему вернутся наконец деньги, расположение утонченных господ, мягкая постель, любовницы, дорогое вино и туфли из телячьей кожи! Ну, конечно, не все, о чем толкует этот Поло, безопасно будет включать в книгу — есть места совершенно

еретические, да и тартарку эту, его любовницу, лучше обойти молчанием: незачем дразнить гусakov из Инквизиции. Но, к счастью, путешественник этот по части изящной литературы — полный *ignotus*<sup>1</sup>, поэтому материалом можно пользоваться совершенно свободно. Да и в приличную форму все это надо облечь...<sup>2</sup>

Тяжелым было возвращение Марко из плена в опустевший дом. Пьетро боялся поначалу даже приблизиться, не веря, что он — не призрак. Потом рассказал, как соврала старая Фиордилиза и как умирала Кокачин. Господин и слуга сидели на ковре по-восточному, друг против друга. Рядом было настезь открыто окно, в раме которого наливалось вечерней чернотой венецианское небо — словно выпускала чернила лагунная каракатица-сепия. Марко выслушал, что рассказал Пьетро, потом, опустив голову, долго молчал — как будто уснул. Пьетро даже с опаской тронул его за плечо. И тут Марко вскочил, схватил со стены кривую саблю и начал рубить мебель и оконную раму и кричать страшные монгольские проклятия городу, в котором родился.

Успокоила его только опиумная настойка. А потом Пьетро подошел и сказал:

— Пойдем.

— Куда?

— К ней.

И Марко, не понимая, о чем это он, все-таки послушно пошел за ним вниз по крутым ступенькам...

---

<sup>1</sup> Невежда (*лат.*).

<sup>2</sup> Рустикелло описал приключения Марко по канонам французской рыцарской куртуазной литературы со всеми ее приемами — бесконечными зачинами, повторами, посвящениями. Но именно этого и ждал тогдашний читатель.

\* \* \*

После освобождения Марко его сокамерник Рустикелло тоже в плену не задержался. А выйдя на свободу с готовой рукописью, которую решил назвать «Livre des merveilles du Monde» — «Книга о чудесах мира», направился напрямик в Венецию: в этом городе были также лучшие переписчики, издатели и книготорговцы.

Но даже в самых смелых мечтаниях не мог предвидеть Рустикелло грядущего ошеломительного успеха своего произведения. Книгу читали все, кто умел читать, — все, кроме истинного автора, который, свободно владея арабским, монгольским и китайским, совершенно не разумел по-французски. Деньги, конечно, были кстати — Рустикелло оказался честным малым. Но Марко не придавал никакого значения всей этой шумихе с книгой пизанца, пока посланник короля Карла Валуа, проезжая в 1307 году через Венецию, не пожелал увидеть знаменитого автора «Livre des merveilles du Monde» — мессира Марко Поло.

В посланнике Тиботе де Шепуа самым примечательным были толстые губы, напоминавшие двух сцепившихся красных слизней. Все знали, что этот полиглот любит церковных мальчиков-хористов. К Марко посланник обратился на отличном венецианском диалекте:

— Мессир Поло, ваша книга привела в восторг самого короля. И, проезжая через Венецию, я не мог упустить шанс увидеть вас. Вы — знаменитость. Его величество приглашает вас посетить Францию в ближайшее же время. При дворе вам будет оказан подобающий прием...

— Боюсь, что я только разочарую его величество и высокий двор. Я — простой торговец.

— О, не скромничайте!.. Но неужели же вы все это видели своими глазами?.. Вот, позвольте... этот изумительный отрывок о конях с рогом на голове, произошедших от самого Буцефала Александра Македонского!.. А самое поразительное — люди с единственной огромной ногой, которой они прикрываются от солнца! Оказывается, правы были древние! Вы знаете, многих при дворе интересует... — де Шепуа понизил голос, — где же у них располагаются... мм... известные органы, справа или слева от этой ноги? И как у них... мм... все это происходит?

Побледнев, Марко с поклоном подал посланнику дар для короля — «самый первый» экземпляр «*Livre des merveilles du Monde*» (что, конечно, было неправдой: первые списки давно уже распродали, просто этот был самым роскошным, его изготовили специально).

...Рустикелло жил на одном из лучших в Венеции постоянных дворов, он уже мог позволить себе такую роскошь. Марко ворвался к нему в спальню среди ночи и стащил его с кровати. Он не обращал внимания на совершенно голую проститутку, которая не торопясь вылезла из постели и, на безопасном расстоянии от Марко и Рустикелло, стала невозмутимо натягивать чулок, с любопытством наблюдая при этом за бурной сценой.

Рустикелло вскочил и налетел было на Марко, но бородатый пожилой купец неуловимым движением так ловко бросил его через себя, что голый волосатый сочинитель тяжело распластался на полу. И завопил:

— Ты что, опять своей дряни накурился?! Чего ты от меня хочешь?! Я честно тебе плачущу!

Марко поднял его и хорошенько встряхнул:

— Попробовал бы ты еще и не платить мне честно!.. Скажи-ка, сочинитель, какие еще странствия ты мне



приписал в своей книге? Что еще я, по-твоему, видел — не считая, конечно, рогатых коней, людей с глазом на ноге и писателей с задницей вместо головы?! Есть ли там хоть слово из того, о чем я тебе действительно говорил?.. Понятно: ты еще тогда решил сделать из меня идиота... — Марко тяжело опустился в кресло.

А Рустикелло уже пришел в себя. «Пошла вон!» — рявкнул он на проститутку, схватил ее, выставил в коридор в одних чулках, которые она только и успела надеть, бросил вслед ее одежду, несколько монет и захлопнул дверь. Из коридора донеслись визгливые проклятия. Хмель с Рустикелло слетел совершенно. Он поднялся и стал лихорадочно одеваться, умудряясь одновременно еще и придавать своим словам выразительности отчаянной жестикуляцией:

— Сначала тебя вообще не интересовала книга, которую я написал... А сейчас ты врываешься в мою спальню, как дикарь, и избиваешь меня!.. Ну хорошо, видно, придется мне раскрыть тебе глаза на кое-какие вещи. Очевидные для всех, кроме тебя. Ты — слепец, который до сих пор не вернулся из своего Китая! Ты монгол, а не венецианец. — Писатель, морщась, потер саднящую спину и начал одеваться. — Запомни же и повтори детям своим, если они у тебя будут: «Почитайте Рустикелло: Рустикелло спас вашему отцу жизнь». Думаешь, почему в каземате с тобой оказался именно я? Не притворяйся, что не понимаешь. Меня к тебе — подсадили. Да, подсадили, а ты как думал? И тебе повезло, что ты встретил умного и талантливого человека... меня. Если бы на моем месте был кто-нибудь другой, ты бы за свои «приключения» уже гнил в Пиомби<sup>1</sup> или висел между колоннами Пьяцетты, раскле-

---

<sup>1</sup> Страшная тюрьма с тесными камерами под свинцовой крышей во Дворце Дожей, отсюда и название: *piombi* — «свинцовые» (*итал.*)

ванный чайками! Я нашел прекрасный способ, как спасти тебя, старого идиота, от клещей Инквизиции, а заодно и себя вытащить из канавы. Мы написали великую книгу, Марко! Все довольны. Все! Насколько мне известно, даже Инквизиция. Там поняли, что ты — безобидный сказочник. Да, конечно, в книге не совсем то, что ты мне рассказывал. Может, даже только половина из того, что ты мне описал. Но ты же не идиот, ты же должен понимать, что с тобой сделали бы, например, за такое... — Он передразнил выражение лица Марко и зачастил как пописаному почти его голосом: «В империи прекрасного правителя великого Хубилай-хана одинаково почитаются четыре пророка. Христиане почитают Бога своего Иисуса Христа, сарацины — Магомета, евреи — Моисея, а идолопоклонники — Са... — Он запнулся. — Са...»

— Сакиамуну Бурхана, — произнес Марко, переходя от гнева к глубокой задумчивости. И пояснил: — «Бурхан» — значит божественный, вроде как святой.

Рустикелло задохнулся от негодования и театрально воздел руки:

— Ну видишь! Видишь! Непотребный идол — у тебя святой! А дальше? Дальше ты говорил: «Хан считает, что все четыре пророка заслуживают равного уважения, потому что людям на земле не дано знать, кто из них величайший на небе, а затем нечего и спорить». Я не самоубийца, Марко, чтобы писать такое. Христианские рыцари до сих пор гибнут утверждая крест!.. Прославить тебя фантазером означало спасти твою голову от плахи, придурок! И Хубилай твой — темный дикарь, хан языческой страны, о которой просвещенный мир и не слыхивал, а тебе — будто все равно... Ну и жил бы там в этом своем «Катае» — что ж ты вернулся? — Рустикелло перевел дыхание и добавил уже более спокойно: — А про монголку твою мне тут в Венеции порассказали...

Марко вскочил, готовый убить пизанца за одно неосторожное слово! Но тот положил ему руку на плечо — и Марко успокоился, сел.

— Вот ты такой умный,— покачал головой Рустикелло,— мир обошел, ханским советником был... А не догадался здесь первым делом ее выкрестить, а уж потом — жениться по-человечески. Глядишь, и не стали бы камнями забрасывать. Мир так устроен, Марко: в чужаков всегда летят камни. А ты — вечный чужак. Что на Востоке был чужаком — потому, наверное, и сюда вернулся, что здесь теперь...

Марко встал. И уже у двери обернулся:

— Прощай, пизанец.

— Прощай и ты, Марко Поло!

Это был его последний разговор с Рустикелло. И он вдруг почувствовал себя глубоким стариком.

Марко не обратил внимания на одну странную деталь: как здорово Рустикелло помнил все, рассказанное им тогда, в плену, но, по его же словам, не описанное в их книге. А ведь соавтор не открыл Марко самого главного своего секрета: в его дорожном сундуке с двойным дном лежала совсем другая рукопись «*Livre des merveilles du Monde*», о которой не знал пока никто. Вот там было действительно всё, и вся крамола — тоже <sup>1</sup>.

Этот экземпляр не предназначался для широкой публики, только для избранных ценителей, и с его помощью Рустикелло собирался обеспечить себя до конца своих дней. Но что-то, видно, пошло в его жизни наперекосяк, потому что спустя много лет Марко издали увидел Рустикелло.

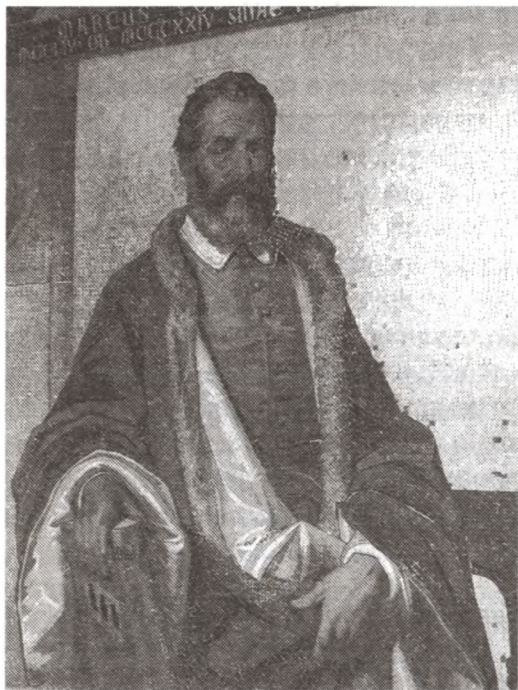
---

<sup>1</sup> Несмотря на большое количество самых различных вариантов книги Марко Поло, которая столетиями переписывалась от руки и изменялась переписчиками и переводчиками, именно эта рукопись и легла в основу большинства современных публикаций.

келло на Риальто. Тот надтреснуто вопил, зазывая народ в лавку кипрского торговца дешевыми винами. Одет он был бедно, лицо стало синюшным, одутловатым, руки тряслись, взгляд блуждал...

А Марко Поло стал просто никем. И он очень раздражался и выходил из себя, когда кто-то просил его рассказать о своих странствиях.

Вскоре после ссоры с Рустикелло он застегнул свадебное жемчужное ожерелье на толстой шее степенной венецианки Донаты Бадоер. Она родила ему трех дочерей, и он до глубокой старости жил образцовым семьянином и обычным купцом на покое, и говорил теперь только на



Мозаичный портрет венецианского купца Марко Поло

венетянском наречии. Лишь одна была у него странность. Раз в год он спускался в свой подвал и сидел там, разговаривая, не иначе как сам с собой, на каком-то чужом языке. Доната относилась к этой странности снисходительно и мужу не мешала.

\* \* \*

Марко понял, что умирает, когда увидел в своей спальне Кокачин. Принцесса улыбалась, ее обнаженное тело светилось. На руках у нее был голый младенец. Марко протянул руку — и Кокачин с ребенком исчезла.

Сознание уходило медленно, как галера из лагуны в открытое море. Вдруг старик совершенно отчетливо ощутил «кислый запах слоновьей кожи, омытой муссонным дождем, и аромат сандаловых поленьев в остывающей жаровне»<sup>1</sup>.

Из последних сил Поло крикнул, чтобы ему принесли ханские таблички. Крепко зажав их в руках, он наконец почувствовал, что готов в дорогу...

Лекарь убирал в сундучок свои снадобья, его место занял священник. Вокруг постели старого Марко собралась чинная семья. И великовозрастный племянник, с притворным состраданием глядя на умирающего, проговорил:

— Уж хоть перед Вратами Господа, дядюшка, признайтесь, что не бывало таких земель и что все странствия, описанные вами, произошли только... в вашем воображении.

Потянулась пауза. Во всех нацеленных на него глазах застыл немой вопрос. Марко молчал. А потом вдруг с не-

---

<sup>1</sup> Italo Calvino. *Invisible Cities*. Secker & Warburg Ltd., London, 1974.

ожиданной досадой, с гортанным чужим акцентом, от которого так никогда и не избавился, он произнес, словно самому себе, свои последние земные слова:

— А ведь я не смог описать и половины того, что видел...

Когда Марко перестал дышать, родные вынули у него из рук ханские таблички и вложили крест. Священник привычно сыпал монотонным латинским речитативом.

В очень сухом завещании Марко Поло делил свое состояние между женой и дочерьми на четыре совершенно равные части — чтоб, чего доброго, не перегрызлись. Единственные теплые слова в этом завещании предназначались Пьетро: Марко благодарил татарина за верную службу и, помимо денег, давал своему рабу свободу.

*Во время недавних реставрационных работ по укреплению здания театра Малибран строителям пришлось разобрать часть фундамента дома, примыкающего к театру. Это был дом Марко Поло. В кладке тринадцатого века обнаружили удлиненную полость, а в ней — останки женщины монголоидной расы<sup>1</sup>.*

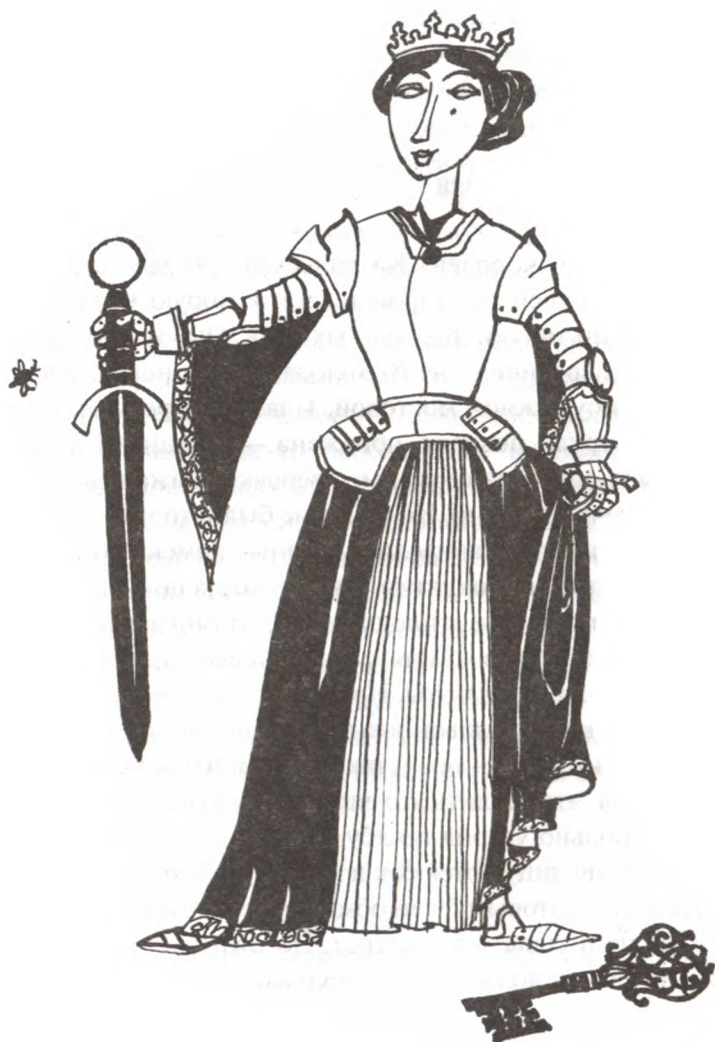
*В Венеции рассказывают, что глухими зимними ночами, когда замирает суэта вокруг театра Малибран и пустеют рестораны, в колодце двора Corte Seconda del Milion слышится тихое протяжное пение невидимой женщины на неведомом языке...*

*А Марко похоронили в церкви Сан-Лоренцо. Но во время реконструкции церкви, сто с лишним лет спустя, гробница великого венецианца исчезла неизвестно куда. И найти ее не могут до сих пор — словно Марко Поло снова покинул Венецию. Теперь уже навсегда.*

---

<sup>1</sup> Alberto Tosso Fei. Venetian Legends and Ghost stories. Elzeviro, Treviso, 2004.

## ИЗАБЕЛЛА И ФЕРДИНАНД



## Испанская легенда

Изабелла, королева Кастильская, увидела себя связанной, сидящей на старой телеге, которую медленно и безразлично тянули два толстых осла. Она мелко дрожала, как в параличе, — не от холода, телегу немилосердно трясло на булыжной мостовой. Платье спереди было разорвано, грудь позорно обнажена — беззащитная, мягкая. Шею обвивала серая змея веревки. Даже в достоинстве ей было отказано. Но стыда не было, только ужас. Из улюлюкавшей толпы неслись грязные намеки, хохот, ругань, молитвы и проклятия. Она не могла понять: *за что?*

Ее везли по улице к площади. Мимо тянулся ряд домов из тяжелого серого камня с маленькими окнами, в них мелькали темные силуэты. Из верхних окон в нее то и дело бросали какое-то зловонное гнилье, но это не добавляло ужаса и унижения — она и так была настолько оглушена и раздавлена, что усилить это еще чем-либо было уже невозможно. Больно ударил по лбу брошенный кем-то гнилой апельсин, по лицу потек сок и на минуту перебил тяжелый запах дегтя, которым были обмазаны ее ноги и одежда.

Она не пыталась вырваться. Но ожидала, что откуда-нибудь сейчас должно прийти спасение: вот сейчас при-



скачет кто-нибудь с запоздалым объяснением, и недоразумение разрешится. Ведь она — невиновна, ведь все знают, что она — католическая королева, символ благочестия в Кастилье и Арагоне.

На площади ее подтащили к столбу. Привязали. И она вдруг увидела, что у троих палачей — совершенно одинаковые лица. Вернее, одно и то же лицо. Она узнала это лицо с носом римского императора, тяжелой нижней губой и пронзительными глазами. И взмолилась, и стала кричать, что выполняет свое обещание, данное в Сеговии, и сделала все, чтобы очистить Кастилью от скверны, так за что же ее?.. Но палач не слушал, он громко читал молитву. Веревки впились в тело так, что она на мгновение забыла обо всем остальном. В толпе зашлись истерическим плачем сразу несколько младенцев.

Вокруг нее стали наваливать хворост. Народ, столпившийся вокруг столба, помогал — по-крестьянски деловито, словно собираясь топить печь для выпечки хлеба, словно делая какое-то необходимое в хозяйстве дело. Кто-то забился в падучей и упал прямо на ветки, его оттащили. Она еще с надеждой смотрела на ведущие к площади улицы: сейчас... Сейчас раздастся топот копыт, на площадь ворвется ее Фернандо и остановит все это.

И вдруг она увидела мужа. И всех своих детей, даже самую младшую, шестилетнюю Катарину. Они все старательно подкладывали к ее будущему костру щепочки, словно тоже делали необходимое дело. Она закричала толпе, что невиновна, что она не *marrana*<sup>1</sup>, а *vieja critsiana*<sup>2</sup>, не

---

<sup>1</sup> *Marranos* — «свиньи» (исп.). Так называли крестившихся евреев.

<sup>2</sup> *Viejo cristiano* — «старый христианин» (исп.). В Испании XV века — тот, кто мог доказать генеалогически, что в его роду не было арабской или еврейской крови.

иудейской, а чистой кастильской крови, и любит Христа всем сердцем. Но все вокруг были безразличны и ей не верили. Тогда она стала молить Бога о дожде. Оливне. Ведь кто-кто, а Бог должен знать, что она — невиновна. Но небо было высоким, безоблачно-синим, зимним и равнодушным, как и глаза толпы.

Вот весело заплясал по хворосту огонь. Ужас вытеснил из ее памяти все заученные с детства молитвы, а пришло почему-то только это, *Его, иудейское*: «Или! Или, ламá савахванí!»<sup>1</sup> Ее стало заволакивать вонючим дымом. Дым преисподней... Она уже не видела ни площади, ни людей, не слышала ничего, кроме хруста пожираемой огнем древесины. Дым ел глаза. Она ослепла. Это было страшно. Она — больше не видела. Повинуясь инстинкту, она лихорадочно втягивала в себя воздух, но ни мира вокруг, ни самого воздуха больше не было — вонючий дым серым змеем обвился вокруг нее и заполнил легкие. Пахнуло жаром, опалило волосы и ресницы. Уже задыхаясь, кашляя и давясь дымом, она вытолкнула из себя последний страшный, нечеловеческий крик...

Пробуждение Изабеллы мало чем отличалось от сна. Она действительно задыхалась от дыма. Ее действительно тащили чьи-то руки. Она слышала крики и плач дочери.

Ее походный шатер пожирало пламя. Через минуту на огромном сером першероне<sup>2</sup> примчался бледный полудетый Фердинанд. Спрыгнул с коня, прижал к себе жену и дочь, закрыл глаза, запрокинул голову к небу: «Благодарю тебя, Господи!»

---

<sup>1</sup> Последнее восклицание распинаемого Христа: «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил!» (Мф. 27, 28:46.)

<sup>2</sup> Порода лошадей, помесь арабских скакунов и германских тяжеловозов.



Изабелла Кастильская (гравюра на стали)

Ночной июльский ветер со склонов Сьерра-Невады споро раздувал огонь, быстро перекидывая его с шатра на шатер. Вскоре сгорел весь лагерь. Кастильско-арагонскому крестоносному войску приходилось спешно эвакуироваться с пепелища и разбивать лагерь в другом месте. Мавры удивленно смотрели на пожарище с гранадских стен и возносили благодарность Аллаху.

Конечно, такая малость, как пожар в лагере от перевернутой ненароком королевой лампы, не могла остановить кастильское войско, которое вели Изабелла и Фердинанд, на пути полного освобождения Испании от восьми веков мавританского владычества. Осадный

лагерь просто перенесли на другое место <sup>1</sup>. И продолжали ждать капитуляции последнего в Испании эмирата.

### **Римляне, готы, мавры...**

**П**ри римлянах Иберия была самой римской из провинций империи. Воинственные иберийские кельты, коренное население, были в конце концов завоеваны хорошо смазанной, шипастой, бронзово-победной римской военной машиной. Кельты смешались с италийцами так, что почти не осталось «шва». На римских картах провинцию обозначили как *Hispania*.

Плодородная иберийская земля давала превосходные оливки, виноград, пшеницу, реки и прибрежные морские воды — замечательную рыбу для излюбленного римлянами соленого соуса *garum*. На средиземноморских берегах Иберии белели виллы аристократов, в глубине страны раскинулись огромные поместья-латифундии.

С римлянами в Испанию пришли и жители еще одной римской провинции — Иудеи. В особенно большом числе — после того, как разрушили их Храм в Иерусалиме.

Увидели. Понравилось. Поселились. Сейчас уже трудно сказать точно, но полагают, что некоторые из них принесли прямо из Иудеи и новую религию — христианство, и она сразу пустила в Испании глубокие корни.

Потом, веке в пятом-шестом, потомков осевших в Иберии римлян стали грубо теснить огромные германцы вестготы, или *visigodo*, как прозвали их иберийцы. И вы-

---

<sup>1</sup> Потом в лагере вместо палаток появятся дома, и возникнет город, который назовут Санта-Фе (Святая Вера) и о котором будут говорить, что это — «единственный в Испании город, никогда не знавший мусульманской ереси».

теснили-таки! Они пришли на своих гигантских лошадях откуда-то с далекого севера, из-за гор.. Писать и читать — не умели, соблазнами цивилизации не были испорчены, и для иберийцев, несомненно, их владычество стало шагом назад. Да и спрашивать, прежде чем брать чужое, они не привыкли.

Готам не очень понравились города плодородных иберийских равнин: оливкового масла они не знали и к вину были не особо привычны, предпочитая ему желтоватую горькую жидкость, которая, по мнению иберийцев, и выглядела как моча, и вкус имела соответственный. Готам не приглянулись ни берега Гвадалквивира, ни изнеженные города Таррако, Гадес <sup>1</sup> и Малага у теплого моря. Они были суровы и не слишком любили солнце. И вот облюбовали уступы голых, оранжево-коричневых утесов реки Тахо, рассекшей эти скалы, как добрый клинок разрубает железные латы. И построили они на этих уступах множество крепостей, и сделали своей столицей Толедо. Столицей такой же суровой, как и они сами.

Готы тоже были христианами, это в них иберийцам несколько импонировало, как, кстати, и их необычная внешность, — были они высокие, белокурые или рыжеволосые, с прозрачно-серыми глазами и светлой кожей, которая быстро краснела, не вынося палящего иберийского солнца. А готам запали в душу изящные женщины этой завоеванной ими земли — с маленькими, почти детскими ступнями, гибкими талиями, густыми гривами темных блестящих волос и с глазами, в которых таилась опасная бездонность ночного моря. Совершенно не исключено, что многие из них были и еврейской крови, но тогдашние готы не придавали этому слишком большого значения.

---

<sup>1</sup> Совр. Таррагона и Кадис.

Вестготы правили Иберией почти три столетия. А вот падение их опять-таки началось с женщины. Король Родерик, даром что отважный был воин с квадратным подбородком, а настолько влюбился в прекрасную дочь одного из местных толедских hispani, что, увидев ее у реки Тахо во время одной из своих охотничьих экспедиций, не смог совладать с собой и взял невинную девицу прямо на каменистом берегу, разогнав и напугав до смерти всех ее дуэний и подруг (девушка-то, быть может, в это время сидела и мечтала о счастливом респектабельном замужестве). Те бросились визжать по городу о случившемся. В результате ее оскорбленный отец отправился за море и уговорил северо-африканских мавров высадиться в Испании и отомстить обидчику.

Нет сомнения, что в 711 году девица была отомщена, и даже больше. Потому что переправившиеся из Северной Африки оливковолицые мстители в тюрбанах вскоре поняли, что им волею случая подворачивается прекрасная возможность, упускать которую было бы глупо. Они захватили Иберию, оттеснив visigodo, а заодно и hispani на север.

Кочевники-берберы, сирийские и йеменские арабы принесли в Иберию непоколебимую веру в пророка Магомета, воинственность и аскетизм. Но аскетизм их продолжался недолго — таково уж, видно, было влияние иберийского климата. Простоту их пустынно-кочевнического быта сменило вскоре кружево вычурных подковообразных арок в их роскошных дворцах, нега шелковых подушек и диванов, томная музыка лютни и поэтические экспромты. В их прекрасных садах, окруженных высокими стенами, росли вывезенные из Персии, невиданные ранее в Иберии розы, персики, апельсины и гранаты. Свысока оглядывали новую родину из-за высоких стен дворцов финиковые пальмы их некогда родного Марокко.

Так продолжалось какое-то время, а потом в Испании начался «круговорот мавров». Прознав о том, что халифы Андалусии пропускают по несколько намазов в день, дегустируют вина и вообще сошли с пути праведного, переправлялись из Африки новые, фанатично преданные исламу мавры, чтобы либо казнить, либо вернуть отступников на путь правоверных.

Перевоспитание оказывалось делом долгим и хлопотным, поэтому предпочитали первое, это получалось быстрее. И селились новоприбывшие в захваченных дворцах. И вскоре, уже лет через двадцать, под тихое журчание воды дворцовых фонтанов, созерцая танцы изящных мальчиков с покрашенными глазами, начинали и эти пропускать намазы и так же плавно съезжать с пути истинного.

А дальше — больше: заниматься искусствами, астрономией, медициной, поэзией, создавать драгоценные украшения, обжигать керамическую посуду и плитку с изумительным причудливым орнаментом. Правда, умение ковать прекрасное оружие тоже сохраняли. А еще учреждали библиотеки, переводили запрещенных христианством языческих авторов европейской античности. Но нет-нет, да и вглядывались обеспокоенно в средиземноморский горизонт: не идут ли под полосатыми парусами какие-нибудь очередные ревнителю аскетического образа жизни...

А поглядывать им следовало, кстати, не только на морской горизонт, но и на север, где обосновались вытесненные христиане, которые как были суровыми в своих горах, так и остались — разводили в предгорьях отличных овец, строили крепости (на всякий случай), укреплялись в вере. А на наблюдение звезд, слушание лютни да возлежание у фонтанов времени не тратили, да и холодно ночами в горах.

Нет, армия, конечно, у мавров оставалась боеспособной, особенно конница на нервных, злых, тонконогих

арабских лошадях с широкими скулами, но основу ее составляли, в основном, ограниченные платные контингенты воинственных берберов, что регулярно прибывали для несения службы из Африки. И представляли они собой серьезную силу. О жестокости и стремительности их набегов ходили легенды.

До поры до времени христиан Иберии мавры всерьез не воспринимали, пока в 1086 году, под влиянием крестового движения, на подмогу тем не пришли отряды из Англии, Франции и Германии. И с их помощью, совершенно неожиданно для всех, король Альфонсо отбил Толедо.

И тогда призвали иберийские мавры (на свою голову!) из Марокко очередное подкрепление — головорезов Альморавидов. И те снова быстренько «отучили» призвавших их халифов от игры на лютнях и дегустации вин. Но Толедо так и не вернули, а еще через восемь лет легендарный христианский рыцарь без страха и упрека Эль-Сид отбил у Альморавидов еще и Валенсию. А в 1236 году мавры потеряли даже Кордову — крупнейший центр исламской культуры в Европе, где была самая большая после Мекки мечеть.

А все потому, что не было единства среди «мавров» — как всех их, скопом, называли христиане. Арабы занимали ключевые посты, не допуская до власти берберов, сирийские арабы недолюбливали йеменских, арабы, родившиеся в Иберии, считали себя настоящими хозяевами и не слишком жаловали ни тех, ни других, ни третьих. Часто происходили и кровавые разборки между членами враждующих кланов, не говоря уж об интригах и заговорах в многонациональных гаремах. И очень большой популярностью пользовались лавки фармацевтов, где мож-



но было купить яд «на любой вкус». В общем, раздоры перемежались с перемириями, трупы предавали земле, и жизнь продолжалась.

**И**удеи Сефарда (так на древнееврейском называлась Иберия) при маврах переживали период относительного благополучия: они быстро обучились родственному арабскому языку, их впервые никуда не гнали, их культуру понимали, их пищевые ограничения совпадали с исламскими, их считали людьми Книги и религию их по крайней мере не преследовали. Жить они тоже могли где хотели, их образование, сметку и умения ценили, а потому с удовольствием нанимали на службу, где требовалась квалификация — казначеями, «налоговыми инспекторами», учителями, толмачами и врачевателями.

Вот только налоги, сборы и подати халифу приходилось им платить по гораздо более высокой шкале, как немусульманам, но, оглядываясь на бурное историческое прошлое, евреи ясно видели: это — просто мелочи.

Многие христиане (как потомки вестготов, так и исконных иберийцев) тоже жили в метрополисах халифата Аль-Андалуз — Кордове, Севилье, Валенсии, Кадисе и других. Там были работа, развлечения, бани, хорошие больницы<sup>1</sup>, богатые товарами рынки, водопровод, уличное освещение, одним словом — цивилизация.

Правда, фанатики, как всегда и везде, умели внести в жизнь определенную долю абсурда. Один андалузский калиф, из тех, кто рьяно стоял за религиозную сегрегацию, издал, например, указ, чтобы все голые посетители

---

<sup>1</sup> Об уровне андалусийской арабской медицины можно судить хотя бы по тому, что были учреждены лечебницы, где для лечения душевных болезней применяли музыку.

бань из числа неверных в обязательном порядке носили на груди опознавательные знаки: христиане — большущий крест, иудеи — колокольчик. Чтоб не только было видно, но и слышно. Правоверным разрешалось мыться как есть, без дополнительных опознавательных знаков. В общем, что и говорить, веселые, видать, были эти межконфессионально-интернациональные банные дни.

Но в промежутках между особенно рьяными халифами люди разных религий жили более скучной жизнью, которую называли *convivencia*, что вполне можно переводить как «худой мир — лучше доброй ссоры». Нет, неприязнь и стычки, конечно, случались. И, конечно, когда христианский сын приходил домой с объявлением, что собирается жениться на соседке-мусульманке или же еврейке, то, натурально, начинался невообразимый скандал, вопли, визг. О стынушем обеде все забывали, керамическая посуда билась о плитки пола и неслись крики: «По миру пушу!» Седой отец хватался за сердце: «Смерти моей хочешь!» — нежная престарелая мать падала в обморок на руки сестер, и те, наверное, визжали, как несмазанные колеса: «Вот до чего мать довел, радуйся!» Братья же... Ну да что там, представить это нетрудно. Ну и, когда еврей либо мусульманин объявлял семье о своей негасимой любви к женщине иной веры, возникала, как нетрудно догадаться, вполне аналогичная ситуация, ну, может быть, с небольшой поправкой на культурно-языковую и религиозную специфику.

Но жизнь в Аль-Андалуз брала свое, и как-то все обкатывалось, острые углы рихтовались временем и настойчивостью, предосудительные браки заключались или, на худой конец, «предосудительные» дети все равно появлялись на свет. И враждующие семьи, глядишь, начинали едва заметно кивать при встрече, потом, может, здороваться сквозь зубы, а потом — и признавать внуков. И по-

являлись в Андалузии *elche* — христиане, перешедшие в ислам, и крестившиеся мусульмане — *moriscos*, и принявшие иудаизм мавры, и совсем уж сюрреалистические *mozarab* — арабы, принявшие Христа, однако жившие по мусульманским обычаям, при этом слушавшие католические мессы и читавшие Библию... на арабском языке. Бывало, что местные мечети, синагоги или церкви открывали свои двери — по пятницам, субботам и воскресеньям соответственно — для совершенно различных «аудиторий». Но, согласитесь, долго так продолжаться не могло. И раздавались уже крикливые голоса, что во всем нужна четкость и ясность, особенно в вопросах истинной веры, особенно в эпоху Крестовых походов! Никакой фратернизации с последователями конкурирующих культов! Паства должна пастись со своим «пастухом» — в своем загончике, а то ведь так можно черт знает до чего дойти!

**В** 1248 году христиане взяли Севилью, а еще через несколько лет у мавров остался в Иберии лишь один эмират Гранада — под самыми вершинами Сьерра-Невады, с его прекрасным как сон дворцом Альгамбра. Эмират этот и стал их последним оплотом...

### У стен Гранады

**О**т пожара в кастильском лагере не пострадал никто. Шатры и палатки просто перенесли на другое место. Правда, Изабелла потеряла весь свой гардероб и украшения и принимала сейчас послов египетского султана в единственном, что у не осталось, — темно-лиловой бархатной юбке и специально для нее выкованных еще в июне, в начале гранадской кампании, рыцарских латах

воина Креста, надетых прямо на рубашку. На темно-рыжих волосах ее рдела рубиновая диадема, одолженная по случаю принятия послов у одной из фрейлин, веснушки на очень светлой коже, наследии крови готов и англичан, за лето, проведенное в лагере у стен Гранады, стали еще ярче и многочисленнее. Латы очень шли Изабелле. Несмотря на бессонную ночь, королева казалась воодушевленной.

Кончался август 1491 года. Следующий год станет для Кастильи годом величайшей славы и великой боли.

Стол в огромном новом шатре короля Фердинанда был уставлен снедью — его любимые куропатки, зажаренные в корице, баранина в соусе из тутовых ягод, засахаренный миндаль. Горы фруктов. Но послы султана были равнодушны к этим яствам, и для них специально приготовили более приличествующие блюда — речную рыбу и чечевицу, а в их венецианских бокалах зеленого стекла была налита просто подслащенная вода. Послы прибыли с посланием от Каит-бея, султана Египта. И это были неожиданные послы — монахи-францисканцы церкви Гроба Господня. Их было трое — в одеждах из грубой коричневой шерсти. Двое представились с глубоким поклоном: отец Антонио Миллан, итальянец, и отец Рикардо Гарсия. Однако оба отца-францисканца не потрудились представить третьего. Изабелла бросила на него испытующий взгляд. Он был красив, этот третий, с носом гордым, как у породистого сокола. И на подбородке его она заметила порезы — как у человека, не привыкшего к бритве.

Послов поразил вид Изабеллы в латах — известность этой королевы достигла даже Иерусалима. Однако с выполнением своей миссии они мешкать не стали. В своем послании султан выражал глубокую обеспокоенность событиями в эмирате Гранада и напоминал кастильским королю и королеве о своем терпимом и доброжелательном

отношении к христианским паломникам в Иерусалиме и о том, что он обеспечивает их защиту, а также сообщал, что все может резко измениться, если кастильские короли будут жестоки к правоверным Аль-Андалуз...

Из лагеря доносился бой новых, недавно приобретенных Изабеллой для кастильского войска барабанов, под который маршировали рослые швейцарские наемники. А когда замолкали барабанщики, слышалась мелодичная вечерняя переключка муэдзинов на стенах Гранады. Изабелла никому бы не призналась, но неприязни у нее эти звуки не вызывали, ей нравилась приверженность мусульман к чистой жизни. Они не пили вина, почитали старость, от невест ожидали девственности, от жен — праведности. «Если бы еще молились истинному Богу и не были порою так варварски жестоки!» — думала она.

Фердинанд с утра был в плохом настроении. И глава посольства, приор Антонио Миллан, итальянец, заметил это.

— Позвольте, ваше величество, выразить сочувствие в связи со вчерашним пожаром... Вы полагаете, лагерь подожгли гранадцы? — Он прекрасно говорил по-испански.

— Я думаю, да. Скорее всего, это были лазутчики, — лаконично ответил король.

— Ваше величество, они были так смелы, что прокрались прямо к шатру королевы? Жизнь королевы была вчера в такой опасности? — спросил безымянный монах. Спросил по-латыни, но с заметным арабским акцентом.

— Или королева сама ненароком опрокинула ночью свечу... — улыбнулась Изабелла.

— Ваши величества надеются взять Гранаду?

— Несомненно. Не позднее конца осени, — безапелляционно ответил Фердинанд. И добавил: — Мы не дали

им весной засеять поля. Запасы прошлого урожая будут на исходе. Голод заставит Гранаду сдаться. Тала<sup>1</sup>. Мой наследник, принц Хуан, помогал мне в этом. Ничего не поделаешь, война...— заключил, спохватившись, Фердинанд. Он не всегда был достаточно внимателен к дипломатическим тонкостям.

Не представленный Антонио Милланом «францисканец» бросил на короля быстрый острый взгляд, и Изабелла сразу поняла, что именно этот, безымянный, и есть настоящий глава посольства.

За помощь отцу в тала единственный (а потому драгоценный!) тринадцатилетний наследник кастильских королев был посвящен отцом в рыцари. С рыцарями орденов Сантьяго и Калатрава они превратили всю *vega*<sup>2</sup> вокруг Гранады в выжженную землю, на которой ничего не будет расти годами. Фердинанд невольно вспомнил, как это происходило. Дым ел глаза. Латы раскалялись. В огне, словно старухи-ведьмы, корчились столетние дуплистые оливы. Он залюбовался тогда сыном в маленьких латах. Но мальчик был слишком бледен. Фердинанд принял это за волнение от участия в такой серьезной операции. Бледность сына не прошла и на следующий день. Фердинанд ничего не сказал об этом Изабелле — она с ума сошла бы от беспокойства. Но с тех пор было решено, что мальчику лучше пребывать в Севильском Альказаре, под опекой придворных и учителей, подальше от лагеря. Там же сейчас находились и две младшие дочери их католических величеств — Мария и Катарина.

---

<sup>1</sup> Тала (арабск.) — традиционная для арабского войска тактика «выжженной земли», которую довольно быстро переняли испанцы. Правда, в той или иной форме эта тактика применялась многими армиями во все времена.

<sup>2</sup> Плодородная равнина у Гранады.

— Это правда, что ваше величество решили взять Гранаду без применения пушек? — обратился к Фердинанду Антонио Миллан.

Изабелла внезапно встала из-за стола. Все следили за ней изумленно.

Королева подошла к входному пологу шатра и сильным движением раздернула его.

Июльское солнце ударило в ее латы, ослепило людей за столом. По шатру запрыгали солнечные зайчики. Потом глаза привыкли к яркому свету, и все поразились открывшемуся изумительному виду: закатные лучи окрашивали словно парящие в небе на фоне снегов Сьерра-Невады зубчатые башни сказочного города на вершине холма, окруженные свечами кипарисов и опахалами пальм.

— Альхамбра,— громко произнесла Изабелла. Правильно, по-арабски произнесла. Альхамбра — «Красный замок». — Вы хотите, чтобы король Арагона выкатил lombardos<sup>1</sup> против *этой гармонии*? Ни я... — Она запнулась, взглянув на мужа. — Ни мы, ни гранадский эмир Боабдиль не хотим разрушения Гранады.

— И правоверные смогут носить платье, предписанное исламом, и исполнять все приличествующие обычаи? — Неизвестный «монах» понял, что раскрыт, и поэтому не слишком старался теперь скрывать свою миссию.

— В этом мы даем гранадским подданным наше королевское слово,— сказал Фердинанд.— Более того, те, кто решит все-таки покинуть страну, смогут сделать это в течение двух лет. И корона предоставит им корабли.

Послы переглянулись. Это было невиданно великодушное обещание.

---

<sup>1</sup> Тип итальянских пушек, заряжавшихся обычно каменными ядрами.

Красивый посол взглянул на короля и спросил с внезапной энергией на своей безукоризненно правильной, но с арабскими придыханиями латыни:

— И тех, кто решит остаться в своих домах на своей земле, не будут принуждать сменить веру?

— Не подобна ли была бы такая вера семени, посеянному при каменистой дороге? — моментально отреагировала на это Изабелла.

— Но если кто-то решит последовать заветам Господа нашего Иисуса Христа, им будет оказано всяческое поощрение, — сказал король. «Вот этого ему не следовало говорить», — подумала Изабелла, но было уже поздно.

— Больше всего его величество султан Египта предостерегает от насильственных обращений. Но волнует его и другое. Кастильская армия уничтожила вокруг Гранады девяносто четыре деревни, выжжены все поля, пастбища и оливковые рощи. В Гранаду бегут мусульмане из других разоренных Кастильей городов. Население Гранады увеличилось втрое. В городе уже начались голод и болезни. Султан обеспокоен этим...

— Мы понимаем беспокойство султана Египта, — ответил Фердинанд. — Мы тоже обеспокоены судьбой наших будущих подданных. Но война есть война. Чем скорее Гранада сдастся, тем меньше будет... неудобств для ее жителей.

— А каково сейчас здоровье его величества султана? — переменяла тему Изабелла. — Мы слышали о его недавнем злополучном падении с лошади...

Послы оказались в явном замешательстве: Изабелла, похоже, знала больше, чем они, покинувшие Каир всего три недели назад.

Они с удивленным почтением склонили головы, что можно было понять как угодно. Она — поняла праиль-



но. И, вполне довольная произведенным эффектом, продолжала:

— Мы с королем Арагона, так же как и весь мир, слышаны о великих победах Каит-бея над османами в Киликийской Армении, а также о том, как успешно султан применил тактику *tala* в Адане. Против своих же единоверцев, не правда ли? Несомненно, великодушное сердце его величества страдало, но он знал: жестокость на войне порой неизбежна и необходима...

Послы молчали. Мамелюк Каит-бей и могущественный турецкий султан Байязид II были кровными врагами. Брат Байязида однажды неожиданно умер на пиру у Каит-бея, и турецкий султан, уверенный в том, что брата отравили, постоянно покушался на границы Египетского султаната, в который входил и Иерусалим.

— Мы непременно ответим султану Каит-бею на его письмо самым удовлетворительным образом, — заключила королева. — Передайте его величеству, что это война — не против магометан. Это война — с теми, кто поднял оружие против своих законных правителей.

Она говорила так убежденно, что послы чуть было не поверили ей.

— Поэтому мы надеемся на продолжение того покровительства, которое султан великодушно оказывает христианским паломникам в Иерусалиме... — завершил Фердинанд.

Это был неписанный закон их приемов — последнее слово всегда оставалось за королем.

Послов проводили, и Изабелла сидела теперь за столом напротив Фердинанда. Она не спешила сегодня покидать шатер мужа. Как обычно в военном лагере, у них были разные шатры. Это и понятно: к королю постоянно шли его командующие с разными вопросами, он часто созывал военные советы. Отдельные шатры были удобнее,

так ничто не отвлекало Фердинанда от главного дела — войны.

— Изабелла...— раздраженно начал король.— Я бы желал, чтобы впредь вы не вмешивались в мой разговор с иностранными послами, когда речь заходит о военных вопросах. И что это за маскарад? К чему эти латы?

— Но, Фернандо, послы прибыли неожиданно. И вам известно, что мой гардероб совершенно уничтожен вчерашним пожаром.— Королева улыбнулась, и улыбка проявила морщинки у ее губ.— Это всё, что у меня осталось. Гранадская нищенка-гитана имеет больше одежды, чем есть теперь у меня. И наша дочь Хуана в том же положении и до сих пор рыдает. Заснет, проснется, вспомнит, что сгорели все ее наряды, и рыдает опять.— Королева улыбнулась.

Речь шла об их двенадцатилетней дочери, принцессе Хуане, которой теперь, после замужества ее старшей сестры, принцессы Исабель, по протоколу приходилось следовать за матерью всюду, даже в осадный лагерь кастильцев на гранадской равнине.

Исабель, любимица матери, прошлой осенью вышла за наследного принца Португалии Альфонсо — милого, благородного Альфонсо, который моментально влюбился в юную жену, и чувство было абсолютно взаимным.

Двор Кастильи и Арагона не имел какой-то одной столицы, и королевская семья от нескольких месяцев до нескольких лет проводила в разных городах своего королевства. Любимыми городами у Изабеллы и Фердинанда были Севилья и Вальядолид. Многие были связаны с этими городами в их жизни. А будущая столица страны Мадрид был тогда всего лишь небольшим городом с мавританской цитаделью на высоком берегу мутного Манзанареса.

Хуана была взрывной, дерзкой, подверженной резким перепадам настроения — полной противоположностью

рассудительной и спокойной старшей дочери Исабелы. Это очень волновало королеву, и она со страхом узнавала иногда в поведении Хуаны свою мать — тогда, в страшном замке Арéвало...

Король укоризненно посмотрел на жену:

— Очень жаль. Вам следовало воспитать дочь менее суетной. Так, чтобы она больше молилась Господу о нашей победе над маврами и меньше плакала о потерянных нарядах.

Королева промолчала, и в ее молчании почувствовалось сдерживаемое раздражение.

Но король продолжил:

— И очень прошу вас не называть меня перед иностранными послами королем Арагона, а именовать полным титулом — королем *Кастильи* и Арагона. Я уже когда-то даже писал вам об этом.

— Хорошо, Фернандо. Прости.— Она обошла стол, стала рядом с ним, дотронулась до плеча: — Помогите мне снять эти латы...

Они переходили на «ты» только в интимные моменты. Шла война, и все здесь, в осадном лагере, было по-иному, и они были менее окружены придворными, более свободны от условностей.

Фердинанд смотрел перед собой, не двигаясь, словно не слыша ее.

Она провела рукой по его лицу. Щетина его подбородка и щек царапнула ладонь, и ее горло перехватила нежность. Вот уже сколько лет они были двумя волами, вместе везущими эту тяжелую телегу — Кастилью. Оба верили, что самим Богом предназначено им создать новую единую Испанию — чистый, новый, праведный мир, свободный от нечестивого прошлого.

И это было бы нелегко для самолюбия любого мужчины — быть ее мужем. По обычаю, во время первой их

встречи Фердинанд должен был приветствовать ее, поцеловав руку, как вассал. Предупрежденный ее придворными заранее, он сделал движение... но она решительно убрала руку за спину и сама чуть наклонила перед будущим мужем голову.

Согласно законам Кастильи, Фердинанд не мог назначать ни епископов, ни придворных, ни даже военных без ее официальной санкции. И что особенно казалось ему несправедливым, так это то, что *без жены* он не имел права быть королем Кастильи. Престол мог перейти их сыну или дочери, а отцу оставалось быть только регентом.

А она вот уже столько лет балансировала на этом канате, словно ярмарочная канатоходка, — всеми силами старалась не напоминать мужу, что в их союзе корон она — королева большинства испанских земель, а он — вассального Арагона и некоторых итальянских территорий. Но вот сегодня она допустила много непростительных ошибок, да еще и в присутствии послов. Наверное, сказался шок от ночного пожара и того странного, жуткого сна. Действительно, на всех королевских гербах, на монетах — везде был высечен этот девиз их короны: «*Tanto monta, monta tanto, Isabel y Fernando*»<sup>1</sup>. Рифмовалось и звучало, как детская дразнилка.

Он пригубил вина из венецианского бокала. Изабелла знала вкус вина только потому, что ежедневно ходила на исповедь и к причастию. Фердинанд же любил хорошее вино. А вскоре после свадьбы она узнала и о другом его пороке.

Теперь она стояла рядом, бессильно опустив руки — в ожидании, как просительница.

---

<sup>1</sup> «Он — равен ей, она — равна ему, Изабелла и Фердинанд» (исп., перевод автора).

Наконец он заметил ее, вздохнул и стал неловко, немело расстегивать застёжки ее лат. Конечно, она могла позвать слуг, которые помогли бы гораздо лучше, ведь Фернандо и сам уже давно не надевал, не снимал лат без помощи оруженосца. Но она не сделала этого. И по мере того, как он сосредоточенно возился с застёжками, ее наполняли нежность и желание. Она по-прежнему любила его яростно, даже после всех этих лет вместе, любила — словно в первый день, во время их тайной, скандальной, прекрасной свадьбы в Вальядолиде.

Босая, с посохом, она пошла бы по пыльным дорогам в Иерусалим, если это было бы нужно, чтобы спасти его или быть с ним. «А отказалась бы ради него от короны?» — пронеслась вдруг мерзкая, неожиданная, не иначе от лукавого, мысль. Она прогнала эту мысль.

Наконец он совладал с замками, высвободил ее из тяжелого панциря, со злой силой отшвырнул латы в сторону и, не обращая внимания на грохот металла, резко повернул ее к себе — как была, в потной, облепившей тело тонкой рубашке. Не глядя ей в лицо, не лаская, он схватил и буквально швырнул ее на широкую кровать под красным бархатным балдахинном с их девизом и гербами. Королева поняла: муж наказывает ее. Но ей было невыразимо сладко принимать от него это наказание. Она совершила проступок, она заслужила. И теперь она была покорна: ведь если это — наказание, то о нем можно не упоминать духовнику на исповеди как о грехе похоти. Королеве исполнился уже сорок один год — на год больше, чем мужу. Фердинанд был груб. Балдахин трясся, как юбки забывшейся в экстазе танца гитаны. И накотившее, несомненно греховное, блаженство было таким, что она уже знала: исповедоваться придется.

Фердинанд ласково поцеловал ее грудь. Его обида прошла. Она прижала к себе его родную голову и закрыла глаза в полном блаженстве...

Изабелла родила Фердинанду сына и трех дочерей. Он произвел на свет, в том числе и без ее участия, гораздо больше. У него были бастарды еще до брака, а женился король Арагона восемнадцатилетним. Недавно он оказывал особое внимание новой фрейлине дочери Хуаны — зеленоглазой двадцатилетней Беатрисе Бобадилля. Изабеллу трясло от едва сдерживаемой ярости при виде ее притворной невинности и яркого румянца на безупречно гладком лице.

Когда муж уезжал в отлучки или на войну, по настоянию королевы повторялся один и тот же ритуал: ее тяжелую, из дерева оливы кровать всегда демонстративно, при стечении придворных, переносили в то крыло дворца, где обитали с няньками дети, и ее жизнь протекала там на глазах у всех. Чтобы и тени подозрения не было ни у кого в абсолютной супружеской верности королевы.

Она постаралась: зеленоглазая Беатриса вышла из игры. За день до пожара в лагерь прискакал гонец с личным донесением для королевы — что каравелла Фернана Пераса, нового губернатора острова Гомеры, одного из самых отдаленных канарских владений Кастильи, благополучно отплыла из порта Палос. Изабелла избавила мужа от греховной связи. Но Фердинанд ничего еще об этом не знал.

— Как ты думаешь, Фернандо, Беатриса Бобадилля была старше или младше нашей Исабель? — спросила вдруг королева, все еще продолжая обращаться к мужу интимным «ты» и нежно прижимая его голову к груди. Их старшую дочь, по традиции, назвали в честь матери.

Фердинанд приподнялся и посмотрел на жену встревоженно:

— Беатриса Бобадилля? Кто она?

— О, я так и знала, что ты не обратил внимания. Это одна из бывших фрейлин принцессы Хуаны.

Она попыталась вернуть голову Фердинанда себе на грудь, но он неожиданно резко поднялся:

— Одна из *бывших* фрейлин? Что с ней случилось?

— О, ничего особенного. То, что случается с ними со всеми, — вышла замуж, совсем недавно.

Только две недели назад Беатриса в одном из внутренних двориков севильского Альказара сказала ему, что беременна. И он обещал ей, что все будет хорошо, что они будут вместе очень часто, и он дал ей свое королевское слово, что ничего плохого с ней не случится. И вот...

При дворе служили фрейлинами несколько его бывших любовниц, по галереям дворцов бегало, по крайней мере, трое его незаконнорожденных сыновей. Но с Беатрисой было другое. Фердинанд чувствовал, что все сильнее привязывается к этой простой, славной высокой девушке с бесподобно гибким телом. С ней он чувствовал себя моложе, ему было с Беатрисой хорошо — легко, беззаботно, весело. Может быть, еще и потому, что она не была королевой Кастильи...

А Изабелла поняла, что на этот раз должна действовать быстро.

Исповедник Талавера сказал однажды королеве, что эти женщины и незаконные дети ее мужа — испытание, посланное ей Богом. Крест, который надо нести безропотно. И она несла. Столько лет. Ревниво подмечая в ненавистных бастардах, с гомоном носившихся по ее дворцам, глаза своего мужа, его улыбку, его волевой подбородок. И чем больше появлялось в ее волосах серебристых прядей, а на лбу морщин, тем труднее ей было нести этот крест.

Он вскочил, голый, и она залюбовалась его стройным, мускулистым, как у молодого, телом. Телом, назначенным Богом только ей, и все же познавшее столько *чужих* греховных тел!

— Где Беатриса?! Где она?! Какому кретину ты отдала ее? «Неужели он хочет сейчас же, ночью вскочить на коня и скакать из лагеря, чтобы вернуть эту тварь? Значит, привязанность его и впрямь велика...» Это больно кольнуло ее. Очень больно.

— Бывшая фрейлина нашей дочери отбыла на Канарские острова,— спокойно ответила Изабелла.— Со своим мужем, новым губернатором Гомеры Фернаном Перазом<sup>1</sup>.

Он посмотрел на Изабеллу с ненавистью. Ему ли не знать свою жену! Даже когда она постоянно проигрывала ему в шахматы, он не мог избавиться от уверенности, что она делает это специально и видит на несколько ходов дальше, чем он.

Фердинанд подошел к столу, налил полный бокал вина, залпом выпил, обессиленно рухнул в кресло. В его опущенных плечах было отчаяние. Коптили свечи. Фердинанд грязно выругался и грохнул об пол венецианский бокал. Брызнули зеленые осколки.

— Уходи! — словно выплюнул он, не поворачиваясь и не глядя на нее. Словно была она не королевой Кастильи и Арагона, а шлюхой, отработавшей пару мараведи<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Пераз вскоре умрет, а в замке красавицы вдовы на канарском острове Гомера однажды появится сорокалетний, весьма еще привлекательный путешественник с небольшой флотилией. Он будет направляться на поиски таинственной земли за океаном. Беатриса окажет ему всяческое содействие в пополнении запасов экспедиции... И потом станут рассказывать, что на острове расцвела любовь вдовы губернатора, прелестной Беатрисы, и Христофора Колумба. Задержать его на Канарах она не смогла. Зов далеких неоткрытых земель оказался сильнее.

<sup>2</sup> Денежная единица Кастильи XV века. Для сравнения: опытный плотник или каменщик мог зарабатывать за день до 40 мараведи.



Она закусила губу так, что почувствовала соленый вкус крови.

Потом оделась, завернулась в один из плащей мужа, и неизменно готовые к появлению королевы слуги понесли Изабеллу в портшезе к ее новому шатру.

У входа, как обычно, ее с поклоном встретили наспех одетые и немного заспанные служанки. Королева потребовала ванну. Ее приказание бросились исполнять. А ей хотелось схватить тяжелый канделябр и разнести весь этот огромный, с удивительной быстротой поставленный для нее шатер, ей хотелось выть, как воют вокруг лагеря во время полной луны сьерра-невадские волчицы. Но вместо этого она сделала несусветное, святотатственное — оставшись в шатре одна, обняла огромное распятие из ливанского кедра, которое всегда возила с собой. Обняла Христа. По деревянным ребрам Спасителя потекли ее слезы. Потом опомнилась. Опустилась на колени и исступленно молилась, пока из ночной темноты не проступили очертания снеговых вершин, не раздались привычные взвизги тысяч стрижей и с далеких стен Альгамбры не заструились голоса муэдзинов. Служанки входить к ней не решались.

На следующий день ей предстояло получить одно приятное известие и одно ужасное.

Наступило утро. Осадный лагерь продолжал жить своей жизнью. Звучали отрывистые команды, лязг железа и ржание лошадей, разговоры, смех и барабанная дробь, откуда-то даже доносились звуки лютни и низкое горловое пение. Ровными рядами стояли палатки солдат, палатки получше — благородных, кабальеро, *baja nobleza*<sup>1</sup>,

<sup>1</sup> «Низкое дворянство» или «дворянство рангом пониже» (*исп.*).

и совсем уж роскошные шатры «высокого дворянства» — alta nobleza. Сновали слуги, тянуло дымом костров и запахом конского навоза. Лагерь окружали повозки торговцев и маркитантов.

С помощью фрейлин и служанок Изабелла и принцесса Хуана только что закончили свой утренний туалет и им подали завтрак. Изабелле совершенно не хотелось есть. У Хуаны глаза были заплаканы, она дулась и не желала ни с кем разговаривать, даже окончание grace<sup>1</sup> — «Per Christum Dominum nostrum. Amen» — пробубнила скороговоркой, с надутыми губами, чем привела Изабеллу в раздражение. Мать хотела уже сделать дочери внушение, но тут ей доложили, что ее королевской аудиенции просит герцог де Медина-Сидония, род которого был почти таким же древним и знатным, как и ее собственный.

— Ваше величество Изабелла Кастильская! — обратился почтенный старик, прижав ладонь к сердцу, и склонился перед ней в глубоком поклоне — по-старинному, не выставляя вперед правую ногу, как это делали гранды помоложе. — Моя супруга, узнав о злосчастном пожаре и гибели вашего бесценного имущества, сразу же отправила вам из Севильи свои лучшие платья и украшения. Они, несомненно, недостойны вашего величества, и я буду счастлив, даже если вы не примете эти дары, а раздадите своим слугам...

Королева улыбнулась ему приветливо — герцог был соратником еще ее отца, его товарищем по соколиным охотам, — приказала откинуть полог и увидела невдалеке нескольких взмысленных, тяжело навьюченных лошадей, которых держали за поводья богато одетые слуги. На их одежде были нашиты гербы де Медины-Сидонии.

---

<sup>1</sup> Благодарственная молитва перед принятием пищи.

Слуги стали вносить и почтительно раскладывать на ковре у ног Изабеллы наряды такой изысканности, богатства и красоты, что у нее перехватило дыхание. Здесь был и изумительного оттенка лиловый шелк, крашенный чернилами редчайших моллюсков кошениль, здесь была столь редкая уже золотая константинопольская парча, расшитая лучшим жемчугом, какой ей приходилось видеть, — нежно-розового цвета, словно солнце просвечивало сквозь пальчики младенца, здесь были даже камни из далеких северных земель, похожие на капли застывшего меда.

Хуана запрыгала от восторга, а Изабелла выстрелила в нее взглядом и попросила подать ей невиданные золотистые бусы. Гранд Медина-Сидония тотчас же, в глубоком поклоне, подал их. Она подняла бусы вверх, разглядывая их, и они загорелись золотом и стали прозрачными в солнечном луче. И вдруг глаза ее расширились: внутри одного из камней было заключено... насекомое. Королева изумленно оглянулась, а одна из служанок даже перекрестилась.

— Ваше величество, — заговорил старый гранд, — дед моей жены, севильянец, рассказывал, что предки его много поколений передают историю о том, как на Севилью напали светловолосые люди, приплывшие на огромных кораблях, походивших на драконов. Севильцы отбили их нападение, а такие камни были найдены на их захваченных кораблях. Это очень древнее ожерелье...

Изабелла встала.

— Мой благородный Медина-Сидония, передай своей супруге, что дары ее — изумительны. Доброта ее будет вознаграждена. Господом — на небе и мною — на земле. Я принимаю всё. Вы с супругой будете стоять по правую руку от наших величеств на первой же мессе во взятой у мавров Гранаде. И да поможет нам Бог! Сантьяго! Кастиль!

— Сантьяго! Кастиль! — воодушевленно повторил герцог боевой клич кастильского войска и ударил себя правой рукой в грудь. — Это будет счастливейший из дней!

У выхода он еще раз поклонился.

— Дон Медина-Сидония... — негромко позвала Изабелла.

— Да, моя королева?..

— Вот видишь, как получилось... Этот пожар оказался намного более разорительным для твоей жены, нежели для меня.

Все засмеялись, а гранд смущенно улыбнулся и развел руками.

Весь день у коновязи близ шатра Фердинанда переступали копытами ладные кадисские кони, тут же скучали и точили лясы оруженосцы. Видно было, что Фердинанд созвал рыцарство для обсуждения каких-то частных военных вопросов. Серьезные стратегические планы он никогда не обсуждал без королевы, архиепископа Педро Гонсалеса Мендосы, ее духовника Эрнандо Талаверы и военной элиты — магистров древних рыцарских орденов Сантьяго, Калатрава и Алькантара.

Неожиданно по лагерю, как ветер по полю, пронеслись шум и замешательство. К королевским шатрам неслась никем не жданная кавалькада.

И королева не сразу признала в исхудавшей, как скелет, похожей на ведьму женщине, с рыданиями обхватившей ее колени, свою любимицу дочь — Исабель.

Что случилось? Дочь сочеталась браком с принцем Португалии Альфонсо в ноябре, брак был счастливым, Изабелла радовалась за молодых!

А случилось вот что. Во время охоты на берегу Тагуса строптивая лошадь понесла, и принца Альфонсо излома-

ло так, что отпевать его пришлось в закрытом гробу. Да, Исабель и Альфонсо очень любили друг друга, а долго такое счастье продолжаться обычно не может...

Измученная дочь уснула, и королева села у ее кровати. Она провела между сном и бодрствованием всю ночь, лишь изредка отходя к распятию для молитвы. Фрейлины наперебой уговаривали ее оставить Исабель их заботам, но королеве казалось, что, если она заснет, если перестанет молиться, дочь непременно умрет. Наутро Исабель безучастно дала себя выкупать и причесать, но от пищи отказалась. Королеве невыносимо было видеть, как глубоко запали в глазницы глаза дочери, как выступили скорбные скулы, словно вознамерившись разорвать кожу щек, как заострился нос. Только чуть припухлые губы оставались узнаваемыми. Мать почувствовала сильную боль под грудью, к глазам подступили слезы: «За что?»

...Кто-то вошел и стал позади нее. Право поступать так имел в Испании только один человек. Она знала, что он стоит прямо за ее спиной, и взяла его за руку, ища поддержки. Ответного пожатия не последовало. Она медленно отпустила безжизненную руку.

— Почему до сих пор не прибыл доктор Бадос? За ним было послано сразу по прибытии Исабель. Где он?! Как он мог не явиться по нашему личному приказу?!

Фердинанд молчал. Лоренсо Бадос был евреем *converso*<sup>1</sup> и личным врачом королевской семьи. Лучше лекаря не было во всей Кастилье. Лоренсо Бадос завоевал безграничное доверие королевы тем, что с точностью до времени дня умел определить сроки ее родов, и первым когда-то предсказал, что родится долгожданный мальчик. Так и вышло.

---

<sup>1</sup> Выкрест (*исп.*).

Таким же безжизненным, как и его рука, голосом король наконец сказал:

— Его не будет.

Она взглянула на него недоуменно:

— Почему?

— Торквемада считает, что ересь тайного иудаизма проникла глубже, чем мы полагали.

— Но доктор Бадос... восприемник принца Хуана... Всех наших детей... Мне трудно поверить... Столько лет он безупречно... На нем держится мой госпиталь...<sup>1</sup>

Фердинанд промолчал.

— Когда начали дознание?

— Еще до пожара.

— Какое обвинение было предъявлено?

— Тайно иудействовал и проповедовал иудаизм.

— Как стало об этом известно?

— Несколько его пациентов независимо друг от друга довели до сведения Инквизиции, что он рекомендовал иудаистские ритуалы, противные Священному Писанию.

— Что за ритуалы?

— Торквемада сообщил сегодня утром... Омовение рук перед приемом пищи... В Евангелии от Матфея сказано: «исходящее из уст оскверняет человека» и «есть неумытыми руками — не оскверняет человека».

Королева знала эту часть Писания наизусть. И проговорила тихо, не отрывая глаз от страшно изменившегося лица дочери:

— «А исходящее из уст — из сердца исходит; сие оскверняет человека; Ибо из сердца исходят злые помыслы, убий-

---

<sup>1</sup> *Hospital de la Reina* — полевой госпиталь, основанный королевой Изабеллой, в работе которого она принимала непосредственное участие. Эта традиция сохранялась среди женщин европейских царствующих домов и во время Первой мировой войны.

ства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления: Это оскверняет человека...»<sup>1</sup> И за эту скверну нужно платить,— добавила она твердо.— Фернандо, наша дочь не просто... умирает. Она отказывается от пищи и воды и тем совершает смертный грех. Грех самоубийства. Я молю ваше величество: данной вам Господом властью сделайте все для спасения души и жизни нашей дочери! Доктор Бадос лечил ее с младенчества. Он единственный, кто может помочь...

Фердинанд бросил быстрый взгляд на жену и заметил в ней нечто, чего до этого как-то не замечал,— у Изабеллы под подбородком стала обвисать кожа. Это не могло быть просто следствием бессонной ночи: жена превращалась в старуху быстрее, чем он ожидал.

Холодно, но без обиды и недовольства, король поклонился ей и вышел. Изабелла поняла, что здесь, в осадном лагере у Гранады, она потеряла любовь Фердинанда. И теперь теряла дочь. И снова подумала о старом мудром докторе Бадосе, который так умел успокоить все ее материнские тревоги, когда дети были еще малы.

...Старика раздели догола, и он упал перед Инквизиторами на ледяные плиты пола. Он дрожал, и словно отдельно от него дрожала вся его отвислая старая кожа. Сумасшедшими глазами старик смотрел на железную кованую дверь этой кирпичной пещеры без единого окна, словно ждал, что оттуда придет спасение. Это случалось редко, но все же иногда случалось.

Люди вокруг были деловиты и, судя по всему, не новички в том, что должно было сейчас произойти. И они были уверены в себе, как бывают уверены хорошо зна-

---

<sup>1</sup> Мф. 15:18—20.

ющие свое дело доктора. Все это придавало происходящему неизбежность, даже нормальность. Люди переговаривались, снимали с гвоздиков в кирпичной стене и повязывали длинные фартуки — наподобие тех, что носят мясники. Сетовали, что сегодня будет много работы: еще шестеро — испытание водой и трое — «цветком правды»<sup>1</sup>. Большинство из экзекуторов предпочитало производить испытание водой, как более чистое и бескровное. Чтобы у испытуемого непроизвольно не срабатывал рефлекс, после которого приходилось убирать, узника обычно не кормили и не поили ничем двое суток. Но при испытании водой рефлекса мочеиспускания все равно было не избежать, и на такой случай в углу ждал мальчишка с тряпками, ведром и щеткой, и больше всего работы ему доставалось, когда испытывали беременных.

Лоренсо Бадос видел, что люди вокруг неумолимы, но он не чувствовал, что они испытывают к нему какую-либо ненависть. И когда он встретился с одним из них взглядом, то понял, что они вообще *ничего* к нему не испытывают, что он уже перестал быть человеческим существом, он для них — лишь атрибут этой камеры, не более одушевленный чем доска, к которой его сейчас привязывали.

На скамьях у стены рассаживались писцы — вести подробнейший протокол. Обычно их было двое. Потом записи сравнивались, они должны были совпадать полностью. Такова была неукоснительная инструкция Супремы<sup>1</sup>.

Наконец вошел дежурный инквизитор, который и должен был вести допрос. Он взглянул в сторону писцов чуть

---

<sup>1</sup> При этом «испытании» в прямую кишку жертвы вставляли металлический цилиндр, створки которого резко раскрывали потом наподобие лепестков в теле специальным ключом.

<sup>2</sup> Высший совет Инквизиции.



заискивающе: все трое негласно контролировали друг друга, и любой из них мог донести на другого о несоблюдении инструкций Супремы. Тогда полетели бы головы.

Молодой писец, францисканец брат Луис разграфил лист, подумал: «Ну почему Супреме не издавать уже разграфленные листы для протоколов допросов, насколько было бы быстрее!» — вздохнул и вывел:

*«Протокол Дознания*

*от 30 июля года от Рождества Христова 1491-го.*

*Имя: Лоренсо Бадос, converso, до крещения — Самюэль Меламед.*

*Возраст — шестьдесят пять лет.*

*Обвинение:*

*распространял иудейские ритуалы омовения, соучаствовал в распятии христианского ребенка в деревне Ла Гардия<sup>1</sup>, использовал кровь вышеупомянутого ребенка для отправления иудейских ритуалов, направленных на разрушение христианства...»*

Брат Луис работал в Инквизиции недавно. У него был отличный круглый почерк. Ему очень повезло: эта работа хорошо оплачивалась и считалась большой удачей. Сначала он чувствовал возбуждение, когда испытывали женщин, которых тоже раздевали донага, но сейчас привык

---

<sup>1</sup> Это было громкое дело, которое Инквизиция расследовала два года, с привлечением огромных средств и людских ресурсов, несмотря на отсутствие не только тела убитого ребенка, но и родителей, которые заявили бы о пропаже сына в деревне Ла Гардия. Однако было много сознавшихся под пыткой. Торквемада развернул на этой основе обширную антисемитскую кампанию, результатом которой и явилось изгнание всех евреев из Испании и со всех подвластных ей территорий.

уже настолько, что оставался безразличен, даже если женщины были молодыми. Все равно они были уже отработанным материалом, хламом, который после испытания годился только для костра.

«Процедура» началась, и он быстро вел протокол:

*«Следуя инструкциям Супремы, испытуемый перед началом процедуры закреплен на наклонной деревянной плоскости размером 4 фута на 7 футов.*

*Стадия первая. Ноги испытуемого приподняты. Конечности связаны во избежание движений во время процедуры. Для предотвращения закрытия во время процедуры в рот испытуемого вставлена деревянная распорка. Лицо испытуемого закрыто холстиной, сложенной вдвое (в полном соответствии указам Супремы)».*

Он опять вздохнул: вот этот же текст ему придется писать сегодня еще шесть раз, но таков порядок!

На доске над иудействующим *converso* совершалось обычное и привычное. Все шло по плану.

*«Стадия вторая. Вода из сосуда с носиком, дозирующая ее поступление, изливается на лицо испытуемого, накрытое материей, с высоты (Луис прищурился, чтобы оценить расстояние) двенадцать—пятнадцать дюймов. Вследствие наполнения водой живот испытуемого увеличился вдвое.*

*Стадия третья. Поступление воды прекратилось. Ткань с лица убрали с целью дачи испытуемому возможности сделать три вдоха (согласно инструкции Супремы) и с тем, чтобы он мог выразить раскаяние в содеянном.*

*Стадия четвертая. Раскаяния не последовало. Испытуемый заявляет, что невиновен. Наблюдается сильное побледнение лица и конечностей. Неукротимая дрожь, переходящая в конвульсии.*

*Стадия пятая. Процедура повторена.*

*Стадия шестая. Испытуемый после трех вдохов продолжает упорствовать, настаивая, что невиновен...»*

Луис взглянул на испытуемого: странно, обычно такие старики признаются во всем уже после второй стадии.

*«Стадия седьмая. Процедура повторена.*

*Стадия восьмая. Испытуемый признал, что: распространял иудейские ритуалы омовения, соучаствовал в распятии христианского ребенка в деревне Ла Гардия,*

*использовал кровь вышеупомянутого ребенка для отправления иудейских ритуалов, направленных на разрушение христианства...*

*Раскаяние в содеянном: полное.*

*Заключение. Имена сообщников не были названы, передача светским властям для „послабления“<sup>1</sup> и последующего аутодафе не представляется возможной по причине внезапной смерти испытуемого, что служит дополнительным доказательством его вины.*

*Постановлено: во время „акта веры“ аутодафе 3 августа 1491 года от Рождения Господа нашего Иисуса Христа пре-*

---

<sup>1</sup> Так называлась передача Инквизицией приговоренного светским властям для сожжения или же удушения с последующим сожжением (в случае полного раскаяния). Святая Инквизиция не занималась непосредственной организацией аутодафе и формально не несла ответственности за прекращение жизни осужденных, следуя заповеди «Не убий». Пролитие крови во время пытки тоже не приветствовалось, поэтому пытки изобретались бескровные. Смерти «испытуемого» во время пыток старались избежать, но если это происходило, то считалось необходимыми издержками и косвенным доказательством вины преступника.

*дать огню чучело преступника, бывшего врача Самюэля Меламеда, полностью сознавшегося в тайном иудействовании».*

Подпись

**Ф**ердинанд вошел в шатер к жене и дочерям. Он был мрачен.

— Было уже слишком поздно, Изабелла...

Она поняла. Побледнела. Ничего не сказала.

И вдруг заметила странную улыбку на губах своей самой красивой дочери — Хуаны. Забеспокоилась. Ей показалось, что она где-то уже видела очень похожую улыбку. И почему-то стало страшно. А девочка словно смотрела на кого-то рядом с изголовьем сестры и улыбалась.

— Кому ты улыбаешься, дитя мое?

— Вот ей...— Хуана протянула руку в направлении изголовья сестры.— Она смешная и немного страшная. Стоит рядом с головой Исабель и строит мне рожи. И говорит, что Исабель умерла. Она правда уже умерла? Хорошо. Теперь вы будете любить только меня.

Она не выдумывала. Она озорно высунула язык, дразня этого *кого-то*. Отец, занятый своими мыслями, не обратил внимания, а мать — похолодела. И не столько от слов дочери, сколько от того, с каким *знакомым выражением лица* они были произнесены.

## **Безумная мать**

**Н**икто в Кастилье, глядя на серьезную девочку, вечно сжимавшую в бледных пальцах часослов, не мог и подумать, что это — будущая королева Изабелла Кастильская, которая принесет Испании Золотой век. Об этом знал тогда только Бог.

Ее отец, из рода Траста́мара, Хуан II, в жилах которого текла и английская кровь Ланкастеров, стал королем в совсем еще нежном двухлетнем возрасте после неожиданной смерти отца. И тотчас же бароны начали кровавую драку за престол. Его матери, Катарине Ланкастерской, пришлось проявить огромную изворотливость и дипломатичность и приложить невероятные усилия, чтобы все-таки сохранить за сыном трон. Но и удача была на его стороне — ведь мальчик вынужден был расти, постоянно скрываясь от дворян, которые с удивительным упорством покушались на его существование.

Потом не стало и матери, и тогда в жизни подростка короля появился этот злой гений, «благородный камердинер» Альварес де Лу́на. Этот придворный по возрасту годился ему в отцы и был невообразимо уродлив — низкорослый, почти карлик, с черно-синими зубами и редкими рыжеватыми волосами, сквозь которые просвечивал шишковатый череп и которые он, однако, отращивал до плеч.

Лоб у Луны был огромный, а глаза маленькие и так глубоко посаженные, что казались черными. Они редко отражали свет. Луна был нечеловечески хитер. И если бы не он, то после смерти матери Хуану не только не быть королем, но и, вполне вероятно, вообще не быть в живых. Гранды ненавидели его, но почему-то один за другим или умирали, или вынуждены были спасаться в соседних королевствах. Или же добровольно отказывались от «гонки за престол», справедливо полагая: связываться с де Луной — слишком опасно.

Король же вырос и с удовольствием проводил время на охоте и в пирах, полностью оставив де Луне ненавистное ему, непонятное и нудное дело управления Кастильей. А тот совершенно перестал церемониться с дворянами, и убивал их уже без всякой видимости благовидных предло-

гов, и конфисковывал их богатства и земли, пополняя тем кастильскую казну, которую уже считал своей.

Вскоре он женил короля на юной, молчаливой Марии Наваррской. Она умерла молодой, родив королю сына Энрике. К тому времени дворянство как «ресурс пополнения королевской казны» совершенно истощилось, а роскошь, к которой уже пристрастился де Луна, требовала постоянного прихода, и некоронованный король Кастильи стал смотреть по сторонам в поисках нового ресурса.

Хуану исполнилось 37 лет, но его зависимость от злого гения Альвареса де Луны с годами совершенно не уменьшилась, а как раз наоборот. Все дела по-прежнему шли через де Луну, и уродец довольно махал своему подопечному из окна замка, когда беззаботный король с неизменным соколом на перчатке выезжал на охоту в Эль-Базаинский лес. Король обожал этот лес, соколиную охоту и лошадей.

Невесту для овдовевшего короля де Луна присмотрел с богатым приданым — принцессу из соседней Португалии, нежную семнадцатилетнюю красавицу Исабель.

И вскоре понял, что стареет, ибо на этот раз его нюх на людей — подвел. Исабель привезла с собой несколько сотен португальских слуг, огромную кровать с балдахинном, которую надрывно тащили через две страны полсотни мулов, и убедила короля, который по возрасту ей в отцы годился, что спать они отныне будут вместе — в одной спальне (с покойной королевой у Хуана опочивальни были разные), на этой кровати, так как в его бургосском замке она страдает от холода.

Вот так красивая девочка стала принимать решения самостоятельно. А потом незамедлила показать острые

белые молодые зубки самому Альваресу де Луне. Однажды, когда он, по обыкновению запросто, без доклада, пошел поговорить с Хуаном, португальские стражники юной жены короля закрыли перед ним дверь в королевские покои, заявив с противным своим жужжащим акцентом, что пускать не велено НИКОГО. Так ведь и не пропустили высоченные архаровцы!

Она играла с огнем. Так он ей об этом и прошипел потом в нежное ушко — прямо в церкви, во время мессы, брызгая слюной из гнилозубого рта: «Я устроил этот брак, маленькая сучка, я его и разрушу!» Он был намного ниже ее ростом, и девчонка бросила на него взгляд свысока, словно он, магистр ордена Сантьяго, которому служили сто тысяч вассалов и принадлежали шестьдесят деревень Кастильи, был какой-то цикадой на листе!

Он совершенно потерял самообладание, и это заставило его делать ошибку за ошибкой. Конечно, не стоило выбрасывать из окна бургосского замка прямо на булыжники улицы аудитора, которого король прислал для подсчета и проверки своей казны, да еще и во время Пасхальной недели...

Это убийство стало, как говорит мавританская пословица, «последней соломинкой, что переламывает хребет навьюченному верблюду». Кастильское дворянство обратилось к королю и королеве с петицией и пригрозило мятежом. Одновременно по Кастилье начали ходить слухи, что Альварес де Луна по ночам готовит странные зелья из сушеных змей, и приворожил он короля именно ими.

Другие, озираясь, рассказывали самым доверенным, что мерзкий колдун совратил короля Хуана еще в детстве, когда умерла его мать, и стал спать с мальчиком в одной кровати. Правдой это было или нет, теперь уже не узнает никто, но ни одной аристократки или пейзажки за де Луной и впрямь никогда не числилось. И королю не оставалось

ничего иного, как под давлением своей юной жены, баронов и всех этих сплетен — де Луну казнить.

Его везли к месту казни в деревянной клетке. А он пристально смотрел на бургосскую толпу, словно выискивал кого-то. Люди поворачивались к нему спиной и шептали молитвы.

Королева и король сидели на специально выстроенном помосте под балдахинном совсем недалеко от эшафота. Похожий на сморщенную обезьяну де Луна посмотрел на королеву — пристально, без всякого волнения или страха. И громко крикнул с помоста сорокасемилетнему королю: «Прощай, мой малыш!» Палач взмахнул топором. Брызнуло во все стороны красным. И толпа словно единой глоткой выдохнула ужас.

Король закрыл лицо руками и зарыдал. Исабель же сидела прямо и как будто окаменела. И всем был заметен ее округлившийся живот.

В это время ее двухлетняя дочь Изабелла спала в своей детской, раскрасневшись во сне, сосала пухлый кулачок и, естественно, не подозревала, *как* все то, что происходит на бургосской площади, изменит вскоре ее жизнь.

Только дома беременная королева заметила, что на ее кружевной воротник попала крошечная капля *его* крови. Но не придавала этому никакого значения: враг был повержен, муж принадлежал теперь только ей.

Через несколько месяцев она родила здорового мальчика Альфонсо. При наличии двух братьев — Энрике, сына короля от первого брака, и теперь вот Альфонсо — шансов на кастильский престол у маленькой Изабеллы не оставалось никаких.

Казалось бы, жить теперь молодой семье да жить, но с самого дня казни Альвареса де Луны король впал в смертельную тоску. Ни дюжина лучших соколов, привезенных по заказу королевы из самого Дамаска, ни любовь краса-



вицы жены, ни рождение здорового сына не улучшили его состояния. Доктора не могли понять, что происходит. Внешне никакой болезни у Хуана не наблюдалось. Но старели на конюшне его прекрасные жеребцы, жирели без дел его егеря: король больше не ездил в Эль-Базаинский лес. И приказал устроить себе спальню, отдельную от жены, и проводил все время в молитвах. Худел, чернел, и однажды утром камердинер нашел его в постели мертвым. Всего на год пережил король де Луну.

Кастильским королем стал старший сын Хуана — Энрике, а вдовствующая королева, по обычаю, должна была удалиться с младшими детьми от двора. Хуан II оставил жене и ее детям приличное состояние, чтобы они ни в чем не нуждались, но Энрике выделил им только то, что считал нужным, и роскошествовать уже не приходилось. Но даже не это стало вскоре самым страшным.

Для жительства королеве отвели неприветливый городок Арéвало с небольшим мавританским дворцом и серым замком. Город на многие мили окружали только поля, овечьи пастбища и виноградники.

Замок Аревало был построен прямо над узкой быстрой рекой Адаха, и в его покоях постоянно слышался шум воды. Именно там, однажды ночью, мать вошла в спальню своей пятилетней дочери, растормошила ее и спросила встревоженно:

— Изабелла, прислушайся хорошенько. Что ты слышишь?

Заспанная Изабелла села на кровати. Как ни прислушивалась она, до ее ушей доносился только шум реки и далекое блеяние овец.

— Река шумит...

— Шумит? — Глаза матери наполнились ужасом.— Шумит и все время шепчет: «Альварес де Луна». Слышишь? Вот сейчас опять: «Альварес де Луна». — Она вдруг

резко встряхнула дочь: — Вот опять! Неужели не слышишь?!

Мать казалась очень сердитой, и Изабелла в испуге заревела. Но врать не стала. Не слышала она ничего, кроме шума воды.

А Исабель подняла на ноги среди ночи всю челядь и приказала немедленно укладывать вещи, грузить мулов и перебираться из этого проклятого места и от реки во дворец.

Во дворце, однако, королева не только продолжала слышать имя своего врага. Он стал приходиться к ней и сам. Ее беседы с де Луной и мертвым мужем будут продолжаться после этого еще долгие-долгие годы, пока в 1496 году она не умрет в Аревало безумной затворницей. Она так и не узнает ни о смерти своего сына Альфонсо, ни о том, какой великой королевой Кастильи станет ее дочь. И никто никогда не узнает, о чем были ее беседы с мертвецами — королем Хуаном и с ужасным Альваресом де Луной...

О происходящем в Аревало Энрике узнал не сразу, но в конце концов, через несколько лет, приказал привезти своих сестру и брата по отцу жить при его королевском дворе. На это он имел свои причины. У его вассалов появлялось все больше оснований ненавидеть своего короля. Поскольку дети были прямыми наследниками короля Хуана и королевы Португалии Исабель, недовольные Энрике бароны вполне могли попытаться посадить их на престол вместо него. Поэтому он решил держать детей на глазах у себя во дворце: так грандам было сложнее использовать их в заговорах и интригах.

Узнав каким-то образом о неминуемом отъезде детей или почувствовав его (никто ей не говорил об этом, опа-

саясь ее реакции), мать выла и билась в рыданиях трое суток.

Изабелла запомнила тот свой отъезд. Она помнила, как оглянулась, и у нее сжало сердце: позади их возка на дороге клубилась красная пыль, и в ее облаке бежала простоволосая женщина в синем платье. Изабелла заколотила по стене возка, требуя, чтобы возницы остановились, но просвистел хлыст, и лошади побежали еще быстрее. Альфонсо ревел, она кусала губы. Дочь аревальского алькальда Беатриса де Сильва на жестком сиденье крепко прижала к себе детей и дрогнувшим голосом сказала, что надо быть сильными, что так — хочет Бог.

Оставленная мать, выбившись из сил, упала на колени в дорожную пыль и кричала что-то вслед своим детям. Наконец к ней подбежали слуги, подняли ее, обессиленную, обмякшую, и повели под руки назад — туда, где в летнем оранжевом мареве дрожали дворец и башни Аревало. Изабелла смотрела, как они медленно уменьшались, пока не исчезли совсем.

О чем так отчаянно кричала им тогда мать? Этот вопрос мучил ее потом всю жизнь.

### Брат Энрике

Во время долгой дороги Беатриса де Сильва с горечью думала о том, как было бы хорошо, если бы можно было послушаться и не везти детей ко двору. Неподходящим для детей местом был двор короля Энрике.

Первая супруга короля, Бланка Наваррская, сама потребовала развода после многих лет бездетного брака. Королева обвинила мужа в импотенции и, по-видимому, сумела это доказать, иначе развод не состоялся бы. Король совершенно не горевал. Он или уезжал на долгие

охоты в Эль-Базаинский лес (в этой страсти он походил на отца!), или проводил хмельные ночи в бургосском дворце со случайными друзьями — поэтами, нищими кабальеро, и даже егерями и доезжачими. Здесь, развалясь на парчовых подушках, в шальварах и кафтане, он потягивал ароматный кальян, наблюдая за чувственными танцами пажей, переодетых в гитан и андалузиек.

Потом король опять женился. Возможно, надеялся, что во второй раз ему повезет больше. Португальская принцесса Хуана, родственница безумной Исабель, тоже была красавицей, но нрав имела совсем иной — полная жизни кокетка, любительница самых разнообразных увеселений, она находила добродетель невыносимо скучной. И жизнь словно подыграла ей.

Первая брачная ночь короля — дело серьезное и государственное. По обычаю и по закону Кастильи, молодые удалялись на королевское ложе с балдахинном, опускали занавеси, но при этом, как предписывал закон, оставляли открытой дверь, а за ней толпой стояли самые приближенные придворные, ожидая момента, когда из-за занавесей высунется рука с рубашкой или простыней, на которой — доказательство: кровавое пятнышко нарушенной девственности. Только тогда брак считался вступившим в силу.

В случае короля Энрике рука не высунулась ни на первую, ни на вторую ночь. Не высунулась она вообще, и придворным, наверное, просто надоело без толку собираться у дверей королевской спальни. Причин могло быть две: или принцесса вышла замуж не девственницей, или же король Энрике оказался импотентом.

В первом случае король имел право аннулировать брак и вернуть опозоренную невесту. Но, так как этого не произошло, все начали сильно подозревать, что причина — вторая. Тем более что Энрике не только весьма спокойно стал относиться к тому, что жена начала регулярно выби-

рать себе любовников из придворных кабальеро, но даже поощрял это, раздавая им поместья и титулы. А Хуана веселилась как могла, окружив себя смешливыми кокетливыми подружками-фрейлинами, чьи крепости тоже не требовали долгой осады.

В Кастилье рассказывали об оргиях, устраиваемых во дворце королем, и о развратности новой королевы. Именно поэтому, когда королева родила дочь, младенца сразу же окрестили «Ла Белтранеха» — намекая, что это дочка уж конечно не от короля-импотента, а от последнего из известных любовников королевы — кабальеро Белтрана де Куэвы. Энрике занервничал: сомнения в его отцовстве ставили под угрозу наследование престола, и он старался убедить окружающих, что дочь — его, но кастильские дворяне и Кортес<sup>1</sup> имели более чем достаточно причин сомневаться в этом.

О детях, привезенных из Аревало, Энрике, однажды поручив их воспитателям, вспоминал редко.

**В**се во дворце было Изабелле чужим. Разбуженная среди ночи пьяным хохотом, громкой музыкой, звуками поцелуев и стонами страсти под окнами, тринадцатилетняя Изабелла уходила в маленькую дворцовую церковь и, стоя на коленях, молила Бога унести ее из этого дворца, дать ей другую жизнь, другую любовь, другую судьбу.

Большую часть времени она проводила в компании своей любимицы — Беатрисы де Сильва, и громогласного шутника, воина, книгочея (и немного алхимика) епископа Альфонсо Каррильо де Акуна, который умел так образно рассказывать Ветхий Завет и Евангелие, словно сам ходил с Моисеем по пустыне и с Христом по Галилее.

---

<sup>1</sup> *Кортес* — испанский парламент. Известен с 1137 года.

Каррильо приносил Изабелле книги — о подвигах рыцарей короля Артура, об удивительных странствиях венецианца Марко Поло. Он учил ее латыни и молитвам. А однажды даже с гордостью привел ее в свою «лабораторию», где вот уже столько лет безуспешно пытался превратить различные минералы в золото. Изабелла тогда посмотрела на него и со смехом сказала: «Милый мой старый Каррильо (епископу было только сорок, но он казался ей глубоким стариком), если у тебя ничего не получилось за столько лет, то, наверное, уже и не получится. Венецианец Марко Поло пишет о том, сколько золота есть в земле под названием „Китай“. Может быть, тебе лучше отправиться за ним туда, чем стараться получить его из пыльных стеклянных сосудов и пламени свечи?»

Епископ почти обиделся на дерзкую девчонку, но он не умел долго сердиться и подумал тогда, что для женщины она имеет довольно быстрый ум и, возмись он обучать ее всему тому, чему учил сейчас ее брата Альфонсо — истории, географии, математике, кто знает...

В Кастилье не бытовал салический закон, запрещающий наследовать престол женщине, в прошлом имели место такие прецеденты, но мужчина на троне, конечно, был для всех не в пример более привычным делом. Каррильо имел свою тайну, и только самые близкие ему люди были в нее посвящены: он всей душой ненавидел слабовольного короля Энрике и распутную королеву Хуану и больше всего на свете хотел бы видеть на престоле юного принца Альфонсо. Знавшие об этом сами разделяли такое желание, хотя даже такие мысли делали их государственными изменниками, и за них полагалась плаха. Стремление Каррильо не было совсем альтруистичным: он мечтал о кардинальской мантии и имел все основания надеяться, что, став королем, юный воспитанник не забудет своего учителя.

Беатриса де Сильва обучала Изабеллу шитью и вышиванию, заставляла ее читать вслух «Наставление благородной даме», в котором особенно запомнилось девочке вот это: «качества мужчины по праву ставят его выше женщины, и таков естественный закон людей». И еще говорилось, что нет худшего зла, чем посеять у мужа и подданных даже тень сомнения в женской чистоте и верности, ибо это несомненно низвергает преступницу в геенну огненную после смерти, а при жизни — вносит хаос в наследование земли и титула.

Изабелла не любила ни шитья, ни вышивания, поэтому заставляла себя заниматься этим каждый день для воспитания характера. И еще ей почему-то казалось, что, чем больше неприятных вещей она будет выполнять сейчас, тем больше приятных будет ждать ее впереди.

**Р**аспутность Энрике и королевы Хуаны, их дикие увеселения «в мавританском стиле» в то время, как их подданные вели против мавров суровую борьбу, переполнили наконец чашу терпения грандов.

Не помогло и то, что, почувствовав настроение дворян, король объявил крестовый поход против мавров Гранады. Эмират успешно отбил нападение. Недовольство росло.

Теперь гранды только и ждали удобного момента. Против короля, как грозовая туча, набухал заговор.

### **Первый конь**

**Д**евушкам в Кастилье предписывалось ездить верхом только на мулах. А Изабелла, которой уже исполнилось тринадцать лет, была отличной наездницей — еще в Аре-

вало воспитатель епископ Часон научил ее крепко держаться в седле на небольших быстрых мавританских лошадях хеннет<sup>1</sup>. В Бургосе с братом Альфонсо, часто предоставленные сами себе, они находили особую радость в верховых прогулках, и даже Энрике порой брал их вместе с остальными придворными на большие королевские охоты.

Но Изабелле надоели апатичные мулы.

Энрике имел огромную конюшню, и вот однажды утром туда ненароком и забрела Изабелла — она любила летом, до того как установится зной, побродить в одиночестве по Альказару, по дворцовым садам и прохладе мавританских галерей.

Рядом с конюшнями была и арена для боя быков, и от туда донеслось тонкое нервное ржание.

На арене, под парусиновыми навесами от солнца, играл, круто выгибая шею и словно выбивая копытами ритм, светло-серый конь. Бока и шею его покрывали необычные темноватые пятна. В каждом движении животного была такая совершенная гармония, что у Изабеллы ни с того ни с сего навернулись на глаза слезы.

Приблизился главный королевский конюший, худой высокий мавр с жилистыми руками. Не смея заговорить первым, он склонился в почтительном поклоне.

— Красивый конь,— сказала Изабелла.— Как его зовут?

— El Chico<sup>2</sup>, госпожа. Он привезен из Магриба только вчера, он молод и пока не подпускает к себе чужих.

— Что это за пятна?

---

<sup>1</sup> *Jennet* — очень старая иберийская порода боевых лошадей. В Европе сейчас исчезла, но была вывезена конкистадорами и существует еще в Америке. Ее одичавшие потомки — мустанги.

<sup>2</sup> *Мальчик* (исп.). Прозвищем Боабдила, молодого эмира Гранады, тоже будет El Chico.



— Люди говорят, это — память о крови Пророка, да благословит его Аллах! Такая же серая кобылица вынесла когда-то его, истекающего кровью, из битвы и спасла ему жизнь.

Изабелла молчала, не спуская с коня замороженного взгляда. Мавр посмотрел на нее тревожно:

— Это боевая порода самых чистых кровей. Очень верная, но и очень своевольная порода. Они всегда чувствуют всадника. Они сами выбирают себе хозяина...

— Оседлай его для меня! — звонко приказала Изабелла.

— Госпожа! — Мавр бросился перед ней на колени. — Если Эль Чико тебя сбросит, мне отрубят голову. А он не потерпит женского седла.

Неизвестно, что страшило конюшего больше — страх потерять голову или позор женского седла на чистокровном боевом «арабе»!

— Если он никогда не ходил под женским седлом, откуда ему может быть о нем известно? Оседлай его! — повторила Изабелла. — Я хорошая наездница.

Конюший пошел за седлом.

...Она не успела ничего понять, как вдруг мир качнулся, перевернулся и рухнул. Песок забил ей глаза и нос. Она сжалась, закрыла голову руками, каждый миг ожидая удара конского копыта. А конь ржал над ее головой, словно издеваясь.

Конюший крепко взял «араба» под уздцы, но удерживал с трудом. Сидящая на песке арены Изабелла представляла собой жалкое зрелище.

На помощь уже бежали слуги. Ей было невыносимо стыдно поднять глаза на главного конюшего, и больше всего хотелось сейчас разреветься.

По лицу мавра скользнула едва заметная улыбка: девчонка получила хороший урок. И он не ожидал того, что

сделает сейчас Изабелла. А она, выплюнув мерзкий, с соленым привкусом лошадиной мочи песок, сказала:

— Я приду завтра!

Прихрамывая, окруженная мельтешащими слугами, Изабелла направилась к выходу. Вдруг остановилась, обернулась. «Я хорошая наездница!» — прозвучала в ее голове собственная самоуверенная фраза. Конюший продолжал удерживать под уздцы на арене нервно перебирающего тонкими ногами Эль Чико, гладил его по шее и что-то ему говорил. Оба смотрели ей вслед, и Изабеллу поразило одинаковое выражение превосходства в их устремленных на нее взглядах.

Так же хромая, с гримасой боли, которую трудно было скрыть, она вернулась к арене.

Конюший опять поклонился:

— Завтра я приготовлю для госпожи на выбор несколько лучших мулов, они достав...

Изабелла словно не слышала его слов. И пристально посмотрела ему в глаза:

— Что ты сказал коню, чтобы его успокоить?

Конюший произнес гортанную фразу.

Она в точности повторила, и конь с удивлением покосил на нее глазом.

— Скажи Эль Чико, пока он еще не понимает меня, — сердито и твердо, от боли и пережитого унижения, заговорила Изабелла, — что я приду завтра. И буду приходить каждый день, так что лучше ему меня не сбрасывать. Он теперь — мой конь. Скажи ему! И не снимай с него этого седла сегодня до вечера. Пусть привыкает.

Она подождала, пока конюший с виноватым выражением «перевел» ее слова лошади. Конь, опустив голову, покорно «слушал».

— Ты хороший конюший. Ты поможешь мне завтра.

— Для меня будет счастьем служить тебе, госпожа! — отозвался он.

Изабелле показалось, что оба — человек и конь — переглянулись и тяжело вздохнули. Изабелле стало смешно. И она засмеялась, хоть на зубах ее и скрипел песок.

— Все в руках Аллаха, Эль Чико,— сказал конюший, когда принцесса ушла.— Конечно, не дело, когда дамасским клинком режут сыр, но по всему видно, что тебе вряд ли доведется услышать звуки битвы. Если очень повезет, тебя будут брать на охоту. Все в руках Аллаха...

Конюший напрасно беспокоился. Эль Чико не только услышит грохот битвы, но и однажды утром вынесет свою госпожу к украшенному парчой помосту на площади в Сеговии, где под возгласы «Сантьяго! Кастиль!» и радостный гул толпы она станет самой великой королевой, какую только знала Испания.

### Первая смерть

Вскоре в Кастилье все-таки вспыхнула гражданская война. Дворяне Вальядолида объявили, что не считают Энрике своим королем и не допустят на престоле его дочь — выродка некоролевской крови. Они отказались отправить Энрике ежегодную подать. Взбешенный король повел на их усмирение войско. Но пока он безуспешно усмирал Вальядолид, примеру дворян этого города последовали гранды и других важнейших городов Кастильи — Пласенсии, Авила, Медины дель Кампо, а потом восстали дворяне и всей Андалузии. Энрике со своими сторонниками и войском вынужден был укрываться в хорошо укрепленной крепости в Сеговии.

Сейчас ему отчаянно нужна была поддержка родственника жены португальского короля и его рыцарей. И поэтому Энрике решил спешно выдать пятнадцатилетнюю Изабеллу за престарелого португальского монарха (тот

обещал прислать ему несколько тысяч рыцарей), а принца Альфонсо — женить на своей малолетней пока дочери «Ла Белтранехе», чтобы повысить в глазах грандов ее королевскую легитимность. Конечно, на брак между столь «близкими родственниками» требовалось разрешение папы, но подобные династические прецеденты случались сплошь и рядом.

Мятежные бароны со своей стороны считали, что для укрепления их позиций Изабеллу нужно выдать за одного из их лидеров, магистра ордена Калатравы — Гирона. И они обещали королю, что, если принцесса Изабелла выйдет за Гирона, они, так и быть, начнут с Энрике мирные переговоры. По законам Кастильи ее не могли принудить к браку, но в реальности Изабелла была не более чем маленькой зеленой оливкой между неумолимыми гранитными жерновами политического маслянистого жома.

Увидев обоих претендентов, она пришла в отчаяние. Оба оправдали ее самые худшие опасения: тщеславны, напыщенны, похотливы. И стары.

Король Португалии, вдовец, был более чем вдвое старше ее. Во время встречи в Гибралтаре, куда специально для этого повез ее Энрике, король не сводил глаз с ее груди, ел, чавкая, как целая стая собак, говорил с набитым ртом, облизывал жирные пальцы и бесцеремонно игнорировал ее титул, обращаясь к ней «дитя мое». Гирон, великий магистр ордена Калатравы, которому тоже было уже за сорок, славился приступами дикого гнева, во время одного из которых, ходили слухи, убил свою жену. У обоих имелось множество детей, многие из которых были к тому же старше потенциальной мачехи.

После встречи с Гироном всегда сдержанная Изабелла рыдала так, что у верной Беатрисы де Сильва сердце кровью обливалось, и она пообещала своей любимице: «Ни Бог, ни я не дадим этому случиться». Ничего не ска-

зав Изабелле, она решилась на нечто совершенно не в своем характере — добыть нож с отравленным лезвием, чтоб уж наверняка, и, если никак иначе нельзя будет предотвратить этот брак, зарезать жениха во время свадьбы. Однако португальский король присылать рыцарей в поддержку Энрике не спешил, и тот, загнанный в политический угол, вынужден был пойти на компромисс с мятежными грандами. Он согласился выдать Изабеллу за Гирана.

Свадьба должна была состояться в Мадриде всего через сорок дней. Приготовления шли уже полным ходом. В лесу Эль-Пардо постоянно звучали выстрелы — егера добывали оленей и кабанов к королевскому свадебному столу.

Жених выехал из Альмарго в Мадрид, сопровождаемый тремя тысячами рыцарей своего ордена. Все вроде бы шло неплохо. До Мадрида оставались сутки пути, и в полдень кавалькада остановилась в небольшой крепости Хаен — подкрепиться. Когда заскрипели цепи опускаемого деревянного моста, небо потемнело от огромного количества аистов. Они летели в направлении Мадрида. Рыцари задирали головы и спрашивали у случившихся рядом местных жителей о природе такого странного феномена.

Местные суеверно крестились и говорили, что за весь век ничего подобного не упомянут, а иные еще и бормотали: «Быть беде».

Обед, однако, оказался более чем приличным. И той же ночью Гиран почувствовал боль в горле. Началась лихорадка. К невесте он так и не доехал. Не судьба. Его убил неожиданный абсцесс горла. Умирал он мучительно, трясясь в лихорадке, и все кричал: «Боже, дай мне еще хоть три дня! Не убивай меня сейчас, пока я еще не достиг могущества и власти!» Но Бог его не слушал. Он слушал Изабеллу.

После таинственной смерти Гирона Изабеллу суеверно оставили в покое на целых два года, и они с братом опять вернулись в крепость Аревало. Здесь по мавританским галереям дворца по-прежнему медленно бродила, разговаривая с собой, мать. Она так их и не узнала. Брат и сестра стали, по сути, пленниками, заложниками своего высокого происхождения, пешками в кровавой «партии», разыгрывавшейся на кастильских нагорьях. Их сразу окружили шпионами, обо всех их передвижениях сразу узнавали и Энрике, и бароны.

По Кастилье по-прежнему катилась гражданская война. Верх одерживали то Энрике, то гранды. Епископ Каррильо, герцог де Медина-Сидония, кардинал Мендоса, кабальеро Гарсилассо де ла Вега привлекли под знамя будущего короля Альфонсо огромные силы. Они шли ва-банк, в случае поражения полетели бы их головы. Правда, в последнее время становилось все более очевидным, что «кастильский канат» перетянут в итоге именно они. И все же ситуация снова изменилась: короля Энрике неожиданно поддержал могущественный город Толедо, и силы опять уравнились.

\* \* \*

Альфонсо и Изабелла заканчивали ужин в огромной пустой трапезной крепости Аревало. Изабелла сидела спиной к окнам, Альфонсо — напротив. Обычно они ужинали с Беатрисой, но ей сегодня нездоровилось. Слуг брат и сестра отпустили и продолжали сидеть в огромном каменном зале, под нависшим, как своды пещеры, потолком.

Все так же, как и много лет назад, шумела река. Узкие проемы незастекленных окон наполнились темнотой, но

факелов на стенах не зажигали. На краю массивного дубового стола, за которым во времена отца, короля Хуана, могло усесться больше ста человек, горело только две свечи. Изабелле подумалось, что только две эти слабые свечи отделяют их от темноты и защищают от нее. И их огромные тени на стенах — это неправда, а правда в том, что они с братом слабы, малы и совершенно одни. И неизвестно, чем все это кончится, эта война...

Изабелла смотрела на брата и думала, что он становится все красивее и все больше походит на мать. Перед сном им предстояла обычная молитва в маленькой крепостной часовне. Но было душно, и спать совсем не хотелось.

За окнами вдруг обрушился ливень и заглушил даже шум реки под крепостью.

— Каррильо сказал мне, что жители Толедо поддержат меня как своего короля, если я благословлю их во время Святой недели на погромы евреев-converso. Он убеждал меня это сделать.

Она промолчала.

— Я отказался. Это — кровь.

Она знала о его отказе.

— Мой милый Альфонсо, ты намерен стать королем без крови? — Она грустно улыбнулась. — Посмотри, что творится вокруг.

— Кровь может литься на поле битвы. Это я понимаю. Но то, что собирались делать жители Толедо... Вытаскивать за волосы людей из их домов, чтобы толпа разрывала их на части... — Он опять погрузился в свои мысли. Потом усмехнулся: — Тебе хорошо! Тебе никогда не нужно будет брать на совесть такие решения.

Она словно не услышала его.

— А в результате Толедо отказался поддержать тебя и стал на сторону Энрике, — сказала она безнадежно. — А евреев все равно убивали целых три дня, и кое-кто из

тех, что уцелели, появился потом здесь, в Аревало. Я слышала, как их выгоняли из города крестьяне.

— Да. Вилами. Я слышал об этом. На следующее утро какого-то старого иудея нашли утром на месете<sup>1</sup>, полу-съеденного волками. Почему это на Пасху всегда погромы?

— Но ты же знаешь, почему, Альфонсо! Христиане мстят на Пасху иудеям за убийство Христа.

— Но распятие Спасителя было предопределено, Он ведь был послан на крест для искупления людских грехов, Его не могла миновать чаша сия. Иудеи тогда лишь исполнили то, что уже было предопределено Творцом. Разве не так? Да и можно ли казнить за это иудеев, родившихся тысячу лет спустя здесь, в Кастилье?

— Многие кастильцы неграмотны и не думают о столь сложных вещах.

— Христиане не могут вести себя варварски, словно мавры. Когда я стану королем Кастильи, я запрещу погромы иудеев. Пасха — праздник Воскресения, а убийства...

— Как ты думаешь, мать когда-нибудь все-таки нас узнает? — неожиданно спросила Изабелла.

Альфонсо пожал плечами:

— Я не помню ее другой. Какой она была... раньше, до безумия?

— Она была очень красивой.

— Сейчас мне страшно от ее взгляда. В нем — пустота. Ты была у нее вчера?

— Я прихожу к ней каждый день, читаю Библию. Иногда она гонит меня, принимает за служанку и говорит, что я мешаю ее очень важному разговору. Она не узнает меня, но привыкла ко мне. Я приношу ей ее любимые апельсины.

---

<sup>1</sup> Испанское плато.



— Обычно матерей теряют с их смертью, а мы — потеряли живую...

— Ты чувствуешь, как жарко сегодня было целый день? — спросила Изабелла. — Даже сейчас, когда пошел дождь, душно все равно. Но, если и завтра утром будет дождь, давай все равно поскачем в монастырь Святой Анны, как условились? Я закончила вышивать покров для алтаря, хочу сама отвезти его сестрам.

Альфонсо не успел ответить: порыв ветра задул свечи. И тут же дождь за окном полил еще сильнее и зарокотал гром.

Брат и сестра оказались в полной темноте. И прежде, чем они успели что-то понять, в окне вспыхнула молния, и зал осветился ослепительным белым светом. И Изабелла вскрикнула от неожиданности: позади Альфонсо стояла их мать. Она была бледна, волосы растрепаны. Но в глазах не было безумия — только тревога.

И из вновь упавшей на них темноты мать сказала — мягко, совершенно нормальным, спокойным голосом:

— Мальчик мой, на тебе тоже его кровь... Скоро жатва... Милый мой мальчик!

На крик Изабеллы уже бежали слуги.

**Б**рат и сестра оставались у монахинь три дня. Их с детства знала пожилая настоятельница мать Франциска. Эту женщину, давшую обет безбрачия, отличал особый дар любви к детям. Изабелла обожала мать Франциску, и с нее началась ее любовь к Богу.

На монастырском дворе Изабелла увидела трех играющих темноволосых девочек. Они убежали при виде чужих, но наблюдали издали за Изабеллой и Альфонсо лукавыми взглядами. Вот только у одной на глазу была повязка.

— Это иудейские дети, из Толедо,— пояснила мать Франциска.— Нам пришлось их лечить. У старшей нога срослась, только глаз Ребекки спасти не удалось. И вот уже месяц они не будят нас криками по ночам. Мы учим их Евангелию, готовим ко крещению. Очень способные...

А на обратном пути в Ареvalo их ждало неожиданное и страшное.

Сначала они увидели коня под седлом, но без седока. Потом — рыцаря, лежавшего в пыли на дороге. На рыцаре был плащ крестоносца и латы — старые, со многими вмятинами. Лицо — скрыто забралом.

Слуги выхватили мечи, а Альфонсо сразу же соскочил со своего «араба» — он хотел помочь крестоносцу, который, возможно, возвращался из самого Иерусалима. Изабелла только крикнула брату, чтобы был осторожен.

Тревожно заржал конь Альфонсо.

Забрало со скрипом откинулось, а уже мгновение спустя все они в ужасе пришпоривали коней, гоня их в Ареvalo так быстро, как только могли. Нужно было оповестить всех о смертельной опасности и немедленно закрыть ворота города. Лицо рыцаря было покрыто наполненными гноем нарывами. Чума...

Предосторожности не помогли. Чума начала свою жатву и в Ареvalo. Люди не могли найти объяснения кошмару происходящего, и это было так же страшно, как ежедневная потеря самых родных, любимых и близких.

И тут по обезумевшему от ужаса городу пронесся слух, что причиной всему — колдовство евреев. Это они хотят извести всех христиан! И кто-то сказал, что в монастыре святой Анны укрылись иудейские колдуньи. И в тот же день толпа подступила к монастырю.

Напрасно пытались монахини образумить разъяренную толпу, размахивавшую вилами, палками, притащив-

шую мешки с камнями. Ворота обители высадили и ворвались во двор.

Мать Франциска стояла как неприступная крепость — высоко подняв голову, прижимая к себе девочек, а те только мелко дрожали, уткнувшись в ее одежды. Но не плакали.

— Вы знаете меня, жители Аревало! — возгласила мать Франциска. — Эти дети — христиане, как и вы. Они вчера приняли таинство крещения...

— Иудейские ведьмы, напустившие чуму, обратились в детей! — раздался женский визгливый крик.

— И мать Франциска, и она, и она — в плену колдовства иудейского! — подхватил другой, мужской голос.

Булыжник ударил настоятельницу в лицо, и она упала навзничь, как падает в лесу старое дерево, и вместе с нею упали ухватившиеся за нее девочки.

И долго еще летели тяжелые серые камни с полей касильской месеты, и с мягким чавканьем падали в страшное кровавое месиво, возникшее на месте детей и неприметно прожившей свою жизнь матери-настоятельницы Франциски...

**Ч**ума, однако, не ослабевала. Алькальд крепости и добровольные отряды горожан сбивались с ног. Они старались, как обычно в таких случаях, перекрыть все входы и выходы города.

И только раз было сделано исключение: в зараженный Аревало спешно прибыл епископ Каррильо с отрядом в триста копий. И в тот же день Альфонсо и Изабелла бешеным аллюром уже скакали в Авилу, куда еще не добралась чума. В возке везли и их мать. За шесть миль до Авилы они остановились в маленькой крепости Гарденоза, и здесь их с почестями приняли местные гранды.

За ужином брат наклонился к сестре:

— Никогда я не ел такой великолепной жареной форели...

На следующее утро слуга никак не мог его разбудить. Принц спал лицом вниз. Когда обеспокоенный камердинер осмелился перевернуть его на спину, он увидел, что будущий король — мертв. Подросток выглядел просто спящим, но, когда его стали поднимать, нижняя челюсть его отвисла, и тогда все увидели, что язык его — совершенно черен, как будто во рту принца свернулась змея. Это не было похоже на чуму. Но ни один из докторов не смог понять, от чего умер Альфонсо<sup>1</sup>.

Ужас охватил мятежных грандов Кастильи. Их дело выглядело теперь окончательно проигранным. С их стороны не оставалось уже более-менее законных претендентов на престол. Кроме...

Тело Альфонсо местные идальго отнесли в монастырь Святого Франциска. А сам Каррильо пошел в крошечную часовню крепости, где вот уже целый день стояла на коленях Изабелла. Глаза ее заплыли, лицо опухло от слез и выглядело уродливым.

— Моя принцесса...— Каррильо склонился перед ней в глубоком поклоне.— Судьба Кастильи зависит теперь от вас...

Он обращался к своей юной воспитаннице с почтением, с каким к ней никто и никогда до этого не обращался. И ей сейчас впервые стало ясно, как резко с этого момента все меняется в ее жизни. И она вдруг почувствовала — как тогда, на конюшне, сброшенная Эль Чико,— что больше не боится, что в ней поднимается решимость и

---

<sup>1</sup> Одни полагают, что, скорее всего, это была все-таки форма чумы с нехарактерными симптомами, другие — что это мог быть и яд.

злость, которая всегда делала ее сильнее. И что она готова идти до конца, потому что та жизнь, которой она живет сейчас...

Она поднялась с колен — вся как натянутая тетива.

— Каррильо, мне немедленно нужен жених. Королевской крови. Но не иностранец. Кастилью я Энрике не оставлю.

Епископ склонился в глубоком поклоне. Он и сам давно подумывал об этом — о подходящем женихе для Изабеллы, и у него был план, но, зная своеволие воспитанницы, он не решался предложить его сразу и ожидал подходящего момента.

— Такой жених есть, ваше высочество. Принц Арагона. Его отец, король Арагона, поддерживает наше дело. Я показывал вашему высочеству на карте Арагон. Но есть одно затруднение...

— Я знаю, где Арагон. Какое затруднение?

— Он — тоже из рода Траста́мара и в кровном родстве с вашим высочеством. Ваши деды были братьями.

— Это единственный подходящий принц королевской крови?

Каррильо кивнул.

— И ничего нельзя поделать? Ведь родственные браки как-то все равно заключаются. Например...

— Простите, ваше высочество, что перебиваю... Вы правы, это возможно... Необходима специальная булла от его святейшества папы — разрешение на брак. Однако получение такого разрешения потребует долгого времени, а времени у нас как раз сейчас почти нет. И остается все меньше. Если про наши планы прознает Энрике, он не будет сидеть сложа руки. Вам будет грозить обвинение в измене короне, мятеже против воли короля, и ваше высочество может навсегда оказаться монастыре.— Каррильо на мгновение представил себе, где в этом случае

может оказаться он сам, но тут же отогнал эти ужасные мысли.

— Но ведь Энрике пред Богом и народом Кастильи уже объявил меня принцессой Астурийской, наследницей престола, разве можно это изменить?

Каррильо усмехнулся про себя ее наивности:

— Как известно вашему высочеству, это наше неповиновение вынудило короля подписать тот указ. Но теперь он нашел сторонника в лице португальского короля и указ разорвал. Вы — уже не принцесса Астурийская и не являетесь официально наследницей престола. Хотя можно...

— Можно что?

— Можно начать войну! — Епископ вдруг воодушевился. — Взять крепости короля, уничтожить под вашим знаменем его сторонников, заставить Энрике отречься, заточить в монастырь его жену и его дочь. И тогда и Церковь, и кастильские гранды — мы все преклоним колени перед вами, королевой Кастильи...

Изабелла испугалась: если гранды с такой легкостью говорят об уничтожении законного короля, они могут ополчиться и против нее, не угоди она им на престоле... Дай им волю — почувствуют вкус, и их будет не остановить.

Она пристально посмотрела на епископа:

— И тогда страна на годы утонет в крови братоубийственной войны. Мне не нужны такой трон и такое знамя — знамя, с которого будет капать кровь кастильцев. К тому же Энрике — законный король Кастильи. Законный, какое бы зло он мне ни чинил.

Каррильо начинал терять терпение с этой девчонкой!

— Как вам угодно. Однако при той позиции, которую заняли вы, поддерживая нас, по сути мятежников, и не предпринимая решительных действий, — монастырь, я боюсь, становится весьма реальной перспективой.

— Да, но, имея защиту мужа, я была бы избавлена от своеволия брата. Чем грозит брак без разрешения папы?

— Брак между родственниками по крови без разрешения папы недействителен, греховен, равен худшему блудодействию и неизбежно ведет за гробом к геенне огненной.

Изабелла задумалась. И с замиранием сердца задала следующий вопрос:

— Каррильо, сколько лет принцу Арагона?

— Он на год младше вашего высочества... Я слышал также, что принц — доблестный рыцарь, он отличается приятной наружностью и добрым нравом...— Кардиналу были известны слухи о бивуачных любовницах и бастардах не по годам развитого мальчишки, но об этом Изабелле знать совершенно не стоило.

— Тогда... Каррильо, прошу тебя, немедленно отправляйся в Арагон и посылай за разрешением в Рим.

Старый епископ улыбнулся:

— Король Арагона так заинтересован в союзе с Кастильей, что уже попросил у короля вашей руки. Насколько я знаю, Энрике решительно отказал. У него свои планы для вашего высочества. И, к сожалению, они опять связаны с королем Португалии...

Изабеллу охватила холодная ярость.

— Немедленно отправляйся в Арагон и скажи, что Изабелла согласна на брак с принцем Фердинандом. Ведь так его имя?..

Каррильо посмотрел на нее в изумлении:

— Да, Фердинанд... Ваше высочество, решение столь важно и столь поспешно, что...

Каррильо понял, что теперь начинается настоящая игра с огнем: если Энрике прознает об этих тайных планах, Изабелле явно не миновать монастыря, а ему — плахи, которой он до сих пор умел избежать благодаря

силе армий, поддерживающих его мятежных баронов. Чего еще не знал Каррильо, так это того, что король Арагона уже и сам посылал в Рим за папским разрешением на брак для своего сына с Изабеллой, однако получил отказ: папа Пий II симпатизировал королю Энрике. Значит, о таком необходимом браке Изабелле нечего было и мечтать.

Эпидемия чумы прекратилась так же неожиданно, как и началась. Мать опять вернули к монахиням в Аревало. И король Энрике потребовал от Изабеллы немедленно явиться к нему.

«Упрямца сама лишает себя выхода! Если бы она только решилась пойти войной на Энрике!» — думал Каррильо.

— Я повинуюсь королю и возвращаюсь ко двору, — сказала ему Изабелла. — И надеюсь только на тебя. — Она нежно обняла его. — Каррильо, прошу: поезжай в Рим, убеди понтифика, сделай все, что возможно, для получения буллы. Моя судьба — в твоих руках.

Епископ склонил голову.

Лишние уговоры ему не требовались.

### **«Греховная свадьба»**

При дворе Энрике Изабелла стала практически пленницей: брат и невестка окружили ее шпионами и наушниками-фрейлинами, которые доносили им о каждом ее шаге. Теперь Энрике вел переговоры о ее браке с одним из португальских дворян, чтобы уж навсегда прекратить разговоры о ее правах на трон.



А его жена, непутевая Хуана, считала, что даже и такой вариант — слишком опасен. Монастырь и постриг — вот самое надежное. Ведь только тогда, потеряв вслед за Альфонсо и Изабеллу, успокоятся мятежные гранды. Слушая жену, Энрике все больше склонялся к мысли, что Изабелла навсегда останется грозной соперницей его дочери, и Хуана ежедневно вдальбивала ему мысль о монастыре.

Дни шли, и Изабелле становилось все страшнее. Неужели Каррильо забыл о ее мольбе? Что происходит? Почему все ее оставили? И чего ей ждать? Что-то заставляло Энрике медлить с монастырем, и наконец в корзинке с хлебом она получила долгожданное известие!

Теперь надо было действовать.

Изабелла бросилась в ноги Энрике с мольбой отпустить ее поклониться могиле брата Альфонсо в Авиле и повидать мать в Аревало. Изабелла умоляла, говорила, что постоянно видит мертвого брата во сне с самого июля, когда Энрике не отпустил ее на годовщину его смерти, а сейчас на дворе уже октябрь! И Энрике сдался. Нехотя, уже предвидя, какой скандал затянет ему за это его Хуана. Отказать сестре он тоже не мог.

Но Изабелла направилась не в Авилу, а прямо в мятежный Вальядолид. Там все уже было приготовлено к тайной свадьбе — не подвел Каррильо! — и ей впервые предстояло увидеть будущего мужа.

**К** Вальядолиду тем временем стремились по октябрьским дорогам несколько кавалькад.

Одна — Каррильо. Другая — дяди принца Фердинанда, Алонсо Энрикеса, с драгоценной шкатулкой. В ней было, во-первых, огромной ценности кольцо с рубинами и жемчугом — свадебный подарок для Изабеллы, передан-

ный королем Арагона, а во-вторых, еще бóльшая драгоценность — подписанная папой Пием II булла о разрешении на брак между родственниками по крови Изабеллой и Фердинандом! Эту кавалькаду сопровождали пять сотен каталонских копий — личное войско Алонсо.

Но была еще и третья кавалькада — совершенно неприметная. Да и не кавалькада даже, а так, караван мулов, с которым шли запыленные купчишки в невзрачных шерстяных плащах.

Их остановили на границе Кастильи люди короля Энрике, но пропустили торговцев дальше, куда они и направлялись — на осеннюю овечью ярмарку в Вальядолид. Однако «копья» Энрике не заметили одной интересной особенности — между большим и указательным пальцами правой руки у каждого из купчишек были характерные мозоли, какие бывают только от многолетнего знакомства с рукояткой меча.

12 октября 1469 года, в полночь, Изабелла, дрожа от перевозбуждения и бессонной ночи накануне, сидела в огромном зале замка Виверо и смотрела на проем двери, в который мог в любую минуту войти Фердинанд. На Изабелле было простое дорожное платье — ей пришлось оставить свои лучшие наряды, чтобы у шпионов Энрике не возникло подозрений. Однако пламя многочисленных факелов на стенах изломанно отражалось в темно-красных рубинах на ее слепящей белизной коже.

Изабелла дотрагивалась до камней на груди, и ей казалось, что они дают ей силу. Может, с этого дня и началась ее любовь к драгоценностям. Это же пламя, хоть и более приглушенно, отражалось на латах стоявших позади нее грандов — герцога де Медины-Сидонии, графов Тендилло и де Толедо. И даже архиепископ Мендоса был сейчас здесь в своей пурпурной мантии, был и ее новый духовник Талавера — в неизменной грубой коричневой рясе фран-

цисканца. Все они сейчас были мятежниками. Если план не удастся, всех их ждет плаха.

Стоявший рядом с ней Каррильо вполголоса сказал, что Фердинанд — принц вассального королевства, а для вассала существует определенный этикет, и, когда он войдет, ему следует... Она не слушала. Она смотрела на темный дверной проем. Наконец она услышала близкий топот копыт, голоса и приближающийся звон шпор о каменные плиты пола...

13 октября король Энрике узнал о «предательстве» Изабеллы и ее обмане. 14 октября его жена королева Хуана, опустошив до этого несколько бокалов крепкого молодого вина, визжала ему в лицо, что он не только импотент, но и идиот — не говорила ли она ему, что нельзя доверять этой змее, притворяющейся праведницей и овечкой?! Она кричала, чтобы он немедленно выслал в Вальядолид тысячу копий, чтобы наказать мятежников и привести подлую сучку обратно в Сеговию. В цепях!

Энрике не обращал на ее визг никакого внимания.

Возможно, еще накануне он и хотел послать войско в Вальядолид. Но теперь — не спешил. Дело в том, что еще вечером 13-го у него произошла очень интересная беседа с папским нунцием Антонио Виверисом, только что прибывшим из Рима. Сластолюбивый Виверис пришел в восторг от гостеприимства при дворе Энрике — от танцев большеглазых мальчиков, от молодого вина, от вызывавших желания сладковатых курений. И, наклонившись к Энрике, пьяно прошептал о страшной тайне: о том, что булла папы Пия с разрешением на брак Фердинанда и Изабеллы — подделка, устроенная отцом Фердинанда, королем Арагонским, за большую мзду. И что автор подделки — он сам, нунций Антонио Виверис.

Сказал это и тут же испугался — что проговорился спьяну и под влиянием сладких курений. Но у Энрике по-

явился интересный план. Послать войско — не поздно никогда. Пусть птенчики погуляют пока на своей незаконной свадьбе. А нунций завтра же, как протрезвеет, отправится в Вальядолид. В качестве легата папы Пия II он должен будет лично зачитать буллу во время церемонии, чтобы ни у кого — никаких подозрений. А потом... А потом! Король Энрике даже засмеялся: это был отличный план!

**И**забелле повезло: Фердинанд оказался прекрасным любовником, то есть думал не только о своем удовольствии. Сначала показал ей, что такое настоящий экстаз, и только потом избавил ее от девства. Недаром прошли уроки любви, преподанные мальчишке на бивуаках всеми этими грудастыми *baguanas*<sup>1</sup>.

И, впервые увидев эту девушку в зале замка Виверо — хоть и на год старше его, но с явно нецелованными губами и дрожащими тонкими пальчиками, он решил, что, несмотря на разницу в значимости их королевств, королем в их браке будет он. Вот чего он совсем не ожидал, так это того, что нецелованная бледная девственница окажется такой потрясающе способной ученицей, и после первых же уроков уже и ему будет чему поучиться. Да, в любви — познанию нет предела. Ее самозабвенность в постели, ее одержимость — словно она готова не колеблясь принять смерть теперь же, ее страсть — словно сейчас и есть та самая, последняя ночь... Все это оставляло далеко позади по-крестьянски будничных в любви бивуачных подруг.

**Ч**ез неделю Каррильо получил от Энрике письмо, в котором король выражал искреннюю надежду, что ново-

---

<sup>1</sup> Здесь — наложницы (*исп.*).

брачные будут теперь гореть в аду. И без обиняков объяснял, почему. Епископ не решался показать Изабелле или Фердинанду послание Энрике, пока не пришло еще одно послание из Рима — Фердинанду, от самого папы. Ужас обуял Фердинанда при одной мысли о неизбежных теперь муках ада. Их брак был — недействителен! Да что там «недействителен»! Он греховен в самой последней и тяжелой степени! За этим вполне могло последовать отлучение от Церкви.

Каррильо стоял с письмом папы в руке и смотрел, как Фердинанд крушит все, что попадалось под руку в покоях замка Виверо, где они проводили с Изабеллой медовый месяц. Как же можно было так опозорить не только его, но и эту чистую, почти святую девушку! Она ежедневно ходит на исповеди и мессы, а в воскресенье — дважды! Да она наложит на себя руки от одной мысли об адском пламени! И она — бросит его! Уйдет в монастырь замаливать их общий грех, и он никогда больше ее не увидит! А как все начиналось! И теперь — всему конец!

Каррильо не мешал буйству семнадцатилетнего принца и только молил Бога, чтобы мальчик скорее понял, что грех грехом, а политика — политикой. И средства, которые приходится порой использовать, как бы это сказать помягче... И еще молил старый епископ, чтобы не обнаружилось его собственное участие в этом деле.

Епископ сам объявил ужасную новость Изабелле. Она взяла письмо папы, увидела в нем все главные слова — «consanguineus», «inritum», «incestus»<sup>1</sup> — отдала обратно. Смертельно побледнела. И попросила позвать Фердинанда. Каррильо тактично вышел, оставив письмо на столе.

---

<sup>1</sup> «Близкородственный», «недействительный», «кровосмешительный» (лат.).

Принц с испугом смотрел на жену — смертельно бледную, растерянную, уничтоженную.

И вдруг на его глазах в ней стала происходить перемена. Губы сжались, взгляд стал темнее, строже.

Она подошла к нему. Совсем близко. И неожиданно нежно и страстно коснулась губами его губ. Юный муж был ошеломлен. Он ожидал истерики, слез, а она... улыбнулась.

— Нас соединил Тот, кто выше папы, — сказала его молодая жена с непреклонной решительностью, какой он в ней и не подозревал. И тогда Фердинанд понял: сильнее — она.

Так они и жили в грехе и в грехе родили дочь Исабель. Только тогда, когда папой стал Сикст VI, дело Фердинанда и Изабеллы было рассмотрено вновь. И булла, делавшая их брак законным, наконец издана.

После свадьбы они месяцами жили то у Каррильо, то в других замках кастильских мятежных дворян. И, что было унижительнее всего, — за чужой счет. У них совершенно не было никаких доходов. Энрике не давал Изабелле получать подати с городов, оставленных ей в наследство отцом. Так продолжалось до 1474 года, когда Провидение вмешалось опять. Снова оно было явно на стороне Изабеллы.

После охоты в лесу под Мадридом Энрике почувствовал себя плохо и скоропостижно скончался, не успев даже ничего понять. Утром 13 декабря 1474 года его похоронили, а после полудня уже сняли траур и короновали в Севилье нового монарха — Изабеллу, королеву Кастильи и Леона. Перед коронацией королева долго исповедовалась своему новому духовнику, приору Севильи Томасу Торквемаде.



Аутодафе — сожжение книг инквизицией.  
С испанской картины XV века

## Севилья. Ключ

Невысокие, с круглыми кронами апельсиновые деревья в зимней Севилье были усыпаны плодами. Их посадили еще мавры, и деревья росли везде. Даже в еврейском квартале — хударии<sup>1</sup>, что, словно ища защиты, прилепился к красной зубчатой цитадели Альказар.

Плоды срывались с веток, падали на булыжную мостовую и разбивались. На улицах стояли лужи ароматного сока.

Небольшая кавалькада из пяти всадников выехала из высоких деревянных ворот Альказара и направилась прямо к колокольне Ла Гиралда. Выгибали крутые шеи и фыркали нервными ноздрями «арабы», мерно цокал по камням площади уверенный, словно ему принадлежал мир, вороной першерон короля. Среди всадников — отлично сидящая в седле, богато убранная медноволосая женщина. Она выглядела прекрасно, хотя и была немного бледна: ее вдруг одурманил крепкий аромат апельсинов — раньше она его не замечала, а сейчас могла поклясться, что он в этот зимний вечер — совершенно особенный.

Подступила дурнота. Изабелла старалась держать себя в руках, и ее любимец, высокий серый «араб» Эль Чико, словно чувствуя состояние хозяйки, двигался особенно осторожно. Все, кроме королевы, были вооружены. Двое мужчин, знавших о новой беременности королевы, бросали на нее беспокойные взгляды. Один был король Фердинанд, другой — ее исповедник, Томас Торквемада. Супруги мечтали о наследнике, а его вот уже восемь лет все не было, одни дочери.

---

<sup>1</sup> *Juderia* — еврейское гетто (исп.).



Колокольня Ла Гиралда строилась когда-то маврами как минарет и, чтобы муэдзин мог быстрее добираться до ее верха, внутри вместо ступенек была устроена наклонная кирпичная дорога, достаточно широкая для всадника.

Поднявшись по ней, королева и ее спутники спешили на специальной площадке, оставили коней слугам и остановились на самом верху. Было прохладно и ветрено, но Изабелла почувствовала себя намного лучше — здесь не пахло апельсинами. Она подошла к перилам. Внизу лежала Севилья, один из самых любимых ее городов — один из первых, что присягнул на верность ей, юной тогда королеве. Зеленовато-коричневая лента Гвадалквивира, словно щедрой рукой рассыпанные пригоршни домов. Над городом поднимались дымы от очагов. Вид — чудесный, умиротворяющий. На минуту она даже забыла, зачем они здесь.

— Это как раз то, что я и желал показать вашим величествам, — раздался за спиной голос настоятеля доминиканского монастыря Алонсо де Охеды. — Вон там, позади Альказара — в основном живут *converso*. — Справа от Изабеллы взметнулся широкий коричневый рукав грубой шерстяной рясы, заканчивающийся грозно направленным вниз перстом.

Она видела. Она все прекрасно видела. И у нее сразу испортилось настроение. И пришла тревога, и заныло под сердцем — как всегда в минуты неясной, неосознанной опасности. Панорама Севильи более не казалась умиротворяющей.

— Теперь вы сами видите. Это — город еретиков и заговорщиков. Они только и ждут, чтобы вонзить нам в бок те длинные ножи, которыми они закалывают агнцев на свою бесовскую Пасху. Они лгут на исповеди! Они скорее пойдут за советом к раввину, чем к священнику! Они пойдут на свои иудейские праздники! И вот — смотри-

те! — еще одно подтверждение ереси: эти «христиане» соблюдают субботу!

Действительно, над хударией, где жило большинство севильских выкрестов, поднималось намного меньше дымов, чем над другими районами Севильи.

Словно ища помощи, Изабелла взглянула на кардинала Мендосу. Тот озабоченно молчал, и ветер шевелил его выбившиеся из-под кардинальской шапки редкие седые волосы.

Она оглянулась на сурового Торквемаду. Он пристально, испытующе смотрел на нее с непроницаемым выражением лица, и ей, как всегда, стало не по себе от его тяжелого, физически ощутимого взгляда. И она вспомнила о своем обещании ему — данном еще тогда, в промозглом холоде часовни в Сеговии, как раз перед коронацией — избавить Кастилью от ереси.

Вернувшись в свои покои в Альказаре, Изабелла и Фердинанд тут же вызвали к себе всех троих прелатов — кардинала Мендосу, настоятеля де Охеду и приора Торквемаду.

Слуги принесли цветные мавританские лампы: свечи гасли в арабских дворцах, специально построенных так, чтобы по залам всегда ходили освежающие ветерки. Из сада даже теперь, зимой, доносилось журчание воды, а кроме запаха апельсинов оттуда тянуло еще и ароматом лавра, и это усиливало ее тошноту. В небольшом мраморном очаге меж двух оконных арок горел огонь, бросая на резные своды таинственные блики.

Недалеко от очага, в углу зала стояли буквой «L» широкие деревянные скамьи с мавританскими подушками. Торквемада, прежде чем сесть, решительно сбросил свои подушки на пол. Изабелла улыбнулась, словно как раз

этого и ожидала, и сделала знак, чтобы их убрали. Слуги принесли низкие инкрустированные столики с фруктами, засахаренными орехами, вино, листья мяты в горячей воде и сосуд с ледяной водой — Торквемада не пил ничего, кроме ледяной воды, никогда не ел мясного, и даже папа Сикст VI знал, что спит приор на простых неоструганных досках, завернувшись в рясу, а под ней носит власяницу и регулярно бичует себя треххвостой плетью. Чего не знал папа Сикст, так это того, как силен искушающий Торквемаду бес и как тяжка, даже сейчас, на пятом десятке, борьба приора с собственной греховной плотью. Дьявол не торжествовал ни разу, но десять лет назад, когда доминиканец шел с мирянами-паломниками в Сантьяго-де-Компостела, дьявол следовал за ним весь путь, так что довел Торквемаду до яростных рыданий, и монах едва не поддался искушению оскопить себя, чтобы уж точно не дать восторжествовать врагу рода человеческого! Последней исповеди с королевой он не смог избежать, и во время ее дьявол явился ему даже в церкви, среди бела дня. Торквемада признался в этом брату Алонсо и просил его впредь исповедовать королеву вместо него.

За окнами стемнело. Томный свет, который отдавали цветные стекла мавританских ламп, мало подходил для разговора, который вели сейчас эти пятеро.

— Изабелла, святые отцы...— начал Фердинанд (он только что вернулся с поражением из Арагона, где так и не сумел отбить у французов захваченную ими провинцию Русильон).— Ересь иудействующих тревожит наши величества больше, чем это можно описать. И вот почему. Мы — на пороге войны с маврами. Но это будет не просто одна из многих войн, какие велись в прошлом. Это будет великий Крестовый поход, который положит конец восьми столетиям их варварского владычества на земле Иберии...

Изабелла взглянула на него с радостью. Наконец-то услышаны ее молитвы: муж, похоже, оставил эту несвоевременную идею освобождения от французов далекого пограничного Русильона и теперь направит силы на решение более насущной задачи — на мавров!

Фердинанд воодушевленно продолжал:

— Нас поддержит рыцарство Англии, Бургундии, нас поддержит швейцарское войско! Мы начнем с портов — Малаги, Алмерии. Мыотрежем мавров Иберии от всякой помощи их африканских собратьев. Мы осадим эмират Гранады. Не пройдет и пяти лет, как все нечестивые минареты превратятся в колокольни, подобно Ла Гиральде, и на них будут звонить христианские колокола во славу истинного Бога! — Фердинанд взглянул на жену. Он говорил это сейчас в основном ей — благодарный, что она ни словом, ни взглядом не упрекнула его за его глупое, унижительное поражение и за потери в Русильоне.

— Но,— подхватила, обращаясь с прелатам, Изабелла,— нас беспокоят ваши известия о распространяющейся ереси. На нашей стороне в этой борьбе должны быть все кастильские *converso*. Ведь они довольно многочисленны?

— Весьма многочисленны, ваше величество,— сказал отец Алонсо.— Особенно в Севилье. После того как местные христиане выразили в 1391 году справедливое возмущение иудейской ересью, многие из них приняли христианство.

— То «справедливое возмущение», судя по переписи населения и отчетам сборщиков податей, лишило Севилью более пяти тысяч горожан, большинство из которых были зарезаны прямо на улицах, а казну — ста пятнадцати тысяч мараведи, которые ежегодно платила севильская худария, что более чем вдвое превышало ежегодную подать остальной Севильи,— заметил Мендоса.

— Закроешь глаза — и словно слышишь не кардинала Мендосу, а казначея-*converso*. — медленно и веско проговорил Торквемада.

Изабелла взглянула на него. У Торквемады была крупная нижняя губа и очень тонкая — верхняя, чувственный подбородок и нос римского патриция. Доминиканец вдруг посмотрел ей прямо в глаза и не отводил взгляда дольше, чем требовал этикет. Она не выдержала этого взгляда и отчего-то смутилась.

— Позволю себе напомнить вашим величествам, что именно евреи худерии после взятия Севильи в 1248 году от Рождения Господа нашего Иисуса Христа вручили королю Фердинанду III ключи от цитадели Альказар. — Кардинал Мендоса нарочито проигнорировал реплику доминиканца.

— Обычное иудейское преследование собственной выгоды. Ведь после этого им были пожалованы три мечети, которые они превратили в синагоги, — по-прежнему спокойно произнес Торквемада.

Северянин, уроженец суровой Паленсии, что в самом сердце Кастильи, он чувствовал себя чужаком здесь, на этом безалаберном, шумном юге, в бывшем халифате Аль-Андалуз. Он огляделся вокруг: эта магометанская вязь бесконечно и бессмысленно повторяющегося орнамента, эти тонкие хрупкие колонны, эта нега, что привела создателей всего этого к закономерному концу. Только железная рыцарская перчатка и в ней клинок — только они могут спасти веру, очистить от скверны и сделать Кастилью великой и сильной.

— Это можно счесть и свидетельством их законопослушности... — предположил Фердинанд.

— К тому же многие из новообращенных несведущи ни в Новом Завете Господа нашего, ни в церковных обрядах. И это не их вина — никто не обучал их этому ни до,

ни после обращения в истинную веру. Вот они и живут по старым обычаям, потому что не знают других. В худариях нужно учредить христианские школы,— заметил кардинал Мендоса.

И король добавил:

— Не секрет, что нам верно служат *converso*, истинно исповедующие Христа. Всегда служили. Врач барселонец Лиама спас от слепоты моего отца, успешно сделав операцию на его глазах.

— А доктор Бадос — восприемник всех наших младенцев,— подхватила королева.— Он очень добрый и благочестивый человек. Я полностью доверяю ему.

— Припоминаю также,— снова вступил Фердинанд,— как мы с королевой, случалось, принимали решения, игнорируя советы казначея Сантангела. И это кончилось только тем... что теперь без совета Сантангела мы не принимаем ни одного серьезного финансового решения.— Король улыбнулся, но его поддержала смехом только Изабелла.— И это подтверждает, что среди *converso* есть и такие, что верят в Бога и верно служат короне,— заключил Фердинанд.

Торквемада недоверчиво и криво усмехнулся, и это выглядело несомненной дерзостью, но приор-доминиканец был не их тех, кто утруждает себя соблюдением этикета. И королева все простила ему за неподкупную искренность веры. Фердинанд же со все более нарастающей неприязнью смотрел теперь на тяжелые мешки под насмешливо-стальными глазами этого человека.

Неожиданно Торквемада вскочил и зашагал по залу — высокий, крепкий.

— Их вера!..— с неподдельной, из самого сердца идущей горечью воскликнул он.— Их «вера» обеспечивает им богатство и положение при дворе! Сказано: «Приближаются ко Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком;

сердце же их далеко отстоит от Меня».<sup>1</sup> В Кастилье, словно личинки в осином гнезде, вызревает гигантский иудейский заговор против короны, и об этом говорил сегодня отец де Охеда. Эти осы только и ждут первых теплых лучей, чтобы вылететь и всем роем напасть на беззащитное тело! Это — не преувеличение. Они размножаются гораздо быстрее христиан. И они берут все больше и больше власти над нами во всех городах Испании! — Его хорошо поставленный голос проповедника гулко отдавался под сводами зала. — День за днем, месяц за месяцем мы сами отдаем себя в их управление — отдаем наши деньги, здоровье наших детей, они проникают даже в наши монастыри! Они лукавы. Они покорно опускают глаза. И ждут. А потом, когда наступит подходящий момент, они все, одновременно обнаружат свою истинную сущность, восстанут и разрушат нас изнутри, когда мы будем ожидать этого меньше всего!

Внезапно обличительный тон Торквемады сменился и снова стал безнадежным, горьким и пронзительно искренним:

— И мы окажемся бессильны... Ваши величества сами сегодня видели доказательство их «веры»: когда они думают, что их никто не видит, отступники не зажигают огня и соблюдают субботу! И не будет потом никому спасения. И они будут сидеть в наших дворцах, как сейчас во дворцах мавров сидим мы, и будут глумиться над Господом нашим, как глумились предки их, распявшие Его. Но как могу я, недостойная горсть праха, добавить что-то к предупреждению самого Господа: «Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской!»

Тревога опять заняла под сердцем Изабеллы — там, где уже начал шевелиться ребенок. А Торквемада продолжал спокойно и проникновенно:

---

<sup>1</sup> Мф. 15:8.

— Ваши кастильские величества, вы делаете для христианства поистине великое дело, такого еще не видела эта земля. Мы стоим на пороге нового, чистого, праведного мира, где не будет места похоти, стяжательству, извращениям, ереси, лжи, на пороге мира, о котором Господь говорил как о Царстве Небесном. Но как же возможен этот новый мир Божий на той земле, где грязными лужами стоит скверна прошлых веков, где среди нас живут еще чернокнижники и фарисеи, готовящие ножи, чтобы воткнуть их в доверчивую спину Кастильи? — Он опять сделал паузу, явно удовлетворенный приведенным эффектом. — Только Кастилья, сильная единой верой и неподкупными нескгибаемыми пастырями, может сразить мавров и победить ересь...

Торквемада свято верил в то, что сейчас говорил. Он посмотрел на королеву. На этот раз она не отвела взгляда, искренность и убежденность приора убеждали ее абсолютно. Он и сам казался ей сейчас человеком из того нового, чистого мира, свободного от грехов прошлого, мира, создать который так хотелось в Кастилье и ей. Сейчас она видела, что ему известен путь туда.

— И какой же отец Торквемада предлагает выход? — спросил Фердинанд. Чуть насмешливо, стараясь скрыть беспокойство.

— «И спрашивал Его народ: что же нам делать? — поднял глаза вверх Торквемада, словно говоря сам с собой. Потом опустил голову, помолчал. И тихо продолжил: — Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и... — Он сделал многозначительную паузу, в которой хорошо слышалось потрескивание дров в очаге — ...бросают в огонь». <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Лк. 3:9.



И приор подал королю и королеве обстоятельный многостраничный меморандум.

Через месяц после этого разговора королеву осматривал доктор Бадос. Он прикладывал к ее быстро увеличивавшемуся животу трубку, закрывал глаза и слушал, как пульсировала в ней новая жизнь. Она с трепетом следила за его выражением лица.

— Ваше величество, я, конечно, могу ошибаться, как могут ошибаться и старые врачебные книги из Кордовы... Но, если верить им... и моему опыту, на этот раз у вашего величества будет наследник.

Королева села на кровати, притянула Бадоса за шею и от переполнившего ее счастья звонко чмокнула в щеку. Старый врач ошеломленно дотронулся до своей щеки. Он будет единственным мужчиной, кроме Фердинанда, которого целовала королева.

Вскоре после того разговора в Альказаре папа римский, по прошению Изабеллы и Фердинанда, издал буллу, учреждающую в Испании Святую Инквизицию. Де-юре.

Но король с королевой по какой-то — до сих пор многим непонятной — причине медлили с организацией Инквизиции де-факто — к вящему раздражению приора Торквемады, рвавшегося на борьбу с еретиками и вероотступниками.

**В** июне 1478 года у королевы Изабеллы Кастильской и короля Фердинанда Арагонского родился долгожданный мальчик, которого назвали Хуаном — в честь покойного отца королевы. Роды были легкими, мальчик родился здоровым. Таких торжеств, какие устроили в городе по случаю крестин наследника, Севилья не видела никогда!

Вот только потом произошло нечто, омрачившее радость и сильно испугавшее андалусийцев: через двадцать

дней после торжественных месс, процессий, музыки и танцев до утра, грандиозной корриды, рыцарских турниров и гонок гребцов на Гвадалквивире, как раз на день святой Марты, над полуденной Севильей внезапно померкло небо. Вместо солнца над городом встал черный диск. Темнота становилась все сильнее, и наконец... показались звезды. Народ бросился в церквям, а те, кому не хватало места в церквях, с молитвами падали на колени прямо на улицах.

Паника охватила и мавританский, и еврейский кварталы — там тоже распростертые люди молили о милости Бога. Через некоторое время солнце вернулось, но свет его, как пишут очевидцы, «был странным, слабым, словно обессиленным».

На следующий день после затмения король и королева — под звуки фанфар, с сияющими счастливыми лицами, в сопровождении роскошного кортежа придворных и священников — проехали по улицам Севильи с младенцем, чтобы успокоить панику и развеять суеверия. Это и впрямь успокоило людей.



Молящаяся королева Изабелла. Со старинной гравюры

Через два года в Севилью прибыли наконец первые инквизиторы. Инквизиция была в Испании и раньше, но новая система имела больше независимости от Ватикана, обещала быть гораздо лучше организованной, разветвленной, всеобъемлющей, эффективной и справедливой.

\* \* \*

**В**округенную высокой стеной севильскую худерию войти можно

было через Puerta de la Borceguinera (Ворота Сапожников) или Puerta de la Carne (Мясные Ворота) — темные, выложенные камнем проходы в высокой стене, и только днем. На ночь ворота закрывали. Во время последнего большого погрома, в 1391 году, толпа ворвалась одновременно и в те и в другие ворота, так что спастись удалось только тем, кто или имел достаточно глубокие, хорошо скрытые подвалы, или смог вскарабкаться по высоченной стене, но таких оказалось немного.

Теперь от прежней хударии осталась только половина. О прошлых погромах никогда особо не вспоминали, это было здесь неписанным законом — чтобы опять не накликал, но и не забывали.

Начался декабрь 1482 года. Зима в тот год выдалась необычно теплой даже для Севильи. В хударии, как всегда, стоял шум и гам — орали торговцы, ревели ослы, носились полуголые дети, воняло подгоревшим оливковым маслом и ослиной мочой. В портшезах несли богатых ростовщиков и чиновников — иудеям запрещалось ездить верхом. Здесь жили и иудеи, и многочисленные выкресты — *converso*.

В доме казначея-выкреста Родриго Менареса (в прошлом Соломона Эфрати), служившего у гранда Медины-Сидонии, со вчерашнего вечера царил невообразимый переполох — хлопали двери, падала посуда, раздавались громкие стенания. Накануне сын казначея, единственный сын Антонио (в прошлом Натан), мастер на севильской верфи, объявил семье, что желает жениться на дочке небогатого мозля<sup>1</sup> Абрахама Симонеса, и что никакой другой невесты не хочет, а если этой нельзя, то он наложит на себя руки.

Нет, юного Антонио можно было понять: Авива, дочь мозля, была красавицей. Но у казначея имелись для сына,

---

<sup>1</sup> Служитель синагоги, исполняющий обряд обрезания.

парня высокого и синеглазого, совсем другие планы. Родриго почти сговорился с Эрнандо, мажордомом Медины-Сидонии, на предмет помолвки Антонио и дочери Эрнандо, Хуаниты. У сына появился редкий шанс жениться на дочке почтенного *viejo cristiano*. Ну, Хуанита, конечно, вдова, и не так чтоб очень уж миловидна, зато дети их будут пусть и не самой чистой крови, но все же христианами от рождения. То, что Эрнандо согласился с ним породниться, было для Соломона-Родриго неслыханной удачей.

«Родиться евреем, Соломон, это, конечно, большое несчастье. Может быть, даже самое большое несчастье. Поэтому христианство — лучшее наследство, которое может оставить детям умный еврей», — сказал однажды, лет пять назад, своему казначею гранд Медина-Сидония.

Из всех казначеев, которые служили ему раньше, Соломон Эфрати оказался самым толковым и преданным. Терять его аристократу, у которого с приходом Соломона наполнилось мараведи и дублонами столько дополнительных сундуков, совершенно не хотелось. И Соломон склонился тогда перед господином и благодетелем в глубоком поклоне, ибо прекрасно понимал, насколько тот прав. И вскоре всей семьей крестились они в церкви Санта-Мария ла Бланка, и сам господин и благодетель согласился быть его крестным отцом.

И священник читал торжественно на латыни, и брызгал святой водой, и на распятии у Христа трогательно выпирали ребра, и новокрещеный Родриго смотрел во все глаза на непривычное церковное убранство, на все эти лики, не слишком умело пока крестился и печально поглядывал вверх, не то молясь новому Богу, не то извиняясь перед «старым». Но потом он взгляделся в тонкие скорбные черты распятого на кресте человека и вспомнил рассказ о том, что произошло с ним тогда, в Иудее. И те-

перь, в этой церкви, Родриго от всей своей души пожалел того несчастного еврея, на долю которого выпало столько гонений и бедствий, и эта жалость к распятому странно успокоила его.

Недруги андалузского гранда дона де Медины-Сидонии злословили (конечно, только анонимно и за глаза), что в безупречной родословной этого аристократа, перечисляющей всех его благородных пращуров до седьмого колена, была пропущена какая-то случайная еврейская прапрабабка, за что якобы кто-то из предков благородного гранда хорошо заплатил, но, конечно, все это были не более чем домыслы завистников. Совсем не много насчитывалось в Испании более древних и более безупречных христианских фамилий, чем герцоги Медина-Сидония.

...Мария, жена Родриго Менареса, едва проснувшись, сразу вспомнила о том ужасном, что вчера сказал им сын, и, туго перевязав голову шелковым шарфом, надрывно застонала. Потом начала причитать и не переставала уже целое утро. Муж в темноватой своей каморке на первом этаже пытался заняться работой, но не мог. Дочки слонялись со скорбными лицами, словно в доме был покойник, жена стенала. А как умела стенать Мария, как умела она рвать душу горькими словами, в хударии знали все. Родриго не сомневался, что у нее было бы чему поучиться даже дочерям израилевым, что стенали в плену, сидя при реках вавилонских.

И все же казначей Менарес пытался сосредоточиться на подсчете того, сколько ежегодной подати в этом году благородный дон Медина-Сидония должен будет отправить их величествам, и размышлял, нельзя ли найти статью, по которой эту подать можно было бы существенно уменьшить. Родриго снова пробежал глазами стройные колонки арабских цифр, и ему уже показалось, что он почти нашел решение, но тут причитания наверху стали громче и опять

сбили его с мысли. Он рассерженно бросил перо и пергамент на кипарисовую конторку, резко поднялся — так, что чуть не опрокинул стул, и, мягко ступая дорогими туфлями из телячьей кожи, пошел в спальню жены.

Она лежала на подушках, словно сраженная тяжелой болезнью. Мария была полной, но, несмотря на частые роды (четверых детей, старшему из которых было теперь девятнадцать, и пятерых мертворожденных младенцев), не потерявшей еще привлекательности женщиной.

— Эстер! — начал Родриго. Жenu в крещении звали Мария, но в особенно серьезные моменты наедине он звал ее «старым» именем.— Я разочарован в нашем сыне не менее тебя. Скажу больше: сердце мое со вчерашнего дня превратилось в камень — ударь ножом, и из него не вытечет ни капли крови. Но зачем ты добавляешь мне скорби, доводя своими стенаниями меня и всех соседей до безумия? Наш благодетель, пусть он живет до лет Мафусаиловых, ожидает от меня все подсчеты к завтрашнему дню. Эстер, видит Бог, ты знаешь, что будет со мной и всеми нами, если я не выполню этого. Прекрати свои стоны или хотя бы прикажи закрыть ставни, чтобы не сошлась сюда вся худерия, думая, что в нашем доме покойник!

В комнату заглянули дочери. Он вздохнул и сразу понял, что жена — только этого и ждала. Все эти стоны были направлены на то, чтобы оторвать его от дел и втянуть в разговор о том, что не давало ей покоя. Эстер-Мария сразу перестала стенать, и лицо ее приобрело скорбное выражение. Родриго уже давно знал, что ничего хорошего это не предвещает.

— Прости меня, свою недостойную жену, за то, что помешала тебе слабыми стонами, прощаясь с этим миром, который вчера погас в моих глазах,— тихим, покорным голосом сказала она.— Но я благодарна тебе, мой муж и господин, что ты пришел к моему смертному одру...—

Она жестом приказала дочерям приподнять себя на подушках, и те немедленно повиновались.

Родриго снова глубоко вздохнул и осознал, что вернуться к конторке ему, скорее всего, не удастся.

— Я не знаю, чем я прогневила Небо,— продолжила Эстер-Мария.— Видит Бог, я не пропускаю ни одной мессы. Видит Бог, я хожу на исповедь очень часто, и Он видит, сколько я рассказываю о себе отцу Гуттьересу на исповеди, ничего не утаивая. Этот достойный святой отец недавно попросил меня приходить несколько реже, потому что и другим христианам тоже нужно исповедоваться. Я соблюдаю все посты, и не только предписанные Господом нашим Иисусом, но и, на всякий случай, в Йом Кипур, чтобы не беспокоить моих дорогих покойных родителей.— Мария перекрестилась, а Родриго безнадежно воздел глаза к небесам. Он хорошо знал из опыта, что прерывать жену сейчас бесполезно и даже опасно.— И все-таки Господь наказывает меня тем, что мой супруг никогда не слушает моих советов. Не я ли говорила, что пора купить дом подальше от этой нечестивой хударии, где порядочные христиане принуждены жить попеременно с иудеями! Если бы мы купили тот прекрасный дом в Риконаде, на высоком берегу Гвадалквивира, тот дом, который я на коленях молила своего мужа купить, то под нашими окнами текла бы река, а не торчали кривые окна мозля Симонеса! — Она сорвалась на крик, и последние слова уже полетели в широко открытое окно.— Где вечно маячит иудейская физиономия его ужасной жены, которую знает вся худария! И наш сын Антонио...— Ее лицо опять изменилось, стало плаксивым.— Наш единственный сын Антонио не связался бы с этой Авивой, порождением ехидны, обращая в прах все наши надежды на христианских внуков! — Последнюю фразу она уже просто громко выкрикнула.

Напротив хлопнула оконная рама, и совсем рядом, поскольку улица была узкой, раздался другой женский голос:

— Не смей, гиена отступница, хулить мою чистую девочку! — В окне показалась женщина в простом льняном тюрбане, из-под которого не торчало ни одного волоска. У нее были такие большие и отвислые щеки, что все лицо казалось подвешенным к этому тюрбану. И в ее голосе чувствовалась нерастраченная мощь. — Сказано в книгах о таких, как ты: «Они кадят суетным, споткнулись на путях своих, оставили пути древние, чтобы ходить по стезям пути непроложенного, чтобы сделать землю свою ужасом!..»<sup>1</sup> Кто сказал тебе, что мой достойнейший муж благословит нашу Авиву на брак с порождением нечестивцев и отступников?! Не бывать тому! Скорее вспять потечет Гвадалквивир, скорее оставит снег скалу Ливанскую, скорее *Эстер Эфрати* станет *Марией Менарес!*..

Родриго знал по многолетнему опыту, что остановить начавшееся невозможно и что самое разумное теперь — это взять сундучок со своим дхубарром<sup>2</sup>, пергаментами и перьями и отправиться из хударии на небольшом муле (как выкресту, ему разрешалось ездить верхом) на подворье гранда Медины-Сидонии, где он сможет, наконец, спокойно закончить свои расчеты.

Так он и сделал и вскоре уже ехал берегом Гвадалквивира, сожалея о зря потраченном утре и о том, что его расстроил поступок сына. Тот всегда был упрямым в мать. Сколько ни старался отец научить его своему делу, чтобы Антонио тоже пошел по его, казначейским стопам, сына совершенно не интересовали ни дхубарр, ни пергаменты со стройными колонками цифр. Только — модели кораб-

---

<sup>1</sup> Иер. 18:15—16.

<sup>2</sup> Счеты (*араб.*).



лей, которые сын вырезал из кусочков дерева, и довольно искусно. Целыми днями сын пропадал на реке и на верфи, поблизости от каравелл.

Родриго любил глупого мальчишку и оставил его в покое, как ни пилила его за это жена. Да, в люди сын вышел: мастером теперь на верфи. А коль решил Антонио жениться на иудейке — что ж! Да, дочка моэля — совсем не то, о чем он, казначей такого знатного гранда, мечтал для своего сына, но девчонка — красавица, на их глазах выросла, и какая ни есть, а своя. Христианская же невестка — в смысле не из хударии, — кто ее знает? Она, поди, и курицу с чесноком так, как у них, готовить не умеет! Жена поголосит, да и успокоится, деваться ей все равно будет некуда. А Авиву Антонио убедит креститься. Вот и будет все хорошо. Вот и будут у них христианские внуки...

Утро казалось таким ласковым, и река плескалась так мирно, что хотелось думать только о хорошем.

Больше всего на свете любил казначей Соломон-Родриго свою семью, свой дхубарр, спокойный достаток своего дома, сочную курицу с чесноком, которую так хорошо жарила Эстер по пятницам, мягкие телячьи домашние туфли и разговор о жизни со старым Симонесом за кувшином доброго вина в харчевне Давида Абенесая. И — в чем бы он никогда не признался жене — свою шумную (как говорили некоторые — вонючую) хударию, в которой родился и вырос. И никуда не намерен он был из нее переселяться. Хотя розами она и впрямь не благоухала, если уж быть совсем откровенным...

Его небольшой мул, покачивая шейей, мерно ступал по хорошо утопанной дороге. Издалека, с quemadero — места для ауодафе у башни Торо дель Оро — тянуло дымом. Значит, опять жгли еретиков. Не проходило и дня, чтобы не сжигали по несколько человек. Находили все новых и новых выкрестов, тайно исповедовавших иудаизм, и рас-

крывали все новые их заговоры против христианства. Родриго от этих мыслей становилось не по себе, но он надеялся, что верная служба гранду Медине-Сидонии и его искреннее сочувствие распятому человеку со скорбным лицом — защитят. Потом подумалось: на кого направляла бы свое искусство ругани жена, имея она теперь напротив вместо окон горластой Ревекки только молчаливую широкую реку.

Так думал обо всем этом Соломон Родриго Менарес и, конечно, уже не мог видеть, как бодро вскочила Эстер-Мария со «смертного одра», как оперлась она на подоконник и почти вывалилась из узкого окна всей своей недюжинной грудью. И как, увидев наконец противника, вся задохнулась, и кровь бросилась ей в лицо. И как за-



Сожжение еретиков. Со старинной гравюры

мерли в глубине комнаты дочери, уже зная, что сейчас начнется, но не решаясь вмешаться ни за что. Он видеть этого не мог, но прекрасно знал, что именно это сейчас и происходит, как происходило уже не раз.

А сцена собирала на улице внизу все больше и больше народу. Те, кто стоял непосредственно в эпицентре происходящего, передавали комментарии дальше — тем, кому было видно не так хорошо. Их поправляли те, кто имел по поводу интерпретации событий иные мнения.

Сквозь толпу, отчаянно и цветисто проклиная зевак, проталкивались разносчики с тачками: лавки ждали товара. Обувщики и торговцы тканями, пользуясь неожиданным стечением народа, старались затянуть зевак к себе — взглянуть на товары, и благословляли случай. Мальчишка, продавец воды, попытался продраться со своим осликом через запруженную народом улицу, но вызвал нещадную ругань и даже схлопотал пару полновесных подзатыльников.

Вот обе женщины, с плотно сжатыми губами, подались вперед над узкой улицей трепещущими горами груди, и все с улыбками замерли в предвкушении развлечения.

И тут в самом начале улицы появились двое монахов-доминиканцев. Мария увидела их боковым зрением. Выражение ее лица тут же изменилось, и она громко заявила:

— Мне, христианке Марии Менарес, не пристало унижать себя разговором с нечестивыми иудейками.— Она истово перекрестилась и вознесла взгляд к небесам.— К тому же Господь наш учил прощать наших врагов. Вот я и прощаю...

Толпа внизу еще не увидела доминиканцев, поэтому все захохотали. И кто-то крикнул:

— Эстер, если христианство так меняет женщину, немедленно отправлю в церковь мою жену!

А другой насмешливый голос добавил:

— Эстер! Да неужто все сойдет Ревекке с рук?!

— Да, я прощаю ее, как учил прощать Господь наш Иисус Христос! — провозгласила Эстер-Мария. — Прощать всех, даже... — Она запнулась — доминиканцы были все ближе, но посмотрела на лоснящееся от пота и гнева, насмешливое лицо соседки, уперевшей руки в необъятные бока, и выкрикнула во весь голос: — Даже таких старых, жирных, облезлых, пустоголовых ослиц, как Ревекка Симонес!!!

Ставни напротив захлопнулись с такой силой, что чуть не слетели с петель.

Шедшие по худерии монахи-доминиканцы были молоды и начали свои труды в Инквизиции недавно. В монастыре они вели протоколы допросов. И сейчас их занимала тема ересей.

— Вот я говорю, брат Фернандо, что до тех пор, пока в Кастилье выкресты живут рядом с иудеями, ереси не будет конца. Посмотри на них: крещение не делает их христианами, они продолжают жить по старым законам, обмывать своих покойников, не работать в субботу, готовить пищу на этой мерзости — оливковом масле, избегая доброго свиного жира. Сколько мы ни изымали иудейские книги, сколько ни сжигали их, они, словно блохи на собаке, появляются опять.

— Ты прав, брат Луис. Иудейские сородичи тянут выкрестов назад. Иудейство — это язва, которая, если не прижечь ее каленым железом, разъест здоровое кастильское тело. И как врач отсекает гниющую конечность от непораженной части, иудеев нужно или отделить, или, что еще лучше... Да что это там происходит? — Монах заметил скопление народа. — Ведь евреям запрещено собираться вместе на улицах...

Собравшиеся тоже увидели наконец монахов и, все поняв, моментально рассеялись, словно прячась от прокажженных.

Когда доминиканцы поравнялись с домом Менареса, спрашивать было уже некого: все ставни захлонулись, слышался только скрежет задвигаемых засовов.

И тут они увидели красавицу Авиву — та, ни о чем не подозревая, возвращалась от зеленщика с плетенкой, полной лука и чеснока.

Доминиканцы остановились, в замешательстве уставившись на ее припухлые губы и соблазнительнейшей формы грудь под тонкой тканью дешевого вылинявшего платья...

Авива поравнялась с дверью своего дома, тут же заскрежетал засов, из-за двери высунулась рука и быстро втащила девушку.

Только теперь монахи опомнились.

— Вот посуды, брат Луис, если бы им нечего было скрывать, то отчего так поспешно все они разбежались, как мыши, при нашем появлении? — Тут монах посмотрел на дверь напротив той, в которой исчезла девушка — на дверь Менареса.— Вот взгляни, например, на эту дверь. Здесь наверняка живет богатый выкрест. Дверь добротная, дорогая, и Дева Мария с младенцем над входом из мрамора. А сколько его внутри, духа христианского?

— Так постучи. А заодно и узнаем, что тут происходило.

Брат Фернандо заколотил в дверь.

— Именем святой Инквизиции! — разнеслось по узкой улице.

Из-за двери донесся суматошный шум, послышалось падение каких-то предметов. Монахи переглянулись и чуть не захихикали. Они любили приходить в хударю и заходить в дома, в харчевни и произносить эти магиче-

ские слова: им нравилась реакция иудеев — впору, поди, штаны сушить!

Строго говоря, над иудеями Инквизиция до сих пор имела власть ограниченную, зато над выкрестами ее власть была полной. Поэтому крещение иудеев поощрялось всячески — чтобы можно было заняться ими уже со всем пристрастием. Инквизиция быстро превращалась в гигантский механизм, отлично организованный и отлаженный, прекрасно сам себя финансирующий за счет конфискованного имущества осужденных еретиков. Но у ее святых отцов в Испании были еще более захватывающие дух планы.

Дверь отворилась, и монахи тут же сделали непроницаемо суровые лица.

Им открыла трепещущая Мария.

Монахи по-хозяйски вошли, сразу поискали глазами распятие. Оно было внушительным и висело на самом видном месте. Монахи переглянулись. Женщина засуетилась, усаживая их на лавки за длинным столом.

— Почему собирался под твоими окнами народ?

— Не знаю, почтенные святые отцы, я обличала соседку свою недостойную, что оскорбляла меня безвинно.

— Иудейка?

Мария кивнула.

— А распятие?

Глаза Марии расширил ужас:

— Ах нет, нет, что вы! Ах, это я подумала, что вы про нее, соседку мою... А я — истинная, истинная христианка католическая, вот, вот и вот! — Она стала часто и испуганно креститься на распятие.

Монахи оглядели комнату. Низкая, полутемная. Никаких иудейских предметов не видно. Кроме распятия, висел только образ Святой Девы с младенцем в красивом серебрянном окладе.

— Ну, другое дело... Что, так и не угостишь ничем монахов-путников?

— Всё, всё, что пожелаете, святые отцы, всё, что в доме есть...

— Жажда мучает...

Мария бросилась к баклаге с вином у стены, налила по полной чаше, с поклоном поставила перед доминиканцами.

Те перекрестились и залпом выпили. Все дрожа и суетясь, она налила еще. Выпили еще. Глаза их быстро соловели.

— А это у тебя на столе что?

— Свиной жир в горшке, святые отцы. Семья наша без свиного жира ни куска пищи в рот не берет.

— Ни куска, говоришь? — ехидно осведомился Луис.

— Ни единого, святые отцы!

— А ну-ка проверим! Намажь на хлеб да съешь, иудейка! — Монахи переглянулись и ухмыльнулись своей мысли.

Дрожащими руками Мария стала пытаться намазать застывший белый жир на хлеб и, давясь, глотать большими кусками. Щеки и подбородок ее отвратительно залоснились.

— Где муж?

— Гырлгырл...

— Да ты прожуй!

Монахи смотрели испытующе.

— Казначеем он... — Голос у Марии дрожал. — Казначеем, святые отцы, у важного гранда кастильского Медины-Сидонии.

— Вот, отец Фернандо, всюду проникли иудействующие! Что черви в сыр. И все-то они казначеи — в пастухах да в пахарях их не увидишь, руки у всех белые да гладкие!

— Сын у меня плотник, корабли строит на верфи!

Монахи опять осушили по чаше.

— А где служанки твои? Дочери есть?

— Бедны мы, нет у нас служанок! И дочерей нет, один сын, на верфи...

— Слышали уже про это! — бросил Фернандо. И вдруг заорал: — А вот лжешь ты, старая тварь! Лжешь принявшим постриг рыцарям Святой Инквизиции! «Бедны мы!» А тарелка серебряная, а дверь, а оклады?! Раз в одном лжешь, то и в другом, видать, тоже! И потому говорю я, что ты — тайно иудействующая! Все-е-е вы притворяетесь, что любите Христа, а сами его — ненавидите!

— И надо доложить о том Святой Инквизиции, — подхватил Луис, — и водой испытать, правду ли говоришь, и сколь сильна любовь твоя ко Господу нашему Иисусу Христу, и не подмешивала ли ты в свои бесовские опресноки кровь христианских младенцев!

У монахов это было уже отработанным представлением.

Женщина тяжело и грузно повалилась перед ними на колени — вся помертвев и не заметив, как один подмигнул другому.

Убедившись, что в доме и впрямь никого нет (дочерей Мария заперла в подполье, вход в которое трудно порой было найти и тому, кто знал, где он), пьяные монахи, по бабьи задрав рясы, грязно и больно изнасиловали ее, заставили снять золотые серьги и кольцо, подаренные когда-то мужем на рождение сына, прихватили серебряное блюдо, допили что было в корчаге и сказали ей, уже запинаясь:

— А про мужа твоего иудействующего тоже разузнаем. Скоро поможет Господь очистить и Андалусию, и всю Кастилью от вашей бесовской ереси, и следов не останется. Нигде не спрячетесь!

И хлопнули тяжелой дверью. С грохотом вылетел из нее большой резной ключ.



Дочери — Кармоне было шестнадцать, Анне четырнадцать — все слышали и только кусали под полом кулаки.

Когда хлопнула дверь и все стихло, они выбрались. Мать, тяжело опустив плечи, сидела на лавке у стола и от-решенно смотрела перед собой.

Дочери попытались ее обнять, но она вдруг отстрани-ла их, поднялась, схватила горшок со свиным жиром и со всего размаху бросила им о каменную стену, тихо выплю-нув еврейское проклятие.

Анна подняла с пола ключ и с трудом заперла дверь.

Дочери укутали мать, согрели ей воды, и Мария по-немногу перестала дрожать и начала возвращалась к жиз-ни. Они понимали, что произошло такое, о чем не должен узнать никто. И чему никто не смог бы помочь. Слез у Эс-тер не было.

А через неделю пропала Авива. Ушла ранним утром на рыбный рынок и не вернулась. Обезумевшие родители и половина хударии искали ее везде, где только могли. Анто-нио, обросший щетиной и потому казавшийся почернев-шим от горя, прочесывал берега Гвадалквивира, расспра-шивал рыбаков и всех, кого знал на верфи. Он бил челом самому алькальду Севильи Альваро Пересу, но красавица Авива словно растворилась в зимнем сеvilьском воздухе.

\* \* \*

1 января 1483 года площадь перед колокольной Ла Гиральда была забита народом <sup>1</sup>. Regidores <sup>2</sup> на высоком помосте закончили чтение эдикта их кастильских вели-

<sup>1</sup> Иудеи Андалусии были изгнаны январским эдиктом 1483 го-да, тогда как все остальные испанские иудеи — мартовским эдик-том 1492 года.

<sup>2</sup> Regidores — городские управляющие (*исп.*).

честв Изабеллы и Фердинанда, и наступила такая мертвая тишина, какая вообще — редкость в этом южном городе. Даже ослы не ревели и собаки не лаяли. Словно неведомый паралич поразили всех.

А потом какой-то бородатый высокий раввин, стоявший недалеко от помоста, громко спросил:

— Простите великодушно, благородные *regidores*, значит ли это, что все евреи должны до начала февраля уйти из Севильи?

— Читан же эдикт! И из Севильи, и из всей Андалусии!

— И в феврале во всей Андалусии никого из евреев вообще не должно остаться?

— Никого. Если откажетесь принять истинную веру.

Старик покачал головой, поднял плечи и развел руками, отказываясь понимать.

А потом повернулся к толпе и так же громко, ни к кому особенно не обращаясь, сказал:

— Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда.<sup>1</sup>

И уже после этого начались крики, вопли, суматоха, беготня и паника.

Согласно установлению властей, евреи должны были заплатить налоги за год вперед, а с собой взять только то имущество, которое каждый взрослый еврей мог бы увезти на одном осле или муле. Запрещалось забирать с собой золото, серебро, драгоценные камни. Это означало: нельзя было взять никаких денег, кроме медных монет.

**Р**одриго Менарес никак не мог понять упрямства жены и дочерей: те отказывались оставаться наотрез.

---

<sup>1</sup> Быт. 42:26.

— Но куда же мы пойдем? У нас нигде и никого нет! — в который уже раз обращался к жене Родриго.

— Мы пойдем в Португалию. Многие туда идут. Если гранд Медина-Сидония даст тебе рекомендательное письмо, ты сможешь найти себе место казначея у кого-нибудь в Португалии.

— Но зачем?! Ведь изгоняют только иудеев! Мы — христиане. Мы можем остаться и продолжать жить в Севилье, как и раньше. Благодетель не даст нас в обиду. И как мы успеем распродать все за один только месяц?! Всем известно, что мы в отчаянном положении, нам никто не даст настоящей цены за все, что мы нажили!

— А я никуда не пойду, пока не найду Авиву! — твердо, как о давно решенном, сказал Антонио. — Ехать вам придется без меня. Я остаюсь здесь, в Севилье, в нашем доме, только сюда ведь и вернется Авива. А теперь мне пора, на верфи много дел! — отрезал сын и хлопнул дверью. Он все время теперь пропадал на верфи.

Родриго ожидал от жены взрыва воплей в адрес Антонио, но она даже не шевельнулась. И вдруг заговорила — Родриго Менарес даже удивился голосу жены и ее горькой усмешке (она вообще вела себя как-то странно последнее время):

— Неужели ты не понимаешь, муж мой Соломон... — Вот уже пять лет, с самого крещения, не называла она его еврейским именем! — Ты можешь назвать себя хоть Иоанном, ты можешь весь обвешать себя свининой и крестами, ты можешь ходить на мессы и исповеди по три раза на дню, ты можешь наизусть вызубрить Евангелие и молиться Христу так усердно, что начнешь слышать Его Самого! Ты можешь избежать преследования Инквизиции... — Тут у нее перехватило дыхание. — Или ты можешь даже сам стать инквизитором, что еще труднее, чем услышать Бога, но некоторым из выкрестов удалось и это. Ты

можешь жить рядом с вельможами королей и пить с ними вино... Однако придет день, когда ты поймешь: что бы ты ни делал и как бы ни жил, ты все равно останешься для *них* тем, кем родился. И дело — совсем не в вере...

Эстер тяжело вздохнула и решительно встала:

— Надо собираться. У нас мало времени!

**В** тот день Родриго Менарес понял, что все изменилось, и что прежней их жизни пришел конец. За окнами дома худария напоминала муравейник, который разворошили палкой. Он вышел из дома и через минуту уже быстро шагал к церкви Санта-Мария Ла Бланка, на исповедь к отцу Гуттьересу. Он надеялся, что, если расскажет о своих сомнениях этому седому падре с лучистыми смешливыми глазами, мысли его придут в порядок и решение возникнет само собой, как бывало уже не раз.

В церкви, однако, его встретил совсем другой молодой священник, и он сказал, что отца Гуттьереса ночью забрали в замок Триана — по подозрению в недонесении на тайно иудействующих.

С недавнего времени название «Триана» произносили шепотом — в этом жутком замке Инквизиция проводила теперь дознания, потому что доминиканский монастырь де Сан-Пабло был уже переполнен узниками. Менарес недоумевал: отец Гуттьерес был священником и кастильцем! На что же тогда надеяться выкресту? А потом в голову его заползла юркая мыслишка: что не бывает дыма без огня и, как знать, может, и вправду падре что-то или кого-то скрывал...

Быстро выходя из церкви — так, словно кто-то мог его схватить, Родриго чуть не споткнулся о бродягу. Всех своих бродяг севильцы хорошо знали, те были частью городской жизни — Одноглазый Хуан, Чико Полоумный и

полдюжины других, но этот к их числу не принадлежал. Однако выглядел бродяга странно знакомым, и Родриго мог бы поклясться, что где-то видел его раньше... Одежда его была оборвана, волосы длинные и спутаны, лицо в струпьях — словно он был крепко избит, и теперь раны заживали. Он был худ, на шее сильно выступал кадык. Босые ноги совершенно черны от грязи. Бродяга ни к кому не приставал, не просил милостыню. Просто сидел под молодым лимонным деревом, греясь на зимнем солнце, закрыв глаза и привалившись с ствола. Рядом с ним лежал посох.

Родриго бросил ему мелкую монету и отправился к своему господину и благодетелю, чтобы спросить у него совета. Он не знал, что бродяга, как только Родриго отвернулся, сразу открыл глаза и долго смотрел, как он удаляется по узкой улочке.

Не знал Родриго-Соломон того, что самого его благодетеля уже посетили инквизиторы. Их интересовали все *converso*, служащие гранду, и нет ли среди них тех, кто скрывается от Инквизиции. Они почему-то интересовались его казначеем Родриго Менаресом.

Благородный герцог Энрике Перес де Медина-Сидония де Гузман-и-Менесес рассвирепел не на шутку: прыщавые монахи настаивали на разрешении практически *обysкивать* его замок и учиняли допрос ему, кастильскому гранду, отец которого был еще соратником отца королевы — Хуана Второго! Наглецы требовали отчета у него — отпрыска древнего рода, которому принадлежала половина Андалусии! У него, который ездил на охоту с Фердинандом и Изабеллой и сидел на пирах по правую руку от королевских величеств!

Он приказал слугам прогнать инквизиторов от ворот палками. Но на миг задумался: откуда такая удивительная наглость? Это было ново. И сразу же после них его посе-

тил сам Торквемада, теперь уже Великий инквизитор Супремы, с письмом от королевы. Это было дружеское, но твердое послание, призывающее к поддержке благородного дела Святой Инквизиции. После его визита благородный гранд наконец понял, у кого стало теперь больше власти в Кастилье, а у кого — уже меньше.

И когда к нему явился за советом его казначей, он дал ему очень хороший совет. *Letrados*<sup>1</sup> Медины-Сидонии быстро подготовили для Родриго свидетельство о крещении с гербом и подписью и дали рекомендательное письмо, в котором было много добрых и справедливых слов о казначейских талантах Менареса. А конюшему приказали вывести для Родриго отличного молодого мула в подарок за верную службу. Ничего другого сам гранд Медина-Сидония, благородный рыцарь ордена Сантьяго, не мог сделать для своего выкреста. Теперь даже то малое, что он для него делал, было *против* того, что от него требовала Инквизиция, но именно *поэтому, в пику ей*, он поступал так.

Темнолицая девчонка, гортанно мешая еврейские, арабские и кастильские слова, тащила Антонио в какую-то портовую трущобу. За гитан Инквизиция тоже последнее время взялась, обвиняя в ведьмовстве и непотребных плясках, называемых «фламенко».

Девчонка была совсем юная, тонкая, почти безгрудая, но на лице ее уже белел шрам от ножа, придававший ей вид порочный и опасный, а руку «украшал» ожог. Антонио понимал, что она может привести его куда угодно, и там его могут ограбить даже за ту малость, что у него была, а потом перерезать горло и бросить в Гвадалквивир

---

<sup>1</sup> Здесь — писцы.

рыбам.. Но ему было совершенно все равно. С тех пор как пропала Авива...

Родители не знали, что после ее исчезновения Антонио так и не вернулся на верфь. Он стал безразличен и к собственной семье, ведь они так настроились против Авивы, особенно мать. Поначалу он каждый вечер возвращался в хударю, но не заходил домой, а стучал в дверь Авивы, и каждый раз — с замиранием сердца: а вдруг откроет она? Но открывал ее отец, сразу состарившийся и высохший. Моэль принял весть об эдикте с особенным ужасом: как же они бросят дом, а вдруг дочь вернется? И они с женой решили остаться — будь что будет.

Антонио проводил в поисках все дни, пробавляясь случайными заработками. Он был широкогрудый, высокий и сильный и, видя крест на груди, его охотно нанимали. Но он нигде не задерживался — получив плату, уходил. Поиск Авивы превратился в наваждение. Он расспрашивал о ней везде. Его наконец стали считать шпионом Инквизиции и уже сторонились. А один раз даже накинули на голову мешок и сильно избили, но добивать почему-то не стали. Он отлежался тогда у реки, и эта история ничуть его не испугала.

Чтобы облегчить себе поиски, он нашел дощечку и углем нарисовал портрет Авивы. Портрет получился настолько живым и похожим, что он даже целовал его украдкой, закрывая глаза. Дощечка пахла солнцем, как когда-то ее волосы... Уголь стирался, и ему приходилось восстанавливать рисунок так часто, что он мог уже делать это с закрытыми глазами.

От Авивы ему осталась эта дощечка и еще — тот день.

Они убежали из хударии на реку, где в камышах у него была припрятана лодка. День был не по-зимнему теплый, на солнце даже припекало. Они ели яблоки и смеялись, и, сидя под ивой, смотрели с берега на проходившие мимо

каравеллы, и целовались, и говорили глупые, нежные, бессмысленные вещи, о которых он вспоминал сейчас с такой тоской. Его не удивила, но умилила ее чистота — когда она отшатнулась от неожиданности, не поняв, что у него так встопорщилось впереди во время их поцелуя. И он — не спешил, ему достаточно было касаться ее чистой гладкой кожи, вдыхать солнце ее волос и просто смотреть на нее, не отрываясь. Она будет его женой по Закону, перед людьми и перед Богом, и впереди у них вся жизнь — так он и сказал ей тогда. Он заработает на верфи достаточно, чтобы они поселились на берегу реки, где дом будет пахнуть свежей водой и ветром, и мимо будут проходить построенные им каравеллы с огромными парусами, похожими на запряженные облака.

Сейчас он горько усмехался своей тогдашней глупости и наивности. И вспомнил: Авива, услышав его самонадеянные глупые слова, вдруг по-детски, по-девчоночьи расплакалась на его груди. Он — не понял. Он не знал, что так можно — и от счастья. Когда они вернулись в хударю, он и объявил родителям о своем намерении жениться...

Антонио расспрашивал о ней усатых хозяек борделей, но те отрицательно качали головами. Когда после покупки еды и вина оставалось немного денег, он спал с деловитыми портовыми шлюхами, но и они ничего не могли сказать. Пожилые шлюхи грустно смотрели на него и на изображение Авивы, все понимая, а молодые — пугливо забирали монеты и поспешно уходили, уверенные, что он — шпион или сумасшедший. Сначала он спрашивал их с тревогой, испытывая почти облегчение, когда они не узнавали ее, но потом его желание найти ее — где угодно, во что бы то ни стало, лишь бы она была жива — стало сильнее даже страха того, где он ее найдет и какой. Незвестность была для Антонио мучительнее всего..



Нередко он шел за процессиями приговоренных, одетых в желтые *sanbenito*<sup>1</sup>, которых вели к кострищам со вкопанными посередине столбами. Он вглядывался в их лица — отрешенные, с уже погасшими, невидящими глазами. Шествия мертвецов... Но Авивы не было и среди этих существ, уже мало чем напоминавших людей. Что бы он сделал, если бы увидел ее среди *них*? Процессии приговоренных еретиков шли и шли, нескончаемые, ежедневные.

Севиля привыкла к смерти. На аутодафе уже ходили семьями, назначали свидания, обменивались сплетнями, жевали хлеб и отправляли в рот апельсиновые дольки, не отрывая глаз от корчившихся в дыму людей — уверенные, что их черед наступить не может.

А Антонио пил в арабских тавернах у Гвадалквивира странный зеленый напиток, который стоил дороже вина, но гораздо лучше вина приносил покой, надежду и освобождение.

**В** одной из таких таверн он провел ночь — после того как перед Ла Гиральдой прочитали указ об изгнании и когда он все-таки пришел к семье и узнал, что они покидают Севилью. К боли от необъяснимой потери любимой прибавилось теперь и сильное ощущение надвигающейся катастрофы. Шел сильный дождь, мутные потоки стекали в реку, и он подумывал о том, чтобы выпить сейчас зеленого напитка, а потом войти в холодную воду и плыть, плыть под дождем до самого конца этой реки, пока не оставят силы. Но именно в ту ночь, первую ночь после эдикта, произошло нечто, заставившее его изменить намерение.

---

<sup>1</sup> Накидка с изображением пламени, в которой еретика вели на костер.

Все началось со странного зрелища.

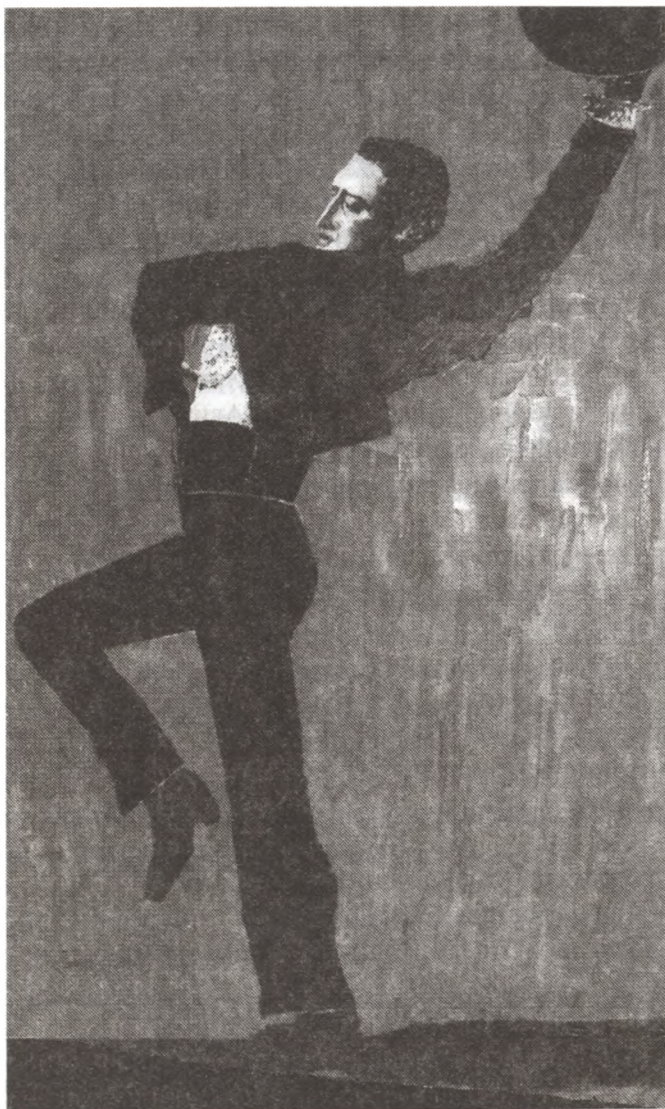
В этой маленькой грязной таверне его видели не раз и встречали дружелюбнее, чем в других, не подозревая в нем шпиона. Пахло терпким потом, гарью очага и зеленым арабским напитком счастья.

Неожиданно таверна наполнилась странным пением — словно стенанием певца, и в его голосе билась какая-то огромная, неведомая тоска.

На середину, свободную от липких столов и скамей, вышел невысокий, очень темнокожий человек с тонкой, перевязанной широким кушаком талией, в черном с головы до пят. Длинные волосы почти скрывали его лицо, но видно было, что глаза его полузакрыты, словно в полусне.

Вот его каблук начали медленный задумчивый перестук по грязному деревянному полу. Жесты были сначала сдержанны, неуловимы. Руки словно то приближали, то отталкивали невидимую преграду. Постепенно движения рук стали непредсказуемыми, резкими, как окрики. Постепенно танец как будто переполнился болью — она разрывала его изнутри и требовала выхода. Боль, которая одновременно давала ему сейчас и муку, и блаженство. Ритм его каблуков становился все чаще, человек уже изнемогал от ритма, но удерживал его, словно остановка была равносильна смерти.

Исчезло все, остался только этот ритм — завораживающий, одержимый. Чаше, чаще! Казалось, что чаще — уже нельзя, но оказывалось, что можно, можно, можно! Его руки взметнулись в изломе, как перебитые крылья, над головой и застыли. А ритм все нарастал. Казалось, он сейчас убьет человека. Уже смолк певец, смолк тамбурин. Царил только этот сумасшедший ритм. И вдруг человек остановился. Резко. И рубанул ребром ладони воздух у бедра. Потом повернулся и... ушел.



Танцор фламенко

В этом странном танце было больше гордости, вызова и непокоренного достоинства, чем в любых словах. А таверна взорвалась хлопками и одобрительными криками «Ala! Ala!»<sup>1</sup>.

Антонио понял, что видел сейчас запрещенный Инквизицией танец гитан. И тут к нему подошла девчонка-цыганка, взяла его руку и положила на свою совершенно неоформившуюся еще грудь. Антонио ощутил ее острые детские ребра, резко отдернул руку и нетерпеливым жестом приказал ей уйти. Он думал об этом странном танце. И о том, почему его преследовали как дьявольский. И вдруг, неожиданно для себя, он окликнул цыганку и достал дощечку с полустертым лицом Авивы:

— Постой! Ты не видела девушки, похожей на эту?

Девчонка взяла в руки рисунок. Долго рассматривала:

— Сам рисовал?

— Отвечай, что спрашивают.

— Не приказывай, брата позову. Кто ее ищет, Инквизиция?

— Почему Инквизиция?

— Видела похожую. Не эту. Эта — красивая. Та — нет. Ведьма та.

Антонио вскочил:

— Веди!

— А любовь — потом?

Он посмотрел на пигалицу с раздражением:

— Любовь оставь себе. Пригодится.

— Хорошо. Отведу. Но дашь ту же цену, что беру за любовь!

---

<sup>1</sup> Мавританский возглас восторга и одобрения, происходящий от «Алла!» (Аллах). От него происходит известное испанское восклицание «Оле!», которое часто можно слышать во время исполнения фламенко.

Было темно, и он с трудом различал путь, а девчонка шла уверенно, словно видела в темноте, как кошка. Он-то думал, что хорошо знает все эти узкие, похожие на норы улочки вокруг верфи и порта, но сюда еще никогда не забредал. Изредка попадались освещенные оконца. Из них доносились женский визг, пьяный хохот, сухой ритм тамбуринов, хлопки и бешеная чечетка каблуков. Видно, в эти места Инквизиция заглядывала не часто, а тем более по ночам.

Девчонка юркнула в совсем узкий проход, заметить который со стороны было бы невозможно. В нем оказалась незапертая дверь. Антонио на всякий случай нащупал за поясом рукоятку ножа.

Низкая, словно пещера, комната, в которую они вошли, тускло освещалась единственной масляной лампой. Девчонка указала на груду тряпья в углу, в ней кто-то шевелился.

— Вот она. Мы зовем ее *Morta*<sup>1</sup>. Она все время здесь, никуда не выходит. И темноты боится. Потому лампу ей оставляю.

Девчонка быстро взглянула на него и добавила:

— А если хочешь любви с ней, платить должен мне. Так все и делают. Но радости от нее, говорят, мало. Мертвая — она и есть мертвая.

Антонио взял со стола свечу и приблизился к груде тряпья. Так он нашел свою Авиву...

\* \* \*

**Н**аступил последний день объявленного эдиктом срока. Последние евреи покидали Андалузию, где их община существовала полторы тысячи лет, еще со времен Рима. Они заплатили кастильской Короне все налоги и

---

<sup>1</sup> Мертвая (*исп.*).

подати за год вперед. Золото, на которое раньше вполне можно было купить отличную верховую лошадь, евреи отдавали за пару обуви, посох, несколько кожаных мешков, мула или осла. Кастильцы и остававшиеся выкресты намеренно не покупали у них ничего, дожидаясь последнего дня, когда тем просто ничего другого не останется, как закрыть дома со всем добром и идти скорбной дорогой к пристани, к кораблям. Некоторые по привычке за чем-то закрывали дома ключом, а ключ брали с собой.

При выходе из худерии их останавливала многочисленная стража и горожане, специально призванные городскими властями. Они изымали деньги и драгоценности, которые иудеи, несмотря на запрет, все равно пытались спрятать и унести с собой. Подозреваемых без церемоний заставляли раздеваться догола и обыскивали. Только после этого люди шли к пристани.

**В**одный путь был безопаснее: в окрестностях Севильи вóроны уже расклевывали тела со вспоротыми животами и выпущенными внутренностями — пронесся неоправдавшийся, к разочарованию некоторых, слух, что перед исходом каждый еврей и еврейка проглотили по тридцать дукатов, поэтому по следам изгнанных шли головорезы. Городские *regidores* отправили для охраны людей небольшой отряд, но он вскоре вернулся — было уже слишком поздно.

У ворот худерии росла гигантская толпа мародеров — с мулами, тачками, мешками, кто-то даже притащил новый пустой детский гроб. Многие добирались в Севилью издалека. Их с трудом сдерживали вооруженные конные отряды — до тех пор, пока худерию не покинет последний еврей. Люди с мешками были воодушевлены и тоже вооружены. Они слышали о несметных, сильно преувели-

ченных молвой богатствах худерии и приготовились отчаянно защищать свое право на грабеж.

С Ла Гиральды раздавался бой колоколов — наступало время вечернего богослужения, но никто не трогался с места. Священники вышли из собора и увещевали толпу, грозя страшными карами за гробом. Мародеры становились на колени прямо на мостовой и молились, чтобы Бог послал им удачу. Мессу пришлось служить прямо на улице. Король Фердинанд приказал призвать отряды *hermanadas*<sup>1</sup> — для предотвращения кровопролития и хаоса, в который могла погрузиться Севилья после ухода евреев.

Севильская худерия наконец опустела. Такой зловеще пустой и тихой она не была никогда. Перед уходом люди закрыли окна своих домов ставнями, как закрывают глаза покойникам.

А Эстер все мешкала, возвращалась в дом то за тем, то за другим.

— Пойдем,— говорил ей Соломон.— Сейчас сюда ворвутся мародеры, и нам не уцелеть. Во всей худерии остались только мы и Абрахам с Ревеккой. Подумай о дочерях, Эстер.— Он дотронулся до плеча жены.

Старый Абрахам и Ревекка Симонес вышли из дверей своего дома проводить соседей.

— Зачем вы избрали себе такой конец? — спросил Соломон.

— Ах, дорогой Соломон, дорогой мой Соломон,— ответил старый моэль,— разве мы избираем себе что-либо? Все давно избрано за нас. «Не плачьте об умершем и не жалеете о нем; но горько плачьте об отходящем в плен, ибо он уже не возвратится и не увидит родной земли своей»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Отряды городского ополчения (средневековый аналог милиции). Дословно — «братство» (*исп.*).

<sup>2</sup> Иер. 22.

Эстер и Ревекка остановились на несколько мгновений друг против друга — о, сколько ненависти накопили они за эти годы! — и с плачем упали друг другу в объятия.

— Если где-нибудь, когда-нибудь... — всхлипывала Ревекка, — на каких-нибудь дорогах вы встретите нашу девочку, скажите ей... Скажи ей, Эстер... скажи, что мы ждем до конца... И отдай вот это...

И она протянула бесполезный теперь ключ от дома.

Соломон-Родриго в последний раз запер свою дверь. Положил ключ в карман. Дотронулся до двери, потом до своего лба, и они пошли за навьюченным мулом по узкой улице. Не оборачиваясь.

А старый Абрахам вернулся в дом и привязал к потолочной балке две петли. Потом позвал Ревекку. Они обнялись и крепко поцеловались в губы...

Путь к пристани был заполнен народом. От причала отходили низко осевшие, облепленные народом каравеллы. Такого Севилья еще не видела. Большинство кораблей отплывало в Португалию, а некоторые, по специальному разрешению турецкого султана Байязида — в Константинополь. На пристани царили невообразимые суматоха, паника и неразбериха — никто не знал, куда пойдет какая каравелла, рыдали родители, потерявшие детей, дети, оттесненные толпой от родителей. Потом пронесся слух, что кораблей больше не будет, это — последние, и всех, кто не успеет отплыть до захода солнца, отведут в замок Триану. Паника еще больше усилилась. Одну каравеллу народ облепил так, что матросы начали сталкивать обезумевших людей в воду..

И вдруг Соломон увидел на пристани того самого обрванного нищего со спутанными волосами. И узнал его! И ему показалось, что человек этот улыбнулся ему горькой улыбкой.



Соломон остановился, пораженный. Он хотел сразу же сообщить о своем видении Эстер, но, обернувшись к ней, увидел такое, что тотчас же позабыл обо всем на свете. К ним навстречу шел сын Натан и вел за руку, как ребенка, молодую, но совершенно седую женщину с отрешенным лицом и погасшим взглядом.

Они не узнали — да и никто бы сейчас не узнал! — юную Авиву. А она — не узнала их. Столько мучительного и мерзкого пришлось испытать ей в замке Триана, куда, схватив прямо на рынке, притащили ее два монаха, что она скоро убедила себя в том, что уже умерла. А однажды стражники, утомленные вином и ее безжизненным телом, забыли запереть каменный мешок, где она сидела целыми днями в полной темноте, и она просто толкнула дверь и вышла. Она просто отодвинула засов и вышла, никого не таясь, и ее никто не остановил — как же живые могут остановить того, кто уже умер? А на дороге она встретила оборванного нищего с длинными спутанными волосами, и он молча взял ее за руку и вывел на дорогу в Севилью...

Но никто не знал об этом сейчас, кроме нее, а она никому не говорила, потому что ее окружали только странные незнакомые люди, которые зачем-то уплывали куда-то на кораблях. Они, по всему было видно, хотели взять ее с собой, и она поначалу испугалась: куда и зачем? Но потом почему-то почувствовала, что это правильно, что она тоже обязательно должна ехать куда-то с ними. Авива никого не узнавала, не узнавала она до сих пор и нашедшего ее Натана.

Корабли медленно поднимали паруса и уходили по Гвадалквивиру в полную неизвестность. Люди на палубах молились, голосили, пели грустные песни или угрюмо молчали.

Так всегда вели, ведут и будут вести себя все беженцы, бросая последний взгляд на родные места.

На следующий день Андалусия была совершенно свободна от иудеев.

*С годами еретиков в Испании не становилось меньше. Скорее — наоборот: казалось, работы Инквизиции только прибавилось. Организация функционировала как часы, все процедуры были тщательно отработаны и документированы. Отлаженная машина работала прекрасно, так не увольнять же было квалифицированный персонал! И Торквемада самоотверженно продолжал свое дело до самой смерти. Когда не стало иудействующих выкрестов, а новый, чистый мир так и не родился, подспела ересь протестантизма, и тут уж взялись за самых что ни есть кастильцев — только успевай поворачиваться. А потом — уже от ведьм житья не стало! А когда и тех пережгли, дошли и до священников, и покатались головы даже тех, кто сам был «подвижником святого дела». Супрема добиралась даже до некоторых архиепископов<sup>1</sup>.*

*В общем, ереси оказались поразительно живучими, а вот лесов, преведенных на костры, в Испании осталось мало.*

Уже в море, на пути в Константинополь, знакомый доктор Меннах сказал Соломону, что его невестке нужно просто выплакать свои муки, и тогда она вернется к жизни. Но у Авивы высохли слезы.

И тут Соломон повернулся и с радостью увидел, что с ними на одном корабле плывет и *тот нищий*. Бывший казначей видел, как он подошел к Авиве и что-то тихо ей сказал. И в тот же момент что-то живое промелькнуло в ее взгляде.

---

<sup>1</sup> Например, до архиепископа Толедского Бартоломео Карранса, умершего в 1576 году в застенках Инквизиции после семнадцатилетнего заключения.

А потом к девушке подошла Эстер, по-матерински обняла ее и протянула ключ. И девушка сразу его узнала. И все беды, вся злая память пролились на палубу обильными слезами. А потом она отняла от своего лица мокрые ладони и провела ими по лицу стоявшего напротив Натана и... назвала его имя.

Так ничего и не осталось от прежней их севильской жизни. Только ключи. Слово безмолвные свидетели того, что Дом — все-таки был... Ключи от оставленных по неволе испанских домов еще много столетий передавались теми, кто волею судеб оказался в Америке, в Марокко, в Турции, в Германии, в России.

Ключи надолго пережили надежду на возвращение. Многие уже не помнили, почему и зачем хранят они среди семейных реликвий эти тяжелые средневековые ключи, но по привычке все равно передавали их — детям, внукам, правнукам, словно какое-то странное, невнятное напоминание о чем-то потомкам. Говорят, ключи от домов в старых еврейских худариях Испании ходят по миру даже теперь, когда и двери, которые они могли бы открыть, давным-давно рассыпались в прах...

**Н**атан-Антонио, как многие другие изгнанные севильские корабли, оказался в Константинополе. Его сразу наняли на султанские верфи — у султана Байязида были большие военно-морские планы.

А в общем, все так и получилось, как мечтали они с Авивой тогда на берегу Гвадалквивира в той далекой, прошлой жизни. Натан построил добротный дом на берегу Босфора, и в нем вскоре зазвучал голос сына их, Соломона-Родриго, названного в честь покойного деда. И пахло в их доме свежей водой и ветром, и мимо по Босфору проходили каравеллы, построенные главным султанским ко-

рабелом Натаном-Антонио Эфрати. С огромными парусами, похожими на запряженные облака.

## Альгамбра, год 1515

Пожилой красивый человек сидел в кипарисовом кресле высоко над Гранадой. Он смотрел на дождь, на лежащие внизу холмы Сакрамонте и Альбасин, на равнину, простирающуюся, насколько хватало взгляда, на синеющие вдаль отроги Сьерра-Невады.

В эту галерею с резными окнами, нависшую над пропастью, словно ласточкино гнездо, приходили раньше мавры — эмир и его визири, и падали на колени, и возносили благодарность Аллаху, создавшему такую красоту и позволившему их глазам видеть ее. Они слишком любили красоту, эти мавры, даже Альгамбру сдали без боя, чтобы он не разрушил все это своими «ломбардами». Отдал бы он приказ — из пушек по Альгамбре? Конечно, отдал бы! Вот потому он и сидит сейчас в их дворце, в их Зале совета — Масуар — и вот потому над башней Торре де ла Вела развевается его, кастильское знамя. А вот Изабелле почему-то нравилась эта мавританская вычурность. Но она и украшения очень любила, его Изабелла.

— *Опять дождь, Исабель,* — сказал он негромко. *И, после паузы: — Ты спрашивала, не искупление ли это было детям за наши грехи? Ну посуди сама... — Он говорил с ней и был уверен, что она его — слышит. Она ведь похоронена здесь, в своей любимой Альгамбре, неподалеку — в монастыре Святого Франциска<sup>1</sup>. И под шелест дождя к старому королю*

---

<sup>1</sup> Позднее тело Изабеллы было перенесено в Королевскую часовню (La Capilla Real) в Гранаде.

*Фердинанду, словно намокшие голуби, стали слетаться воспоминания.*

Завтра исполнится двадцать три года с тех пор, как 6 января 1492 года они торжественно, под восторженные возгласы войска, въехали во взятую ими Гранаду.

Последний оплот мавров в Испании пал. Они с Изабеллой положили конец мавританскому владычеству в Иберии, которое длилось почти восемьсот лет. Для этого Господь избрал именно их.

Гранада сдалась без последней битвы. Население города было истощено голодом. Кастильцы уничтожили весь урожай, сожгли даже оливковые рощи <sup>1</sup>, почти год перекрывали все дороги, так что и турецкий султан, и мавры Северной Африки знали: к Гранаде им не пробиться. Потому и не пытались. Именно ради этого Фердинанд захватил сначала все порты побережья. Да, в латыни он не слишком был силен и на лютне играть не умел, но в войне-то наверняка кое-что смыслил! За то и ценила его Изабелла.

С ним тогда были славные товарищи — маркиз де Кадиз, герцог де Медина-Сидония, графы Тендилло и де Толедо и воин-поэт Гарсилассо де ла Вега. И, конечно, суровые воины-монахи Талавера и кардинал Мендоса — в доспехах под рясой. Даже старый и больной кардинал Каррильо взобрался ради такого случая на мула.

*Фердинанд вздохнул: никого, ни одного из них больше не было в живых. Все ушли. И с ними ушел век. Один он остался.*

---

<sup>1</sup> По неписаному закону войн в Средиземноморье нельзя было жечь оливковые рощи противника. Во-первых, потому, что оливковые деревья с глубокой древности считались здесь священными. Во-вторых, потому, что у оливы годы уходят на то, чтобы стать плодоносной; это срок, которого все равно придется ждать победителю в случае захвата территории врага.

*Их руки тоже, как и его рука, были больше привычны к рукоятке меча, чем к книге или тома́м законов.*

Эмир Боабдиль выехал им навстречу с ключами от города. Эмир хотел спешиться, чтобы вручить ключи — мавры любят эти драматические жесты: победитель—побежденный! — но Фердинанд сделал знак, что этого не стоит делать. Ему чем-то нравился Боабдиль. Фердинанд чувствовал, что, может быть, если бы тот крестился, из него получился бы неплохой христианин, может быть, даже и кардинал! Хотя нет, кардинал — вряд ли: слишком миролюбив и доверчив. Но монах из него точно получился бы гораздо лучший, чем эмир! Боабдиль был совершенно не похож на араба. Говорили, что по совету матери-испанки он даже волосы красил в черный цвет, чтобы больше походить на своих подданных. В Гранаде Боабдилья недолюбливали, считали чужим и слабым. Был ли он действительно слаб? Или просто сделал свой странный выбор — не быть сильным? Фердинанд затруднился бы ответить, но он не чувствовал в этом человеке слабости.

Передав ключи от города, эмир сказал Фердинанду непонятное: «Как часто люди оправдывают зло словами „так хочет Бог“, не имея в действительности никакого понятия, чего действительно Бог хочет. Разве в Книге написано: „убивай“? А мы — убиваем. И всё — Его именем». Он слишком много думал, этот доверчивый эмир! Потому и потерял Альгамбру — свой маленький миртовый рай на высоком холме Сабика.

Фердинанду не понравились эти слова: что имел в виду эмир, сказав «в Книге»? Он словно отождествил свой Коран со святой Библией! Но ведь Коран, как говорили Фердинанду, как раз и оправдывает убийства... Или — нет? Он не имел ни малейшего представления, что там было, в этом их Коране, и посмотрел на Изабеллу, ожидая увидеть

на ее лице возмущение. Но не увидел. К тому же ему не понравилось, как она смотрела на эмира. Словно он был равным! Она иногда так же смотрела на того генуэзского наглеца, Колумба, и это тоже не нравилось Фердинанду!

Как же все-таки глупы бывают люди: Боабдиль, ясное дело, не понимал, что мир возможен только тогда, когда все будут исповедовать истинную веру, не ранее. Вот тогда и кончится кровь. И наступит Царство Божие. У Фердинанда была мечта — положить начало Царства Божия в Кастилье! И для этого все должны стать добрыми христианами, безо всяких этих мусульманских или иудейских, не к ночи будь они помянуты, верований.

Сегодня — Кастилья, а завтра — весь мир станет исповедовать Христа! И Бог избрал для этой священной миссии их — Фердинанда и Изабеллу! Иначе почему это магическое число — 777 — число лет, по истечении которых закончилось владычество в Испании мавров? Такие вещи не бывают совпадением. «Не может это быть простым совпадением!» — думал и теперь Фердинанд, глядя на Гранадку сквозь серую дымку январского полуденного дождя.

Как бы то ни было, эмир Боабдиль был также и реалистом, и, когда стало ясно, что его же подданные в городе готовят против него мятеж, он вступил в тайные переговоры о сдаче.

Он потребовал от Изабеллы и Фердинанда, чтобы всем мусульманам Гранады была гарантирована свобода молиться по традициям предков, потребовал обещания, что не будет насильственных крещений, что его бывшим подданным позволят носить привычную одежду и жить по своим обычаям. И они поначалу действительно намеревались так и сделать — мятеж целого эмирата, даже и покоренного, был бы слишком большой угрозой. Более того, они предложили снарядить корабли в Северную Африку для тех, кто решит все-таки покинуть Гранадку в течение

двух лет. Боабдиль был согласен на эти условия. А ему самому они выделяли небольшое поместье в Альпухарре.

Мать Боабдила, валидэ<sup>1</sup> Айша, находилась во время передачи ключей в свите сына. Ее лицо было закрыто плотной вуалью до самых глаз, и они, темно-синие, красиво подведенные, так и сверкали ненавистью. Эта испанка, всю жизнь прожившая среди мавров, убеждала сына не верить ни Фердинанду, ни Изабелле. «Мира между нами не будет — они не смирятся с нами, мы не сможем жить рядом и не воевать, слишком много уже пролито и нашей, и их крови», — говорила она ему.

Но Боабдиль не видел другого выхода. Его уже привлекала идея поместья в Альпухарре, где он мог бы доживать со своими женами, детьми и книгами и не думать о войне. Может быть, он мечтал создать там новую Альгамбру? Он знал, что мать Айша презирала его за это. Она мучительно завидовала Изабелле, своей ровеснице. Она хотела бы иметь свое войско и власть, чтобы самой защищать свой эмират, но, конечно же, не могла ни о чем подобном даже мечтать и потому ненавидела кастильскую королеву, которая сейчас отнимала у нее все. И Айша винила во всех бедах сына.

Фердинанд думал теперь, что жизнь не бывает ни несчастливой, ни счастливой — в ней просто выдаются иногда очень несчастные, иногда очень счастливые дни. Одним из таких очень счастливых — был день Крещения, 6 января, когда они въехали победителями в ворота города, взятого наконец после многомесячной осады. Боя не было. Однажды утром они вдруг увидели, что все ворота в город широко распахнуты и на стенах — ни одного лучника. Гранада пала!

---

<sup>1</sup> *Родительница (арабск.)* — официальный титул матери мусульманского правителя.



Первыми в город вошли граф Тендилла и иеронимит Талавера. Отныне жизни Талаверы и графа стали неразрывно связаны с Гранадой: граф стал в ней губернатором, Талавера — архиепископом.

Тогда кастильские идалго и совершили подвиг во имя Христа — на своих плечах они подняли колокол по узкой крутой лестнице башни Торре де ла Вела. Могучее «боммм-боммм-боммм» разнеслось над вегой, над мавританским дворцом, над мечетью с ее остроконечными, словно нацеленными в небо копьями, минаретами. И тогда же на башне взвился кастильский флаг.

Воинство, заполнившее дворик и облепившее башни Альказабы, встретило его громовыми восклицаниями: «Сантьяго! Кастиль!»

А потом они установили на этой же башне и большой серебряный крест, который давно ждал своего часа в лагере Санта-Фе. Крест засиял в солнечных лучах, и по долине раскатился пушечный салют. И все как один — войско, королева, придворные, маркитанты, шедшие за войском, гранды и простолюдины — в едином порыве опустили на колени и запели «Te Deum Laudamus» — «Тебя, Господь, славим!». Суровые воины не стеснялись слез и не утирали их.

И эти колокола в день Святого Крещения, и это пение тысячью голосов самого прекрасного гимна во имя Христа возвещали начало новой, христианской Гранады, новой, христианской Испании, приход нового, чистого мира единственно истинной веры, который теперь непременно должен был родиться. Все думали, что теперь для них, для Кастильи, нет ничего невозможного. Что они — исполнили то, чего хотел Бог, что Он с ними, и это — навсегда.

Фердинанду потом рассказали, что, когда нагруженный скорбом и скорбью караван Боабдила — чада, домо-

чадцы, слуги и рабы — достиг холма, с которого в последний раз еще можно было видеть Альгамбру, Боабдиль обернулся. На самой высокой башне цитадели Альказабы — Торре де ла Вела — уже развевались кастильские знамена, звучал колокол и слепил глаза серебряный крест.

На глаза у бывшего эмира навернулись слезы. И тогда сорокалѣтняя валидэ Айша одной рукой натянула поводья коня, другой — откинула вуаль, приблизила лицо к сыну и безжалостно процедила сквозь зубы по-испански: «Лей слезы, как женщина, о том, чего не смог защитить как мужчина!» И, гикнув, поскакала вперед.

*Слуга-мавр бесшумно приблизился с поклоном, спросил, не укрыть ли королю ноги и не принести ли горячей воды с сахаром и мятой. Фердинанд сказал, чтобы принес и того и другого и еще подогретого вина. Дождь все не переставал.*

Ах, что это был за год! Через несколько недель после взятия Гранады к ним опять пожаловал генуэзец Колумб. Фердинанду никогда не нравился этот человек, несмотря на все великое, что дал ему совершить Господь. Этот сын генуэзского торговца шерстью возжелал стать адмиралом и вице-королем! А вообще он был темной лошадкой — до сих пор толком неизвестно, было ли хоть на грош правды в том, что он говорил о себе: после его смерти в бумагах не нашли ни одной даже самой маленькой записки по-итальянски, зато личный журнал плавания он почему-то вел на отличном греческом.

Когда человек скрывал свое происхождение, в Кастилье этому могло быть только два объяснения: или он незаконнорожденный, или еврей. И не нравилось Фердинанду, как замороженно смотрела иногда на этого генуэзца Изабелла. Ничего такого особенного в нем не наблюдалось. Одного у него было с лихвой — упорства.

*Фердинанд покачал головой. И вполголоса произнес фразу, которую, как заклинание, повторял Колумб во время нескольких аудиенций: «Buscar el Levante por el Poniente»<sup>1</sup>.*

Как будто об этом не знали кастильские географы, да и просто капитаны в Палосе! Но генуэзец уверил себя, что это не только выполнимо, но и выполнимо довольно легко. А там — полная золота страна Сипанго, Индия, великий хан, великолепные города и богатства — все, что описано у Марко Поло. Конечно, это были фантазии, и дорогие фантазии! Во все времена мореходы цеплялись за берега от порта до порта — как дети, что учатся ходить. Он — первый оторвался от берегов. И достиг-таки своего.

Вот тогда, после взятия Гранады, и им казалось, что они оторвались от привычных берегов и достигли своей мечты, и нет теперь ничего невозможного! Очевидное намерение Колумба нести свет истинной веры жителям всех этих сипангов и индий показалось заманчивым. И все же даже тогда сделать то, о чем просил генуэзец — дать ему флотилию, было сложно. Война ополовинила казну. Но Сантангел, его казначей...

*Слуги принесли столик, горячую мяту, вино. Он не дал укутывать себе ноги — он еще не старик, с молодой-то красавицей женой не имеет права! Где она сейчас?.. Ах да, у дяди, в Париже! Он набросил шерстяной плед на колени и взял из рук мавра бокал. Пригубил. Вино было замечательным, из окрестностей Гранады. Он любил терпкие вина этой горячей, рыжей, словно высохшая кровь, земли. Вот чего никогда не могла понять Изабелла — вкуса хорошего вина...*

*Так о чем он? Ах да, Колумб, генуэзец...*

---

<sup>1</sup> «Достичь Востока, плывя на Запад» (исп.).

К Фердинанду тогда пришел казначей Сантангел. Его верный *converso*, тоже теперь покойник. Сантангел тогда совершенно неожиданно попросил за Колумба. Да не просто просил, а ходатайствовал с несвойственной ему настойчивостью. Фердинанд понимал, что должны быть очень уж веские причины, чтобы заставить Сантангела подумать о расходе денег Короны.

Уж как только Торквемада ни подбирался к его Сантангелу — не получилось! В этом Фердинанд был непреклонен: руки прочь от королевского казначея! Бывший иудей был гением во всем, что касалось денег. Не кардиналов же Супремы нанимать управляться с казной! А когда появились заокеанские колонии, сложностей с финансами добавилось десятикратно! И со всем Сантангел справлялся, и всегда находил источники дохода там, где никто не мог и подумать. Больших способностей и честности был человек, даром что *converso*! Инквизиции они его не отдали. Он умер своей смертью. Вскоре после Хуана, их мальчика...

*Фердинанд вспомнил о Хуане и помрачнел. Если бы жив был доктор Бадос, может быть, и их мальчик остался бы с ними! Да, Бадоса спасти от Торквемады не удалось: слишком быстро и нагло тот действовал, словно хотел показать, что власть Супремы выше власти королей.*

Тогда Фердинанду главный инквизитор стал особенно неприятен. Еще и тем, как он всегда мог влиять на Изабеллу. В виновность доктора Бадоса Фердинанд никогда по-настоящему не верил. Просто Торквемада хотел досадить ему из-за Сантангела.

А Колумб... Сантангел уже знал, что Инквизиция убедила их величества подготовить эдикт и изгнать иудеев из Испании и всех ее территорий. Фердинанд думал, что

казначею давно безразлична судьба бывших единоверцев. Оказалось, нет. Не иначе как, отчаявшись, богатые иудеи подумали, что, если одержимый генуэзец откроет путь в Китай и Индию, их соплеменники смогут уйти в эти земли. Потому казначея или они попросили, или сам он, по собственному почину, так старался. Нашел неожиданные статьи доходов, недополученные штрафы с контрабандистов Палоса. Поговаривали, что богатый еврей Абрахам Сенеор дал Колумбу личные деньги.

Надеяться на исход в мифическую землю за океаном могли только те, кто достиг последней степени отчаяния. Ну что ж, Фердинанд тоже понял тогда намерения Сантангела. Поняла и Изабелла. И именно поэтому дала тогда согласие на фантастическую экспедицию генуэзца, которую после четырех лет рассмотрения решительно признавали фантазией самые авторитетные ученые Кастильи. А генуэзец, поди, так и думал, что это — его заслуга! Хотя его упрямство, конечно, тоже роль сыграло...

А евреев изгнали бы все равно. Вся Кастилья была за это, и как они, правители страны, могли поступить иначе? Люди были разгорячены победой над маврами, непременно опять начались бы погромы. Если разобраться, изгнание, возможно, многих избавило от гибели. Но дело не в этом.

И он и Исабель — оба были уверены, что иудеи и впрямь затягивали обращенных обратно в болото иудаизма. Фердинанду казалось, что после объявления эдикта обращений в христианскую веру будет происходить намного больше, чем их последовало. Иудеи оказались невообразимо упрямыми. Это вообще упрямый народ. Может, правду болтали, что и Колумб был евреем, отсюда и его упрямство? Но нет, упрямство Колумба было другого сорта.

Ну да теперь он думал об адмирале без неприязни. Какой мужчина был бы не поражен его Изабеллой! Но любила она всегда только его, и никого больше. А землю генуэ-

зец все-таки нашел, а позднее — и золото, и много, и как нельзя кстати. Но королева в нем к тому времени совершенно разочаровалась: она порицала работорговлю, а генуэзец как раз ею и занялся. Вместо обращения индийских душ. Особенно привело ее в ярость, когда *almirante*<sup>1</sup> начал раздаривать привезенных с собой индейцев своим друзьям — как экзотических птиц, которых тоже привез с собой.

К тому же на канарском острове Гомера генуэзец времени не терял и оказался не промах — залучил-таки в постель перед своим героическим плаванием в незнаемое зеленоглазую губернаторскую вдову Беатрису де Бобадиллья, его, Фердинанда, бывшую пассию, с которой так решительно разлучила его Изабелла. Ревнива была... Как это было давно! А губернатор Перес оказался порядочным человеком, воспитал-таки его сына как своего. Интересно, сколько ему сейчас? Наглец навигатор, судя по всему, имел слабость на его, короля, женщин. Неслучайно Феодинанд перехватывал иногда его взгляд на Изабеллу...

Но он опять сбился с мысли... Да, Альгамбрский эдикт! Ну и скандал, да еще при всех, устроил тогда Торквемада! Они сидели за столом с двумя самыми влиятельными и богатыми евреями Кастильи — Абрахамом Сенером и Исааком Абраванелем.

Эти двое обещали отдать любые деньги, любые ценности, все, что у них было, все без остатка, за позволение евреям остаться на родной им кастильской земле. Сумма выходила гигантская — более сорока тысяч дукатов.

Фердинанд заколебался: на эти деньги можно было освободить от мавров всю Северную Африку и присоединить ее к Кастилье. Но он посмотрел на Изабеллу и понял,

---

<sup>1</sup> *Almirante* — адмирал (*исп.*). Титул Колумба, пожалованный ему Изабеллой и Фердинандом после открытия им новых земель.

что решение уже принято. Об этом хорошо сказала тогда Изабелла Абраванелю: «Неужели ты думаешь, что все это на ваш народ исходит от нас? Короли — лишь орудия Бога». И прибавила, что полтора миллиона мараведи, которые задолжала этим евреям кастильская Корона, будут выплачены незамедлительно. Евреи посмотрели на них погасшими взглядами — им стало ясно, что приходили они зря...

И тогда Фердинанду вспомнились ни с того ни с сего слова эмира Боабдила — о том, что люди часто думают, будто делают так, как хочет Бог. Когда на самом деле... Ну да что там повторять слова глупого побежденного мавра! Вот тут дверь и распахнулась, и в зал влетел Торквемада — в развевающейся рясе, с распятием в руках. Ему сказали, что Сенеор и Абраванель пытаются откупить евреев от изгнания.

Торквемада был страшен, и Фердинанд тогда подумал сначала, что он — пьян. Но потом понял, что это просто приступ нечеловеческого гнева.

«Иуда Искарriot продал Христа за тридцать сребреников!! — завопил инквизитор прямо в лицо ему и Изабелле. — Я принес Его вам, может, *они на этот раз* дадут вам за Него повыше цену!» И грохнул распятием о стол, за которым сидели они с евреями. Те даже не вздрогнули, просто смотрели на Торквемаду. А тот, уже взяв себя в руки, в упор смотрел на него, Фердинанда, и Изабеллу... Королева тогда мертвенно побледнела, даже губы ее побелели. Она долго не могла прийти в себя после этого, молилась, исповедовалась Талавере и вечером даже согласилась выпить немного красного вина, чтобы заснуть.

Многие евреи после эдикта побежали тогда в Португалию, и король Мануэль I их принял. Португалия всегда видела в Испании конкурента. Вот потому там и приветили испанских евреев, полагая, что в них кроется секрет процветания Кастильи.

*Фердинанд усмехнулся и отпил еще.*

Но недолго продолжалось еврейское благоденствие в Португалии. И конец ему положила Исабель, их с Изабеллой любимица дочь. После смерти обожаемого мужа Альфонсо она едва не наложила на себя руки — перестала есть, носила только траур и густые вуали, совершенно закрывавшие лицо. Молила родителей отпустить ее в монастырь. Но тут к ней посватался новый король Мануэль. Терять союз с дружественной португальской Коронай было бы для Кастильи неразумно, и Исабель уговорили остаться в миру. А она настояла на необычном свадебном подарке от жениха — изгнать из пределов Португалии всех евреев, как это сделали родители в Испании. Мануэль, благоговей перед своей благочестивой невестой, сделал бы все, что она пожелала.

*Фердинанд подумал, что, отпусти они тогда дочь в монастырь, она была бы теперь жива. Он и не заметил, как мысли его обратились к самому больному — к детям. Приказал принести себе еще вина. Мятная вода остывала, он приятно хмелел. Дождь перестал, но небо оставалось низким и серым. Пряно пахло мятой от серебряного чайника и апельсинами — из сада.*

Еще после смерти Альфонсо на той злополучной охоте спокойствие и уравновешенность двадцатилетней Исабель сменились апатией и безразличием ко всему. Не изменило ничего и ее второе замужество. Фердинанд смотрел на нее, когда она вскоре после свадьбы приехала к ним в Испанию, и думал, как его дочь непохожа на мать: Изабелла-старшая источала энергию, и если она находилась в комнате, то словно заполняла ее собой.



*Он опять задумался. Уже о другом: несмотря на все формальные признаки их равного правления, он все равно оставался в тени Изабеллы. Всегда на вторых ролях. Но сейчас это больше не волновало его. Он не боялся таким и остаться в истории — остаться в тени самой удивительной женщины Европы. Все они были в ее тени, и всегда теперь будут. Так что — ничего страшного!*

А бедная дочка, бедная Исабель словно предчувствовала свою смерть от родов. Так она им об этом и сказала. Даже сына своего увидеть ей не довелось — была без чувств, когда малыш сделал первый вдох. Изабелла слегла после этого на целый месяц. Малыша назвали Матиасом, и он был теперь единственным наследником Короны. Но и он умер у них руках, не дожив и до двух лет, и на него уже не оставалось даже слез: безногая старуха с косою уже вовсю продолжала жатву в его семье, а начала она — с единственного сына!

Когда принцесса Маргарита Австрийская<sup>1</sup>, невеста их Хуана, единственного наследника кастильских земель, появилась впреди своей кавалькады на арагонской границе, где ее встречали Фердинанд с сыном, их поразило увиденное. Сказать, что светловолосая глубокая невеста была прекрасна, значило не сказать ничего: в платье из расшитой жемчугом золотой парчи, она казалась видением горних сфер.

И венчание Хуана и Маргариты в 1497 году стало событием, которое в Бургосе потом просто называли Свадьбой и приняли как точку отсчета — все события в Бургосе с этого дня определялись как те, что совершились *до* свадьбы принца Хуана и *после* нее. Принц был еще более бледным, чем обычно, и не отводил взгляда от невесты, слов-

---

<sup>1</sup> Дочь императора Максимилиана.

но отведи он взгляд — и всякая жизнь в нем прекратилась бы. Еще доктор Бадос предупреждал Изабеллу, что принцу вредно чрезмерное физическое напряжение...

Да, Хуан был не в отца: мало интересовался турнирами и соколиной охотой, но зато свободно владел латынью, греческим, итальянским, сочинял музыку и писал стихи. Учителем его был этот... итальянец... как его?.. В общем, очень известный гуманист...

Целых шесть месяцев молодые почти не выходили из своих покоев в Бургосе, и врачи предупреждали Изабеллу, что принцу нужно создать условия для отдыха — поспать отдельно от жены хоть несколько недель, ибо любовь убивает его в самом прямом смысле. Но Изабелла ответила им на это словами из Евангелия от Матфея, что тех, кого соединил Бог, не должны разделять люди.

Как сумасшедший, гнал Фердинанд тогда ночью, под октябрьским дождем коня в Сарагосу, куда поехали молодые и откуда примчался на взмыленной лошади гонец со срочной вестью, что их мальчику — совсем плохо. С горсткой всадников король понесся к сыну. Копыта лошадей скользили по грязи, лужи на дороге были что озера, но он ничего не видел и ничто не могло его остановить! Дождь был соленым на вкус.

Он ворвался в спальню к сыну, с него потоками стекали грязь и вода. Маргарита сидела у постели Хуана, у ее ног лежала любимая охотничья собака сына — Бруто. Фердинанд мельком глянул на Маргариту. Даже у постели умирающего сына он, мужчина, не мог не отметить, как она была хороша! Бог избрал для принесения в жертву его сына самое красивое и совершенное орудие. Фердинанд на миг остановился, его потрясла мысль: как, почему он подумал о жертве? Искупление? За что?! Папа римский, весь мир не называет их теперь иначе как католическими величествами, ревностно и неукоснительно выполняющими Божественную волю.

Хуан с трудом открыл глаза, и Фердинанд начал что-то бормотать сыну о том, что тот — непременно поправится, о том, что... Он теперь уже не помнил. А сын слабо улыбнулся и сказал: «Отец, я рад, что умираю. Мера счастья, которую Он дал мне, была так велика, что неизменно закончилась бы разочарованием. Я счастлив, что буду от этого избавлен...»

Ему было восемнадцать лет, и он всегда был философом и не по годам умницей, его несчастный мальчик.

Фердинанд забылся сном только на рассвете, и тогда же его разбудило собачье поскуливание с подвываниями. В темные еще окна голыми ветвями, словно плетями судьбы, хлестала осенняя буря...

Он вернулся в Алькантару с любимой собакой сына. Изабелла встретила его с обезумелыми от беспокойства глазами. Он не мог сказать ей о смерти сына, язык словно распух во рту. Но, увидев пса, с которым сын никогда не расставался, она и сама все поняла. Присела, обняла Бруто за голову, словно собака и была ее Хуаном, и заголосила. Не как королева, в жилах которой текла благородная кровь Траста́мара и Ланкастеров, а как голоса андалусийские крестьянки.

Но было и еще что-то, о чем он никогда и никому не расскажет до смертного часа. От чего он похолодел. Изабелла выкрикнула проклятие *Ему*. А потом стала словно сомнамбула и уже не отпускала Бруто от себя никогда, словно это было последнее, что оставалось ей от сына. Сейчас, вспоминая тот день, Фердинанд понимал, что именно тогда умерла прежняя Изабелла. Существо, которое продолжало жить, было уже другим человеком. На все соболезнования они отвечали, что смиренно принимают испытание, которое посылает им милостивый Господь.

Вся жизнь их тогда разделилась на «до» и «после».

А вдова сына, Маргарита, оказалась беременной, и это чуть облегчило боль потери. Они осыпали ее ласками и драгоценностями. Они так ждали этого ребенка, который должен был стать продолжением Кастильской династии! Но невестка не доносила до срока...

Надежда кастильского трона! Врачи сказали, что это был мальчик, и вынесли им в простынях окровавленный кусок плоти, в котором с трудом угадывалось что-то, похожее на человеческое существо...

Еще одно искупление? Смерть забрала Исабель, Хуана, кроху Матиаса и вот теперь — новорожденного внука... Гибли наследники. А когда чуть утихала скорбь, обдавал холодом страх: королевство, которому они посвятили труды всей своей жизни, после них прекратит свое существование. Фердинанд хорошо представлял себе такую свою Кастилью — разоренную, распавшуюся и расташенную на части, ставшую легкой добычей загребущих рук французских королей.

Они облеклись в глубокий траур. Вся Кастилья оделась в *gorras de luto*<sup>1</sup>. И только события не менее трагические, заставившие злословить и сплетничать об их семье всю Кастилью и всю Европу, вынудили их снять его.

А потом на голову свалилась еще одна беда — мавры в Гранаде отказывались креститься. Талавера был слишком мягок. Да, все это прекрасно — христианские приюты для арабчат, оставшихся во время войны без родителей, монастыри для обращенных женщин... Но со времени взятия Гранады прошло почти семь лет, а большинство населения все равно оставалось мусульманским.

Многие продолжали говорить на арабском, не ели свинины, женщины закрывали лица. А ведь казалось, что уж семи-то лет наверняка достаточно, чтобы сделать Гра-

---

<sup>1</sup> Траур (*исп.*).

наду христианским городом, чтобы и памяти о мусульманских годах не осталось!

А Талавера — все о своем: что обращение — дело тонкое, речь идет о человеческих душах, тут спешить нельзя, что обычаи людей нельзя поменять в течение жизни одного поколения, что перевоспитывать взрослых трудно, что надо направлять усилия на подрастающее поколение, их надо воспитывать христианами.

Изабелла тоже вдруг как-то размягчилась, и даже сказала, что, может быть, Талавера в чем-то и прав. А он, Фердинанд, считал, что пора оставить эти сантименты — раз живут теперь в христианской стране и стали подданными католических королей, так пусть и ведут себя соответственно! И при чем тут «воспитывать»? Речь ведь идет — о крещении! Нерешительность в вопросах веры — это крайне вредно, можно многое испортить!

Но, скорее всего, Талавера был плохим миссионером и неубедительно объяснял преимущества истинной веры. Да и стар он уже был для таких дел...

Они с Изабеллой старались по-хорошему, уже и налоги обращенным снизили, и Инквизицию не стали сразу в Гранаде учреждать, и даже денежное вознаграждение ввели для новообращенных — все равно дело шло медленно. Пока не пришел кардинал Тиснерос.

Вот у него сразу получилось! Суровый аскет-францисканец к Рождеству 1500 года, всего за несколько месяцев, обратил целых три тысячи человек, в десять раз больше, чем удалось Талавере за все семь предыдущих лет! Ходили, правда, слухи, что его монахи похищали у родителей необрезанных младенцев и крестили их, чтоб тогда у родителей не было выхода, но это, скорее всего, были просто слухи.

Однако, возможно, Тиснерос и впрямь слегка перегнул палку. Особенно — приказав звонить в колокола день и ночь не переставая, пока оставшиеся необращенными мавры не

придут в церковь Христа, и также тем, что велел свалить на площади в большую кучу и сжечь тысячи тысяч этих разрисованных бесконечными узорами магометанских книг.

Но Тиснеросу так хотелось превзойти Талаверу в глазах Фердинанда и Изабеллы... Именно из-за его рвения потом начались такие мятежи мавров, что королю пришлось лично вести на Гранаду войска, и целые кварталы на холмах Альбасин и Сакрамонте были объаты огнем.

Мятежники забросали камнями губернатора Тендиллу и его семью — у него был на Альбасине дом, и он пытался вывести с мятежного холма жену и своих девочек. Говорят, толпа окружила их, и полетели камни. Алькальд заслонил собою жену и дочек и был ранен, и тогда ему на помощь пришел Талавера — безоружный и без всяких доспехов. Талавера встал перед погромной толпой, и... Что уж он такое сказал — неизвестно, но *его* мавры... послушали. Так алькальд и его семья остались в живых.

И все же тогда уже стало ясно, что христианами гранады подобру не станут. К тому же отказавшиеся креститься пагубно влияли на обращенных — в общем, все так же, как и с евреями. И пришлось издать в Севилье эдикт, как и с теми... Времени им дали два месяца — креститься или быть выдворенными. Вот только условия выдворения были теперь построже. Нет, старое правило, согласно котрому забрать с собой разрешалось только то, что можно было унести в руках, и никакого золота и серебра — оставалось, но вот покинуть Испанию им разрешалось только из одного порта в Стране Басков, и капитаны каравелл были строго предупреждены: ни при каких обстоятельствах не высаживать беженцев там, откуда они легко могли бы попасть в Северную Африку или Турцию, — чтобы не повторилась та ошибка, какая была совершена с евреями, когда изгнанные только усилили другие мусульманские страны.

Также в небольшом бискайском порту легко можно было проследить за их отправлением и проверить, не берут ли они с собой оружие или другие запрещенные вещи. Фердинанд и Изабелла ожидали, что теперь-то дополнительные сложности отбытия и явные преимущества крещения заставят огромное число мусульман стать на путь истинной веры. Но все эти два месяца мусульмане тащились нескончаемыми молчаливыми караванами, везя в телегах стариков, женщин с младенцами — через всю Испанию на север... Говорят, путь этих «караванов» прозвали Camino de las Lagrimas — «Дорога Слез». Фанатическое упрямство!

*Фердинанд был в Бискайе однажды. И теперь, когда подумал о море, о кораблях, это всколыхнуло еще одну застарелую боль.*

Младшая дочь Хуана не писала им ни слова целых шесть лет — с тех пор, как вышла замуж за Габсбурга Филиппа Красивого и стала эрцгерцогиней Австрийской. Она уплыла по штормовому морю из порта Ларедо в Бельгию, даже не оглянувшись с палубы в сторону родной земли и не помахав рукой стоявшим со свитой на берегу родителям. Это больно ранило Изабеллу. Но Фердинанда ранило еще больше, потому что Хуана была его любимицей и его гордостью — она была не только замечательная красавица, самая красивая из дочерей, но и лучше остальных усвоила латынь, и вообще любые языки выучивала быстро и без всякого труда. И так похожа она была на его горячо любимую покойную мать, что он называл дочку «моя маленькая мама».

Нет, он не мог понять: почему дочери даже на родителей тогда не оглянуться? Прежде не понимал, но теперь ему все было ясно... Уплыла, и шесть лет — ни строчки! Даже когда умерли брат, а потом, от родов, сестра — ничего. Даже тогда...

Уже родилось у Хуаны с Филиппом двое детей — мальчик Карл и девочка Изабелла, но король и королева Испании узнавали обо всем только от своего посла во Фландрии дона Матиенсо. Он же и сообщал им, что далеко не все ладно с новой жизнью Хуаны и ее замужеством. Отчеты о свадьбе были какие-то странные, как будто от них старались что-то скрыть.

Так никогда и не узнали Изабелла и Фердинанд, до какой степени скандальной была первая встреча их дочери и ее жениха в бельгийском Льере. Филипп без всяких церемоний вошел прямо в покои своей только что прибывшей невесты, взял ее пальцами за подбородок, чтобы хорошенько рассмотреть лицо. А потом повернулся к своим и ее придворным и привел всех в ужас приказанием, чтобы их обвенчали немедленно и привели ее к нему вечером в опочивальню, поскольку невеста ему весьма по вкусу.

Капеллан принцессы Диего Веласкуэзо тогда строго заметил, что требование венчаться немедленно — неслыханное нарушение всех обычаев, что подготовка к королевскому венчанию, достойному правящих домов Кастильи и Габсбургов, займет по меньшей мере неделю, что есть масса государственных формальностей, несоблюдение которых было бы крайне неприлично и вызвало бы пересуды во всей Европе.

И тогда невеста сделала нечто, что потрясло всех даже больше, чем поведение ее жениха. Почти срываясь в истерику и не сводя глаз с Филиппа, Хуана прокричала почтенному капеллану, чтобы тот венчал их немедленно, как приказано, а иначе она пойдет в опочивальню жениха без всякого венчания. И, при всех, прошептала: «El hermoso...»<sup>1</sup> — сама впиалась в губы Филиппа в долгом блудном поцелуе. Все поражено замерли. Парой, однако, они были изумительно

---

<sup>1</sup> «Красивый...» (исп.).



красивой, это нельзя было не признать. Так начался их злополучный брак.

Потом доходили слухи, что Филипп обращается с Хуаной очень дурно, но подробности были или слишком противоречивы, или слишком отвратительны, чтобы им поверить. Да и что можно было поделать? От самой Хуаны известий не было, а вмешиваться в ее жизнь при дворе мужа родители не имели никакого права. Больше всего тревожили слухи, что дочь якобы забыла Бога, не бывает больше на мессах и исповедях. Они не могли в это поверить. Но потом из Брюсселя были отправлены обратно фрейлины-испанки, потом — послы и исповедник Хуаны. В конце концов при дворе Филиппа не осталось ни одного из ее испанских подданных. И у матери с отцом теперь совсем не было о дочери никаких известий.

Но вот теперь получалось так, что Хуана и Филипп оказались единственными наследниками кастильского престола и должны были принести присягу перед кортесом как официальные принц и принцесса Астурийские<sup>1</sup>. И в 1502 году кортеж Филиппа и Хуаны пересек границу Кастильи.

**К**ак ждали Фердинанд и Изабелла этой встречи с дочерью! И ждали, и страшились после всех доходивших до них слухов. Каким в реальности окажется их зять, неожиданный наследник кастильской короны, о котором они слышали только плохое? Детей чета оставила в Брюсселе, а Хуана была беременна в четвертый раз. Изабелле и Фердинанду отчаянно хотелось наладить хорошие отношения с дочерью и зятем. Им хотелось, чтобы их королевство произвело на Филиппа и Хуану хорошее впечатление, по-

---

<sup>1</sup> Официальный титул наследников престола.

этому в Толедо были сделаны все приготовления для самого пышного приема. И ради этого даже отменили траур по сыну.

Однако на пути в Толедо, в небольшой захолустной деревушке Филипп заболел ветряной оспой.

Фердинанд сразу понял обеспокоенный взгляд Изабеллы и поскакал туда с небольшой свитой. В крошечном замке местного аристократа царил запах сырых овечьих шкур, и здесь отец увидел свою дочь. Хуана стояла на лестнице и держала в руках какую-то ветошь. Она похудела и стала еще красивее. И словно не было этих шести лет разлуки: «Девочка моя!» — бросился он ей навстречу. Но она посмотрела на него очень странно, словно не видя. И повернулась, и пошла наверх по лестнице. Потом все же обернулась:

— Он болен. Мой муж очень болен. Это конец. Если он умрет, я не переживу.

**Ф**ердинанд вздохнул и вошел в комнату, где на грубых домотканых простынях лежал бледный Филипп. Да, плохо начинался этот его визит в Испанию. Он приподнялся на локтях и сдержанно кивнул Фердинанду. Тот ответил таким же сдержанным кивком.

— Я просил тебя принести чистую рубашку час назад! Боже, как бестолкова! — зарычал Филипп тут же на Хуану, и та с подобострастием бросилась выполнять его приказ.

Кровь бросилась Фердинанду в голову, и ему стоило огромного труда сдержаться и не стащить наглеца с постели, но король сдержался: зять был болен, он — гость, и теперь, вместе с Хуаной, единственный наследник престола. Поразило Фердинанда и то, что при дочери не было ни служанок, ни фрейлин, одна мужская прислуга.

Зять быстро поправлялся, и вскоре они уже торжественно въехали в Толедо. Изабелла не спускала с дочери глаз. Та обняла мать, и они уединились на целых полтора часа. О чем была их беседа, Изабелла никогда не рассказывала в подробностях, но после этого в ее глазах появилось какое-то затравленное выражение. Фердинанду она сказала только: «Все гораздо хуже, чем нам сообщали». Но пояснять ничего не стала. И хорошо, а то, вполне вероятно, отец мог бы не удержать себя в рамках приличий. После этого Фердинанд еще больше невзлюбил зятя.

Однако внешние приличия соблюдать следовало. И их соблюдали. Окрепший эрцгерцог принимал участие в турнирах, роскошных пирах, потешных баталиях «Взятие Гранады», оказался большим поклонником соколиной охоты и боя быков. Но по ночам, к вящему любопытству испанских придворных и слуг, из покоев четы раздавались то слишком громкие стоны любви, то крики, площадная ругань, падение предметов, хлопанье дверей и отчаянный женский вой.

Почти сразу же после принесения присяги кортесу, сославшись на неоложные дела, Филипп неожиданно покинул беременную жену и, несмотря на все ее униженные мольбы, отбыл со своими фламандцами в Брюссель. Да к тому же еще и через территорию Франции, где принял приглашение французского короля. Мало того, он потом несколько месяцев пировал в его луарском замке Блуа, словно издеваясь: ему прекрасно было известно о весьма осложненных отношениях Фердинанда и Людовика XII — короли находились в состоянии войны!

Вот тогда-то и начался для них с Изабеллой сущий ад. Подальше от людских глаз и языков они переехали с беременной Хуаной в крепость Аревало — туда, где когда-то окончила свои дни безумная мать Изабеллы. Обветшавший дворец ремонтировали, и им пришлось поселиться в

той же самой крепости, под которой протекала река. Потом Фердинанд думал, что этого не следовало делать — может быть, это проклятое место и свело Хуану с ума окончательно.

Она бросала посудой в слуг, отказывалась от пищи, таскала за волосы служанок, кричала ему и матери, что ее муж Филипп ненавидит их и она тоже ненавидит их, ненавидит их дурацкие мрачные обычаи, их вытянутые лица, их тяжелые платья, их Инквизицию, их вечные мессы, молебны, исповеди и посты. Она кричала им, что хочет домой, к мужу, во Фландрию, где люди радуются жизни, а не вечно молятся, где едят жирную говядину, танцуют на ярмарках и пьют пиво даже женщины!

При воспоминании о женщинах Фландрии она часто переходила буквально на вой и кричала, что должна ехать немедленно, пока Филипп не пере...л всех фландрских потаскух! Потом она могла часами раскачиваться на стуле и выть. Живот ее все увеличивался, и родители молили Бога, чтобы хоть новорожденный отвлек Хуану от черных мыслей. Изабелла думала, что новый переезд поможет дочери отвлечься от черных мыслей, и они вместе переехали в Алкала де Хенарес, неподалеку от Мадрида.

Фердинанд, обеспокоенный агрессивным поведением Франции, отбыл с войском в Арагон и не знал, что пришлось пережить Изабелле в Алкала де Хенарес. Постаревшая сразу лет на десять, она проводила с Хуаной целые дни, стараясь урезонить, успокоить, помочь, и падала замертво после этих бесед, вконец измученная и опустошенная.

А Хуане и впрямь стало немного лучше, и она спокойно, совершенно ничего не стесняясь, подробно рассказывала матери об унижениях, которым при всех подвергал ее муж, и о своей непреодолимой зависимости от него из-за непобедимой, животной к нему страсти. Несмотря на все мольбы Изабеллы, она не ходила ни на мессы, ни к исповеди и

говорила Изабелле страшное, еретическое, богохульное. Все это окончательно уложило Изабеллу в постель.

Фердинанд все еще был в Арагоне, когда 10 марта Хуана на удивление быстро и легко родила мальчика. Это был как раз день его рождения, и именно поэтому ребенка называли Фердинандом. Матери было безразлично даже как его назвать, она сразу отдала ребенка на руки кормилице и уже совершенно не интересовалась сыном.

Когда стало ясно, что помочь Хуане невозможно, Изабелла отправила дочь под надзор врачей в замок Ла Мота — похожий на несколько гигантских шахматных ладей, забытых великаном на каменистой равнине. От Филиппа же не было никаких вестей. Он так спешил вернуться в Брюссель — якобы по делам государства, — а между тем вот уже несколько месяцев проводил во Франции в пирах и охотах.

Однажды вечером Хуану не нашли в ее спальне. По коридорам тут же застучали каблуки слуг, замерцали в руках факелы.

Полураздетую эрцгерцогиню обнаружили вцепившейся в решетку крепостных ворот. Она выла, мотала головой и кричала то богохульства, то вообще что-то нечленораздельное. Послали за Изабеллой, а между тем все — от врачей и исповедника до алькальда и стражи — старались уговорить эрцгерцогиню вернуться в постель. Тщетно.

Она провела у ворот крепости всю ночь — полуобнаженная, с растрепанными волосами и пустыми безумными глазами. Ноябрьским утром ее увидели крестьяне, что обычно привозили в крепость провизию. В городе неподалеку как раз проходила ярмарка, и местные шуты уже изображали под хохот толпы, как полуголая Хуана висит на решетке. Репутация наследницы престола была погублена окончательно. С тех пор ее прозвали Juana La Loca — Хуана Безумная.

Зять между тем от его, Фердинанда, имени, как законный наследник кастильского престола начал переговоры с королем Франции по поводу отторжения у Кастильи Неаполя. О, как рассвирепел тогда Фердинанд! Но он был бессилен: не сейчас, так после его смерти зять все равно начал бы разрушать Кастилью, которую презирал, как и свою несчастную, сумасшедшую испанскую жену.

А Хуану в очередной раз нашли в окрестностях замка пастухи — в одной рубашке, босую. Она вырывалась и визжала, что пешком шла во Фландрию, к мужу. Изабелла тогда тяжело опустилась перед Фердинандом в кресло, закрыла глаза и сказала: «Я больше не могу. Я молю Бога о смерти».

И Фердинанд сделал все необходимые приготовления, чтобы отправить Хуану туда, куда она так стремилась, — во Фландрию. Поскольку с Францией еще шли боевые действия, менее опасно было отправить ее морем. Так и сделали.

Она ни разу не спросила о новорожденном Фернандо и, отплывая, ни разу даже не взглянула ни на сына, ни на мать. А вот к нему подошла. Обняла и сказала: «Прости, отец. Я знаю, что такое ад».

Уже много позднее они узнали, что сразу по приезде во Фландрию Хуана потребовала удалить от двора всех женщин и набросилась на одну из фрейлин, чуть не вырвав ей волосы. Муж запер ее в комнате, и она в течение почти суток била стулом по полу и стенам и не позволяла приблизиться к себе никому...

**А** потом ушла Изабелла.

Это была ужасная ночь. Он чувствовал, что его жизнь рухнет так же, как за стенами замка под неумолимой силой ноябрьского урагана падают деревья на каменистой месете. Он и приближенные стояли в замке Ла Мота с фа-

келами, окружив постель умирающей Изабеллы. Скорби и болезнь сделали ее кожу совершенно серой.

Она взяла его за руку.

И как тогда, при первой их встрече в Вальядолиде, точно так же тревожно и нервно дрожали факелы.

Она сказала:

— Я полагаюсь на тебя. Позаботься о ней...

Кого она имела в виду? Хуану или Кастилью?

Потом слабо сжала его пальцы и тихо спросила:

— Ты думаешь, все это... дети... Искупление... за нас?

Он и сам думал об этом все последние годы. Но ответил ей только:

— Не искупление, Исабель... Испытание. Нашей веры.

Она слабо улыбнулась. И он понял тогда, что неожиданно для себя сказал ей самые верные слова.

Последние три дня по всей Кастилье шли молебны. Люди скорбели, словно теряли близкого человека. Никто не знал, что будет теперь со страной. И он тоже не знал, что будет теперь с Испанией и ее колониями: по закону королевой становилась Хуана, эрцгерцогиня Австрийская.

Изабелла попросила, чтобы монахини пели *Te Deum Laudamus*. И они запели.

И вдруг, лишь только закончилось пение — странно, неурочно, раздробленно грянули колокола. И задрожал замок Ла Мота. Все замерли, потом кинулись к окнам. Это были отголоски землетрясения, что в ту ночь до основания разрушило город Кармону.

А Изабелла была уже мертва.



Портрет королевы  
Изабеллы Кастиль-  
ской

Фердинанд все сидел в галерее, пил вино и смотрел на Гранадку в дожде. Он был почти пьян. Дождь шумел по кронам апельсиновых деревьев, и ему вдруг стало невыразимо тяжело. Он подумал, что это шум дождя нагоняет на него тоску, и приказал слуге, который все время, словно статуя, стоял в углу зала у двери на случай, если королю арагонскому что-нибудь понадобится, прислать какого-нибудь музыканта. Тот ушел, его долго не было, но, когда Фердинанд совсем забыл о своем приказе, в Зал советов вошли и стали у стены трое одетых по-кастильски «мориско»<sup>1</sup> — с бубном, флейтой и каким-то подобием лютни.

Они заиграли протяжную, варварскую мелодию. Фердинанд терпеть не мог мавританскую музыку и сначала хотел остановить музыкантов, прогнать их прочь, но постепенно начал вслушиваться и вдруг совершенно отчетливо для затуманенного вином мозга осознал, что всякая другая мелодия не будет в гармонии с этой вот кипенью лепных кружев на потолке, с этими тонкими, белыми, бессильными, как заломленные женские руки, колоннами, с этой бесконечной вязью непостижимых письмен. Ему даже понравились эти протяжные плачущие звуки. И подумалось, что потребуется, может быть, еще не менее двадцати лет, а то и больше, чтобы память о мусульманах-маврах навсегда ушла с испанской земли. «Но я говорю тебе, Исабель, он придет, тот мир, которому мы оба посвятили свои жизни. Если не мы и не дети наши, так внуки увидят справедливый чистый мир истинной веры!» — тихо прошептал Фердинанд.

Изабеллу завернули тогда в простую францисканскую рясу и похоронили здесь же, в городе ее триумфа — Гранаде. Как она и просила.

---

<sup>1</sup> Крещеный мавр.



Кортес формально присягнул Хуане, тут же официально признал ее невменяемой, и регентом стал Фердинанд..

Он не сразу осознал, как огромна его потеря и какая необъятная часть его жизни обрушилась — как дом вместе с оползнем обрушивается с края обрыва. И тоска становилась все сильнее.

Тогда и сделал он роковую ошибку — женился снова. На французской аристократке, восемнадцатилетней Жермене. Попутно надеясь теперь заполучить в союзники ее дядю Людовика. Да, уже самого Людовика, короля Франции, стало волновать, сколько власти, получив Испанию и все ее колонии, сможет заграбастать этот Филипп, капризный и непредсказуемый баловень! И французский король начал переговоры по поводу брака своей племянницы.

Вот Фердинанд и женился.

Старый дурак... Ну ладно бы обвенчался где-нибудь еще — велика Испания, но попутал лукавый венчаться опять в Вальядолиде!.. Вся Кастилья задыхнулась от возмущения. А он и не намерен был оправдываться, объяснять подданным, что испугался одинокой старости и тоски.

Тогда кортес лишил его регентства и, по сути, изгнал, назвав — правда за глаза — «старым каталонцем». Но до Фердинанда дошли эти злые слова. И это после всего, что он сделал для Кастильи! После всей отданной Кастилье жизни — благодарность от кортеса: «старый каталонец»! Он был оскорблен, и гордыня его взбунтовалась: раз его не хотят, раз считают, что Кастилье без него лучше, — он удалится. И этим тут же воспользовался зять Филипп. И был официально назначен регентом. Надо сказать, Хуана, в какой-то миг просветления, воспротивилась этому, и даже написала письмо в кортес в защиту отца, но Филипп перехватил письмо и запер ее на ключ.

Вступление на трон законного наследника Кастильи выглядело как захват страны иностранной державой:

Филипп прибыл в Бургос с огромной свитой фламандцев, тремя тысячами германских «копий» и сразу же, как король де-факто, начал замещать кастильских грандов и прелатов, отнимать в пользу своих аристократов их замки и земли. Вот тогда в коротесе поняли свою ошибку.

Но Фердинанд ничего этого уже не видел. Штормовым мартовским утром его каравеллы подплывали к кастильскому владению в Италии — Неаполю, где он намерен был дожить свои дни и упокоиться. Через год его юная жена Жермена родила мертвого мальчика. И совершенно потеряла к мужу интерес. А он — к ней, поняв еще раз с новой силой, какую сделал ошибку. Одинокая старость грозила ему все равно.

*Теперь, в Альгамбре, он вспоминал, как однажды в октябре, в Неаполе, он сидел вот так же — правда, на залитой солнцем, увитой виноградом террасе своего замка на самой вершине холма, вспоминая снега Сьерра-Невады, и смотрел, как призрачными фиолетовыми тенями проплывали над чужим Везувием по-чужому пышные облака. И вдруг привратники распахнули ворота и впустили всадников. Он залюбовался конями: такие кони могли быть только из Кадиса! И тут же узнал пожилого всадника — это был верный ветеран взятия Гранады — Гарсилассо де ла Вега!*

Фердинанд обрадовался ему, обрадовался несказанно! Засуетился, сам выбежал навстречу, обнял соратника:

— Гарсилассо, старина! Какими судьбами?! Ну как там? Что там? — И осекся, всмотревшись в его лицо.

— Она не дает его хоронить.

— О чем ты?!

— Филипп мертв. Разве ты не получал письма?

Нет, он не получал письма.

— Но как? Кто его?..

Им принесли еды и вина.

— Никто. Тиф. В Бургосе. Не проснулся утром. А она, королева Хуана, возит его из города в город, ночами, в открытом гробу вот уже который месяц. Он смердит невыносимо, черный уже, черви из него лезут! А она каждую ночь заставляет монахов читать по нему заупокойные молитвы, словно он умер вчера. И женщин не допускает смотреть на него — из ревности, даже монашек.

Фердинанд в ужасе молчал.

— А в Кастилье, Фернандо... Плохо все, очень плохо в Кастилье и в целой Испании. Мор напал на овец.. Вокруг Медины де Кампо вымирают целые деревни — людям нечем жить. Те овцы, что еще оставались, передохли от голода — пронесся ураган, реки вышли из берегов, затопило пастбища. В Андалусии — чума. Плохо все. Бог отвернулся от нас.

— Зачем ты здесь, Гарсилассо?

— Одна надежда — на тебя, Фернандо. Меня прислал кортес.

— Тот кортес, что изгнал меня, назвав «старым каталонцем»? Да и что я могу сделать против мора или чумы?

— Фернандо, если ты не вернешься, Испании — конец.— И, помолчав, старый верный Гарсилассо де ла Вега наклонился и добавил: — Никому не говорил, а тебе скажу, мой король. Не тиф его, Филиппа, в Бургосе. Я... Не было сил смотреть.

Фердинанд немедленно приказал готовить корабли к отплытию. Он ведь обещал Изабелле, что позаботится. И о Кастилье, и о дочери.

**И** Фердинанд вернулся, навел, как мог, порядок и мирно правил страной.

И каждый год, 6 января, приезжал сюда, в Гранаду. Раньше — с соратниками, пока они были живы. А вот те-

перь — один. Даже Гарсилассо не приехал, болел. А больше не осталось никого. Все ушли — и Медина-Сидония, и Талавера, и даже Торквемада. А самое главное — любимые дети и его Изабелла.

Фердинанд не узнает, что Непобедимая Армада — символ Испании, той Испании, которую создали они с Изабеллой, — однажды ляжет на песчаное дно у далеких берегов Англии, и это будет началом конца. И что Инквизиция переживет все — даже Великую Испанию.

А сам он умрет 23 января 1515 года в таверне Мадригалехо на пути в Севилью, где будет ждать его войско, чтобы отплыть в Северную Африку. Король решит направиться туда по настоянию неугомонного Тиснероса, с тем чтобы освободить эту землю от мавров и нести туда христианство. И с ним будет старый верный Гарсилассо де ла Вега, который и закроет ему глаза.

*Ничего этого старый Фердинанд знать не мог. И он сидел высоко над Гранадой в зале Масуар дворца Альгамбра, слушал дождь и разговаривал со своей ушедшей королевой, тоска по которой с каждым днем становилась все сильнее, намного сильнее желания жить. И старый король понимал, что мог иметь многих женщин, но любить — только ее...*

*«Ну вот, Исабель... Ты спрашивала, не искупление ли это детям за наши грехи? Ну посуди сама... — Он говорил и говорил с ней и был уверен, что она здесь и слышит его. — Две наших дочери — счастливы: Мария за новым королем Португальским, и младшенькая, Катарина, за англичанином, как его... Генрихом. Молоденький такой... Катарина тяжела, родит скоро. Хорошо, если бы сына...»*

*Он никогда не узнает, что в феврале их дочь, Катарина Арагонская, родит королю Генриху Восьмому дочь Мэри, но*

за годы брака никак не сможет подарить мужу долгожданного наследника престола. Не узнает он и того, что Генрих Восьмой без ума влюбится в молоденькую придворную аристократку Анну Болейн и, вопреки отказу папы римского разрешить ему развод, объявит о незаконности брака с Катариной и выйдет со своим королевством из подчинения Римско-католической церкви, чтобы жениться на Анне. Убежденная католичка Катарина, безнадежно, на всю жизнь влюбленная в вероломного английского короля, будет владеть существование брошенной жены. Их с Изабеллой дочь Мария Португальская станет единственной, чья жизнь сложится относительно благополучно...

Да, есть только одна женщина, с которой он может говорить обо всем. Вот только пока она не может ему ответить. Она пока молча слушает своего Фернандо.

*И ждет...*

Фердинанд перекрестился и закрыл глаза, утомленные видом прекрасной Гранады. И перестал слышать мавританскую флейту. Он ясно увидел свое кастильское войско — в тот день, и в ушах у него зазвучал хор тысячи голосов, поющих *Te Deum Laudamus*, как он пел тогда, 6 января 1492 года, когда они входили в Гранаду. Фердинанд не замечал наворачившихся на глаза старческих слез.

Музыканты продолжали играть, но все дальше и тише.

Он уже засыпал. И не видел, что из-за колонны на него смотрит светлый высокий человек с израненными ногами и кровью на волосах. Вот он поворачивается и не спеша выходит в сад — по направлению к башням Альказабы. Он уходит. Он идет не оглядываясь и не останавливаясь — все дальше. Он идет над городом, прямо к вздымающимся вдали белоснежным, острым вершинам Сьерра-Невады, пока не исчезает за ними совсем...



Памятник королеве Изабелле Кастильской в Мадриде.  
Скульптор Мануэль Канет

**У** Фердинанда — еще семнадцать дней жизни. Рядом стоит пустой кувшин. Мокнет мрамор. И слышны глухие удары опадающих под дождем и ветром апельсинов в зимних садах Альгамбры, сок их истекает в красную андалузскую землю. И мощно гудит колокол, установленный в *тот день* кастильской победы на башне Альказабы.

И тихо плачет мавританская флейта...

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Невозможно противопоставлять легенды и историю. И как все было в прошлом, в точности не знает никто. От пульсировавшей когда-то жизни остаются кости, черепки, ржавый металл, разрушенные крепостные стены... А еще — отрывочные записи на ломком пергаменте. И тогда воображение и понимание мира сегодняшнего могут неожиданно дать всему этому плоть и связь. И тогда мы отчетливо видим вдруг за обрывками дат, имен, событий — лица и судьбы, давно растворившиеся во времени, но понятные и непостижимо связанные с судьбами нашими. Связанные общими человеческими радостями и бедами. Как часто именно чьи-то ненависть или любовь, честолюбие или фанатичное упрямство, свободолюбие или жажда мести становились в человеческой истории решающими. Но позднее они редко брались в расчет. И потому теперь нам на помощь приходят легенды.

И удивительно также то, что, как бы ни менялась жизнь вокруг, мы все-таки знаем простой ответ на вечный вопрос, заданный ушедшим в мир иной бардом:

Но, не правда ли, зло называется злом  
Даже там — в добром будущем вашем?

Таким же вечным, думается, может быть и ответ на вопрос, что же такое — добро. И как бы каждая эпоха ни старалась уточнить, изменить и усложнить его, мы подспудно чувствуем: чем этот ответ неизменнее и проще, тем он — вернее.

## Содержание

От автора .....	3
Однажды между Тигром и Евфратом, или О первых цивилизациях в шутку и всерьез .....	9
Египет: царство благословенной стабильности .....	27
Троя: великая и странная война .....	55
Британия: женщина на колеснице .....	141
Европа и Русь: легенда о викинге .....	211
Марко Поло, великий и благородный венецианец .....	361
Изабелла и Фердинанд .....	421
Заключение .....	573



*Популярное издание*

**Карина Кокрэлл**

## **Легенды мировой истории**

Ведущий редактор *В. Пименова*  
Художественный редактор *Ю. Межова*  
Технический редактор *В. Беляева*  
Верстка *О. Савельевой*  
Корректор *В. Леснова*

ООО «Издательство АСТ»  
141100, Россия, Московская область,  
г. Шелково, ул. Заречная, д. 96  
Наши электронные адреса: WWW.AST.RU  
E-mail: [astpub@aha.ru](mailto:astpub@aha.ru)

ООО «Астрель-СПб»  
197372, Санкт-Петербург, ул. Ситцевая, д. 17,  
лит. Б, пом. 6-Н  
E-mail: [mail@astrel.spb.ru](mailto:mail@astrel.spb.ru)

ОАО «Владимирская книжная типография»  
600000, г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 7.

Качество печати соответствует  
качеству предоставленных диапозитивов

Издательство «Астрель-СПб»  
представляет книгу

## **Все тайны Земли, которые надо узнать прежде, чем умрешь**

Ошеломляющие открытия, невероятные гипотезы, величайшие битвы, леденящие душу истории тайных обществ, четвертое измерение, путешествие во времени и стычки с пришельцами — самый интересный опыт человечества, накопленный веками, уместился на страницах этой книги.

*Вы узнаете:*

- откуда взялось человечество;
- почему исчезли великие цивилизации;
- что скрывают древние пирамиды;
- где искать ненайденные клады;
- что представлял собой священный Грааль и где прячут свои сокровища тамплиеры.

*Вам откроются:*

- тайны профессионального гипноза и скрытого управления людьми;
- магические приемы, ритуалы и предсказания;
- правда о гибели великих людей.

*Вы встретитесь:*

- С монстрами, привидениями и инопланетянами.

Вы отправитесь в увлекательнейшее путешествие вместе с авторами книги! Откройте первую страницу — и не сможете остановиться.



## ■ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ■



Автор Карина Кокрэлл живет в Британии уже 17 лет. По образованию — филолог. Окончила аспирантуру Гринвичского университета.

Работала переводчиком, менеджером в лондонских издательствах и преподавателем в колледже. Регулярно печатается в британских и других зарубежных изданиях. Член лондонского клуба независимых журналистов «Frontline». Очень много путешествует по Европе. История всегда была и остается ее страстью.

*Хотите отправиться в путешествие во времени? Следуйте за автором этой книги — и вас ждет масса эмоций: вы переживете незабываемые приключения, примете участие в опаснейших путешествиях и испытаете роковые страсти.*

*Самые значимые исторические события описаны таким увлекательным языком, что возникает полный эффект присутствия. Серьезная фактическая информация перемешивается с элементами исторического романа, и этот взрывоопасный микс приправлен сбалансированным соусом из куража и иронии.*

*Эта книга о глупцах и мудрецах, о взлетах и сокрушительных падениях, о катастрофах и роковых совпадениях, о любви, предательстве, зависти и злобе, о силе и слабости человеческой, и, конечно, о нас, сегодняшних.*

ISBN 978-5-17-066149-7



9 785170 661497